Великие биографии

«Мой муж — Осип Мандельштам»

Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. Почему О.М. покорно пошёл за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь?

# Надежда Мандельштам

SHOUT
SHARE
IT

# Annotation

Из-за воспоминаний Надежды Мандельштам общество раскололось на два враждебных лагеря: одни защищают право жены великого поэта на суд эпохи и конкретных людей, другие обвиняют вдову в сведении счетов с современниками, клевете и искажении действительности!

На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и стали рассматриваться как важный источник по сталинскому времени.

- Надежда Мандельштам
  - Часть 1. Мы
    - Потрава
    - «Мы»
    - Распад
    - В пути
    - Чад небытия
    - Жилплощадь в надстройке
    - В преддверье
    - Первые ссоры
    - Обрывки воспоминаний
    - Медовый месяц и кухарки
    - Промежуток
    - Нищий
    - Наш союз
    - Скрытые автопризнания
  - Часть 2. Гибельный путь
    - Майская ночь
    - Выемка
    - Утренние размышления
    - Второй тур
    - Базарные корзинки
    - Интегральные ходы
    - Свидание
    - Сборы и проводы
    - По ту сторону
    - Тезка
    - Шоколадка
    - Прыжок
    - Чердынь
    - Галлюцинации
    - «Внутри»

- Христофорыч
- Кто виноват
- «Адъютант»
- О природе чуда
- К месту назначения
- Приводные ремни
- Родина щегла
- Врачи и болезни
- Обиженный хозяин
- Деньги
- Истоки чуда
- Гибельный путь
- Капитуляция
- Топот и шепот
- Книга и тетрадь
- Двойные побеги
- Последняя зима в Воронеже
- Золотые правила
- Моя святая
- «Один добавочный день»
- Бессарабская линейка
- Земля и земное
- Архив и голос
- Старое и новое
- Милицейская Венера
- Монтер
- Дачники
- Старый товарищ
- Стихолюбы
- Затмение
- Последняя идиллия
- Текстильщики
- Шкловские
- Марьина роща
- Сопричастный
- Мамочка послала барышню отдыхать в Саматиху
- Первое мая
- Гуговна
- Западня
- Окошко на Софийке
- Дата смерти
- Еще один рассказ
- Этапы моей жизни
- Годы молчанья

        - Последнее письмо
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33

# Надежда Мандельштам
# Мой муж – Осип Мандельштам

# Часть 1. Мы

# Потрава

Я не люблю свою раннюю молодость. У меня ощущение, будто по колосящемуся полю бежит огромное стадо – происходит гигантская потрава. В те дни я бегала в одном табунке с несколькими художниками. Кое-кто из них вышел потом в люди. У нас были жесткие малярные кисти, мы тыкали их в ведра с клеевой краской и размазывали грубыми пятнами невероятные полотнища, которые потом протягивали поперек улицы, чтобы под ними прошла демонстрация. Развешивали полотнища ночью. Художники с домоуправом – они возникли с приходом «красных», как тогда говорили, словно грибы после дождя, – врывались в чужие квартиры, распахивали окна и балконные двери и, переругиваясь со стоявшими внизу помощниками, крепко привязывали свое декоративное произведение к балконной решетке. Девочки в ночных игрищах не участвовали, а мальчишки поутру со смехом рассказывали подружкам, как пугались жители злосчастных квартир, когда орава во главе с управдомом ломилась среди ночи в квартиру.

Марджанов ставил пьесу испанского классика: деревня взбунтовалась против сеньора, потому что он нарушил старинные права. Народ побеждает, женщины вздымают руки над головами и ритмически поводят боками, актеры кричат хором: «Вся власть советам», а зрительный зал ревет от восторга. Для апофеоза художник Исаак Рабинович придумал неслыханное изобилие: через всю сцену протягивалась гирлянда бутафорских фруктов, овощей, рыбьих и птичьих тушек подозрительно фаллического вида. Овация нарастала. Исаак выходил раскланиваться. Он вел за руку двух своих помощниц: одна была я, другая – моя подруга Витя, служившая раньше подмалевком у Экстер. Это мы с Витей раскрашивали фруктообразные фаллосы, уточняя форму, халтурно сделанную в бутафорской. Нас забрасывали грудами дешевых киевских роз, и мы выходили из театра с огромными охапками, а по дороге домой розы теряли бледные лепестки, но бутоны, к счастью, сохранялись.

Нас занимали то театральными постановками, то плакатами, и нам казалось, что жизнь играет и кипит. На первый выданный аванс мальчики купили кошельки – до этого у них не было ни денег, ни кошельков. Мы проедали деньги в кофейнях и в кондитерских. Они открывались на каждом шагу – бежавшие с севера настоящие дамы пекли необычайные домашние пирожки и сами обслуживали посетителей. Плакатных денег хватало на горы пирожков: ведь мы переживали период романа наших хозяев с

левым искусством, а мой табунок был левее левого. Мальчишки обожали «Левый марш» Маяковского, и никто не сомневался, что вместо сердца у него барабан. Мы орали, а не говорили, и очень гордились, что нам иногда выдают ночные пропуска и мы ходим по улицам в запретные часы. Если мы забывали захватить пропуск, патрули, увидав наши кисти, мирно пропускали нас дальше по пустым улицам. Кисть служила пропуском не хуже бумажки, выданной комендантом, а в патрулях тоже расхаживали мальчишки, вооруженные, правда, винтовками и наганами. Они стреляли, а мы малевали…

В наш дружный табунок постепенно просачивались гости с севера. Одним из первых появился Эренбург. Он на все смотрел как бы со стороны – что ему оставалось делать после «Молитвы о России»? – и прятался в ироническое всепонимание. Он уже успел сообразить, что ирония – единственное оружие беззащитных. У молодых да еще левых художников был блаженный дар – не знать, что они беззащитны. Мы бегали под выстрелами и прятались в подворотнях. С девятнадцатого года беспорядочная стрельба на улицах почти вывелась, а город обстреливался пятидюймовками перед сменой власти. К этому мы почти что привыкли.

По вечерам мы собирались в «Хламе» – ночном клубе художников, литераторов, артистов, музыкантов. «Хлам» помещался в подвале главной гостиницы города, куда поселили приехавших из Харькова правителей второго и третьего ранга. Мандельштаму удалось пристроиться в их поезде, и ему по недоразумению отвели отличный номер в той же гостинице. В первый же вечер он появился в «Хламе», и мы легко и бездумно сошлись. Своей датой мы считали первое мая девятнадцатого года, хотя потом нам пришлось жить в разлуке полтора года. В тот период мы и не чувствовали себя связанными, но уже тогда в нас обоих проявились два свойства, сохранившиеся на всю жизнь: легкость и сознание обреченности.

На этаж ниже в той же гостинице поселили Мстиславского. У него на балконе всегда сушились кучи детских носочков, и я удивлялась, зачем это люди заводят детей в такой заварухе. Мстиславский заглядывал в чужие номера и повествовал об аресте царя. Он всегда напоминал, что он рюрикович, и подчеркивал древность своего рода по сравнению с Романовыми. Мандельштам морщился.

Юность ни во что не вдумывается. Тревога и озабоченность старших нас не трогали. Мрачные старики, наши родители, шли к гибели, а дети веселились. Огромная толпа приехавших с севера, уже в полной мере познавшая голод и разруху, откармливалась

на хлебах еще не разоренной Украины и спешила нагулять побольше жиру, прежде чем снова откатиться назад. Деньги падали медленно, и люди, которые привезли из Москвы груду ничего не стоящих бумажек, ликовали, покупая на них полноценные продукты.

Мандельштам, такой же веселый, как все, чем-то от других отличался. Наша внезапная дружба почему-то вызвала общее раздражение. Ко мне ходили мальчики и уговаривали меня немедленно бросить Мандельштама.

Однажды Эренбург долго водил меня по улицам и доказывал, что на Мандельштама никак нельзя положиться: если хочешь в Коктебель, – мы все хотели на юг, действовала таинственная тяга, – прочь от дому куда-нибудь южнее, – поезжай к Волошину, это человек верный – с ним не пропадешь… Я знала, что Эренбург сам мечтал удрать к Волошину и спрятаться за ним, как за каменной стеной. Откуда у Волошина была такая слава, я не знаю, но думаю, что он сам создал про себя легенду и ее поддерживали окружавшие его женщины, а легенды – вещь живучая. А на «ты» с Эренбургом мы перешли случайно, шутки ради, встречая вместе девятнадцатый год. Он звал меня Надей, а я его почтительно по имени-отчеству. Пути наши разошлись, но добрые отношения сохранились – особенно с его женой Любой. Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей. «Люди, годы, жизнь», в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране. Его читатели, главным образом мелкая техническая интеллигенция, по этой книге впервые узнали десятки имен. Прочтя ее, они быстро двигались дальше и со свойственной людям неблагодарностью тут же отказывались от того, кто открыл им глаза. И все же толпы пришли на его похороны, и я обратила внимание, что в толпе – хорошие человеческие лица. Это была антифашистская толпа, и стукачи, которых массами нагнали на похороны, резко в ней выделялись. Значит, Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное и неблагодарное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стали читателями Самиздата.

Что же касается до советов Эренбурга в девятнадцатом году, то я к ним, конечно, не прислушалась и весело его высмеивала, изображая в лицах, как он меня поучает. Боюсь, что, кроме братьев Маккавейских, моих чудачливых и добрых приятелей, все мои слушатели были на стороне Эренбурга. А насчет Мандельштама я уже догадывалась, что его легкомыслие не похоже на легковесность моих друзей. Он говорил иногда вещи,

которых я ни от кого еще не слыхала. Лучше всего я запомнила его слова о смерти. Удивляясь самому себе, он сказал, что в смерти есть особое торжество, которое он испытал, когда умерла его мать. Многого из того, что он говорил о смерти, я, вероятно, тогда не поняла, но потом, когда я уже стала кое-что понимать, он больше об этом не заговаривал. У меня создалось впечатление, будто для него смерть не конец, а как бы оправдание жизни. Тогда убивали на каждом шагу, и я склонялась к мысли, что смерть просто нелепая случайность.

Еще Мандельштам пытался мне объяснить, что такое узнавание. Это интересовало его тогда больше всего. Он слышал, что узнавание психологически необъяснимо, но для него вопрос стоял шире. Он думал не только о процессе, то есть о том, как протекает узнавание того, что мы уже видели и знали, но о вспышке, которая сопровождает узнавание до сих пор скрытого от нас, еще неизвестного, но возникающего в единственно нужную минуту, как судьба. Так узнается слово, необходимое в стихах, как бы предназначенное для них, так входит в жизнь человек, которого раньше не видел, но словно предчувствовал, что с ним переплетется твоя судьба. Говорил он со мной очень осторожно – приоткрывал щелочку и тут же захлопывал, как будто оберегал от меня собственный мир, куда все же хотел, чтобы я заглянула. В этом было настоящее целомудрие, и я чувствовала его и в стихах, но люди вокруг нас о такой штуковине даже не подозревали. Целомудрие, душевное, физическое – любое, если б они с ним столкнулись, показалось бы им чем-то вроде вывиха или перелома кости. Только цинизмом среди них и не пахло. Во всяком случае, никто из тех, кто стал художником, циником не был, хотя и повторял любимое изречение Никулина: «Мы не Достоевские, нам лишь бы деньги…» Действовала своеобразная авангардистская, как я бы сказала по-современному, жеребятина. Карнавальный Киев девятнадцатого года любил марджановскую постановку, левизну во всем – в политике, в речах, в мысли и особенно в любви. Впрочем, это была не любовь и не мысль, а какие-то обрубки.

А я рассказала Мандельштаму, как мне случилось позировать мальчику-скульптору по фамилии Эпштейн. Он жил высоко на Лютеранской улице в барской квартире, покинутой хозяевами. В его комнате я впервые столкнулась с неприкрытой нищетой: неубранная койка с рваной тряпкой вместо простыни, а на столе – жестяная кружка для чаю. Не знаю, что сталось с этим Эпштейном, но бюст свой я потом увидела в киевском музее. Вряд ли он там уцелел: портрет еврейской девочки работы еврейского скульптора – слишком тяжелое испытание для

интернационалистов Украины.

Однажды Эпштейн прервал работу и подозвал меня к окну. Мимо нас по пустырю солдаты вели спотыкающегося измученного человека с большой белой бородой. Эпштейн объяснил, что для этого человека, киевского, что ли, полицмейстера, придумали особую пытку – его ежедневно ведут на расстрел, приводят, не расстреливают и отводят обратно в тюрьму. С ним сводят счеты за то, что он был жесток в преследованиях революционеров. Это совсем не старый человек, а волосы у него поседели от пытки… Эпштейн, еврейский мальчик, которого этот полицмейстер, будь он у власти, не пустил бы учиться в Киев, не мог примириться с жестокостью мстителей (я не помню, при какой власти это происходило – при украинцах или при красных, – каждая старалась перещеголять другую). Настоящему художнику жестокость противопоказана. Я никогда не могла понять, как Маяковский, настоящий художник, мог говорить зверские вещи. Вероятно, он настраивал себя на такие слова, поверив, что это и есть современность и мужество. Слабый по природе, он тренировал свою хилую душу, чтобы не отстать от века, и за это поплатился. Я надеюсь, спросят не с него, а с искусителей. Мандельштам, тоже еврейский мальчик с глубоким отвращением к казням и пыткам, с ужасом говорил о гекатомбах трупов, которыми «они» ответили на убийство Урицкого. Все виды террора были неприемлемы для Мандельштама. Убийцу Урицкого, Каннегисера, Мандельштам встречал в «Бродячей собаке». Я спросила про него. Мандельштам ответил сдержанно и прибавил: «Кто поставил его судьей?» Мальчиком под влиянием Бориса Синани он верил, что «слава была в б. о.», и даже просился в террористы (для этого ездил в Райволу, как рассказано в «Шуме времени», но не был взят по малолетству). Потом отношение к террору начисто переменилось. Я запомнила разговор с Ивановым-Разумником в середине двадцатых годов. Он тоже жил в Детском Селе, и однажды мы к нему зашли. За несколько дней до нашей встречи в «Деловом клубе» в Ленинграде взорвалась бомба. Иванов-Разумник был по этому поводу в приподнятом настроении и очень удивился, что Мандельштам не разделяет его радости. Наконец он прямо спросил, чем объясняется такое равнодушие к столь важному событию: «Значит, вы против террора?» Мандельштам, разговаривая о мировоззренческих вещах, не имевших отношения к поэзии или философии, всегда как-то тускнел. Искренно удивленный, Иванов-Разумник осведомился, как Мандельштам расценивает подвиги террористов прошлого, казнь Александра Второго, например, и преисполнился чем-то очень похожим на презрение, узнав, что Мандельштам

последовательно отрицает всякий террор, против кого бы он ни направлялся. Как это ни странно, но в те годы отрицание террора воспринималось как переход на позиции большевиков, поскольку они отказывались от террора как от метода революционной борьбы. Иванов-Разумник, вероятно, так и понял Мандельштама, хотя для полноты информации ему не мешало узнать, как тот относится к государственному террору, который мы успели узнать на опыте. А я во время этого разговора молчала и огорчалась: опять наткнулись на чужого, все почему-то чужие, и зачем Мандельштам не смягчает чуждость – что ему стоило уклониться от ответа или пробурчать что-нибудь неопределенное? – надо ли всюду и всегда подчеркивать свою чуждость вместо того, чтобы срезать острые углы… В молодости так хочется гармонии и розовых отношений с людьми. Непримиримость Мандельштама утомляла и тяготила мое незрелое сознание…

Мандельштам покупал и просматривал издания Центроархива, и среди них было много книг с делами террористов. О казненных говорить плохо он не стал бы, но его всегда удивляла скудость и ограниченность этих людей. (Мне хотелось бы, чтобы Кибальчич составлял исключение, но его дело, кажется, никогда не издавалось. Во всяком случае, мы его не видели.) Террор, как бы он ни проявлялся, был Мандельштаму ненавистен.

А в дни нашей ранней близости, в Киеве девятнадцатого года, Мандельштам был, пожалуй, единственным, который думал о смысле событий, а не об их непосредственных последствиях, как старшие, и не о пестрых проявлениях «нового», как молодые. Старших беспокоят существенные вещи: развал правовых норм и понятий, крушение государственности и хозяйства, младшие упивались тем, что отцы называли демагогией, с какой бы стороны она ни шла, и запоминали про запас случаи, которые так или иначе собирались потом использовать, а пока что жадно впитывали то, что ощущалось как последний день. Мы иногда раскрывали газеты, но не могли их читать, потому что уже тогда началось бурное воспитание народа и для этого разрабатывался особый язык постановлений, речей и прессы.

Однажды Мандельштам мне сказал, что «они» строят свою партию на авторитете наподобие церкви, но что это «перевернутая церковь», основанная на обожествлении человека. Разговор происходил в ванной комнате, обложенной кафелем, с двумя окнами и белой печкой. Он вытирал руки и вдруг заметил, где он: «Странный разговор для такого места»… Мысль настигла

его в неподходящем месте и в неподходящую минуту: мы спешили поужинать, чтобы потом пойти в «Хлам».

Под самый конец, когда большевики перед уходом расстреливали заложников, мы увидели в окно – к этому времени Мандельштама уже выгнали из гостиницы и он жил с братом в кабинете моего отца – телегу, полную раздетых трупов. Они были небрежно покрыты рогожей, и со всех сторон торчали части мертвых тел. Чека помещалась в нашем районе, и трупы через центр вывозились, вероятно, за город. Мне сказали, что там был сделан желоб, чтобы стекала кровь, – техника еще была наивной. В другой раз солдаты провезли на телеге обросшего бородой человека с завязанными назад руками. Он стоял в телеге на коленях и вопил во весь голос, взывая к людям, чтобы они спасли, помогли, потому что его везут на расстрел. В тот год толпа могла отбить заключенного, но на улицах никого не было – комендантский час… Мы видели, как он отбивается от солдат, пытавшихся заткнуть ему рот. Все это промелькнуло и тут же исчезло, но я и сейчас вижу этого человека, только его, скорее всего, везли не на расстрел – расстреливали в самой Чека, на горе, а телега шла под гору. Думаю, его переводили в Лукьяновскую тюрьму, а может, даже в больницу.

Нам пришлось видеть из другого окна, выходившего на городскую Думу, как разъяренная толпа после прихода белых ловила рыжих женщин и буквально разрывала их на части с криком, что это чекистка Роза. На наших глазах уничтожили нескольких женщин. Уже без Мандельштама – он успел уехать – город на несколько часов был захвачен красными. Они прорвались к тюрьме и выпустили заключенных, а затем красных выбили и отдали город на разграбление победителям. Жители охраняли дома и при появлении солдат били в медные тазы и вопили. Вой стоял по всем улицам. На улицах валялись трупы. Это было озверение гражданской войны. Карнавал кончился и лишь изредка возникал потом в пестрых постановках московских театров. Кому нужен был этот карнавал или, вернее, потрава?

Я не поехала с Мандельштамом в Крым, но не потому, что поверила словам Эренбурга. Он собрался в несколько минут, воспользовавшись неожиданной оказией – на Харьков отправляли специальный вагон с актерами. Все власти любили актеров – красные и белые. Мандельштаму нужно было уехать из Киева, где его никто не знал, а он всегда привлекал к себе злобное внимание толпы и начальников любых цветов. Я обещала приехать в Крым с Эренбургами, но не решилась – за порогом дома лилась кровь. А насчет легкомыслия Мандельштама – я уже поняла, что это просто легкое приятие жизни. Он уже тогда знал, что уклониться

нельзя ни от чего и надо принимать то, что есть. Он пытался привить и мне такое отношение к жизни, но на это способен не каждый. И не каждый может жить текущей минутой, как Мандельштам. Я не могла. «Лоном широкая палуба» казалась мне гораздо более приятным способом передвижения, чем напрасные усилия безвесельных гребцов. Не я одна тосковала по устойчивости. В нашей жизни все полвека устойчивость была иллюзорной. Устойчивые дома рушились один за другим. В нашу эпоху ничего устойчивого не было, и лозунг Ахматовой: «Сейчас надо иметь только пепельницу и плевательницу» – вполне себя оправдал.

Киев гражданской войны с его минутным карнавалом, трупами, которые вывозятся телегами, и трехдневным ограблением города под вой обезумевших людей далеко не самое страшное из того, что я испытала в жизни. Это только прелюдия – потом стало гораздо страшнее.

Наша разлука с Мандельштамом длилась полтора года, за которые почти никаких известий друг от друга мы не имели. Всякая связь между городами оборвалась. Разъехавшиеся забывали друг друга, потому что встреча казалась непредставимой. У нас случайно вышло не так. Мандельштам вернулся в Москву с Эренбургами. Он поехал в Петербург и, прощаясь, попросил Любу, чтобы она узнала, где я. В январе Люба написала ему, что я на месте, в Киеве, и дала мой новый адрес – нас успели выселить. В марте он приехал за мной – Люба и сейчас называет себя моей свахой. Мандельштам вошел в пустую квартиру, из которой накануне еще раз выселили моих родителей, – это было второе по счету выселение. В ту минуту, когда он вошел, в квартиру ворвалась толпа арестанток, которых под конвоем пригнали мыть полы, потому что квартиру отводили какому-то начальству. Мы не обратили ни малейшего внимания ни на арестанток, ни на солдат и просидели еще часа два в комнате, уже мне не принадлежавшей. Ругались арестантки, матюгались солдаты, но мы не уходили. Он прочел мне груду стихов и сказал, что теперь уж наверное увезет меня. Потом мы спустились в нижнюю квартиру, где отвели комнаты моим родителям. Через две-три недели мы вместе выехали на север. С тех пор мы больше не расставались, пока в ночь с первого на второе мая 1938 года его не увели конвойные. Мне кажется, он так не любил расставаться потому, что чувствовал, какой короткий нам отпущен срок, – он пролетел как миг.

## «Мы»

В первую нашу встречу в Киеве девятнадцатого года у Мандельштама была почти детская доверчивость и вера во всеобщую дружбу и благожелательство. Ему понравился «Хлам» – почти как «Собака», люди хорошие и кофе хороший. «Хлам» вскоре закрылся, потому что буфетчику показалось невыгодным торговать турецким кофе и всякой дешевой дребеденью, и мы перекочевали в греческую кофейню на Софиевской улице. В окне кофейни был выставлен плакат «Настояща простокваша только наша». Хозяин молол кофе в огромной мельнице и удивлялся, откуда к нему привалило столько народу, а хозяйка пекла пирожки и всех дарила улыбками. Когда пришли белые, карнавал кончился и кофейня опустела. Хозяйка перестала улыбаться и целыми днями дежурила у дверей, чтобы изловить хоть кого-нибудь из прежних посетителей и выдать белым. Всех, кто принес мгновенный расцвет кофейне с настоящей простоквашей, она считала большевиками и люто ненавидела. Первым ей попался Эренбург, но сумел отвертеться. Он предупредил меня, чтобы я не ходила по Софиевской, но я опять не придала значения его совету. В результате следующей попалась я, и недавно еще улыбчивая хозяйка требовала, чтобы я сказала, где тот, «с кем ты гуляла», потому что именно его она считала главным большевиком и мечтала немедленно растерзать, как терзали перед Думой рыжих женщин, заподозренных в том, что они-то и есть «чекистка Роза». У меня не было детской веры Мандельштама во всеобщее благожелательство, но я все же верила, что человеческая улыбка в чем-то соответствует душевному настрою того, кто улыбается. Даже примитивная вежливость, которая заставляла улыбаться людей старшего поколения, чем-то смягчала нравы. Она исчезла из нашей жизни после ожесточения гражданской войны, и ей не суждено вернуться на эту бедную землю.

Однажды в киевские дни Мандельштам таинственно сообщил мне: когда я пишу стихи, никто ни в чем мне не отказывает… Я подумала – «балованный» – и спросила: «Почему?» Объяснить он не мог: не знаю, но так получается… Я решила, что он жил среди людей, которые любили стихи и были рады доставить удовольствие носителю поэтического дара. Да и желания, как я уже знала, были у него легко выполнимые – вроде чашки кофе или пирожка. В Петербурге, вероятно, еще добывалась рублевка или трешка на «Собаку».

Через несколько лет в измученной и одичавшей нэповской

Москве он остро почувствовал, как все изменилось. О просьбах и говорить нечего: все держали свою щепотку чаю или кофе запрятанной, и никто бы не поделился даже с другом коркой черствого хлеба. Изменилось и отношение к стихам. Слух у людей отупел, и требовались особые средства, чтобы пробиться сквозь их глухоту. Вышла «Вторая книга», приходили разные люди, просили надписать и что-то говорили, но во всех отзывах, хвалебных и ругательных, нельзя было найти смысла: ум обленился и «задарма» работать не желал. В одной из статей Мандельштам написал о читателе, развращенном быстрой сменой поэтических школ и поколений: «…он приучается чувствовать себя зрителем в партере… морщится, гримасничает, привередничает…» А потом в стихах: «Еще меня ругают… на языке трамвайных перебранок, в котором нет ни смысла, ни аза…» Хвалили на том же трамвайном языке, и это еще хуже, чем брань… Он пересказывал мне, что услышал за день, и спрашивал: «Разве это так?» – и наконец догадался: «Они просто не любят стихов…» Что они вообще способны были любить? Люди, уцелевшие из поколений, действовавших в двадцатые годы, сейчас старики с самой позорной старостью, которые еще пытаются вмешиваться в текущую жизнь и остановить медленный и скрипучий процесс выздоровления, если он действительно идет, а не мерещится моему сочувственному, а их испуганному взгляду.

Действительно ли те, которые не отказывали ни в чем молодому Мандельштаму, любили и понимали стихи? Скорее всего, большинство из них по обычаю своего круга проявляли добросердечие и доброжелательство, а к стихам относились с добродушным сочувствием. Пока существует свой круг, своя деревня, свой поселок, любое сообщество, связанное привычкой, обычаем, корнями, традицией, люди вынуждены улыбаться друг другу, и эта улыбка все же чего-то стоит. Литература из кожи вон лезла, чтобы разоблачить ханжество, ложь, фальшь и даже тайные преступления внешне пристойных, гладеньких, улыбающихся людей, но счастливо общество, в котором приходится хотя бы скрывать низость и подлость. Одни скрывают, другие обуздывают и, может, даже уничтожают в себе гнусное, которого достаточно в каждом из нас. Может, самообуздание и есть единственное, на что мы способны, и осуществляется оно лишь среди людей и на людях. Одиночке все дается гораздо труднее.

В двадцатых годах корни были подрублены, и тайным законом стало: «все позволено», с которым всю жизнь боролся Достоевский. Своеобразие заключается в том, что общество, взятое в железные тиски, с огромной быстротой приведенное к тому, что у нас называется единомыслием, состояло из особей,

которые занимались самоутверждением в одиночку или собираясь в небольшие группы. Группа возникала, если находился подходящий вожак, и тогда начиналась борьба между группами за правительственную лицензию. Так было во всех областях – далеко не только в литературе. Тот же механизм породил Марра, Лысенко и сотни тысяч подобных объединений, проливших слишком много крови. Такие объединения не свидетельствуют об общности, потому что состоят из индивидуалистов, преследующих свои цели. Они говорят про себя «мы», но это «мы» чисто количественное, множественное число, не скрепленное внутренним содержанием и смыслом. Это «мы» готово распасться в любой момент, если забрезжит другая, более заманчивая цель.

На наших глазах произошло распадение общества, несовершенного, как всякое человеческое объединение, но скрывавшего и обуздывавшего свои пороки и где все же существовали небольшие группы, имевшие право сказать про себя «мы». По моему глубокому убеждению, без такого «мы» не может осуществиться самое обыкновенное «я», то есть личность. Для своего осуществления «я» нуждается, по крайней мере, в двух элементах – в «мы» и, в случае удачи, в «ты». Я считаю, что Мандельштаму повезло, потому что в его жизни был момент, когда нашлись люди, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Краткая общность с «сотоварищами, соискателями, сооткрывателями», как он сказал в «Разговоре о Данте», отразилась на всей его жизни, потому что помогла становлению личности. В том же «Разговоре о Данте» говорится, что время есть содержание истории, «и обратно: содержание истории есть совместное держание времени» теми, кто объединяется словом «мы». Если человек помнит, что он живет в истории, он знает, что несет ответственность за свои дела и поступки, а мысли человека определяют его поступки. Наши поколения – мое и мандельштамовское – на всех перекрестках кричали, что живут в историческое время, но полностью снимали с себя ответственность за все происходящее. Они списывали все преступления эпохи и свои собственные на детерминированность исторического процесса. Это очень удобная теория для раскулачивателей всех видов, но почему, собственно, приходится раскулачивать, если ход истории предопределен?.. Впрочем, я не хочу целиком обвинять все поколение Мандельштама – в нем были люди, дорого заплатившие за свое неверие в официальные догматы. В моем окружении я таких не замечала. Если такие и существовали, они держались тише воды, ниже травы и видны не были.

Я возвращаюсь к Мандельштаму и к людям, с которыми он

совместно «держал время». Жирмунский мне говорил, что в Тенишевском, где они вместе учились, к Мандельштаму сразу отнеслись бережно и внимательно. Смерть Бориса Синани, первого друга, была, вероятно, большим ударом. Нам случалось иногда встречать людей, посещавших в юности «розовую комнату» в квартире Синани. Однажды какая-то женщина рассказала Мандельштаму про гибель Линде, комиссара Временного правительства, на фронте. Эта гибель описана Пастернаком в его «Докторе» и в воспоминаниях генерала Краснова. Не знаю, был ли Пастернак знаком с Линде (в романе его зовут Гинцем), но версия генерала Краснова гораздо больше похожа на рассказ, который я слышала на улице от старой приятельницы Мандельштама, Линде и Бориса Синани. О Линде Мандельштам вспоминал с уважением и нежностью, как обо всех, кто так или иначе был связан с его другом Борисом.

После смерти Бориса Синани Мандельштам провел целых два года за границей. Это период одиночества и стихов о юношеской тоске, неизбежном спутнике всякого юноши. Особенно одиноко он почувствовал себя в Италии, где прожил несколько недель даже не на положении студента, а туриста. Он всегда огорчался, что из-за юношеской внутренней смуты слишком мало видел и плохо использовал поездку.

Чувство обособленности исчезло только по возвращении в Петербург. В Териоках, куда он часто ездил отдыхать, Мандельштам познакомился с Каблуковым, кажется, секретарем Религиозно-философского общества. Сохранились дневники Каблукова, где он много пишет о Мандельштаме. Каблуков боролся с тягой Мандельштама к католичеству, хотел обратить его в православие, заставлял сдавать экзамены в университете, чего тот органически не умел, и, наконец, искренно огорчился, когда в стихах после романа с Мариной Цветаевой вдруг прорезался новый голос. Каблукову, как многим родным и духовным отцам, хотелось сохранить мальчика в его нетронутой юношеской серьезности. Мандельштам тянулся к Каблукову и, вероятно, много от него получил. Он невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, на сколько был старше Каблуков, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца.

Однажды Мандельштам без всякого предупреждения пришел к Мережковским. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что, если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат; тогда она с ним поговорит, а пока что – не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Мандельштам молча выслушал и ушел. Вскоре

Гиппиус прочла его стихи и много раз через разных людей звала его прийти, но он заупрямился и так и не пришел. (Точно передаю рассказ Мандельштама.) Это не помешало Гиппиус всячески проталкивать Мандельштама. Она писала о нем Брюсову и многим другим, и в ее кругу Мандельштама стали называть «Зинаидин жиденок».

Гиппиус была тогда влиятельной литературной дамой, и то, что она стала на защиту молодого поэта, к которому символисты, особенно Брюсов, отнеслись очень враждебно с первых шагов, по-моему, хорошо рекомендует литературные нравы того времени и самоё Гиппиус. А игра в «жиденка» продолжилась в мемуарах Маковского, который выдумал нелепую сцену с торговкой-матерью. Попав в эмиграцию и оторвавшись от своего круга, люди позволяли себе нести что угодно. Примеров масса: Георгий Иванов, писавший желтопрессные мемуары о живых и мертвых, Маковский, рассказ которого о «случае» в «Аполлоне» дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил, Ирина Одоевцева, черт знает что выдумавшая про Гумилева и подарившая Мандельштаму голубые глаза и безмерную глупость. Это к ней подошел в Летнем саду не то Блок, не то Андрей Белый и с ходу сообщил интимные подробности о жизни Любови Дмитриевны Блок… Кто поверит такой ерунде или тому, что ей говорил Гумилев по поводу воззвания, которого никто никогда не находил, или денег, наваленных грудой в ящик стола… Нужно иметь безмерную веру в разрыв двух миров (или времен, как наша мемуаристка Надежда Павлович), чтобы писать подобные вещи. Пока существует «мы», даже поверхностное, даже количественное, никто себе ничего подобного не позволит.

Искусственный разрыв любого «мы», даже количественного, даже случайного, приводит к тягчайшим последствиям. Мы это наблюдали с ужасающей наглядностью, когда одни, очутившись за решеткой, клеветали на своих близких и друзей, недавних союзников и соратников, а другие, оставшиеся на свободе, отрекались от отцов и мужей, от матерей, братьев и сестер… И те и другие действовали «под нажимом», как у нас принято говорить, но я уверена, что не все объясняется этим проклятым нажимом. Мне недавно рассказали про самоубийство женщины, которая больше тридцати лет не могла забыть, как она отвернулась от отца, когда его уводили, и отказалась проститься с ним. Ей было всего одиннадцать лет в тот момент. Впоследствии она сама попала за колючую проволоку, хлебнула горя, но то, как и почему она не простилась с отцом, которого больше не увидела, не могло не остаться пятном на ее душе. Другая женщина рассказала мне, как ее отец тревожился, когда

забрали начальника, с которым он прослужил много лет. Дочери, тогда восемнадцатилетней комсомолке, показалась подозрительной или недостойной тревога отца, и она предупредила его: «Если тебя возьмут, я не поверю, что это ошибка…» Единство семьи рассыпалось под нажимом – ведь обе девочки, одиннадцатилетняя и восемнадцатилетняя, тоже действовали под нажимом воспитания и общественного мнения, которое клеймило гибнущих и славило сильных. Сегодня чем старше человек, тем прочнее в него въелись «родимые пятна» прошлой эпохи. Седобородый хохмач Ардов, у которого в начале революции расстреляли отца, написал судьям, разбиравшим гражданский иск Льва Гумилева, длинное послание, в котором сообщил про судьбу отца, Николая Степановича, и о том, что сам Лева много лет провел в лагерях: по политической статье… Я не сомневаюсь, что Ардову пришлось столько раз отказываться от собственного отца, что предательство Гумилевых, отца и сына, ничтожная веха на его славном пути. Под нашим небом семья, дружба, товарищество – все, что могло бы объединиться словом «мы», распалось на глазах и не существует.

Настоящее «мы» – незыблемо, непререкаемо и постоянно. Его нельзя разбить, растащить на части, уничтожить. Оно остается неприкосновенным и целостным, даже когда люди, называвшие себя этим словом, лежат в могилах.

# Распад

Около полугода мы проболтались с Мандельштамом в богатой и веселой Грузии. В первую минуту, переехав грузинскую границу в вагоне «для душевнобольных», мы поняли, что очутились в ином мире. Поезд остановился, и все пассажиры во главе с машинистом и проводниками кинулись к стоявшим поодаль арбам с бочками. Мы двинулись в путь захмелевшие и веселые: в Грузии свободно торговали вином, бутылка которого стоила не больше, чем кусок лаваша. Солнце, веселый поезд, веселый паровоз, веселые под хмельком люди – все это удивительно не походило на хмурую, грязную Москву, где горсточка муки с Украины казалась чудом, а мальчишки на улицах торговали «Ирой рассыпной» и мы получали каждую папироску прямо из их замерзших, красных лапок. Мы мотались по Грузии на птичьих правах, чужие и непонятные люди, сбежавшие из нищей в богатую и равнодушную страну. Так, должно быть, чувствовали себя беженцы из «Совдепии» в пышном Константинополе. В те дни я узнала, как горек чужой хлеб. Изредка Канделаки, министр просвещения, впрочем, они еще тогда были комиссарами, выписывал грошовую подачку за переводы, но на нее накладывал вето аскет Брехничев, русский уполномоченный при широком и щедром грузине. Про Брехничева говорили, что он расстрига, и не позволяли ему зажимать «своих». От шуточных стихов тех дней у меня осталась строчка: «У него Брехничев вместо цепной собаки», а от предыдущей только рифма – Канделаки…

Мандельштам не унывал, мы пили телиани, где-то жили, с кем-то разговаривали. Однажды мы попытались уехать и получили места в чистой теплушке. Предстояло ехать недельки две-три. Теплушечные поезда простаивали подолгу на узловых станциях и «мазали» мылом начальника, чтобы он дал паровоз. На станциях шел торг и обмен – мы и рассчитывали прокормиться обменом последнего барахла, но до этого надо было дотянуться до России. Богатая Грузия в нашем барахле не нуждалась. Уже закрыли двери теплушки, и поезд двинулся. Теплушка вдруг преобразилась – в центре возник стол из чемоданов, на нем тряпка вместо скатерти, роскошная снедь и вино. Меня, единственную женщину, усадили на почетное место. Начался пир, но на первой же станции оказалось, что поезд пошел, а наша теплушка стоит. Мы не заметили, как ее отцепили. Грузины кинулись к дверям, но открыть их не смогли. Еще минута, и двери раздвинулись. В вагон вошло несколько вооруженных

людей во главе со штатским, низкорослым и широкоплечим человеком с лицом скопца. На нем были огромные очки, и в довершение всего он еще показался мне слепым. Скопческим высоким голоском штатский объявил, что он представляет Чрезвычайную комиссию по борьбе со спекуляцией и контрреволюцией. Начался обыск, но нашим имуществом никто не интересовался. Веселые грузины оказались зубными техниками. Они везли в Москву чемоданы лекарств и материалов для протезов. Искали у них и золото. Тем временем вагон двинулся – обратно на Тифлис. Грузин увели под стражей, а нас отпустили на все четыре стороны. Я впервые присутствовала при аресте. До этого мне пришлось видеть только бесчисленные обыски. У веселых и гостеприимных грузин, чей пир так мрачно оборвался, были смертельно бледные лица. Мне так хотелось, чтобы они откупились от мрачного скопца и снова вылетели на волю… Я еще не раз видела, как по поездам шастают продотряды и отбирают у баб мешки… Это называлось «борьбой с мешочничеством».

Мы снова застряли в Тифлисе, ловчились, пили телиани и ели каймак, брынзу и лаваш. Однажды на базаре нас остановила мощная процессия «шахсе-вахсе». Она была последней, потому что на следующий год ее запретили – и навсегда. Под равномерные звуки восточных барабанов шли полуголые люди, ритмически хлеставшие себя кожаными плетками. Они держались стройными прямоугольниками. За ними в том же порядке – люди с кинжалами с более сложными ритмическими движениями. Один к одному, совершенно точно и одновременно они поднимали то правую, то левую ногу и наносили себе удар кинжалом все в одно и то же место. Это было бы похоже на балет, если бы не струйки крови, сочившейся из ран. Шли верблюды, ослы и кони в прекрасных попонах. На них ехали женщины и дети – семейство брата Магомета, в память убийства которого разыгрывался весь спектакль. На большом коне провезли голубя, а на другом верхом ехал странно качавшийся всадник. В спину у него был воткнут кинжал, и на белой одежде сверкала свежая кровь. Толпа зрителей то и дело шарахалась от страха, и мы тоже вместе с толпой. Я хотела бежать, но Мандельштам меня удерживал и заставил достоять до конца бесконечной процессии. Все участники выкликали хором два каких-то коротеньких слова, и эти выклики служили единственным регулятором ритма всего сложнейшего и кровавого балета. Говорят, что в прежние годы европейца, случайно оказавшегося в толпе зрителей, мусульмане бы немедленно растерзали. Процессия направлялась к холму под самым городом. Там тоже происходили какие-то ритуальные

действия, но туда сунуться мы не решились. На следующий день все торговцы на базаре ходили в марлевых перевязках. И хозяин в чайной, где мы всегда пили поразительный персидский чай в маленьких стаканчиках, тоже был весь забинтован. Я не знаю, шииты или сунниты придерживаются «шахсе-вахсе» и что значат выкликаемые два слова (быть может, они и есть: шах-се вах-се), но понимаю, почему Армения «со стыдом и скорбью» отвернулась «от городов бородатых Востока»… И все же, как ни жестоко зрелище самоистязания и проливаемой крови, жертв среди участников процессии не бывает – только царапины, ранки и шрамы да еще ложка пролитой крови, а потом бинты и марля. Больше ничего. Европейцы, случается, действуют покрепче…

На какой-то короткий период мы сблизились с посольством РСФСР в Грузии. Послом был Легран, гимназический товарищ Гумилева. Он назначил Мандельштама в штат посольства, и нам ежедневно выдавали два обеда по типу московских пайковых столовых. Мы приходили в посольство, болтали со скучающими Легранами, а затем уносили посольские судки с обедом и пачку газет, из которых Мандельштаму полагалось по долгу службы делать вырезки. Посольству хотелось иметь референта, но и посольство, и референт, и обеды были не настоящими, а липовыми, газеты же приходили с севера и из-за границы со скоростью черепахи. Легран раздобывал новости не из газет, а в Цека (или это называлось тогда Закрайком? названия у нас непрерывно меняются), имевшем с Москвой либо телефонную связь, либо тысячу курьеров.

Однажды Легран, обычно равнодушный и сдержанный, выскочил к нам навстречу из кабинета и увел нас к себе в квартиру. Там он рассказал о расстреле Гумилева. Он не на шутку испугался, хотя говорил искусственно дипломатическим голосом. Я не знаю, удалось ли ему сделать карьеру почище советского посла в Грузии, потому что это была наша последняя встреча. В разговор вмешалась жена Леграна, приятная и приветливая женщина. Она поспешно сказала, что ей никогда не нравился Гумилев – заносчивый, резкий, непонятный, чужой и чуждый человек. Жена Леграна оказалась первооткрывательницей и пионеркой: в те ранние годы еще не научились с ходу отрекаться от погибших, обвиняя их в дурном характере и чуждой настроенности – и притом совершенно искренно (в этом весь фокус). Потом только так и поступали с завидной прямотой и честностью. Рассказы честных советских людей о Мандельштаме отражают те умонастроения: легенда, пущенная про него, живет и поныне и облегчает души свидетелей расправы. Почему, в самом деле, нельзя было прикончить этого нелепого и надменного

чудака? Легковеры обследуют легенды, но даже они изредка качают головой и удивляются, каким образом согласуются странные черты характера, описанные современниками, со свободным потоком стихов этого диковинного человека… То, что сейчас было бы понято как внутренняя свобода, глубина, независимость и прямота, тогда воспринималось (совершенно искренно) как петушиная дурь… Жена Леграна была предельно искренней, но впечатление от первого выпада против расстрелянного оказалось таким сильным, что нам не захотелось возвращаться в посольство за обедом и газетами. Мы ушли с судками, но в посольство больше не заглядывали. Вскоре к нам явился солдат, рассыльный посольства, и забрал посольскую жестяную посуду. На этом отношения с Легранами кончились.

– Куда же теперь ехать? – сказал Мандельштам. – В Петербург я не вернусь.

Смерть Гумилева – без отпевания у Исаакия – окончательно превратила Петербург в город мертвых. Об этом есть поздние стихи: «Петербург, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Мандельштам ни за что не хотел ехать на север, потому что родной город для него закрылся. С гибелью Гумилева рухнуло «мы», кончилось содружество.

Ехать было некуда, но мы все же уехали, потому что не существовало места, где мы могли бы остаться. Новый, 1922 год мы встретили на рейде в Сухуме. Наш пароход назывался «Дмитрий», и нас везла без билетов комиссарша, бывшая пароходная нянька, добродушная, ширококостная женщина, отлично справлявшаяся с беснующейся оравой демобилизованных красноармейцев. Перепившись, они требовали у комиссарши отчета, почему портрет лейтенанта Шмидта висит у нее в каюте выше Ленина и кто эти двое, которых она уложила на тюфяке у своих дверей и прячет от контроля. Она нас и не думала прятать, а просто заслоняла своей могучей спиной и говорила совершенно беспомощным контролерам, что «эти» с ней и «этих» трогать не надо. И они нас «не трогали», как и прочую толпу безбилетных пассажиров.

На этом пароходе я видела, как бьются в припадках травматической падучей, нажитой при холодном ранении, полупьяные, полубезумные солдаты, жертвы гражданской войны (отец и сын у Шекспира, сын и отец у Шекспира!). Война еще шла, и демобилизация коснулась только больных, то есть инвалидов, но настоящих инвалидов – безногих, безруких – на пароходе почти не было. Таких вывозили поездами, а на пароход хлынула свободно передвигавшаяся бурлящая толпа, уже по разным причинам не годная для армии и тут же по возвращении

разворачивавшая широкую деятельность в родных деревнях и городишках. Ведь в армии они получали политическое образование от комиссаров и начальников и «на местах» стали предвозвестниками «нового» и чем-то вроде светочей. Инвалид в «Котловане» не случайная фигура, выдуманная досужим писателем, а ведущее начало провинциальной жизни. Многие из них плохо кончили, потому что привыкли разрешать все недоразумения рукопашной схваткой. Другие, когда приток свежих сил оттеснил их от «власти на местах», подняли крик, прогремевший на всю страну: «За что боролись?»

Толпа на пароходе делилась на маленькие группы, и в центре каждой стоял добровольный агитатор. Иногда центром такого средоточья оказывался припадочный. Он падал наземь, судороги сводили тело, голова запрокидывалась, и он то выгибался дугой, то бился о деревянный настил. Но голос не терял силы: припадочный воспроизводил сцену ранения – давал команды, бросался в бой, выкликал лозунги, проклинал «белых гадов», кричал, что не пощадит родного отца… Четыре товарища придерживали его, чтобы он не разбил голову, пятый пытался – обычно безуспешно – сунуть ему в рот ложку, потому что среди брани у него то и дело вываливался язык и вместо слов раздавались одни хриплые стоны. Под конец разносился густой мат: припадочный крыл подбежавшую к нему среди боя «сестрицу». Окружающие с облегчением вздыхали: раз дошло до сестры, значит, припадок кончается. И действительно, корчи ослабевали, припадочный, успокоившись, засыпал. Его оставляли в покое, но где-нибудь, в другой части парохода, уже валился наземь и начинал биться и вопить другой безумец… Они бились в приступах падучей, как вся страна, изошедшая кровью и бранью в годы гражданской войны. В таких войнах, по-моему, не бывает победителей и побежденных, потому что победитель, не выдержав ненависти и обуявшей его братоубийственной злобы, исходит кровью и бьется в падучей. Сколько раз это было уже сказано? Почему никто ничего не слышит и не читает? Почему все слова уходят в прорву и все предупреждения никого ни от чего не предостерегли?.. Большеглазый мальчик Мандельштам – я тогда еще не знала, как он молод, потому что он был старше меня, – все видел и слышал. Он иногда говорил: «Надюша, не слушай, Надюша, не смотри», а иногда: «Господи, посмотри, послушай, что с ними…» Иногда он говорил: «Все это пройдет», но чаще: «Ведь все они, припадочные и здоровые, говорят одно и то же, ничем друг от друга не отличаются…» Так и было. Все они говорили, словно в припадке падучей, одно и то же, но это оказалось далеко не самым страшным из того, что мне суждено

было увидеть – с Мандельштамом, его глазами, и потом – без него, собственными глазами, которые он научил видеть и воспринимать виденное.

Мы высадились в Новороссийске под безумный вой оголтелого норд-оста. Ветер сбивал с ног. Мы дрожали от холода после прелестной теплицы, где провели полгода, то изнемогая от жары, то шлепая по покрытым ледяной пленкой лужам элегантными деревянными сандальями. Мы не боялись холода, потому что вдруг перестали чувствовать себя эмигрантами.

Я часто слышу жалобы и стоны бывших эмигрантов, которых никто не убивал и не уводил по ночам в невероятные тюрьмы двадцатого века, но я не затыкаю ушей, потому что узнала, как горек эмигрантский хлеб на чужбине. Узнала я это в Грузии. У моих современников был выбор – чужой хлеб на чужбине или собственное смертное причастие. Ни одна из этих возможностей не является «меньшим злом». Зло меньшим или большим не бывает, потому что оно есть зло. Только в России все же говорят по-русски, а это великое благо. Не случайно в статье, написанной по пути в Москву, Мандельштам написал дифирамб русскому языку, который был для него родным. Он вернулся в края, где говорят по-русски, и остро почувствовал власть родного языка.

К несчастью, все мы узнали ту степень разъединения, когда людей, говорящих на одном языке, нельзя объединить словом «мы». Есть степень разъединенности, когда люди уже не могут понять друг друга. Больше у Мандельштама не было «мы». Даже говоря о нас двоих, он употреблял не «мы», а «мы с тобой»: «Мы с тобой на кухне посидим» и «Куда как страшно нам с тобой»… Равноправное «мы» – союз «мужей», куда входила одна женщина, распался с гибелью Гумилева, и с ним остался только непрекращающийся воображаемый разговор.

Мы ехали на север, но не в Петербург, а в Москву.

## В пути

В Новороссийске мы переночевали на столах в редакции газеты и двинулись дальше. В те годы всюду были мальчишки, которые знали Мандельштама и готовы были устроить ему ночевку, билеты и каплю денег. Такие нашлись и в новороссийской газетке. Около месяца мы прожили в Ростове, где Мандельштам напечатал несколько статеек в местной газете. В феврале мы сели в отдельный салон-вагон, предоставленный хирургу, профессору Тринклеру (его вызвали из Харькова, чтобы сделать операцию кому-то из начальников), и вскоре дотянулись до Харькова. Салон-вагон – знак высокого положения в мире, и потому его прицепляют к поездам в первую очередь, не то что поганую теплушку. В Харькове был перевалочный пункт, откуда южные толпы рвались в Москву.

Там Мандельштама встретили люди, бредившие стихами. Все они были на отлете и собирались в Москву с литературными заявками. Гражданская война выхлестнула наверх особый слой разговаривающих и пишущих людей, которым не терпелось рассказать о том, что они видели. К обобщениям не стремился никто. Смысл событий ускользал. Все жили конкретным случаем, живописной, вернее, забавной подробностью, явлением, пеной с ее причудливым узором… Забавный и живописный оборванец, Валя Катаев, предложил мне пари: кто скорее – я или он – завоюет Москву. От пари я отказалась, потому что Москву завоевывать не хотела и ни к какой деятельности не стремилась, разве что написать дюжину натюрмортов. У меня уже тогда было полное равнодушие к «паблисити» и деятельности, я думаю, под влиянием Мандельштама. У него было четкое ощущение поэзии как частного дела, и в этом секрет его силы: перед собой и для себя звучит только основное и глубинное. Хорошо, если оно окажется нужным людям. А это зависит от того, кто говорящий и какова его глубина. Мандельштам сам не знал, кто он и какова его глубина, и по этому поводу не задумывался. Он не стыдился ни себя, ни своих мыслей, ни того, что ему было отпущено. Кто выдумал, что он олицетворил себя в строчках: «Чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет»? Мандельштам не «самолюбивый, скромный пешеход», он для этого слишком любил ходить пешком и любоваться миром, куда входили и машины. Это Парнок самоутверждается и робок, как горный козел. Если в Мандельштаме была крохотная крупинка Парнока, то она исчезла в такой ранней юности, когда он еще не подозревал, что такое «мы». Такое могло быть в период жизни за

границей сразу после школы, на одну минутку, а потом вспомнилось и улыбнулось. Но не могло быть и секунды, чтобы этот человек сказал про себя, что он «судьбу клянет». Мы с ним попадали в разные переделки и в страшные катастрофы. Случалось, что я не только кляла, но проклинала обстоятельства, жизнь, что угодно. Но это была я, а не он. От него ничего подобного я никогда не слышала. Это не он. Он – оборванный или хорошо одетый, с деньгами или нищий, возмущенный чем-нибудь или радостный, в минуты дикой ревности или полного согласия, шумный или тихий, пишущий стихи или молчащий – никогда и ни при каких обстоятельствах не стал бы клясть судьбу. Он принимал жизнь, какая она есть, отвергал все виды теодицеи, а уж бедности бы никак не стыдился, потому что чувствовал себя богачом: «У кого под перчаткой не хватит тепла, чтоб объехать всю курву Москву?» Мы ведь только и делали, что пировали. Даже банка консервов или пшенная каша на нашем столе, доске или чемодане воспринимались как пир. И право же, судьба Алексея казалась ему куда более завидной, чем любого банкира, чиновника или советского спеца, тем более литературного…

В Харькове пришли первые литературные заработки, гораздо более ощутительные, чем в Ростове, потому что открылась не только газета, но и издательство, нищее, как вся страна. Издательство замышлялось сестрой Раковского. Худая темноволосая женщина, похожая на монахиню и запомнившаяся мне силуэтом, словно в ней не было объема, она собиралась открыть издательство, и Мандельштам написал для нее статью «О природе слова» и первую прозу – очерк под названием «Шуба», часть которого появилась в местной газете. Газета с этим очерком пропала, как и весь архив Раковской. Статью напечатали после нашего отъезда и прислали оттиск. Его забрали из сундучка в мае 34 года, но кое у кого он сохранился. Эпиграф к статье прибавили харьковские издатели. Первоначально его не было. Пусть уж он останется в память о дружбе двух поэтов.

Когда я увидела Раковскую, у меня было острое чувство удивления: каким образом такая женщина «с ними». В годы великой путаницы понятий «такая женщина» могла быть с кем угодно и где угодно, да и неизвестно, чем она была на самом деле. Судить по внешности нельзя. Думаю, что она разделила общую судьбу, и допускаю, что приняла ее за монахиню по неопытности и незнанию людей. Все же хочется думать, что аскетический силуэт дается не зря. Возможно, что все это только сдвиг памяти или, как тогда сказал Мандельштам, непривычный римско-румынский типаж, европейский облик, в странной дисгармонии с ширококостными и славными няньками-

комиссаршами. Я знаю одно: в обезумевшей толпе тех лет все же мелькали одухотворенные лица. Вероятно, у толпы (именно у толпы, а не у вожаков) была какая-то правота.

В Харькове нам рассказывали про новинки, уже ставшие достоянием широкого круга. До России дошли задержавшиеся из-за войны слухи о теории относительности и о Фрейде. О них говорили все, но сведенья были уж слишком смутными и бесформенными. Более конкретными оказались рассказы о писателях, уже успевших подать свои заявки. Тогда гремел Пильняк – это был его день. Всех волновала новая тема. В Грузии мы отвыкли разговаривать с людьми, потому что там шел свой разговор между своими, в число которых мы не попали и попасть не могли. В Харькове нас поразило, что никто не разговаривает. Разговор оборвался – и навсегда. Зато появилась масса рассказчиков, и они наперебой выкладывали свои анекдоты.

У нас была кое-какая одежонка. Центросоюз в Батуме вышел в меценаты и за лекцию о Блоке выдал Мандельштаму материю на костюм и на два платья для меня. Мандельштам в 34 году (конец апреля) вспомнил, как мы «над лимонной Курою в ущелье балконном шили платье у тихой портнихи…». В мае рукопись отобрали, и она пропала. Восстановить стихотворение нам не удалось – оно было слишком свежим. Шуба, послужившая толчком к очерку, енотовая, плешивая, была куплена на базаре. Морозы в тот год стояли жестокие, и мы остро их чувствовали после юга.

Мандельштам заметил, что у всех возникла новая нота: люди мечтали о железном порядке, чтобы отдохнуть и переварить опыт разрухи. Жажда сильной власти обуяла слои нашей страны. Говорить, что пора обуздать народ, еще стеснялись, но это желание выступало в каждом высказывании. Проскальзывала формула: «Пора без дураков…» Нарастали презрение и ненависть ко всем видам демократии и, главное, к тем, кто «драпанул». Огромным успехом пользовалась легенда о том, что Керенский бежал в женском платье. Назрели предпосылки для первоклассной диктатуры – без всякой тени апелляции к массам. Уже стало ясно, кто победители, а им всегда – почет и уважение. Старшие поколения, еще демократичные, вызывали грубые насмешки молодых. Года через два я шла с Мандельштамом по мосту через Неву, и он показал мне старика в рубище, еле передвигавшего ноги. Это был известный историк[1], и подростком я читала его толстые томы. Исторические концепции этого историка были наивны и отличались умеренностью. Такие погибали в первую очередь. О его смерти никто не узнал – он умер где-нибудь на больничной койке или в нетопленой комнате.

Он был интеллигентом, а для рвущихся наверх тридцатилетних самым презрительным словом стало «интеллигент». Мы услыхали его еще в Харькове от живчиков, стремившихся со своими заявками в Москву…

Из Харькова мы выехали в Киев, вероятно, в самом начале марта. Еще стояли морозы и путался старый и новый стиль. Ехали мы в так называемом «штабном» вагоне, куда продавали билеты командировочным высокой марки. Нам их выдали по блату писательских организаций, тогда еще находившихся в зачатке, но уже проявлявших недюжинную ловкость. С нами в купе ехали, быть может, хозяйственники или работники партийного аппарата, во всяком случае люди нового типа. На них были целые и добротные сапоги и кожанки. Наши спутники не пили, не нюхали кокаин, чрезвычайно распространенный в первые годы революции, и почти не разговаривали ни с нами, ни между собой. Единственное, что они себе позволяли, – это пошучивать со мной. Я лежала на верхней полке, и все они казались мне телеграфистами, и двое, занимавших нижние полки, и те, кто к ним заходил из соседних купе. Меня же они принимали за барыньку. Как только Мандельштам выходил из купе, они вскакивали и говорили, что таких, как я, надо за косу, и советовали учиться писать на машинке. В этом-то и состояли их шутки. Меня они не смешили, и было странное чувство, что в этом штабном вагоне уже сгущается новый и непонятный мир. Они соскучились по женщинам на войне, а собственных секретарш еще не заполучили, потому и крутились передо мной. Мандельштам с любопытством присматривался к ним. Он сразу заметил, что они не разговаривают и только время от времени цитируют статью или газету. «Им не о чем говорить», – сказал он и пробовал догадаться, кто они. Среди них могли быть организаторы всех отраслей хозяйства и административной жизни, включая органы порядка, но понять, кто чем занимается, мы не могли. Все они были выкроены на один образец.

С этим слоем мы почти никогда не сталкивались, и поэтому оба запомнили единственную встречу с типовыми организаторами новой жизни. Их бессловесность нас настораживала и пугала, потому что она появилась в результате особой дисциплины нового типа. Из таких людей создавался аппарат, победивший или презревший человеческие слабости и безукоризненно действующий по инструкциям независимо от их содержания.

Аппарат выдержал испытание временем и существует по нынешний день, хотя винтики неоднократно заменялись более усовершенствованными, а старые пропадали без вести,

обернувшись лагерной или провинциальной пылью.

У нас была игра – входить в новый город. Мы входили в Москву, в Ростов, в Баку, в Батум и в Тифлис, а на обратном пути – в Новороссийск, в Ростов и в Харьков. Мы всю жизнь входили в другие города, и без Мандельштама я продолжала это занятие, но оно перестало быть игрой. В те ранние годы поезда иногда останавливались на вокзалах, но чаще их задерживали черт знает где. Тогда вещи взваливались на плечи, и мы вступали в город по проселочным дорогам или по шоссе и по улицам. Первая улица уже вызывала вздох облегчения. Иногда попадался извозчик или телега, но это было редкой удачей. Я вижу вокзальную площадь холодного Киева, но не помню, как мы добрались до родительского дома. Может, уже изредка ходили трамваи. Только слышу стук в дверь и как она открылась. Родители встретили нас, будто мы явились с того света. Уехать значило кануть в вечность. Ни одно письмо, ни одна весточка не дошли до них. Из Москвы, где жил мой брат, письма изредка доходили. К этому времени отъезд в Москву уже не отрывал уехавших от тех, кто остался на месте.

Киев оказался самым чужим городом, таким же иностранным, как Грузия. Украина обособлялась от русского языка с удвоенной силой, потому что, близкородственный, он всем понятен, как и украинский. Потом я нашла точный критерий, по которому научилась отличать украинцев от русских. Я спрашивала: где ваша столица – Киев или Москва?.. Всюду – по всей громадной территории страны слышны отзвуки южнорусской и украинской речи, но называют своей столицей Киев только настоящие, щирые украинцы с неповторимо широким «и» и с особой хитринкой. То, в чем Мандельштам слышал отзвук древнерусской речи, для них – родной, отдельный, резко отличный от русского язык. Для меня всегда было загадкой, почему этот волевой, энергичный, во многом жестокий народ, вольнолюбивый, музыкальный, своеобычный и дружный, не создал своей государственности, в то время как добрый, рассеянный на огромных пространствах, по-своему антисоциальный русский народ выработал невероятные и действенные формы государственности, всегда по сути своей одинаковые – от московской Руси до нынешнего дня. (Суть в полной оторванности правителей и народа, при которой одни делают что им вздумается, а другие терпят и слегка ворчат.) Нельзя объяснить это одним географическим положением Украины – между Польшей и Россией. Я привыкла верить Ключевскому, что разгром татарами Киевской Руси, развивавшейся как блистательное европейское государство с Мономахом и Ярославом Мудрым, с киевской Софией и дивным

городом на высоком берегу Днепра, был горчайшим поворотным пунктом русской истории. Мандельштам об этом не думал. Он просто любил пестрый и живой город на Днепре, чтил Ключевского, читал «Завещание» и «Русскую правду» и никогда не перечитывал «Полтаву». Своих мыслей без него я не додумывала и так и осталась со своим удивлением. Но все же я рада, что моя столица не Киев, а Москва: ведь мой родной язык – русский. И если там и здесь будут открыто резать жидов, я предпочитаю, чтобы это случилось со мной в Москве. В московской толпе обязательно найдется сердобольная баба, которая попробует остановить погромщиков привычным и ласковым матом: эту не троньте, так вас и так, сукины дети. Под российский мат и умирать-то приятнее.

Из Киева мы поехали в Москву. Чтобы попасть в какой-то особый, но уже не штабной вагон, нам пришлось сбегать в загс. Бумажку о браке мы потеряли моментально, чуть успев доехать до Москвы. Я даже не уверена, что в загс мы пошли в этот приезд. Как будто это случилось позже и произошло потому, что комендант будущего поезда сказал, что ему надоело возить с собой баб, которые жены на недельку в поезде и баста: «Без удостоверения не повезу». Значения регистрации брака мы не придавали никакого, да и не стоил этот акт ничего. А в самом деле – в загсе мы были весной, а в тот год уезжали из Киева в холодные, лютые дни, и с нами поехал в Москву мой отец. В загс же с нами ходил Бенедикт Лившиц. Один раз мы явились слишком поздно – барышня уже собирала манатки и красила губы, готовясь смотаться. Бен со свойственным ему дурацким остроумием, которое он в душе считал раблезианским, уговаривал барышню повременить и совершить «бракосочетание», потому что «молодым не терпится». Она посмотрела на нас опытным, холодным взглядом и сказала: «знаем мы» и «подождут до завтра»… Лишь на следующий день мы получили бумажку для коменданта поезда, а в середине пятидесятых годов я через суд была оформлена в законные жены. Людям моего поколения суд давал это постановление в один миг: все либо забыли «оформиться», либо потеряли бумажку. Она не была нужна ни на что…

В конце марта (по какому стилю?) мы очутились в Москве. О Петербурге не было и речи. Мандельштам не поехал туда, даже чтобы повидать отца. У него не было сил возвращаться в «мрак небытия». Мы осели в Москве – чужом и чуждом для него городе. Ведь он уже успел сказать: «Все чуждо нам в столице непотребной». (Думаю, что здесь «мы» – петербуржцы.) Там ему было легче начинать новую жизнь, чем в родном, но

опустошенном Петербурге. Если Москва тоже была опустошена – и в огромной степени, то все же не так, как Петербург. И заметно опустошение было гораздо меньше: город непрерывно пополнялся новыми толпами. Москва росла не по дням, а по часам, но не вверх – домами и пристройками – ничего не строилось, только ветшало и разваливалось, а людьми, со всех краев земли стремившимися в Москву. Кое-как налаживался городской транспорт, но еще по огромному городу ходили главным образом пешком да еще ездили на «ваньках». Извозчики стоили непомерно дорого, и мы уже не имели благодетеля, которому могли бы сдавать извозчичьи расписки.

Настоящие москвичи растворялись в огромных чужих толпах. Они стали маленькой горсточкой в новом городе. Скрипучий московский говор почти не слышался. Мы обрадовались однажды, услыхав в москательной лавке, куда мы зашли узнать, как найти какую-то улицу, отличный совет: выйти «на площадь», а потом свернуть и пойти, куда следует. Дворники еще помнили исконную речь, но нигде и никогда ни один из них не говорил на том языке, которым его заставил говорить Пастернак в своем романе. Такого языка не существовало, как и сказов сибирской просвирни… Сам Пастернак говорил на чудесном языке, но чисто пастернаковском – он пел, мычал, шумел и гремел… Он был москвичом и с детства собирал «грыбы». Еврейские дети, выросшие в Москве, особенно остро воспринимали городской говор, но у Пастернака действовала еще врожденная музыкальность, превращавшая его речь в оркестр. Мандельштам мне говорил, что Ахматова «работает одним голосом», то есть непрерывно вслушивается в него. Это верно и по отношению к Пастернаку, отчасти и к Мандельштаму, который слышал и голос, и звучавшие в уме звуки.

Мы не были москвичами, а только пришельцами, и с трудом осваивали чужой город, еще голодный, еще пайковый, еще дикий и наводненный безмерными людскими разноголосыми толпами. И все же мы чувствовали себя дома и привыкали к непотребной и шумной столице с молодой легкостью…

# Чад небытия

В Москве мы останавливались, в Москву приезжали, в Москве жили, в Петербург только «возвращались». Это был родной город Мандельштама – любимый, насквозь знакомый, но из которого нельзя не бежать. «Городолюбие, городострастие, городоненавистничество», названные в «Разговоре о Данте», – это чувство, испытанное Мандельштамом на собственном опыте. Петербург – постоянная тема Мандельштама. О нем «Шум времени», «Египетская марка», много стихов из «Камня», почти все «Тристии» и несколько стихотворений тридцатых годов. В строчках «И каналов узкие пеналы подо льдом еще черней» – почти ностальгическая боль. И Петербургу Мандельштам завещал свою тень: «Так гранит зернистый тот тень моя грызет очами, видит ночью ряд колод, днем казавшихся домами…» От Петербурга Мандельштам искал спасения на юге, но снова возвращался и снова бежал. Петербург – боль Мандельштама, его стихи и его немота. Кто выдумал, что это я не любила Петербурга и рвалась в Москву, потому что там жил мой любимый брат?.. Сентиментальная версия нашей жизни… Я никогда не имела на Мандельштама ни малейшего влияния, и он скорее бросил бы меня, чем свой город. Бросил он его задолго до меня, а потом повторно бросал и дал точное объяснение: «В Петербурге жить – словно спать в гробу…» Хотела б я знать, при чем здесь мой брат, с которым я действительно всегда дружила… В «буддийской Москве», в «непотребной столице» Мандельштам жил охотно и даже научился находить в ней прелесть – в ее раскинутости, разбросанности, буддийской остановленности, тысячелетней внеисторичности и даже в том, что она не переставала грозить ему из-за угла. Жить под наведенным дулом гораздо легче, чем в некрополе с его пришлым, много раз сменявшимся населением, всегда мертвым, но равномерно двигающимся по улицам, и, наконец, самым страшным в стране террором, остеклевшим и так мертвые глаза горожан. В Петербурге Мандельштам не дожил бы до тридцать восьмого года. Он только тем и спасся, что «убежал к нереидам на Черное море». Впрочем, черноморские нереиды так же плохо спасали людей, как и балтийские. Спасала только случайность.

Мандельштам рано почувствовал конец Петербурга и всего петербургского периода русской истории. Во время июльской демонстрации он служил в «Союзе городов» и вышел со своими сослуживцами на балкон. Он говорил им о конце культуры и о том, как организована партия, устроившая демонстрацию

(«перевернутая церковь» или нечто близкое к этому). Он заметил, что «сослуживцы» слушают его неприязненно, и лишь потом узнал, что оба они – цекисты и лишь до поры до времени отсиживаются в «Союзе городов», выжидая, пока пробьет их час. Он называл мне их имена. Один, кажется, был Зиновьев, другой – Каменев. Балконный разговор «по душам» навсегда определил отношение «сослуживцев» к Мандельштаму, особенно Зиновьева. Мы это остро чувствовали, когда жили в середине двадцатых годов в Ленинграде. Непрерывная слежка и раннее запрещение печататься (1923) были естественным следствием общего положения Мандельштама, но в Ленинграде все оборачивалось острее и откровеннее, чем в Москве. У меня ощущение, что Москва имела кучу дел на руках, а Ленинград, от дел отставленный, только и делал, что занимался изучением человеческих душ, которые предназначались для уничтожения. Еще неизвестно, уцелел ли бы Мандельштам, если б к моменту послекронштадтского террора находился в Ленинграде. Террор развернулся во всю силу, и Москва еще давила на Ленинград, обвиняя местные власти в том, что они не дают воли рабочему классу излить свой гнев.

В этом-то разгуле и погиб Гумилев. Два слова о «юноше из морской семьи», который приезжал в 21 году к Гумилеву. Он был послан адмиралом Нимецом пригласить Гумилева в поездку в Крым – отдохнуть и подкормиться. Ходасевич наивно считал, что он был специально подослан к Гумилеву. Надо уметь отличать подосланных стукачей, и это своеобразное советское искусство, которым Ходасевич не успел овладеть, предпочитая всюду и везде видеть сети и капканы. Таков советский обычай, но он только ослабляет людей, которым следовало бы быть всегда начеку. Ни в каких особых сетях и капканах у нас не нуждались – при терроре не требуется серьезной мотивировки, чтобы уничтожить человека. «Оформить дело» легче легкого, пора это понять. Вокруг поэта всегда много мелкой швали, чтобы из нее выжать любое показание, и никто не стал бы тратить на командировочные, засылая человека из столицы. Фамилия юноши была Павлов. Ничего хорошего про него сказать не могу. Думаю, что под давлением он подписал бы что угодно для спасения своей шкуры. (Он тоже был арестован, но вышел невредимым.) Но есть чисто бюрократическая загвоздка, снимающая предположения Ходасевича. Адмирал Нимец сам взял к себе Павлова, чтобы спасти юношу из «хорошей семьи». Павлова могли использовать для слежки за его покровителем Нимецом, иначе говоря, дать ему поручение первостатейной важности. Совершенно исключается, чтобы столь ценному агенту дали дополнительное задание по

уничтожению Гумилева. Такого рода «совместительство» немыслимо. Отделы карательных органов использовали своих агентов по назначению, а не как попало. Для уничтожения поэта взяли бы поэтишку, а не военного специалиста. Оцуп, бывший в курсе дела Гумилева, ходивший к Горькому и разузнавший все, что до нас дошло, не подозревал Павлова ни в чем. Он не прерывал с ним сношений и перед своим отъездом – в последний раз, когда был в Москве, останавливался у Павлова, куда мы зашли с ним прощаться.

Оцуп воспринял гибель своего учителя как личную трагедию. Я не допускаю мысли, чтобы он поддерживал отношения с человеком, которого бы считал виновником происшедшего. Среди легенд, создавшихся о смерти Гумилева, ходят разные высказывания Горького, сочиненные неизвестно кем. Одно из них про Павлова – будто его показания легли в основу приговора. Вполне допускаю, что так и было, хотя далеко в этом не уверена. Это вовсе не значит, что Павлов был подослан, а только то, что его между прочим использовали для «оформления дела». Роль Мандельштама в этом деле проста: он узнал, что в Ленинград едет от Нимеца человек приглашать Гумилева в Крым, и попросил раздобыть и для него билет в штабной вагон. Павлов исполнил просьбу, и Мандельштам съездил в Петербург проститься с отцом перед «экспедицией» на Кавказ. Ходасевич – человек старой школы. Он верил в необходимость провокации для уничтожения человека. Кроме того, он отдал дань современному стилю и в каждом встречном подозревал провокатора. Вспомните Зенкевича, который подозревал стукача в том же человеке, который подозревал его в стукачестве, причем оба не заметили настоящих стукачей, отлично видных и мне, и Мандельштаму. Мерзко смотреть на болезнь, которой охвачены огромные толпы, включая самих стукачей. Они-то болеют самыми тяжелыми формами этой болезни, поэтому их легко узнать по глазам – отчаянным, полным застывшего ужаса. В Петербурге эта болезнь – мания видеть во всех стукачей – достигла самого высокого уровня. Она отравляет жизнь людям и сейчас. Петербург – проклятый город, «сему месту быть пусту».

Ахматова назвала Петербург траурным городом. Траур носят живые по мертвым, а я только один раз видела живые лица в Петербурге – Ленинграде – в многотысячной толпе, хоронившей Ахматову и оцепившей сплошным кольцом церковь Николы Морского. Старухи, для которых церковь – дом, не могли в нее пробиться и справедливо негодовали на людей, никогда не ходивших в церковь и заполонивших все щели по случаю отпевания. Толпа была молодая – студенты сорвали занятия и

пришли отдать последний долг последнему поэту. Изредка мелькали современницы Ахматовой в кокетливых петербургских отрепьях. Невская вода сохраняет кожу, и у старушек были нежные призрачные лица. Москвичи выделялись отдельной группой, тяжеловесной и устойчивой. Молодежь не знала, как ведут себя в церкви, и толкалась, пробиваясь к гробу. Я стояла рядом с Левой, который впервые за несколько лет увидел мать. Он пытался прорваться к ней в больницу, но его не пустила жена Ардова, Нина Ольшевская. Она при мне приезжала в больницу, чтобы подготовить Ахматову к очередной «невстрече» с сыном. Нина убеждала Ахматову, что встреча может ее погубить, Ахматова возмущалась, но ничего поделать не могла. Ее энергично охраняли от сына.

Я приехала домой из больницы и застала Леву у своих дверей. Он был сам не свой, плакал, бесился, подробно рассказывал, как идиотка Ольшевская учила его, о чем можно, о чем нельзя говорить с матерью. Она внушала Леве, что в больницу он без ее разрешения (и без нее) не пойдет, для чего она грозилась принять соответствующие меры. Ему предложили ехать в Ленинград и ждать вызова, которого он, разумеется, не получил. От меня Ахматову охраняла внучка Пунина, ангелоподобное создание со злым маленьким личиком. Однажды она подслушала, что мы с Ахматовой говорим о завещании, и ей такой разговор не понравился. Появляясь в Москве, Аня нежно, но твердо просила меня по телефону не заходить, чтобы «не утомлять Акуму». Время от времени Ахматова поднимала крик, и тогда меня спешно призывали в больницу, но старались, чтобы кто-нибудь при нашей встрече присутствовал. Ахматова была стара и беспомощна, и ее окружали претенденты на фантастическое наследство, которое, к счастью, получил сын. Ахматовой удалось обмануть бдительных мелких хищниц и уничтожить вырванное в свое время (когда Лева был в лагере и лишен всех прав) завещание в пользу Ирины Пуниной.

В толпе, хоронившей Ахматову, был еще один по-настоящему осиротевший человек – Иосиф Бродский. Среди друзей «последнего призыва», скрасивших последние годы Ахматовой, он глубже, честнее и бескорыстнее всех относился к ней. Я думаю, что Ахматова переоценила его как поэта – ей до ужаса хотелось, чтобы ниточка поэтической традиции не прервалась. Вдруг она вообразила, что снова, как в молодости, окружена поэтами и опять заваривается то самое, что было в десятых годах. Ей даже мерещилось, что все в нее влюблены, то есть вернулась болезнь ее молодости. В старости, как я убедилась, люди действительно обретают черты, свойственные им в молодые годы (не потому ли,

что ослабевает самоконтроль?). Со мной этого как будто еще не произошло. И все же прекрасно, что нашлись мальчишки, искренно любившие безумную, неистовую и блистательную старуху, все зрелые годы прожившую среди чужого племени в чудовищном одиночестве, а на старости обретшую круг друзей, лучшим из которых был Бродский.

Мне случалось слышать, как Иосиф читает стихи. В формировании звука у него деятельное участие принимает нос. Такого я не замечала ни у кого на свете: ноздри втягиваются, раздуваются, устраивают разные выкрутасы, окрашивая носовым призвуком каждый гласный и каждый согласный. Это не человек, а духовой оркестр, но, кроме того, он славный малый, который, боюсь, плохо кончит. Хорош он или плох, нельзя отнять у него, что он поэт. Быть поэтом да еще евреем в нашу эпоху не рекомендуется.

Откуда взялось столько евреев после всех погромов и газовых печей? В толпе, хоронившей Ахматову, их было непропорционально много. В моей молодости я такого не замечала. И русская интеллигенция была блистательна, а сейчас – раз-два и обчелся… Мне говорят, что ее уничтожили. Насколько я знаю, уничтожали всех подряд, и довод не кажется мне убедительным. Евреи и полукровки сегодняшнего дня – это вновь зародившаяся интеллигенция, нередко вышедшая из мрачно-позитивистских семей, где родители и нынче твердят свою окостеневшую чушь. А среди молодых много христиан и религиозно мыслящих людей. Я однажды сказала Ахматовой, что сейчас снова первые века христианства и в этом причина перехода в христианство множества иудеев. Она закивала головой, но меня мой прогноз не устраивает. Все чаще приходит мысль о надвигающемся конце, окончательном и бесповоротном, и я не знаю, чем оправдать такую настроенность – моей собственной надвигающейся смертью или тенью, отбрасываемой будущим на весь еще недавно христианский мир. Лишь бы мне не увидеть еще зрячими земными глазами то, что, быть может, надвигается.

В наши дни предчувствие конца стало уделом огромных масс, и не только потому, что наука блестяще продемонстрировала свои возможности. Мне иногда даже думается, что наука просто дает рациональное обоснование естественному испугу людей перед делом своих рук. Об этом свидетельствует бесплодный взрыв философского пессимизма, который охватил весь Запад после второй мировой войны. Говорят, он исчерпывается, но у нас, искусственно задержанный, он подтачивает силы и так измученных людей. Но пессимизм, хоть я и назвала его

бесплодным, все же лучше, чем чудовищная, слепая и злобная вера в спасителей человечества, от которых нас-то спасает только таинственный закон самоуничтожения зла. Проклятая вера в «ничто» все же еще гнездится в чьих-то незрелых умах, о чем свидетельствуют портреты, которые вывешиваются в некоторых злосчастных западных университетах. Подлым душонкам захотелось погулять на воле: убийство тысячи-другой простых людей подарит каждого из них ощущением силы, которым так любят обзаводиться ничтожные духом. Они твердо знают, что палач всегда сильнее жертвы. Палач даже презирает свою жертву, потому что у нее испуганные глаза и брюки держатся не на ремне, а на честном слове, а потому сползают. Сытая скотина охотно морит голодом свою жертву, потому что голод снижает сопротивляемость. Зато когда по закону самоуничтожения зла бывшие соратники приступают к уничтожению своих, то есть тех самых, которые допрашивали, били, убивали или санкционировали «ради пользы дела» убийство «чужих», вчерашние «свои» вопят от удивления, рвутся доказать свою кристальную чистоту и рассыпаются на куски.

Всюду портреты и чувство надвигающегося конца. Люди ощущают его всеми порами и клетками души и тела. Один философ с неумеренно гениальными прозрениями публично заявил, что эсхатологические настроения – участь погибающих классов. Тот же философ доказал, что классовый подход – самый научный и точный. Остается вопрос: кто же погибающий класс в нашей стране, охваченной острой тоской и мучительным предчувствием конца?

# Жилплощадь в надстройке

Мы поселились в Москве, и я никогда не видела Мандельштама таким сосредоточенным, суровым и замкнутым, как в те годы (начало двадцатых годов), когда мы жили «в похабном особняке» в Доме Герцена с видом на «двенадцать освещенных иудиных окон». Сдвиг в стихах произошел еще в Тифлисе. Я услышала новый голос в стихотворении «Умывался ночью на дворе…». Москва же была периодом клятв: обет нищеты, но совсем не ради самой нищеты как испытания духа, дан в «Алексее», и он дополняется тем, что сказано в «Алискансе». Это не просто переводы, и они должны входить в основной текст, как «Сыновья Аймона». В этих вещах – в «фигурной композиции», как сказали бы художники, – Мандельштам выразил себя и свои мысли о нашем будущем. Он хотел напечатать все три вещи в одной из книг 22 года (в госиздатном «Камне» или во «Второй книге»), но воспротивился редактор – или цензура, что одно и то же. У нас ведь не цензура выхолащивает книгу – ей принадлежат лишь последние штрихи, – а редактор, который со всем вниманием вгрызается в текст и перекусывает каждую ниточку. Некоторые крохотные сдвиги произошли лишь в последние годы, но особого значения они не имеют… В «Сыновьях Аймона» личный элемент в жалобе матери: «Дети, вы обнищали, до рубища дошли», в «Алискансе» – боль при виде толпы пленников, щемящее чувство, которое мучит меня уже больше полувека, но ни я, ни «наши дамы» не требовали от мужчин ничего, кроме осторожности. И я еще меньше других, по той простой причине, что к Мандельштаму с советами лезть не стоило – не слушал.

Переводы из Барбье тоже не случайность. В них попытка осмыслить настоящее по аналогии с прошлым: обузданная кобыла, пьянство, а главное – дележ добычи победителями и кость, брошенная к ногам жадной суки. Последнее стихотворение почему-то не попало в трехтомник, хотя редакторы не поленились напечатать всякую поденщину и дрянь, спасавшую от голода, и даже переводы старательного Исайи Мандельштама. Когда-нибудь соберут и переводы Ахматовой, где не больше десяти строчек, переведенных ею самою, а все остальное сделано с кем попало на половинных началах. Иначе говоря, она получала переводы, что в наших условиях вроде премии или подарка, кто-то переводил, а гонорар делили пополам. Поступала она умно и спасала бедствующих людей, получавших за негритянскую работу не так уж мало – ведь ей платили по высшим расценкам. Глупо, что она уничтожала черновики, по которым можно было бы

определить авторов. Многие знают об ее способе переводить, в том числе и Лева, немало сделавший за мать, но вряд ли кто-нибудь об этом скажет, и в сочинениях Ахматовой будет печататься вся переводная мура. Надо пощадить поэтов – переводная кабала страшное дело, и нечего всю дрянь, которую они переперли, печатать в книгах. У Мандельштама серьезная переводная работа только «Гоготур и Апшина» и Барбье. Он с опозданием выполнил совет Анненского и на этих переводах чему-то учился. Сознательно выбраны и тексты Барбье – особенно «Собачья склока». В ней отношение к народной революции и отвращение к победителям, которые пользуются плодами народной победы. Тема для нас актуальная.

Меня же не перестает огорчать, с каким аппетитом Мандельштам поносит в некоторых переводах жен. Кобелек с добычей спешит домой, «где ждет ревнивая, с оттянутою шерстью, гордячка-сука муженька», а Гоготур говорит жене: «Что ты мелешь, баба глупая, без понятья, необдуманно… Ты не суй свой нос, безродная, в дело честное, булатное, твое дело веретенное, веретенное, чулочное…» Чуть доходило до ругани с «безродной сукой», язык перевода приобретал свежесть и глубоко личный звук. Ругался он, правда, только в переводах. В стихах на ту же тему о бедняжке Европе, которой хочется удрать от безвесельного гребца хоть на дно морское – «и соскользнуть бы хотелось с шершавых круч», – есть жалость к девочке-женщине, и он понимает, насколько ей «милее уключин скрип, лоном широкая палуба, гурт овец», словом, мирная жизнь с обыкновенным хозяйственным мужем-добытчиком, а не с быком-похитителем, беспутным бродягой, который тащит ее неизвестно куда. И внешне, Мандельштам сказал, я была чем-то похожа на Европу со слабой картинки Серова – скорее всего, удлиненным лицом и диким испугом.

Во мне, конечно, была и девочка-Европа, и потенциально «гордячка-сука», и Мандельштам не щадил сил, обуздывая жажду домостроительства и мечту, чтобы и у нас было, как у всех. По правде сказать, он держал меня в ежовых рукавицах, а я побаивалась его, но виду не показывала и все пыталась не то чтобы соскользнуть, но ускользнуть хоть на часок. Но ничего не выходило даже на минутку… Он понимал меня насквозь и свободно читал в моих мыслях. Да это и несложно: какие мысли у двадцатилетней дурехи!

Я вспоминаю убогие мечты мои и женщин моего поколения: домишко, вернее, комната в коммунальной квартире, кучка червонцев – хоть на неделю вперед, туфельки и хорошие чулки. Женщины, замужние и секретарши, – все мы бредили чулками.

Непрочные – из настоящего шелка, чуть прогнившего, – они рвались на второй день, и мы, глотая слезы, учились поднимать петли. А кто из нас не плакал настоящими слезами, когда ломался проклятый каблук, пришедший из совсем другой жизни, на единственных, любимых, ненаглядных, глупых лодочках, созданных, чтобы в них сделать два шага – из особняка в карету… Ведь и в той прежней, устойчивой жизни никаких особняков и карет у нас не было бы. Муж-банкир слишком дорогая плата за благополучие, да и банкиры за свое золото требовали лучшего товара, чем дуры в лодочках. И хоть единственная пара туфель и одна пара чулок, но все же она у нас была, и мы выпендривались как хотели…

Дурень Булгаков – нашел над чем смеяться: бедные нэповские женщины бросились за тряпками, потому что им надоело ходить в обносках, в дивных юбках из отцовских брюк. Да, надоело, и нищета надоела, а сколько усилий требовалось, чтобы помыться в огромном городе, где первым делом уничтожили все ванные комнаты. Мы мылись, стоя на одной ноге и сунув другую под кран с холодной водой. Если нам попадала в руки тряпка, тут же разыгрывалось необузданное воображение, как бы из нее, вожделенной, сделать нечто прекрасное и годное на все случаи жизни. На гонорар за «Вторую книгу» Мандельштам купил мне голубую лисичку, и все подруги умерли от зависти, но оказалось, что это не шкурка, а клочки шерсти, ловко нашитые на бумазейную тряпку. Нищета была всеобщей, и только дочери победителей и «гордячки-суки» планомерно из нее выбивались. Число их умножалось с годами, но я уже знала, что мы принадлежим к разным классам.

Единственное, что вызывало улыбку Мандельштама, – это городские воробьи и бедные девочки, которые в дождь босиком шлепали по лужам, чтобы не испортить с таким трудом добытые лодочки. О них он с теплотой, вызвавшей у меня приступ ревности, рассказал в «Холодном лете». Зато «дам» он не переносил до ужаса и отвращения. Несколько «дам», салонодержательниц, еще цвели в Москве и в Ленинграде. Они таинственно прижились в новых условиях и доверия не вызывали. Если мы случайно сталкивались с ними, Мандельштам становился непроницаемым, и я дрожала, что он вдруг нахамит по первому классу. Кое-кто из жен и сестер победителей благоволил «культуре». Вокруг них увивались дельцы типа Эфроса, устраивая дела свои и своего круга. Этих ни я, ни Мандельштам не видели никогда, и сейчас уже иссякают кретинские выдумки, что он наслаждался богатством, которого был лишен в юности, и прямо противоположные истории – будто

он съел все печенье или всю икру у Каменевой… Рекомендую прочесть мемуары художницы Ходасевич, чтобы понять, чем пахло благополучие в те годы. Там вкраплена лживая история про Бабеля, вызволившего ее мужа из Чека, столь же достоверная, как рассказ о том, что ей показали в символистическом московском салоне среди прочих «модернистов» и Мандельштама в годы, когда он еще ходил с ранцем в школу и в Москве не бывал.

В суровом человеке, с которым я очутилась с глазу на глаз на Тверском бульваре, я не узнавала беззаботного участника киевского карнавала. В Грузии на эмигрантских хлебах мы успели привыкнуть друг к другу, но еще не сблизились. В Москве я не успела оглянуться, как он заарканил и взнуздал меня, и поначалу я еще пробовала брыкаться. Меня тянуло к людям, к остаткам карнавала, который еще кое-где переплескивался. Меня звала приятельница, хозяйка шумного однокомнатного дома, куда захаживал сам Агранов и его будущие жертвы. Днем Мандельштам иногда соглашался зайти на минутку в этот дом, но вечером ни под каким видом. Одну меня он не отпускал никуда, и я так и не увидела московского салона времен становления империи. За мной заходили, чтобы вместе пойти в ночной подвал, открытый Прониным на манер «Собаки». Мандельштам не пустил. «Но ведь ты же сам бывал в „Собаке”», – говорила я. Он отвечал: «Очень жаль» или «Время теперь другое»… Из нашей комнаты было видно, как зажигаются окна в Доме Герцена, – это собирался Союз писателей или Союз поэтов, раздельно существовавшие тогда под одной крышей. По приезде Мандельштам зашел туда на какие-то заседания, а потом больше не заявлялся. К нашему окну непрерывно подходили люди по дороге в писательские канцелярии, и Мандельштам вежливо с ними разговаривал, но в личные отношения не вступал ни с кем. Официальная изоляция еще не началась, но он сумел изолироваться сам. Он знал, что тех, кого он мог бы назвать «мы», уже не существует, а случайных встреч и связей избегал. Да и с кем было якшаться: с Асеевым, усачами или попутчиками? С кем из них был возможен разговор или шутка? К нам приходил Лопатинский, заглядывал Якулов, остроумный, острый и легкий человек, появлялся Аксенов, желчный и умный. Однажды Якулов потащил нас к Краснушкину, где пили до одурения, но больше соблазнить Мандельштама бесплатной водкой не удалось. Якулов говорил, что русская революция не жестокая, потому что всю жестокость отсосала Чека. Сам он потом узнал, что это за птица. На его похороны Луначарский отвалил кучу денег, и Мандельштам возмущался: при жизни морят и лишают жены (ее посадили), а на мертвого не жаль и расщедриться. Мы жили

рядом с Камерным театром, и туда нас зазывали художники, ходили и на постановки Мейерхольда, иногда с отвращением, иногда с интересом смотря одну за другой невероятно разные постановки. Театралами мы не стали. И театр был внутренне пуст и страшен, несмотря на внешний блеск. Все твердили одно слово: «биомеханика». Это было модно и пышно.

В двадцать втором году на Мандельштама был еще спрос. Кроме Нарбута с новым акмеизмом без Ахматовой, но с Бабелем и Багрицким, были кучи других предложений деловых литературных союзов. Однажды Мандельштама зазвал к себе Абрам Эфрос – я была с ним – и предложил «союз», нечто вроде «неоклассиков». Все претенденты на «неоклассицизм» собрались у Эфроса – Липскеров, Софья Парнок, Сергей Соловьев да еще два-три человека, которых я не запомнила. Эфрос разливался соловьем, доказывая, что без взаимной поддержки сейчас не прожить. Большой делец, он откровенно соблазнял Мандельштама устройством материальных дел, если он согласится на создание литературной группы, – «вы нам нужны»… Где-то на фоне маячил Художественный театр и прочие возможные покровители. Мандельштам отказался наотрез. Каждому в отдельности он сказал, почему ему с ними не по пути, пощадив только молчаливого Сергея Соловьева («за дядю», как он мне потом объяснил). Я и тогда прекрасно понимала, что подобное объединение было бы полной нелепостью, но Мандельштам обладал способностью наживать врагов резкостью и прямотой, совершенно необязательными в подобных ситуациях. Эфрос никогда этой встречи не забыл, и она отозвалась в последующие годы достаточно явно – тысячами серьезных и мелких пакостей. Все прочие, люди безобидные, просто навеки запомнили нанесенные им обиды.

Сходная ситуация была и в Ленинграде, где в первый наш приезд нам пришлось побывать у Анны Радловой, потому что Мандельштам был с ней в свойстве и мы приехали после смерти ее сестры, на которой был женат брат Осипа Евгений. Мать Радловой, Марья Николаевна Дармолатова, осталась жить с осиротевшей внучкой Татькой и ненавистным зятем. Из-за нее мы и пошли с «родственным» визитом к Радловой. Там собрались Кузмин с Юркуном и, кажется, с Оленькой Арбениной, художник Лебедев, муж второй сестры – Сарры Дармолатовой или Сарры Лебедевой, будущего скульптора, и еще несколько человек, и я опять услышала, как Мандельштама заманивают в объединение или союз – на этот раз синтеза всех искусств – поэзии, театра, живописи… Сергей Радлов, режиссер, с полной откровенностью объяснил Мандельштаму, что все лучшее в искусстве собрано за

его чайным столом. Вот лучшие поэты, художники, режиссеры… Был ли там композитор? Не помню. А вот Юркун шел за прозаика. Материальная база – театр, который обеспечит и Мандельштама, как и других членов объединения. Имя Мандельштама необходимо для укрепления художественной ценности союза, он же получит поддержку группы во всех смыслах и во всех отношениях… Кузмин молчал, хитрил и ел бычки, лучшие по тому времени консервы. За него говорил Юркун, и даже чересчур энергично. «Низок» – как говорила Ахматова. И еще: «Срамотища»…

На этот раз Мандельштам вел себя гораздо приличнее, чем у Эфроса: он просто мычал и делал вид, что ничего не понимает. Наконец Радловы, оба – и муж, и жена, задали вопрос напрямик: согласен ли Мандельштам позабыть устаревший и смешной акмеизм и присоединиться к ним, активным деятелям современного искусства, чтобы действовать сообща и согласованно? Мандельштам сказал, что по-прежнему считает себя акмеистом, а если это кажется кому-нибудь смешным, то ничего не поделаешь… Все дружно набросились на акмеистов, а Кузмин продолжал помалкивать и лишь изредка вставлял слово, чтобы похвалить стихи Радловой. У меня создалось ощущение, что он-то и является душой этой заварухи, но втайне издевается над всеми, в частности над Радловой. Скорее всего, ему было наплевать на что бы то ни было, но из дружеской связи с Сергеем Радловым он умел извлекать пользу, а для этого полагалось хвалить Анну Радлову. Больше других шумел Юркун, и я впервые услышала, как поносят Ахматову.

Впоследствии мне случалось встречать всю троицу у Бенедикта Лившица, и Олечка Арбенина спросила меня, за которую я из двух Анн: за Радлову или за Ахматову. Мы с ней были за разных Анн, а в доме Радловых, где собирались лучшие представители всех искусств, полагалось поносить Ахматову. Так повелось с самых первых дней, и не случайно друзья Ахматовой перестали бывать у Радловой. Один-единственный раз Мандельштам нарушил старый сговор и еле унес ноги. Иногда я встречала Радлову у ее матери, и она всегда, увидав меня, старалась покрепче ругнуть Ахматову, но больше по женской линии: запущенна, не умеет одеваться, не способна как следует причесаться, словом – халда халдой… Это была маниакальная ненависть, на которую способны только люди. Иногда – за преданность Ахматовой – доставалось и мне, но в замаскированной форме: некто, кажется Миклашевский, женился на одесситке, и все друзья готовы провалиться со стыда, когда она открывает рот… «А вы из Киева? Там говор вроде одесского?»

Иногда же через меня она пыталась сойтись с Мандельштамом: отчего бы не завести обычай гулять по утрам? Мы бы прошлись вдвоем и вернулись позавтракать к нам, и Мандельштам бы за вами зашел…

Все это вскоре кончилось. В 22 году еще казалось, что возможны литературные объединения и какая-то литературная жизнь. Последней группой были «обэриуты». Остатки «серапионов» и «опоязовцев» и сейчас с наслаждением вспоминают двадцатые годы как пору расцвета и яркой литературной жизни. На самом деле это была жалкая инерция десятых годов, как у Эфроса и Радловых, или содружество обреченных, как у «обэриутов», которые примостились около Маршака и зарабатывали на хлеб детскими считалками. Изоляция, которую выбрали Мандельштам и Ахматова, была единственным выходом. Началась эпоха одиночек, противостоявших огромному организованному миру. Она продолжается и сейчас, хотя одиночек уже тоже нет.

В 23 году произошло нечто, резко изменившее положение Мандельштама, какое-то совещание или постановление, кто его знает, но он вдруг был снят со счетов. Имя его исчезло из списков сотрудников всех журналов, всюду стали писать, что он бросил поэзию и занялся переводами, за границей это доверчиво повторяли глубокомысленные газеты вроде «Накануне», словом, началась официальная изоляция, длящаяся по нынешний день. «Общество» сразу отшатнулось, и уже никто не предлагал ему вступать в литературные союзы. Идеология набирала силы. Пока шла война, государство улыбалось всем, кто предлагал сотрудничать. Отсюда краткий роман с «левым искусством». К концу войны предложение стало превышать спрос, и левых быстро оттеснили. Возник Авербах, и будущее оказалось за ним. Он победитель, так как литература идет проложенным им путем. Его не вспоминают и не восхваляют, потому что его успели расстрелять. Расстреливали и своих и чужих без разбору.

Добывая деньги на содержание своей Европы, Мандельштам вынужден был ходить по редакциям. Его наперебой старались просветить, чтобы он не так чудовищно отставал от жизни. Однажды он сообщил мне свежую новость: «Оказывается, мы живем в надстройке!..» Кто-то позаботился, чтобы Мандельштам узнал о соотношении базиса и надстройки. В надстройке жилось омерзительно грязно и постыдно, и мы оба видели, как ослабевают связи между людьми. Они даже не ослабели, а рухнули, и прежде всего исчезло искусство разговора. Внезапно появились рассказчики, потому что разговаривать было не о чем. Кому скажешь, что базис и надстройка – нелепая схема? Самое

удивительное – как долго держалась эта схема, и люди порядочные – не подлецы и не карьеристы – совершенно серьезно обсуждали, каким образом «классическое наследство переходит из одной надстройки в другую». «В чемоданчиках переносят», – сказала я одному человеку, которому вполне доверяла. «Это уже слишком, – ахнул он, – ведь литература уж наверное надстройка…» Какой путь должны пройти дети, выросшие в таких домах, чтобы научиться думать, отвечать и говорить? До сих пор ведущее место занимают рассказчики, чаще всего безудержные хвастуны. Старшие поколения держат под кроватью чемоданчики с «Двенадцатью стульями», Олешей и Багрицким на случай, если придется переселиться в новую надстройку.

В двадцатых годах начисто исчезла шутка и в течение полувека использовалась только как хорошо оплачиваемый агитационный прием. Такая шуточка гнездилась в лефовских кругах, и ее родоначальником был Петенька Верховенский, первый русский футурист. Она предназначалась для того, чтобы огорошить и ошеломить, как Петенька ошеломил своего чувствительного папашу. «Леф» и «На посту» – два ведущих журнала начала новой эры, но лучше их не перелистывать, чтобы не задохнуться. Они казались противопоставленными, а на самом деле это близнецы. Шутка Мыльникова переулка была безобиднее, пока она существовала в устном фольклоре Катаева. Получив идеологическую обработку Ильфа и Петрова, она приблизилась к идеалу Верховенского.

В Москве двадцатых годов шутить было не с кем. Шутки Петеньки и одесситов стояли поперек горла. Единственное здоровое в нашей жизни – анекдоты. Они начались с первых дней и не иссякали ни на миг. Анекдот – единственный отклик на общественную жизнь. Кто их сочиняет? Одно время их приписывали Радеку, но мы в его авторство не верили. И действительно – он погиб, а анекдоты не иссякли. Начальство активно боролось с этим незаконным жанром. В самом начале двадцатых годов сослали неосторожного коллекционера, собравшего и пробовавшего классифицировать анекдоты. Он исчез навсегда. За ним последовали другие, пойманные на рассказе очередного анекдота другу, конечно, а не врагу. Несмотря на все меры, анекдота не победили. Этот летучий жанр непобедим. Есть анекдоты столичные, провинциальные, городские, деревенские. Анекдоты быстрее Самиздата облетают всю страну. Я заметила, что в хрущевское время появились анекдоты не только за «нас» (здесь «мы» очень широкое и включает все виды интеллигенции, технократов, школьников и даже самых человечных таксистов), но и против «нас». Мы

подметили их еще с Ахматовой. Они маскировались под обычный жанр, но были активно антихрущевские и часто антисемитские. Обслуживают они толпу, стоящую в очереди за пивом, и дружные компании, щелкающие костяшками домино во дворах. Зато «наш» анекдот расширил тематику и неотразим. В самое последнее время в нем сильней, чем когда-либо, пробилась гуманная тема и жесткое разоблачение принципиальных сторонников убийства «ради пользы дела»…

Кто-то выдумал, что Мандельштам был мастером анекдота. Это неправда: он любил анекдоты, смеялся, недоумевал, откуда они берутся, но его шутка принадлежит к совершенно иному разряду, чем анекдот, – острая сатира кратчайшего размера с фабульным построением. Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка, лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям – к Маргулису, ко мне, к Ахматовой. Это стишок-импровизация «на случай» или игра вроде тех, в которые он играл с моим братом, например совместное заявление в Комакадемию о том, что «жизнь прекрасна». В шутке Мандельштама всегда есть элемент «блаженного бессмысленного слова».

Партнерами по шуткам Мандельштама были еще Кузин и Яхонтов. В шутках Кузина всегда было нечто буршевское, чуждое Мандельштаму. Кузин обожал всякие буриме, а это не свойственно спонтанной и свободной шутке Мандельштама. Яхонтов в сочинении шуток не участвовал, но был их верным и точным исполнителем. В дружбе с Яхонтовым были приливы и отливы. Она началась в конце двадцатых годов, но тогда ни шуток, ни стихов не было. В тридцатых – приступы дружбы сопровождались целым ворохом стихотворных шуток, которые часто принимали форму диалога: «Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович – аж на Покровку она худого пустила жильца. – Бабушка, шубе не быть! – вскричал запыхавшийся внучек. – Как на духу Мандельштам плюет на нашу доху…» Мы прожили два месяца в наемной комнате на Покровке – в комнате женщины, уехавшей на работу в Сибирь, но – увы! – за комнату не заплатили. Кормилицей была я – Мандельштам подвергся уже полному остракизму, – но не выдержала, заболела и попала в Боткинскую больницу.

Зарабатывала я службой в газете «ЗКП» («За коммунистическое просвещение»). Сманил меня туда Маргулис: «Старик Маргулис под сурдинку уговорил мою жену вступить на торную тропинку в газету гнусную одну. Такую причинить обиду за небольшие барыши! Так отслужу ж я панихиду за ЗКП его души…» Лучшие «маргулеты» пропали. Их законом было –

начинаться со слов «Старик Маргулис» и получать одобрение самого «старика»… Вот еще «зекапинная маргулета»: «У старика Маргулиса глаза преследуют мое воображенье, и с ужасом я в них читаю „За коммунистическое просвещенье“». Старик Маргулис с трудом примирился со следующей «маргулетой»: «Я видел сон, мне бес его внушил: Маргулис смокинг Бубнову пошил, но тут виденья вдруг перевернулись, и в смокинге Бубнова шел Маргулис», но зато любил песенку, как он на бульваре высвистывает с Мандельштамом Бетховена. Эту мне не вспомнить… Идиотское толкование невиннейшей шутке дал некто Осипов, ну его к черту… «Старик Маргулис из Наркомпроса, он не географ и не естественник, к истокам Тигра и Эфроса он знаменитый путешественник…» «Тигр и Эфрос» – перелицовка «Тигра и Евфрата». Речь идет об Абраме Эфросе, великом дельце, соблаговолившем устроить Маргулису переводик…

Мы почти никогда не записывали стихотворных шуток. В Воронеже мне подарили твердый и чудный листок японской бумаги, и я записала все, что удалось вспомнить. Листок пропал у Рудаковой. Небольшая кучка шуток сохранилась в архиве. Одни записаны моим братом, другие Мандельштамом – в Воронеже. Я не знаю, чего стоит этот озорной жанр, – Шкловский и Харджиев презирают его, а нам он доставлял много веселья. Кое-что из шуток вошло в основной текст («Это какая улица? Улица Мандельштама…», «У нашей святой молодежи…» и др.). Нет дома, на котором можно было бы прибить доску, что «здесь жил Мандельштам», нет могилы, чтобы на ней поставить крест, и в этой стране, которую мы называем своей, давно уже стараются растоптать все, что сделал Мандельштам. Так было, и так будет. Поэтому хорошо, что он успел переименовать целую улицу в свою честь: «Вот почему эта улица или, верней, эта яма так и зовется по имени этого Мандельштама…»

Маргулис умер в лагере почти одновременно с Мандельштамом, Яхонтов выбросился из окна в припадке страха, что идут его арестовывать. Как могли мы жить и смеяться, хотя всегда знали, какой нас ждет конец?

# В преддверье

Мы жили на Тверском бульваре, и нам почему-то пришлось пойти в милицию, вероятно, для прописки. Прописки у нас никогда не отменяли, но в двадцатых годах процедура проходила довольно просто и страха не вызывала. В милиции всегда очередь. От скуки я разговорилась с крестьянской бабенкой, моей ровесницей, с отличным сосунком на руках. «Ты чего за такого старого пошла? – спросила она, разглядывая Мандельштама. – Выдали, что ли? А я себе сама взяла…» Мандельштаму было тридцать один или два, а девчонкин мужик, совершенный сопляк, казался лет на пять моложе жены. Такие браки в деревне не редкость – взяли примака, и бойкая жена потащила его в город на заработки. Очень она была бойкая – ей одна дорога: либо потом ее раскулачили, либо она сама раскулачивала соседей.

Дурацкий разговор врезался мне в память, потому что я тогда остро чувствовала, что Мандельштам не только по внешнему виду – он всегда выглядел старше своих лет, – но и всем своим существом достиг ранней, но настоящей зрелости. По-моему, основные мысли и представления – те, на которых строится личность, – сформировались у него очень рано, еще до двадцати лет. Об этом свидетельствуют ранние статьи, особенно «О собеседнике», которую он написал в двадцать один год. Мне смешно, что Лурье называет его «Божьим младенцем», а Никита Струве говорит о «божественном лепете» писем. В тех немногих письмах, которые написаны не мне, никакого лепета нет, а эти, случайно вырвавшиеся из-под моего контроля (я переписала их для Ахматовой, а она, не спросясь, пустила по рукам), глубоко личные и показывают его отношение ко мне, совсем молодой, удивительно незрелой да еще больной девочке. Для него я всегда была младшей, которую нужно утешать, беречь да еще держать в руках, чтобы не наделала глупостей. Даже в письмах из Воронежа, когда мы оба отлично понимали, что нас ждет, а девчонская дурь давно исчезла, иногда мелькает фраза о безнадежности («Кто его знает, что еще будет», «Если будем жить», «Ничему хорошему не верю»), но тут же он обрывает себя, меняет тон и говорит, что мы сильные и «нам отчаиваться стыдно»… Он потому и болтает со мной в письмах, чтобы я улыбнулась и поборола отчаянье, сопротивляться которому было почти невозможно. Надо зачеркнуть «почти» – просто «невозможно».

Никита Струве думает, что Мандельштам не понимал «трагической изнанки благой вести», жил мечтой о золотом веке и обладал своеобразным хилиазмом. Так ли это? Хилиасты верят

в царство гармонии на земле, а Мандельштам сохраняет духовное веселие при полном сознании трагического разворота истории и собственной судьбы. Накануне гибели он наслаждается «величием равнин» и тут же спрашивает, «не ползет ли медленно по ним тот, о котором мы во сне кричим, – народов будущих Иуда?» Сила Мандельштама в сознании своей свободы, в том, что он свободно принимает свой жребий и полон благодарности за все дарованное ему. Небо, воздух, трава, дыхание, любовь – вот сокровища, которыми он располагает. Он никогда не ставил себе целей, не обольщался призраками счастья или удачи, но свой «воздух прожиточный» ценил превыше богатства, славы, хвалы и ласки людей. Это не детские черты – ребенок не знает жизни и полон желаний. Он целиком зависит от окружающих и требует от них внимания. Внутренней свободой может обладать только воистину зрелый человек.

Разумные люди говорили о легкомыслии Мандельштама, и я тоже, потому что трехкопеечного благоразумия во мне сколько угодно. Они удивлялись его жизнелюбию, и я тоже, потому что любить эту жизнь, да еще в наше столетие, – слишком трудно. Все, кто писал о нем, изображали его почти дурачком – вечно смеется, денег зарабатывать не умеет (про это писал и Георгий Иванов, но употребил неточный термин: добывать не умел), словом – солидности никакой… Секреты добывания денег и раньше, и в наше время слишком просты. Мандельштам их знал, но использовать не желал. И меня продавать не хотел – даже в газету…

Основная черта Мандельштама – он не боролся за свое место в жизни, потому что не хотел. Он не обольщал людей – «душеловцами» были все поэты и писатели, особенно в десятые годы. Мандельштам вполне сознательно на это не шел и жил в любых условиях – лишь бы я не пришла в полное отчаяние. Я была единственной собственностью Мандельштама, и он положил немало трудов, чтобы хоть немного, хоть чуть-чуть меня к себе приспособить, внушить мне хоть каплю своего миропонимания. Эту капельку я восприняла и потому знаю, в чем истоки его веселья и, радостного восприятия мира, которые были загадкой для мелких жизнелюбцев, ставивших то на одну, то на другую лошадку и скрежетавших зубами, когда не она прибегала к финишу.

Даже Ахматова не до конца понимала Мандельштама. В лучшую пору жизни в ней были сильная аскетическая струя и пафос отречения. Не находя ни того, ни другого в Мандельштаме, она терялась, потому что всех, особенно ее, настоящую женщину, тянуло к суждению по аналогии. По аналогии она пыталась

судить и обо мне, и о наших отношениях с Мандельштамом и во многом, если не во всем, попадала впросак. Ближе Ахматовой у нас никого не было, и раз она не видела основных формообразующих сил Мандельштама, то от других ждать этого нельзя. Мне кажется, что время раскроет его сущность. Ведь его еще не прочли: трехтомник только вышел и мало кому доступен. Для меня это огромное счастье. Я не надеялась, что увижу изданного Мандельштама, буду держать в руках книги, делать заметки на полях, исправлять ошибки текстов и радоваться, что дело моей жизни сделано: книги есть, что-то пропало, но основное сохранено и существует. Кто мог на это надеяться?

Мандельштам упорно добивался, чтобы, сойдясь с ним, я стала соучастницей его судьбы и тревоги, особенно сильной не в конце жизни, когда все стало ясно, а в двадцатых годах (до «Четвертой прозы», написанной зимой 1929 года), потому что будущее еще смутно маячило, и он то обретал, то терял надежду, что люди опомнятся, очнутся, наладят жизнь, остановят братоубийство и кровопролитие. Иногда он начинал сомневаться в собственном зрении: уж не его ли ошибка, что он все видит не так, как огромные толпы? Но чаще он сознавал – и об этом есть в стихах, – что только потоки крови принесут исцеление и кто-то «своею кровью склеит двух столетий позвонки»… «На пороге новых дней» он чувствовал себя «захребетником», который трепещет и не может примириться с действительностью.

Мы были настолько оторваны от мира, что не отдавали себе отчета, насколько сходны процессы, проходящие в разных странах и в разной форме. Та форма, в которой они протекали у нас, была так наглядна, что поглощала все наше внимание. Жизнь как будто налаживалась, многим казалось, что она бьет ключом, но каждый день мы узнавали что-нибудь новое, наводившее ужас и уничтожавшее всякую надежду на исцеление. Должно быть, будущее отбрасывало тень на этот самый идиллический период нашей жизни: революционный террор кончился, на улицах не стреляли, ходили трамваи, открылись магазины и рынки. Прошел слух о больших арестах среди интеллигенции, но к нам забежал проститься Кузьмин-Караваев, участник первого «Цеха» (помнится, это был он), и в восторге рассказал, что всех арестованных выпустили на второй день и отсылают за границу. Он был католиком и решил ехать в Рим – поцеловать туфлю Папе Римскому. Кое-кто не захотел уезжать и сумел отбиться. В такой акции ничего жестокого не было – остракизм самая мягкая мера против инакомыслящих. Большинство утверждало, что совершился перелом и эпоха расстрелов кончилась – немного ссылают в Соловки, но молодое, неокрепшее государство должно

обороняться, не то опять пойдет анархия и разруха… «Бросьте свои интеллигентские штучки»…

Нам рассказывали, что в Соловках ссыльные благоденствуют, работают, исправляются, издают газету… Показывали какие-то издания, поднесенные почетным гостем из главного учреждения. Хозяева гордились таким гостем и распространяли «доверительные сведенья», которые он сообщал за чайным столом. Мандельштам, когда я повторила нечто подобное, сказал, что еще ни разу не видел ссыльного, вернувшегося из Соловков, и пока не увидит, казенным слухам верить не будет. За всю жизнь я не видела ни одного человека, побывавшего в Соловках и уцелевшего. Чем это объяснить?

Ссылали в Соловки втихаря, прямо с Лубянки. Тех, кого высылали, иногда отпускали на день-другой для устройства дел. Они рассказывали о режиме во внутренней тюрьме, о методах допроса и о технических приемах следователей, набиравших силы для больших дел. Забежав на десять минут, они спешили уйти, чтобы справиться с ворохом неотложных забот. Я запомнила высокого синеглазого человека, знавшего Мандельштама по дому Синани. По иронии судьбы, он очутился в камере с белобородым дедушкой, известным работником охранки (не Дубровиным ли?). Тот сидел с первых дней октября, и обычно в одиночке. Ему придавали сокамерника, когда не хватало тюремной «жилплощади», и он радовался возможности поговорить. Он был смертником, но его использовали как консультанта. Своим опытом он охотно делился с работниками Чека – рад был послужить России…

Возвращаясь с Кавказа, мы на станциях и вокзалах впервые увидели беглецов с Волги – изможденные матери с маленькими скелетиками на руках. Однажды я видела ребенка после менингита – именно так выглядели приволжские дети. Все годы меня преследовало зрелище: умирающая от голода мать с живым ребенком или еле живая мать с умирающим ребенком: голод в Поволжье, голод на Украине, голод раскулачиванья и голод войны плюс вечное недоеданье. Одну из таких женщин я запомнила с ослепительной яркостью. Я шла с Жуковской улицы в Ташкенте в университет. Было это вскоре после войны. По дороге есть площадь, спланированная по прихоти Кауфмана наподобие парижской Этуаль. В сквере на площади сидела на земле, прислонясь к стволу высокого дерева, русская крестьянка с отекшим сизым лицом, ногами как кувалды и плетями беспомощных рук. Рядом ползал и смеялся хилый детеныш, годовалый или побольше. Возраст таких детей неопределим – рост замедляется, иной трехлетний выглядит годовалым. Я

заметила, что глаза матери стекленеют. Она еще была жива, но потеряла сознание или отходила. Ребенок лапками загребал гальку и смеялся. Мимо шли откормленные люди – местные как-то пристраивались и жили сносно, а приезжие уже вернулись по своим домам. Подозвали милиционера, вызвали «скорую помощь». Развернули головной платок и нашли документы. Она завербовалась на работу и не то сбежала, не то не добралась. Узбеки добры к детям – они брали военных сирот всех национальностей, и они росли в крестьянских домах с узбечатами и, белокурые и голубоглазые, сами становились узбеками. Этого заморыша, наверное, спасли, а приволжские дети в стране, истощенной гражданской войной, погибали на всех дорогах и еще чаще на печи у себя в избе – рядом с матерью. Уходить было некуда – каждая корка хлеба была на счету.

О голоде в Поволжье ходили смутные слухи. По рукам ходило послание патриарха Тихона, бравшегося организовать помощь голодающим. Веселенькие москвичи посмеивались и говорили, что новое государство не нуждается в помощи поповского сословия. Где-то в Богословском переулке – недалеко от нашего дома – стояла церквушка. Мне помнится, что именно там мы заметили кучку народа, остановились и узнали, что идет «изъятие». Происходило оно совершенно открыто – не знаю, всюду ли это делалось так откровенно. Мы вошли в церковь, и нас никто не остановил. Священник, пожилой, встрепанный, весь дрожал, и по лицу у него катились крупные слезы, когда сдирали ризы и грохали иконы прямо на пол. Проводившие изъятие вели шумную антирелигиозную пропаганду под плач старух и улюлюканье толпы, развлекающейся невиданным зрелищем. Церковь, как известно, надстройка, и она уничтожалась с прежним базисом.

Мы вечно повторяем, что с революцией открылась древнерусская живопись, прежде запрятанная под тяжелыми ризами, но как она открывалась, мы помалкиваем. И мы не вспоминаем, что несчетное количество икон было уничтожено и разрублено на щепки, масса церквей в Москве и по всей стране разрушена до фундамента. Хорошо, если церковь превращена в склад, – у нее есть шансы уцелеть. В Пскове я как-то стояла возле прелестной церковки – они там маленькие и замечательно гармоничные. Проходивший мимо человек рабочего вида остановился и спросил, знаю ли я, что церкви использовались как тюремные камеры, куда впритык набивали заключенных, когда в огромной старинной тюрьме не хватало места. Разговор начала шестидесятых годов. Он еще это помнил, скоро все забудется. Свидетели вымирают… Метод у меня анахронический, и я

вспоминаю старуху, которую мы посетили с Фридой Вигдоровой, собирая материалы для «Тарусских страниц». Нищая койка, покрытая тряпьем, протекающий потолок, плесень, черепки, грязь. Старуху использовали для всех приезжающих журналистов – у нее был ловко подвешенный язык. Активная колхозница, она работала безотказно, куда бы ее ни послали. Она балясничала как хотела, и Фрида вдруг спросила: «А икон у вас нет?» – «Я не верю в иконы, – ответила старуха, – я верю в Советскую власть»… Нас ждала машина, мы удрали от старухи, и Фрида сказала: «Много ей дала советская власть. Вы видели, как она живет?» Старухе уже тогда было вроде как семьдесят, и года через три ей выдали, если она дожила, пенсию. Милостивец Хрущев дал пенсию сначала городским, а потом – деревенским старикам. Вера говорливой старухи воплотилась в тридцатку, а когда-то она, наверное, улюлюкала, когда разоряли церковь в ее родной деревне. У нее была обида на Бога за то, что он не набил ей карманы золотом. Я не знаю, жив ли остался священник, по лицу которого катились слезы. У него был такой вид, что вот-вот его хватит удар. Я помню растерянный вид Мандельштама, когда мы вернулись домой, поглядев, как происходит изъятие. Он сказал, что дело не в ценностях. Бывало, что снимали колокола и отливали из них пушки. Бывало, что все церковное золото отдавалось на спасение страны. (Я помнила с детства: «заложим жен и детей»). Он сказал, что церковь действительно помогла бы голодающим, но предложение Тихона отклонили, а теперь вопят, что церковники не жалеют голодающих и прячут свои сокровища. Одним ударом убивали двух зайцев: загребали золото и порочили церковников. Он еще сомневался, что добытые средства дойдут до голодающих, а не будут истрачены на «мировую революцию»… Недавно в одном из журналов, самом «прогрессивном», печатались мемуары женщины, с иных позиций наблюдавшей «изъятие». Она ездила в голодающие районы распределять помощь. Людей накормить не удалось, но им дали посевной материал, и они, питаясь лебедой и падая с голоду, все же засеяли поля. Женщина – настоящая последовательница Ленина, и ее гуманное сердце сочилось кровью от жалости. Ей не пришел в голову вопрос, почему всех церковных богатств, накопленных веками, не хватило, чтобы накормить сравнительно небольшой и обезлюдевший район, а если б она задумалась, то обвинила бы жадных церковников. Кто помнит голодные толпы в городах и крестьян, молча умирающих на печи, холодной и облупленной? В России умирают молча.

Мы случайно зашли в церковь и услышали улюлюканье и вой старух. Перед нами мелькали разрозненные картины действительности, не складываясь в целое. Все, что до нас

доходило, было случайностью, деталью, моментом. Противоречивые слухи освещали жизнь с самых разных позиций. Двадцатые годы до сих пор считаются периодом законности и общего процветания. Процветал театр Мейерхольда, начиналось кино, гремел Маяковский, и шевелили ластами попутчики. Меня нередко обвиняют в субъективизме, потому что я помню не только тридцать седьмой год, но и более ранние события, когда велась борьба с «чуждыми элементами» – церковниками, масонами, идеалистами, мужиками, инженерами, обыкновенными людьми, из которых в боксах выжимали золото, собирателями анекдотов и с подозрительными интеллигентами. Я помню толпы нищих, наводнявших города до и во время раскулачиванья. Я смотрела на все глазами Мандельштама и потому видела то, чего не видели другие. Брик был прав – он был «чуждым элементом», не ходил в салоны к правительственным дамам и так и не познакомился с Аграновым. Вокруг шумел веселый город, и казалось, что скоро начнется настоящая жизнь и мы стоим в преддверье. Так и произошло: люди получили то, чего хотели и чему сами способствовали, развивая в себе слепоту, жестокость и тупость.

# Первые ссоры

Аскетизма в Мандельштаме не было ни на грош, а желаний – сколько угодно. Его всегда тянуло на юг, он любил светлые большие комнаты, бутылку сухого вина к обеду, хорошо сшитый костюм, а не стряпню из Москвошвея, а главное – румяную булочку, предмет наших вожделений после первого, еще непривычного голода. Он любил порядок и упорно клал на место вещи, которые я разбрасывала по всей комнате. Я замечала у мужчин шизофреническую страсть к порядку, но у Мандельштама было нормальное отношение к комнате, а я богемничала. Зато пыль я вытирала – даже на шкафу…

В начале двадцатых годов мы как бы притирались друг к другу, а это не простое дело. Первый громовой скандал разразился, когда я улизнула на аэродром, где по блату меня покружили на учебной машине и я узнала, что такое «мертвая петля». Домой я вернулась полная впечатлений, но рассказать о воздушной прогулке мне не пришлось. В «Путешествии в Армению» есть несколько слов о «мертвых петлях», но я здесь ни при чем. Он выслушал не меня, а Борю Лапина, которому устроил полет тот же человек, что и мне, вскоре разбившийся где-то над Кавказским хребтом. Человек этот был странный, с чрезмерными связями, и Мандельштама возмущало, что я его пускаю в дом. Я пускала всех и ничего не понимала ни в людях, ни во времени.

«Мертвые петли», о которых я сейчас ничего не слышу, тогда были модной новинкой, а я не могла не соблазниться модой. Мандельштам решительно не понимал, откуда у меня берутся желания, которых у него нет. Ему хотелось, чтобы я всегда ждала его, и только его одного, как невеста Алексея: «А я думала, ты вернешься, приласкаешь меня немножко…» И ему не хватало во мне «важной замужней прелести», как он выразился потом про армянских крестьянок. Но я совсем не отличалась ни кротостью, ни терпением, и мы ежеминутно сталкивались лбами, шумно ссорились, как все молодые пары, и тут же мирились. Он ловко перелавливал меня, когда я норовила сбежать – не навсегда, а немножко, и вдалбливал мне в голову, что пора крутни и развлечений кончилась. Я ему не верила – всюду девчонки-жены старались улизнуть и развлечься, а мальчишки-мужья скандалили, пока не находили и для себя какой-нибудь забавы. Я не понимала разницы между мужем и случайным любовником и, сказать по правде, не понимаю и сейчас. Я знаю только, что у Мандельштама было твердое ядро, глубокая основа, несвойственная людям ни его поколения, ни последующим. У

него существовало понятие «жена», и он утверждал, что жена должна быть одна. Мое поколение, собственноручно разрушившее брак, что я и сейчас считаю нашим достижением, никаких клятв верности не признавало. Мы готовы были в любой момент оборвать брак, который был для нас лишь случайно затянувшейся связью, и не задумываясь шли на развод, вернее, на разрыв, потому что браком-то, в сущности, не пахло. Удивительно, что из этих подчеркнуто непрочных связей сплошь и рядом возникали устойчивые союзы, гораздо более прочные, чем основанные на лжи и обмане приличные браки старших поколений. Мы сходились, не заглядывая вперед, а потом выяснялось, что расставаться не хотим и не можем. Еще хорошо, что, нищие до ужаса, мы не знали денежных расчетов и они совсем не участвовали в наших любовных коллизиях. Любой мальчишка раздобыл бы булочку для своей подруги.

Так было и у нас с Мандельштамом. В Киеве, как я говорила, мы бездумно сошлись на первый день, и я упорно твердила, что с нас хватит и двух недель, лишь бы «без переживаний»… Когда он привез меня в Москву – перед Грузией, – я смертельно обиделась на Экстер, которая сказала Таирову: «Вы помните мою ученицу – она вышла замуж за Мандельштама». Я сочла это сплетней и вмешательством в мои личные дела: какое кому дело, с кем я живу!.. Постепенно я убедилась, что, как ни верти, меня все равно считают женой Мандельштама, и постепенно свыклась с этой мыслью. Мандельштам смеялся над моей дурью, ругал за нигилизм и медленно, но твердо брал меня в руки.

Сам же Мандельштам, несмотря на твердую основу, тоже был человеком своего поколения, и в его голове скопилось немало дури в причудливом сочетании с основой. Его возмущала моя готовность к разрыву, а я восставала против петербургской накипи, пахнущей «жоржиками» и «Собакой». Он сильно влиял на меня, делал меня для себя, но и я чем-то меняла его своей нетерпимостью и готовностью расстаться в любой момент.

Однажды Мандельштам потребовал, чтобы я говорила ему «ты». В первые годы дневным словом у меня было «вы», как у большинства моих современниц. Скорее всего, оно само собой перешло бы в «ты», но Мандельштам был нетерпелив и сообщил мне об этом согласно правилам, усвоенным в «Собаке»: «Девчонок, которым я говорю „ты”», а они мне „вы”», будет сколько угодно, а ты – мое „ты”»… Сейчас я думаю, что «мое ты» появилось не без Флоренского, которого тогда еще не удосужилась прочесть, но тогда все внимание обратила на «собачьи» прелиминарии. Я ответила, что меня вполне устраивает роль девчонки «ты-вы», а если ему нужна другая – ими и не

пахло, – пусть уходит, а не то я уйду к кому-нибудь из мальчишек… Мандельштам искренно удивился: у всех его петербургских друзей водились «девчонки», и они нисколько не мешали существованию приятных жен. Он знал еще, что с виду непреклонные дамы «в спальню, видя в этом толк, пускали негодяев». Этого он для себя не хотел и с меня не спускал глаз. Мне он упорно внушал, что вся мировая литература занималась изменой женщины, не придавая ни малейшего значения мужской измене. Я перевела это на бабью мудрость: мужчина несет из дому, а женщина в дом, но так как у нас дома не было, обещала в случае чего «отнести в другой дом»…

Ссоры вспыхивали зря, на пустом месте, и прошло немало времени, пока мы на опыте убедились, что измена, будь то со стороны мужчины или женщины, не радость, не веселое порхание бабочек, а настоящая беда. Но всю жизнь он стремился, чтобы я устроила ему сцену, поборолась за него, расшумелась, раскричалась. По неписаным законам моего поколения нам этого делать не полагалось, и единственный раз, когда я разбила тарелку и произнесла сакраментальное: «Я или она», он пришел в неистовый восторг: «Наконец-то ты стала настоящей женщиной!» Случилось это гораздо позже, и вообще эти проблемы прошли в нашей жизни боком, никакой роли не сыграв, и были случайным и минутным хмелем, как с моей, так и с его стороны. Не будь «собачьих» правил, их бы и совсем не было. Ведь в таких вещах важна мода, обычай, общая настроенность, а мы вопреки моде, видимо, боялись потерять друг друга и потому не решались устраивать пляску веселых мотыльков.

Для сегодняшнего дня все мои концепции устарели – женщина упала в цене и отчаянно строит дом, насильно удерживая капризного, сопротивляющегося мужа. В иных случаях она бешено самоутверждается, чтобы повысить себе цену, и жалуется равнодушному мужу, как ей не дают прохода ни на улице, ни на службе… Самое противное смотреть, как они предлагаются или отчаянно утаскивают к себе бедных героев – лестью, угрозами самоубийства и тысячами дешевых трюков. Это началось уже в дни моей молодости, а сейчас расцвело во всю силу. Я слышала о старике, который бросил жену, прожив с ней лет сорок. Он оставил записку, что все прошлое было ошибкой. Я за разводы в молодости, чтобы не случалось затяжных ошибок.

А для моего поколения безнадежно устаревшим казался культ «дамы», душевных переживаний, возникших от случайной встречи, «друга первый взгляд» и те полуотношения, которые культивировались женщинами на десяток лет постарше меня наравне с разрушающейся, построенной на взаимном обмане

семьей со знаменитым «одиночеством вдвоем»… Честно говоря, я не верю в любовь без постели и не раз шокировала Ахматову прямым вопросом: «А он вас просил переспать с ним?» Есть еще один измеритель, вызывавший всеобщее возмущение: «Сколько он на вас истратил?» Возмущались и «дамы», иначе говоря, ободранные кошки, и энергичные девицы новых поколений. Значит, я попадала в цель…

Для нас с Мандельштамом все обстояло иначе. В дни сначала добровольной, а потом вынужденной изоляции, которая продолжается и по сегодняшний день, человек ищет свое «ты», и Мандельштам из меня, случайной девчонки, упорно делал жену. Роль «жены» мне не подходила, да и время не способствовало образованию жен. Жена имеет смысл, если есть дом, быт, устойчивость, а ее не было в нашей жизни, а может, никогда больше не будет. Все мы жили и живем на вулкане. Жена организует дом и быт, у нее есть права и обязанности – помимо любви и страсти. В наши дни подружка была сподручнее жены. Подруга разделяет судьбу, а прав у нее нет никаких. Прав мне не нужно было никаких – в любви на «праве» далеко не уедешь. Домом не пахло – земля всегда тряслась под ногами. Вот почему я яростно отбивалась от устаревшей и нелепой роли жены и вместо этого стала веселой и бесправной подружкой. По-моему, Мандельштам только от этого выиграл: ведь подружка – это и есть «мое ты»…

А наши антагонисты, те, которые убивали наших близких, уже укрепляли семью и величали своих жен «супругами». Им казалось, что они прочно стоят на ногах, а на самом деле они погибали с такой же легкостью, как мы, вместе со своими супругами. Мне всегда было любопытно, что думает женщина, живущая с убийцей. Скорее всего, она не думает ничего и только умиляется тому, что ее муж – прекрасный семьянин.

Мне пришлось столкнуться с брачными идеями десятых годов в несколько ином разрезе. В Москве один за другим мелькнули Георгий Иванов и Ходасевич. Они оба устраивали себе отъезд за границу. В начале нашей эры и мы, и фашисты легко отпускали людей на волю. Потом все мы стали носителями государственной тайны, поскольку знали, что у нас делается совсем не то, что пишется. Тогда-то нас пригвоздили к земле и каждый разговор с иностранцем стал квалифицироваться как шпионаж. От нас выпускали за границу самых отборных, зернышко к зернышку, и впускали тоже отборных – вроде Арагона с супругой. Строя свою карьеру на любви к нам, они отлично вели пропаганду у себя дома. Говорят, он сейчас обиделся на людоедство и подписывает какие-то протесты. Почему же он забыл, что кормился с

людоедского стола?[2] Пусть только не притворяется, что ничего не подозревал. Он все знал и слышал в родственных домах немало людоедских разговоров… Не знали только те, кто знать не хотел, а это не оправдание.

Мне кажется, что в начале эры у наших хозяев была еще вера в свою правоту и поэтому они так легко выпускали желающих. Первым приехал Георгий Иванов. Он оставил у нас чемоданчик, убежал по делам, вернулся к вечеру и сразу отправился на вокзал. Он показался мне чем-то вроде мелкого эстрадника или парикмахера, и я удивилась, зачем они с такими водились. На этот раз Мандельштам не мог свалить на Гумилева, как в случае с Городецким. Из его невразумительных объяснений я поняла, что он ценил в Георгии Иванове любовь к стихотворной шутке и вообще к стихам. В воспоминаниях Одоевцевой я прочла, будто я ходила в костюме Мандельштама и накормила гостя отличным обедом. Кто из них врет, я не знаю, но думаю, что Иванов застал меня в пижаме. У меня была – синяя в белую полоску. В Петербурге еще не знали пижам, и у меня там несколько раз спрашивали: «Это у вас в Москве так ходят?..» Эта пара – Иванов и Одоевцева – чудовищные вруны. Какая мерзкая ложь – рассказ о последней встрече с Гумилевым или об откровенностях Андрея Белого, встретившего Одоевцеву в Летнем саду. Запад, впрочем, все переварит.

Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа. Его любили и любят и сейчас. Нынешняя молодежь знает и стихи, и желчную прозу Ходасевича, но в Самиздат он не прорвался, зато книги идут по высокой цене. Многим близка и растерянность, и боль этого поэта, но его поэзия не дает просветления. В нем горькая ущербность, потому что он жил отрицанием и неприятием жизни. Только подлинная трагичность, основанная на понимании природы зла, дает катарсис.

Ходасевич был весел и разговорчив. Его радовала перспектива отъезда. Он рассказывал, что уезжает с Берберовой, и умолял никому об этом не говорить, чтобы не дошло до его жены, Анны Ивановны Ходасевич, сестры Чулкова: «Иначе она такое устроит!» В испуге Ходасевича мерещилось что-то наигранное, притворное. Меня поразило, что он смывается втихаря от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой. Мандельштам тоже поморщился, но не в его привычках было осуждать поэта: видно, так надо… Он сказал мне, что Ходасевич человек больной и Анна Ивановна ходила за ним, как за ребенком. Жили они трудно, и, по словам Мандельштама, без

жены Ходасевич бы не вытянул. Она добывала пайки, приносила их, рубила дровешки, топила печку, стирала, варила, мыла больного Владека… К тяжелому труду она его не допускала. Вскоре я с нею познакомилась.

Она щебетала как птичка, жалела Владека, объясняла, какие у них были отношения («Владек такой больной – ему все вредно»), огорчалась, что он скрыл от нее свой отъезд, и всем показывала новые, полученные из-за границы стихи. Дурного слова о Владеке она не сказала и уверяла, что любит только его. В трудную минуту моей жизни она уговаривала меня бросить Мандельштама, а он, узнав об этом, взбесился и больше меня к ней не пускал. А она так боялась, что «он бросит вас, как Владек меня»… У нее была голова итальянского мальчика и вечные несчастья с теми, кого она любила. Пастернак пробовал спасти какого-то юнца[3], ее почти последнюю любовь, но ничего не вышло, и Анна Ивановна пролила много слез. Однажды я уже в очень поздние годы встретила ее в трамвае, и она показала мне тетрадочку со стихами Ходасевича. Бедное, легкомысленное и до ужаса преданное существо… Ходасевич и Георгий Иванов, не сговариваясь, сообщили Мандельштаму, что я для него абсолютно не подходящая жена: слишком молода и беспомощна. Думаю, они тоже считали Мандельштама «Божьим младенцем», который нуждается в опеке. В молодости Мандельштам наслушался, как все его приятели – типа «жоржиков» – ищут богатых жен. После всеобщего разорения появился новый идеал: энергичная жена, устраивающая дела расслабленного мужа. Мандельштам, не подумав, сообщил мне отзывы своих опытных друзей. Я только ахнула от несоответствия двух желаний: «мое ты» и энергичная жена-опекунша. К счастью, к тому времени я уже заметила, что Мандельштам не переносит энергичных и волевых женщин. Будь я такой породы, он бы сбежал от меня с любой беспомощной девчонкой. И по духовной структуре, и по физиологическим свойствам он принадлежал к тем, кто не терпит опекунов и к женщине относится как к подопечному и не совсем полноценному существу: испуганный глаз, недотрога, врушка и еще лучше – дурочка… Женщину нужно обязательно увезти из дому – идеал: умыкание. Она должна быть гораздо моложе и всецело зависеть от мужа. В очень ранней молодости он еще не вполне сознавал свои вкусы и поддался культу «красавиц», который отчаянно поддерживала Ахматова. Наверное, настоящие красавицы успели удрать и я видела только ошметки, но они были до ужаса смешны. Я запомнила одну, навещавшую Ахматову в Ташкенте. Она иногда оставалась ночевать у нас – по городу ночью было страшно ходить. Раздеваясь, она поглаживала желтые, как

пергамент, ноги и говорила: «Мое тело!» Они вспоминали с Ахматовой прошлое и хвалили дочку пергаментной красавицы, милую и скромную, но носившую по прихоти матери древнегреческое имя – остаток старого культа, перенесенного на новое поколение.

Уже в «Египетской марке» Мандельштам отрекся от «красавиц», и с годами его основные черты стали проявляться все резче. Он немедленно прекращал всякую попытку с моей стороны шевельнуться, начать работать, а тем более зарабатывать. Его сердило малейшее проявление самостоятельности, и он бы много отдал, чтобы сделать меня не такой насмешливой и брыкливой. А сам-то он так здорово насмешничал и дразнил меня, что это могла вынести только я, приученная двумя старшими братьями согласно правилам высшей школы верховой езды…

В годы воронежской ссылки, когда мне поневоле приходилось что-то для Мандельштама делать, он страшно этим тяготился. Зависеть в какой-либо степени от жены казалось ему невыносимым. Так я и просидела возле него всю нашу совместную жизнь и нисколько об этом не жалею. Был бы он жив, я бы и сейчас тихонько сидела рядышком, не вмешиваясь в разговоры. Ни к чему другому я бы не стремилась. Вся моя активность была вынужденной – иначе я бы утонула в первой луже с той кучкой бумаг, которую взялась сохранить.

О мудрой теории Георгия Иванова и Ходасевича насчет деловых и энергичных жен я при Мандельштаме рассказала Сусанне Мар (Чулхушьян), озорной «ничевочке» с классически прекрасной головой и чуть короткими, как бывает у армянок, ногами. Сусанна непрерывно молола чушь, но ее трепотня таинственным образом не разрушала, а укрепляла человеческие связи. Она издевалась надо мной, что Оська меня держит взаперти и никуда не пускает, и сама же – неизвестно каким трюком – убеждала не брыкаться и слушаться старших. Услыхав рассказ про Жоржика, она рассмеялась и пропела песенку, развеселившую нас обоих: «Хорошо тому живется, кто с молочницей живет, молочко он попивает и молочницу…» Как только энергичная жена превратилась в молочницу, «собачье» наваждение рассыпалось, и хитроумного Жоржика мы вспомнили лишь после того, как он стал промышлять мемуарами о своих знакомых, которые сидели с кляпом во рту и не могли даже отругнуться.

А Сусанна взяла себе самого нищего мужа, Ивана Александровича Аксенова, умного и желчного человека, знатока кубизма и Шекспира. Она никогда его ничем не обидела, а жили они в комнате с потолком, подпертым балками, чтобы он не

обрушился на голову. Яркая и болтливая Сусанна была одной из редкостных женщин, равнодушных к домостроительству и благополучию. Мы надолго потеряли ее из виду и вдруг встретили в период наших блужданий по Москве тридцать седьмого года. Она посмотрела на меня и сказала: «Надька на ногах не держится… Ну, ничего: у Антигон выходных дней не бывает…»

Я всегда завидовала Антигоне – не той, что была поводырем слепого отца, а более поздней, которая отдала жизнь за право похоронить брата. Право на последнюю дань мертвым, право прощаться с ними и предавать их земле – один из основных связующих обычаев всех племен и всех народов. За это право боролась тихая Антигона и в защиту его восстала на дурного правителя своей маленькой страны. Хорошо жить в маленькой стране, где можно громко заявить о своем праве и выкрасть запретное мертвое тело, а не бродить, как Пушкин, а потом мы вдвоем с Ахматовой, по острову Голодаю и странным рощам под Петербургом, куда молва посылала нас в поисках могилы расстрелянного поэта.

В могущественных державах двадцатого века, прославляемых некоторыми поэтами и многими трибунами как единственная надежда человечества, властители и цари находились на такой головокружительной высоте и в такой ослепительной изоляции, что никакие человеческие голоса не достигали их слуха. Миллионы неосуществившихся Антигон прятались по углам, заполняли анкеты, ходили на службу и не смели не то что похоронить, но даже оплакать своих мертвецов. Плачущая женщина немедленно потеряла бы службу и сдохла с голоду. Медленно подыхать с голоду гораздо труднее, чем быть казненной. И на службах-то мы голодали, а без нее пусть уж вам расскажут арагоны, каково нам жилось…

Я уважаю статистику и хотела бы знать, сколько женщин не похоронило своих отцов, братьев и мужей. Военные вдовы получили похоронки, а лагерные и тюремные – да и то далеко не все, а только те, у которых мужья были арестованы не раньше тридцать седьмого года, – посмертные реабилитации с наугад проставленной датой смерти. У огромного большинства выставленные даты падают на годы войны, но совсем не потому, что они умерли в военное время. Скорее всего, это попытка слить два вида массовых смертей – в лагерях и тюрьмах и на войне. Кто-то захотел запутать статистические подсчеты, которых никогда не будет. И никто не узнает места захоронения своих близких. Ямы, куда бросали людей с биркой на ноге, неприкосновенны. Быть может, когда-нибудь перекопают «зоны» лагерей, чтобы сжечь

кости или сбросить их в океан. Для того чтобы скрыть прошлое, призовут старых «работников» или их верных сыновей и отвалят изрядную сумму. Прошлое скрыть нельзя, даже если статистики нет. Каждый уничтоженный человек еще скажет свое слово.

Я, вдова, не похоронившая своего мужа, отдаю последнюю дань мертвецу с биркой на ноге, вспоминая и оплакивая его – без слез, потому что мы принадлежим к бесслезному поколению. Каждую минуту я жду, что ко мне явятся и отнимут мои записки. Добровольно их я не отдам. Забрать их можно только со мной. Если это случится, я перестану завидовать Антигоне.

# Обрывки воспоминаний

У Мандельштама есть запись: «Действительность носит сплошной характер, проза – прерывистый знак непрерывного». Воспоминания тоже прерывистые знаки, и нельзя их растягивать в сплошную линию. Этой записью Мандельштам показал, что не хочет отдавать дани погоне за длительностью и непрерывностью, которая захватила всех в первой половине нашего века. Мне думается, что к поискам непрерывности, к воспроизведению процессов в их течении, к погоне за длительностью привела какая-то особая – почти физиологическая – жажда, желание ощутить и всеми пальцами ощупать текущее – время, жизнь, движение, процессы… Эта потребность, столь сильная в литературе, проявилась, вероятно, во всех областях мысли, искусства, науки. Остановленное мгновение, замедленная съемка, разложение на мельчайшие частицы вещества – явления одного ряда и вызваны потребностью снова пережить уже прожитое, воспроизвести в движении уже происходившее, неслыханно растянуть каждый миг, чтобы он из мига стал длительностью.

По мере того как нарастали темпы, нарастала ценность мгновения. В глазах мельтешило от быстрой смены движений, и футуристы, восхваляя скорость, цеплялись за мгновение. Мандельштам отказался от попыток воссоздать непрерывность, но его любовь к замедленному – медленный вол, медлительные движения армянских женщин, тягучая и долгая струя меду, когда он льется из горлышка бутылки, – все это вызвано тем же желанием ощутить ход времени: «Но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера…» Длительность для Мандельштама не самоцель, а, может быть, поиски Духа, жажда благодати: «Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианства пью холодный горный воздух… И с христианских гор в пространстве изумленном, как Палестрины песнь, нисходит благодать». Иногда это попытки ощутить вечность: единственный остановленный миг – Евхаристия: «Евхаристия как вечный полдень длится», потому что соучастники таинства через него приобщаются к вечности: «Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули о луговине той, где время не бежит». Ощущение мига как вечности, мечта «о луговине той» заглушаются «шумом времени», который есть «ход воспаленных тяжб людских».

Мандельштам остро сознавал единство жизни и личности и поэтому никогда не стремился к воссозданию моментов прошлого. Жизнелюбивый, он полностью – до дна – изживал

текущее время и не искал повторения. «Все было встарь, все повторится снова» – констатация единства людей, общности их жизнеощущения, а не утверждение, что миги единой жизни повторяют друг друга. В частности, переживание длительности и непрерывности Мандельштам всегда черпает в объекте, а не воссоздает свои собственные переживания. Сосредоточенность не на себе, а на объекте лишала смысла всякое повторение моментов прошлого. Именно поэтому он мог сказать про себя, что память его враждебна всему личному. В «Листках из дневника» (дневника, кстати, никакого не было) Ахматова правильно отметила, что Мандельштам не любил вспоминать. Я прибавлю, что характер его воспоминаний всегда был фрагментарным и никогда не был личным. Иногда – довольно редко – он рассказывал о том, что видел или с чем столкнулся, и всегда его рассказ был знаком прошлого, неизбежно чем-то связанным с настоящим. Он запомнил, например, как столкнулся в коридоре «Метрополя» с группой меньшевиков, только что выгнанных из Совета. Они шли навстречу ему и громко негодовали, перебирая слова ораторов, которые требовали их изгнания. Мандельштам посторонился, пропуская их, и услышал: почему лакей?.. Мандельштам рассказал эту сцену, потому что к воспоминанию толкнул его вывод: «Они всегда, с первых дней, употребляли не слова, а крапленые карты…»

Я думаю, что Мандельштам умел так полно изживать время, потому что был наделен даром игры и радости. Ни в ком и никогда я не видела такой игры и такой радости. Когда он ушел из моей жизни, я, мертвая, жила брызгами радости в стихах и бесповоротным запретом самоубийства. Именно потому, что Мандельштам жил «пространством и временем полный», у него не было потребности возвращаться назад, и жизнь его отчетливо делится на периоды. Труд и жизнь у него связаны и неразделимы, и периоды жизни полностью совпадают с периодизацией поэтического труда. В стихах всегда отпечатываются события жизни. Они совпадают во времени. Проза всегда запаздывает: знаки должны осмыслиться и отстояться. Для этого нужен срок. Оставаясь самим собой, сохраняя полное единство личности, Мандельштам чем-то менялся в каждый период. Это был рост, а не перемены в человеке. События внешней жизни подстрекали внутреннюю жизнь, но не являлись ее причиной. Внутренняя жизнь, пожалуй, в большей степени определяет внешние события, чем наоборот. Что же касается до катастрофичности большинства биографий нашей эпохи, то они уж, во всяком случае, не формировали личность, а скорее расплющивали ее. Нужна была огромная сила, чтобы, несмотря на гнет и удушье, сохранить

способность к росту. Это оказалось возможным только для людей, чья личность строилась на формообразующей идее такой мощи, что не внешние события влияли на рост личности, а отношение человека к внешним событиям. Все, что нам завещал девятнадцатый век, – наука, знание, гуманизм, анализ, не говоря уж о таких понятиях, как прогресс, культура, отвлеченные формы деизма, теософия, рационализм и позитивизм, не помогли никому сохранить себя. Все это только содействовало тлению и распаду. Мы видели этот распад и со стыдом отворачивались. Наибольшая опасность для Мандельштама заключалась в гуманизме – в русском понимании этого слова. Отсюда доверие к поискам социальной справедливости и ужас при виде нарастания жестокости и обмана. И я не перестаю удивляться силе Мандельштама и богатству внутренних ресурсов, которые дали ему возможность прожить полную жизнь и, не расплющившись, дойти до конца дороги. Таким он был до той последней минуты, когда я его видела, – до ночи с первого на второе мая 1938 года. Это и был конец дороги, потому что то, что было на Лубянке и за колючей проволокой, гораздо страшнее газовых камер.

Я не могу назвать того, что строило личность Мандельштама, потому что его основная идея не поддается простой формулировке. Скорее всего, это отношение к поэзии как к дару свыше, как к назначению, а также вера в священный характер поэзии («игра Отца с детьми»). Второго человека, который бы все дни находился на линии огня и все же сохранил способность к мысли и к росту, я не видела. На линии огня не выдерживал никто. Люди сохраняли человеческие черты только в стороне от событий, но вряд ли они могли углубляться и расти. К тому же люди, способные к духовному росту и труду, принадлежали к старшим поколениям и были уничтожены почти сразу. Я недавно прочла, что Флоренский был арестован в тридцатом году, но мне кажется, что до этого он – в середине двадцатых – уже побывал в ссылке. В нашей невероятной разобщенности возможны любые ошибки, но я помню, что приступ отчаянья Мандельштама в связи с несчастьем Флоренского происходил в двадцатых годах, а в тридцатых мы уже не слышали ничего. Люди поколения Мандельштама и Ахматовой сдавались без борьбы или жили затаившись. Те, которые не сдались, люди твердой религиозной мысли, погибали мученической смертью.

Ахматова черпала силу в противостоянии. Ее поэтический труд не поддается отчетливой периодизации и больше связан с внешними условиями, чем с внутренним ростом. Когда ее оставляли в покое, она возвращалась на безмятежные и чистые пути. Ей помогали сохраняться отдаленность и изоляция, но

удары, как известно, падали на нее и в ее уединении. К счастью, ей досталась спокойная старость – десятилетие почти мирной, хотя и неустроенной жизни. Она сохранила способность работать и в последние годы жизни, и в этом ее удача. Удивительно, что всякая передышка пробуждала в Ахматовой не черты зрелости с ее аскетизмом и самоотречением, а молодой эгоизм, страсть к успеху и легкомысленную веселость. Я смеялась над ней, но была рада этим чертам старости. Она иногда на минуту обижалась, а потом смеялась вместе со мной.

Когда я с порога, на котором стою сейчас, оглядываюсь на свою жизнь, в ней я отчетливо вижу одновременно и единство, и отчетливую и резкую периодизацию, но у меня она вызвана исключительно внешними обстоятельствами. Детство для меня – подготовительный период и больше ничего. Я вообще не понимаю чрезмерного внимания к собственному детству. Мне кажется, что расцвет интереса к детству имеет что-то общее с потребностью восстанавливать непрерывность и вторично переживать уже пережитое. Это черта эпохи, связанная, быть может, с ростом индивидуализма, который мешает правильному созреванию и росту личности. В нашей стране этому способствовало искусственное ограничение личности, невозможность возмужания, затаенность испуганных и неполноценных людей. Но спасение в собственное детство – всегда признак неполноценности. Как ни странно, но я прощаю только любимому мной Набокову его сомнамбулический экскурс в собственное детство. Разлученный с родной страной, со стихией языка и исторической жизни, потерявший отца так, как он его потерял, Набоков воспроизводит идиллию детства как единственное, что корнями связывало его с землей отцов. Он был лишен возмужания, потому что прожил жизнь в изгнании.

Возмужание происходит лишь в тот период, когда человек начинает сознавать свою ответственность за все происходящее в мире, но в нашей стране это исключалось. Взамен у взрослого человека появлялся гипертрофированный инстинкт самосохранения. Этот инстинкт препятствовал какому-либо возмужанию – вот и умиление детством, когда ребенок ни за что не отвечает, а просто радуется жизни. Мы были стадом и ради сохранения жизни позволяли себя пасти. К несчастью, это не спасало: овец не только стригут, но и режут.

Жизнь моя начинается со встречи с Мандельштамом. Первый период – совместная жизнь. Второй период я называю загробной жизнью и именно так ее ощущаю, но не в вечности, а в невероятном мире могильного ужаса, в котором я провела пятнадцать лет (1938–1953), а в целом – двадцать лет

непрерывного ожидания (1938–1958). Ничего, кроме ожидания, в эти годы не было, хотя происходили какие-то события, я изъездила невероятные пространства, что-то делала, куда-то спешила. Ни на одну минуту я не придавала ни малейшего значения тому, что происходило со мной. Все эти двадцать лет, особенно первые пятнадцать, остались в моем сознании как сплошной ком, сгусток мертвой материи, в котором время не текло, а только утекало. Меня мучительно преследовало ощущение разрыва между первым и вторым периодом – два не связанных между собой куска, один – полный смысла и событий, второй – лишенный всего, даже продолженности, длительности. Не только у меня, а у всех моих современников было острое чувство, что время взбесилось и безумно мчится вперед, не оставляя в памяти никаких следов. В памяти, конечно, остались и переезды, и занятия, и работа, и груда всяких пакостей, но это разрозненные картинки, а не знаки, потому что знак всегда что-то означает. Основные чувства – боль, раздвоенность жизни и необъяснимость происходящего. Мне рассказал некто, пробывший несколько лет в лагере при Хрущеве, что там бродил безумный еврей из Польши, запрятанный на какой-то невероятный срок и потому не подлежавший реабилитации. Он говорил: «В России нет пространства – только километры…» Должно быть, я тоже была таким безумным евреем – без времени и пространства. И еще вот на что было похоже мое ощущение себя и жизни в те годы: я заболела в 34 году сыпным тифом, и меня ввели в сыпнотифозный барак. Моему горячечному воображению почудилось, что меня кладут в мужскую палату, потому что мне навстречу с подушек поднялись бритые головы… Вот такое же удивление преследовало меня все эти годы: куда я попала? Что со мной?.. Единственной реальностью в эти годы были встречи с Ахматовой, но только наедине, с глазу на глаз.

Третий период – с конца пятидесятых годов, когда я получила право называть свое имя, объяснять, кто я и о чем думаю. Почти сразу обе части моей жизни – первая и третья – воссоединились, зажав между собой второй период и так сплющив его, что он превратился в простую лепешку, не из муки, конечно, а из чего-то мерзкого. Жизнь снова стала целостной и единой. Еще большую целостность она приобрела, когда я написала в первой книге о том, что с нами было. В период ожидания, когда я не жила, а только пряталась и скрывалась, у меня были две задачи: сохранить стихи и оставить что-то вроде письма, чтобы изложить то, что с нами произошло. Первая книга это и есть такое письмо, которое мне удалось написать довольно подробно. На такое счастье я даже надеяться не могла: ведь где я оставляла бы

листки рукописи, когда без меня заходили в мою комнату и перерывали все мое барахло?.. Быть может, мне удастся сохранить и вторую, ту, которую я сейчас пишу, но об этом я не загадываю – такие мелочи меня не смущают. Главное сделано.

Что мне делать с разрозненными картинками? То же, что с взбесившимся и умчавшимся временем. Лишенное полновесного содержания и смысла, оно, очевидно, всегда бесится. Время кануло в прорву, не оставив никаких следов и ничем меня не изменив. Картинки побледнели и выцвели. Все они случайны и не объединены внутренним смыслом. Их наличие только свидетельствует о бесплодно прожитых годах. В эти годы я успела накопить силу и ярость, другие – огромное большинство – просто увяли, не успев ничего сказать Им было труднее, чем мне, потому что я знала, чего жду, они же только метались, спасая детей, облегчая жизнь близким, падая от усталости. Я тоже падала от усталости, но упасть не смела, поэтому сохранила силу. У меня есть свойство, присущее русским, – стойкость. Оно развилось у меня в период ожидания. У моих соотечественников оно переходит в слабость, – они жили одной только стойкостью полстолетия. Стойкость оправданна, когда она чему-то служит. Бесцельная и чересчур длительная стойкость переходит в сон.

Я говорила, что в жизни нужно искать смысл, а не ставить цели, а себя оправдываю тем, что поставила себе цель и ради нее жила. Противоречие здесь только внешнее. Моя цель была в оправдании жизни Мандельштама путем сохранения того, что было ее смыслом. Меня тоже лишили жизни, потому что вынули из нее то, что составляло смысл. Мне насильственно навязали цель, искалечив жизнь. Я не жила, а только ждала воссоединения двух разорванных частей жизни. В период ожидания цель заменяет смысл. От этого мы не становимся богаче, но хотя бы сохраняем тлеющую душу… На большее я способна не была, да ни на что и не претендовала: на цель ушло все. Мне повезло – могло бы быть гораздо хуже: я тоже едва не попала в яму с биркой на ноге, а бумажки бы истлели или были бы брошены в огонь. Слава Богу, этого не случилось. В этом я вижу Его руку и тихо шепчу слова любви и благодарности.

# Медовый месяц и кухарки

Мои современники твердо верили, что поэт пробавляется стихами, пока не созреет до прозы. Начав писать прозу, он сразу переходит в более высокий ранг. Примеры они приводили роскошные: проза Пушкина и Гоголь с его ранним поэтическим опытом. Об этом постоянно говорили, а может, даже писали Тынянов, Эйхенбаум, Шкловский. Все они, вероятно, начали со стихов, и при этом слабых, и на своем опыте и на суждении по аналогии пришли к выводу, что стихи только преддверие прозы. Всем им, как и Пастернаку, втайне хотелось написать роман: слава и деньги, а не то еще в классики угодишь. Насчет классиков я обучена Мандельштамом хмыкать на сие обозначение, а вот насчет денег я им сочувствую. Я за то, чтобы у людей были деньги даже за обыкновенную работу, но зачем придумывать теории о соотношении стихов и прозы?.. Мандельштам, слушая ученые соображения наших лучших литературоведов, только вздыхал и говорил: «Они просто не любят стихов…» Это был период, когда слишком часто приходилось говорить про нелюбовь к стихам. Не любили стихи, не любили станковую живопись, зато любили все новое, все броское и особенно оригинальные научные теории. Даже люди, которые втайне любили стихи, как Тынянов, начинали заикаться и увиливать, говоря о них (пример – статья «Промежуток»). Я заметила, что наука тоже задыхается, когда ее носители имеют в своем распоряжении только рационалистические ошметки (рационализм так создан, что производит только ошметки). Те, которых я упомянула, включая Гуковского и Томашевского, были лучшими из лучших, цветом литературоведенья, который начал осыпаться, не успев расцвести. Спешу оговориться, что в этом не их вина, а времени и режима. Они прониклись пеной времени, его рационалистическим и псевдонаучным бредом и страстью к обязательному новаторству, и не успели они созреть, как их прикрыли: только и вспоминать умилительные картинки детства – своего или чужого.

По моему глубокому убеждению, проза и стихи черпаются из разных источников и выполняют различные функции. Стихи идут из более глубинных недр и кристаллизуются, как сказал бы Мандельштам, под большим давлением, но оба вида отнимают все силы художника и, как я видела у Мандельштама, несовместимы во времени. Когда Мандельштам писал прозу, стихи могли появляться только на уровне «бродячих строчек», то есть чистых заготовок. Целое, которое существует до написания стихотворения, не может возникнуть, когда человек как бы

полностью «нагружен» целостной, хотя бы еще не написанной прозой. Мандельштам писал «Шум времени» с перерывом больше чем в полтора года, в течение которых появлялись стихи, но главки, возникшие после перерыва («Барственная шуба» и главки о Феодосии), сделаны из другого материала. Они действительно прибавлены к книжечке о детстве, к счастью, лишенной умилительного любования собой, как у всех, кто вспоминает детство.

«Египетская марка», по-моему, питается смешанными источниками. Она писалась в период глубокой поэтической немоты, и в нее ворвался материал из поэтических заготовок, перемежаясь с чистыми прозаическими источниками. Я, вероятно, именно поэтому не люблю «Египетскую марку». Она кажется мне гибридной, кроме того, фабульная сетка не что иное, как проявление внутренней слабости, уступка всеобщему восторгу перед «большой литературой» – повестью или романом с их постылой фабулой и сюжетом. И наконец, главная причина моего недоверия к «Египетской марке»: импульс или «порыв» к написанию этой вещи – попытка перенесения в десятые годы той сумятицы, которая охватила Мандельштама в двадцатые, а это признак растерянности и потери критериев. (Это вовсе не значит, что я апологет десятых годов. Мне смешно, когда их называют «серебряным веком», но в них была тревога и предчувствие конца. Все последующие преступления коренятся не в десятых и не в двадцатых годах – их корни гораздо глубже.)

Мрачный Мандельштам начала двадцатых годов чувствует себя «усыхающим довеском прежде вынутых хлебов», но ни на один миг не забывает о своей несовместимости с текущей действительностью и о том, что «хлеба» были и существовали во всей своей полновесности. В стихах того периода его не покидает ощущение трагизма эпохи, в статьях он говорит об утрате светоча, завещанного от предков, призывает сохранить хоть каплю разума («Элементарные формулы, общие понятия восемнадцатого столетия могут снова пригодиться… Теперь не время бояться рационализма. Иррациональный корень надвигающейся эпохи… отбрасывает на нас свою тень. В такие дни разум энциклопедистов – священный огонь Прометея»), он в ужасе от «социальной архитектуры», предназначенной для того, чтобы сокрушить и раздавить личность. В начале двадцатых годов у него еще были иллюзии, что можно смягчить нравы или, как мы шутили, «дать большевикам добрый совет», чтобы прекратить озверение. Во второй половине десятилетия жизнь как будто стабилизировалась: на прилавках появились продукты и тряпье, люди начали отъедаться и с лиц исчезли синеватые тени, пошли

поезда и трамваи. Всем мучительно захотелось покоя, и в результате всех поразила слепота, неизлечимая и всегда сопровождающаяся нравственным склерозом. Расплатились за потребность в самоуспокоении все, больше всех не жулики, а честные и глубокие люди, как Зощенко. Он до конца жизни верил в возможность «дать совет» и, остро чувствуя ужас происходящего, когда единственный выход – завыть зверем, все пробовал остановить, предупредить, напомнить: милиционер в белой перчатке, почтительно поднявший руку к козырьку, сводит с ума мужика, загнанного, замученного, заплеванного; женщина тащит тяжелый чемодан, граждане возмущаются мужчиной, который идет, поплевывая, налегке, потому что принимают старуху за домработницу; узнав, что это мамаша, они извиняются: суверенитет семьи – мамашу можно превратить во вьючное животное. Бедный Зощенко, чистый духом и сердцем, которого принимали за хохмача и ржали, слушая про мамашу!.. Расплатились все – «Египетская марка» еще небольшая расплата, но все же она принадлежит к этой категории, хоть в ней есть два-три прекрасных места (самосуд, например, и смерть Бозио – петь в этой стране не рекомендуется). Характерно, что проза всегда расчищала дорогу стихам, а «Египетская марка» этой функции не выполнила. Она не дала высокого равновесия духовных сил, которое нужно для возникновения стихов.

В самом начале тридцатых годов Мандельштам сказал – на улице, где мы вдвоем ждали трамвая: «Нам кажется, что все благополучно, только потому, что ходят трамваи». Он снова почувствовал ужас эпохи и глубокую внутреннюю тревогу и сорвал отнюдь не блистательный «покров, накинутый над бездной». Он освободился из плена общего мнения и стал свободным. Это привело его к гибели, но разве можно было жить на даче в Переделкине в наши преступные дни?

Статейная проза всегда писалась по заказу – для журнала или газеты – в несколько часов. Исключение, разумеется, «Разговор о Данте». Текущие статьи всегда строятся на уже раньше отработанной мысли. Очерковая проза началась в Харькове в 22 году. Очерк «Шуба» был напечатан в местной газете, а затем расширен и продан сестре Раковского. Он пропал, как и номер газеты, где был напечатан первоначальный вариант. Хорошо, что сохранилась статья «О природе слова». У нее было много шансов пропасть, гораздо больше, чем сохраниться. Пусть это знают наши дальние друзья: у каждого из нас и у каждой вещи, у каждой статьи, бумажки, рукописи – было в тысячу раз больше шансов пропасть, чем сохраниться. Все, что сохранилось, – результат чуда. Я остро чувствую, что в иных условиях сохраниться тяжелее,

чем погибнуть, но мы, как известно, не гедонисты и отнюдь не созданы ни для счастья, ни для полета, ни для удовольствия…

От второй попытки писать прозу тоже не осталось никаких следов. Эта попытка связана с милым и очень мирным приключением. Однажды, шатаясь по Смоленскому рынку – мы всегда любили базары, центр живой и подлинной городской жизни, – мы разговорились с восточными людьми, торговавшими коврами. У Мандельштама была отличная способность болтать с мужиками и бабами, со всеми, кроме начальников, писателей и челяди. Чернявые повели нас к себе в лачугу за Киевским вокзалом. Она стояла среди целого моря развалюх, и мы увидели в облупленной и грязной горнице нечто чудесное и невообразимое: огромный фигурный ковер с изображением охоты. Центральная фигура – мальчик с луком, а вокруг всадники, крошечные, и всякое зверье – собаки, лисицы, птицы… Это было сокровище невообразимой ценности, но ввиду переоценки всех ценностей такие вещи стоили тогда сравнительные гроши. Чернявцы соблазняли нас рассрочкой, и мы тянулись к ковру, хотя не знали, не украден ли он из какого-нибудь музея или дворца. Мы ушли, дав свой адрес, и восточные люди повадились ходить к нам на Тверской бульвар… Они принесли однажды ковер, и он наполнил нашу жалкую комнату восхитительным сиянием.

Мандельштам влюбился в ковер, как в женщину (я, рационалистическая дура, не приревновала даже к ковру – скольких наслаждений я себя лишила: боли, тоски, отчаянья, бессонной ночи, слез и примирений). Я почувствовала, что он видит в ковре пленницу, которую нужно вырвать из рук похитителей, но он меня улещивал, говоря, что при таком свидетеле, как ковровый царевич, нам еще лучше будет вместе. Я понимала, что мне предстоит роль служанки при царевиче, но он был мальчиком, а я еще такого не видала. Первым опомнился Мандельштам – он попросил скатать ковер, поднял его, фыркнул, отряхнулся, как пес, перевел дыхание и сказал: «Не для нас…» Тоненький ковер был так велик, что мы бы оба задохнулись, вытряхивая и выбивая его во дворе. Ковер прожил у нас несколько дней. Мандельштам убеждал меня, что в нашем быту нет места для огромного музейного ковра, и я, поплакав, согласилась, чтобы чернявые унесли его в свою трущобу. Ковер исчез из нашей жизни, а Мандельштам, тоскуя, начал что-то царапать на бумаге. Это был рассказ о ковре в московской трущобе. Он быстро оборвался, листочки канули в сундук и пропали в тот час, когда им было положено. Чуть-чуть слышен отзвук этих переживаний в нескольких строчках о персидской миниатюре в «Путешествии в

Армению». Только испуганный косящий глаз был не у царевича, а у меня, молодой.

Третий подступ к прозе – очерки в «Огоньке» – «Сухаревка» и «Холодное лето». В «Сухаревке» по моральным соображениям вычеркнули два слова: «только на сухой срединной земле, *к которой привыкли, которую топчут, как мать, которую ни с чем не сравнить,* возможен этот свирепый, расплывающийся торг, кроющий матом эту самую землю». «Советский человек, – сказали ему, – свою мать уважает. Вспомните „Мать"» Горького…» Мандельштам вообще не матюгался, но тут сказал нечто неповторимое. Объяснение это происходило после того, как очерк был напечатан… А лето действительно было холодное, и в преддверье холодной зимы надо было погреться. Ужас Мандельштама перед холодом, его жадность к теплу и солнцу – следствие голодных лет и систематического недоедания. В сравнительно сытые годы он любил мороз и не страдал от него, а к концу и вовсе примирился с ним, чтобы получить перед смертью полную порцию холода и голода, которой хватило бы на целую человеческую жизнь. И я знаю, как холодно, когда голодаешь, но ведь мой голод не лагерный, а просто вольный советский. Лагерный голод – непредставим. Сообщите, пожалуйста, об этом сукиным детям, которые затыкают уши и закрывают глаза.

Неожиданно мы узнали, что есть новые способы ездить на юг: санатории Цекубу. Мы все же принадлежали к привилегированному сословию, хоть и второй категории. Путевки нам дали в Гаспру – бесплатно, а деньги с очерков пошли на билеты, которые купило то же Цекубу. Курортников отправляли оптом, и мы очутились в купе жесткого вагона с любезнейшим Вышинским, его женой и дочерью – это еще шестиместные отделения с боковыми местами. Вышинский ходил в эсеровской косоворотке и с таким видом ездил в жестких вагонах, будто ничего иного ему не предстояло. Я бы внесла предложение, чтобы будущим светилам с момента восхода – чуть прорежется первый луч – предоставляли отдельные салоны-вагоны: нечего им тереться об обыкновенных людей. Вышинский был тогда начальником Главнауки, и я не помню, успел ли он провести свое первое дело: процесс эсеров, в котором уже обнаружился разработанный им процессуальный метод. Мандельштам читал все отчеты процессов. Как бы они ни были причесаны, в них всегда оставались огрехи (для нас, умеющих читать между строчками), по которым можно восстановить суть дела. Прошло около пятидесяти лет, но я помню момент, который он мне показал: в ответе подсудимого прокурору на вопрос о подготовке

ярославского восстания: вы об этом знаете больше, чем я… Восстание было первым лучом в карьере Вышинского – он готовил восстание, а в нужный момент предал. Процесс был поворотным пунктом, после которого жена и дочь уже не лежали на жестких полках. Профессора в Гаспре относились к Вышинскому почтительно, потому что он был начальством. Российская привычка. Это он потом проехался по всему великому сибирскому пути и не увидел ни одной лагерной вышки. Чистая правда: из вагонного окна их не увидать…

Чтобы забыть о нем, приведу сказку, рассказанную мне директором Псковского педагогического института. Старший брат директора был арестован еще первокурсником-комсомольцем в каком-то году. Он умудрился бежать и в Москве пришел с младшим рассказчиком на прием к Вышинскому. Его приняли немедленно. Вышинский был исключительно внимателен и делал пометки, слушая рассказ о побоях и вынужденных показаниях. Братья поверили в лучшую жизнь, но тут раскрылась дверь, вошли люди в форме и увели правдивого комсомольца. Он исчез с лица земли, а младший, еще школьник, да к тому же носящий другую фамилию, долго скрывался в нетях, пока не убедился, что его не ищут. Директор знал, что мне можно рассказать историю двух братьев, но тут дверь кабинета отворилась и в кабинет вошел секретарь парторганизации, дипломированный и освобожденный. Я заметила, что кандидаты некоторых наук чем-то похожи на незабвенного Смердякова – любят крепкий кофе, культуру и играют носочком хорошо начищенной ботинки. Только они не вешаются, потому что даже у Смердякова было нечто вроде христианского сознания, чего они полностью лишены. Я увидела, что директор так смертельно испугался, словно рассказ застрял у него в глотке. Пришлось встать, проститься и уйти. Это была моя последняя работа. Директор в начале разговора уговаривал меня остаться на кафедре общего языкознания и читать там курс по новой программе. Я ответила ему, что мне надоело врать студентам. С этого и начался разговор. Для самооправдания бедный директор умудрился чего-то мне недоплатить – чуть-чуть, сотни две. Сейчас если он жив, то уже отставлен и на пенсии. Мой рассказ ему не повредит. А у Вышинского в кабинете, наверное, был звоночек, которым он вызвал тех, кто увел на смерть доверчивого правдолюбца.

Перед домом в Гаспре стояла лежанка, а на ней – старик. Про него говорили, что он цекист-меньшевик, любимец Ленина, который его спас. Старик ни с кем не разговаривал и был мрачен как ночь. Нас посадили за стол с добрейшим химиком Каблуковым. Он носил в кармане жестянку с монпансье и,

встретив ребенка, угощал его со старомодной приветливостью: не угодно ли?.. Я была еще девчонкой, и мне перепало немало каблуковских леденцов. Он иногда заходил потом к нам, вернее – ко мне, и я таяла от его удивительной, нежнейшей доброты. Почему люди, писавшие о Каблукове, рассказывали только анекдоты о перескакивающих в его речи буквах, а не заметили сияния благословенной доброты? Он ходил по Москве с заплечным мешком для таскания пайков, все терял, все забывал и всем улыбался.

За нашим же столом посадили Чулкова, бывшего мистического анархиста. Однажды он заметил, что я надписываю адрес на конверте по новой орфографии – без твердых знаков. Он счел это предательством русской культуры, устроил легкий скандал и тотчас отсел за другой стол. Есть фотография – Мандельштам, Ахматова, Чулков и Петровых. Снята она у нас в квартире на Фурмановом переулке – Ахматова пожелала, чтобы первая фотография была литературной, а вторая семейной – там есть и я, и дед, и Александр Эмильевич. Чулков ходил не к нам, а к ней. Он прожил мирную жизнь и удивительно ладил с начальством, а Ахматову развлекал рассказами про Любовь Дмитриевну Блок. Все, что он рассказывал, легкое видоизменение ее дневника.

Среди отдыхающих в Гаспре все время возникали споры, правильно ли выдают путевки. Многие возмущались, что путевки выдают посторонним, например нам. Я даже кому-то объясняла, что Мандельштам тоже член Цекубу и получает паек. Это работали старинные местнические инстинкты, и они вспыхивали с особой яростью, когда речь шла о непочтенных людях вроде Мандельштама. Еще омерзительны были скандалы при распределении комнат. Каждый кричал о своем ученом праве на большую и лучшую. Не они ли подготовляли знаменитое постановление о борьбе с уравниловкой? Мы плохо переносили местнический уклад и сняли комнату в татарском доме, чтобы не вызывать зависти и быть подальше от толчеи.

Толчея, впрочем, тяготила только Мандельштама, а не меня. Мне она даже нравилась. В Гаспре жили люди вдвое, а чаще втрое старше меня. Моложе были только двое отпрысков из семейств победителей. «Как быстро они становятся великими князьями или наследниками миллионеров», – сказал про них Мандельштам. Как подобает князьям, они держались поодаль и вполне скромно. Из настоящих князей Мандельштам видел только мальчика Палея – он писал стихи и ходил к Гумилеву. Не он ли погиб, брошенный в колодец? Говорят, что это был прелестный и трогательный юноша. Мы читали с Ахматовой мемуары его сестры и

удивлялись, что в тех семьях разорение шло тем же путем, что в наших. Про сестру говорили не очень хорошо, но про кого у нас говорили хорошо?

Я льнула к старикам, играла в шахматы с Чаплыгиным и Гольденвейзером и с ним же в теннис, и он сердился, что я плохо подаю и часто мажу. На террасе главного дома, куда вывозили в кресле тяжелобольного Кустодиева, я вдруг поняла, что любовь не только радость и развлечение, которому мешает скудость, вернее, нищета нашей жизни, а нечто несравненно большее. С Кустодиевым была жена, моложавая, измученная женщина. Она ухаживала за ним спокойно и ласково, не делая при этом вида, что приносит жертву, и совсем не сердилась на его раздражительность. Я с удивлением рассказала про свое открытие Мандельштаму, а он только ахнул, до чего я еще дикая… Кустодиев рисовал меня – это были милые акварельки девчонки в глупой пестрой кофте. Он удивлялся, что я не прошу их у него, но я была авангардистка, футуристка, бубнововалетчица и презирала все прочее…

Мандельштам ходил купаться и отводил меня на террасу, чтобы я там ждала его. Гулять он обычно ходил один, чтобы я не уставала. Я была самой худой во всей толпе, таких худых вообще не бывает. В домах отдыха и в санаториях всех взвешивают, и я привыкла, что всегда удивляются, записывая мой вес. Мандельштам откармливал меня молоком и виноградом и требовал, чтобы я лежала в мертвый час, как велели врачи. Если он оставлял меня одну, я норовила удрать, и мне здорово за это попадало.

Мне запомнилась такая сцена: я сижу перед домом со своими «дяденьками» («твоя офицерня», – говорил Мандельштам) – моряком и художником. Моряк был бывший, он уже пребывал в профессорах – не знаю, какой науки, – но любил вспоминать прошлое. Он раздобыл кофе и приготовил его по малайскому или другому способу: залил водой в глиняном кувшине и продержал трое суток зарытым в землю. Кофе ушло страшно много, а результат получился средний, но мне понравилось, что он «фигуряет» передо мной. Я спрашивала его и художника, почему они так балуют меня, а художник за обоих отвечал: «Потому что вы у нас самая младшая…» О нем я помню, что у него была итальянская фамилия и он первый мне объяснил, что анархисты вовсе не сторонники беспорядка и безобразий, а серьезная партия с глубокой антицентралистской программой.

В тот же день, который мне запомнился, я сидела с «дяденьками», а из дому вышел Мандельштам и сердито меня окликнул. «Он обращается с вами, как с собачонкой», –

возмутился художник. Мне было приятно, что он за меня обиделся, но я не успела объяснить, что к такому обращению привыкла и не собираюсь превращаться в даму. Я вскочила и побежала на зов вслед за Мандельштамом, а он, злодей, даже не подумал остановиться, чтобы подождать меня. Почему-то я вижу, как бегу за ним по большой солнечной площадке перед домом, а затем рядом – по крутой улочке к нашему татарскому дому. Туфли у меня были на высоких каблуках, а подошвы стерлись, и я подшила их куском шелка из порвавшейся юбки. Мандельштам ходил быстро и большими шагами, я только бегала и подпрыгивала на ходу. В городе он этого не терпел, но на воле позволял…

На террасе татарского дома, где мы спали на положенном на пол тюфяке, он долго заедал меня, что ему пришлось целый час искать меня, что я своей глупостью срываю ему работу, что со мной нет сладу и что я никогда не поумнею… Я защищалась, как бешеная кошка, говорила: все ты врешь, никакого часа не потерял, а только пять минут, и нельзя обращаться со мной, как с собачонкой, – все это видят и смеются… И я уже взрослая, и почему он так избаловался, что не желает без меня работать?..

На террасе он диктовал мне «Шум времени», точнее, то, что стало потом «Шумом времени». Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять – на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся, но я часто путалась в длинных периодах. Он никак не мог понять, как это я не запоминаю с одного раза целого предложения, а я тогда же поймала его на том, что он иногда забывает произнести слово, а то и несколько слов, но уверен, что я их услышала и без звука. «Ты что, не слышишь, что без этого не держится?» – упрекал он меня. Я отругивалась: «Ты думаешь, что я у тебя в голове сижу и твои мысли читаю… Дурак, дурак, дурак…» На дурака он сердился, а мне подносил «идиотку». Я визжала, а он оправдывался, что это прекрасное древнегреческое слово. Дурак, дурак, дурак – да еще древнегреческий…

Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух: «Только без выражения…» Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница не научила ее «со слезой» поднимать и опускать голос. Каждую фразу он проверял на слух – в сущности, ему нужна была не жена-секретарша, а диктофон, но с диктофона он не мог бы требовать еще вдобавок понимания, как с меня. Если что-нибудь из

записанного ему не нравилось, он недоумевал, как я могла безропотно записать такую чушь, но если я бунтовала и не хотела что-нибудь записать, он говорил: «Цыц! Не вмешивайся… Ничего не понимаешь, так молчи».

Впоследствии, когда он диктовал «Разговор о Данте», я уперлась и не хотела записывать кусок про то, как Дант ластится к авторитету. Мне показалось, что Мандельштам умиляется авторитету вождей и согласен, чтобы они его пасли. Других авторитетов у нас не было, и, насытившись этими, я знать не хотела никаких. «Мало тебе авторитетов! Хочешь еще?» – твердила я, сидя перед белым (по цвету он был серым) листом бумаги и положив руки на колени.

Мандельштам бесился, что я стала чересчур умна и лезу не в свое дело. Я советовала ему переменить жену: «Найди еще такую дуру, – или возьми, как все приличные люди, стенографистку: она запишет что угодно и не моргнет…»

Сцена была бурная, и Мандельштаму стоило немало трудов вдолбить в меня, что авторитеты бывают подлинные и мнимые. Я успокоилась, когда услышала про опасность, таящуюся в ложных авторитетах, и в уме отождествила их с кумирами. Но до сих пор не знаю, как быть с авторитетами. Сам Мандельштам приучил меня чураться авторитарности, и я ненавижу железные нотки в чужих голосах. Мне милее понятный ход доказательства или страстный призыв убежденности.

Это был единственный случай неистового вмешательства в его работу. Обычно я только посмеивалась и спрашивала: «А ты часом не врешь?» или «Куда это тебя понесло?» (а жаль: была бы я поумнее, я бы не дала записать акмеистической дребедени про биологические методы в поэзии). Услыхав мои сомнения, Мандельштам обычно поминал валаамову ослицу – я сама подсказала ему эту аналогию, – чем не идиотка? А иногда Елену Ивановну, баптистку, служившую у нас в Детском Селе кухаркой. Она была не кухаркой, а знаменитой поварихой, отдыхавшей зиму на наших харчах. Целый день она сидела в кресле и читала Библию. Обед из трех блюд с пирожками приготовлялся за полчаса. В доме был полный порядок. Елена Ивановна подавала счет с базара и брала себе десять процентов «законных», и мы никогда так дешево не жили. Раз в неделю нам полагалось убираться из дому, потому что Елена Ивановна принимала гостей: пожилого плотника и две-три семейные пары, только баптистов.

Неприятности произошли именно из-за плотника. Он надоумил Елену Ивановну, что служить у нас опасно, потому что Мандельштам пишет стихи и говорят, что он и есть

антирелигиозник Демьян Бедный. Она изложила нам эту версию за завтраком, чуть не плача, что придется расстаться. Мандельштам попросил ничего сгоряча не делать, собрал все свои книги и дал ей – судите сами. Она отложила Библию, прочла все от строчки до строчки, посоветовалась со своими и сказала, что все хорошо: слух про Демьяна Бедного оказался ложным, и она остается. Из книг она отдала предпочтение «Тристиям». Мандельштам был доволен.

Целый год мы жили как у Христа за пазухой. Елена Ивановна изредка напоминала нам, что не надо бездельничать, а то не будет денег. Только один-единственный раз у нас вышел конфликт: она не пустила Костю Вагинова, потому что «хозяин спит». Мы встретили Костю в парке, когда вышли погулять, и узнали, как он был изгнан с порога. Мандельштам пробовал втолковать Елене Ивановне, что он не хозяин и его можно и потревожить, если кто придет. Она не соглашалась: у графа Кочубея, где она раньше служила, барина никто не беспокоил. Еще она обижалась, если к обеду без предупреждения появлялся гость: она «теряла марку», если не подавала что-нибудь неожиданное и невообразимое. Люди искусства – она и Мандельштам – понимали друг друга, и он был польщен, когда армянский поэт (Акопьян? Мы прозвали его «красный старец»), приехавший «переводиться», принял Елену Ивановну за «супругу» и целый час любезничал с ней, пока мы не вернулись с прогулки. Тут он растерялся и со мной любезности не проявил… Елена Ивановна ушла от нас в частный пансион, чтобы заработать побольше денег для общины. Одну-единственную зиму мы прожили под доброй опекой, и Мандельштам, сравнивая мои суждения с ее рецензией на его стихи, говорил, что она понимала куда больше, потому что знала, на чем стоит, а я «поразительно лишена представлений» и «сплошные белые пятна на карте»… Может, он и был прав. Последний этап работы над прозой: груды листов раскладываются на полу или на столе, если он большой. Вечное недоразумение, что каждый день я сызнова начинала нумерацию, листочки перемешивались, и нужно было подбирать, за которой пятой страницей следует данная шестая, а это при том, что успело накопиться немало и пятых и шестых… Мое счастье, что Мандельштам был малолистным автором – «ни листажа, ни строкажа»… Будь он как все, я бы никогда не разобралась ни в пятых, ни в шестых… А его больше всего интересовало, до какой цифры я умею считать, но этого он так и не узнал. Порядок глав Мандельштам тоже проверял по слуху и иногда ножницами вырезывал куски, которые потом выкидывал или переставлял. Его искренно огорчало, что приходится возиться

с такой ерундой и я не могу сделать за него такую простую работу. Его тошнило от кучи исписанной бумаги и тянуло из комнаты на волю: кому это нужно? Идем гулять… Мы, разумеется, бросали работу, положив на каждую кучку бумаг по большому камню, чтобы они не разлетелись. Я не слишком была привержена работе и несравненно больше бы мешала ему, если бы ему можно было помешать…

Усталая, заплаканная, измученная, я засыпала на его плече, а ночью, проснувшись, видела, что он стоит у стола, что-то чиркает и записывает. Заметив, что я проснулась, он показывал новый кусочек, утешал, смешил, и мы снова засыпали. Я поняла, как он относится ко мне, еще в первый приезд в Грузию. Мы попали в Батум и первую ночь провели на террасе в квартире инженера, фамилию которого я забыла, члена первого или второго «Цеха». Его самого не было в городе, а жена, пустившая нас на террасу, предупредила, что там полно москитов. Всю ночь, просыпаясь, я видела, как Мандельштам сидит на стуле, рядом с кроватью, и машет листом бумаги, отгоняя от меня москитов[4]. Боже, как хорошо нам было вместе – почему нам не дали дожить нашу жизнь…

Под конец срока в Гаспре – мы прожили там два месяца – приехал Абрам Эфрос и деловито сообщил: «Мы вам вынесли выговор» (Эфрос был активным членом Союза писателей). Мандельштам спросил, какой выговор и как могли вынести какой бы то ни было выговор, не вызвав его и не запросив объяснений: «Вы ведь все же общественная организация…» Эфрос заявил, что выговор не имеет никакого значения, а вынесен он по жалобе Свирского, потому что Мандельштам «набросился на его жену», требуя, чтобы она не шумела на кухне. Свирский, как потом выяснилось, никакой жалобы не подавал. Все это было выдумкой Эфроса, знаменитого интригана союзписательского типа. (Впоследствии он был организатором фельетона Заславского, который был принесен в ночную редакцию во время дежурства Эфроса.)

Наша комната на Тверском бульваре была рядом с кухней, где постоянно шумели две-три женщины под водительством «генеральши», единственным остатком прежних жильцов дома. Она служила кухаркой у инвалида военного, который под конец женился на ней. За прежнюю кухарочью деятельность ее признали трудовым элементом и не выселили. Добродушная «генеральша» пекла для всех пироги и сдобу, в частности для передач в тюрьму, когда сидел Евгений Эмильевич. Она говорила: «Против меня никто мясо не стушит» – и старалась научить меня жарить жирное украинское жаркое и печь кружевные пироги с капустой и

яйцами: «Перенимайте, а то никогда не научитесь…» Свирские, добродушные, как «генеральша», наслаждались едой после голодовки. Мандельштам часто выходил на кухню и просил не шуметь. Помогало не больше чем на двадцать минут.

Таков был первый конфликт Мандельштама с писательскими организациями – еще на кухонном уровне. Он сказал Эфросу, что отказывается от комнаты в Союзе писателей, который позволяет себе выносить заочные выговоры писателям, не запросив у них объяснений: для вынесения выговора необходимо заслушать стороны. Эфрос считал это мелкой формальностью и не советовал лишаться комнаты – жилищный кризис!.. Заявление с отказом было послано из Гаспры, и мы вернулись в Москву на пустое место.

Мы были рады, что избавились от писательской трущобы, но от власти писательских организаций не ускользнул еще никто. Мандельштам был только первым опытом неоперившегося союза. Писательские организации постепенно набирали силу и вскоре стали самым могучим творческим союзом в мире. Прожить без них нельзя, а жить с ними невозможно. Они держат в руках все и всех и непосредственно сносятся с мощными инстанциями. Не думайте, что они превратились в свою противоположность по приказу сверху. В их внутренней структуре изначально было заложено то, что сейчас бросается в глаза, и заложено оно было не в советской, а в русской литературе.

Меня могут обвинить, что я посягаю на священные яблоки: говоря о русской литературе, обычно имеют в виду ряд священных имен, честь и гордость страны. Но текущая литература состоит не из них. В писательских организациях состояли бы и Пушкин, и Греч с Булгариным. Кто из них оказался бы «руководящим кадром» и ратовал за исключение Зощенко, Ахматовой, Солженицына, Пастернака или подписывал согласие на уничтожение Клюева, Клычкова, Мандельштама и многих еще? Греч и Булгарин всегда были деятелями и ныне состоят в президиуме правления союза. Их поддерживают те, кто приходил «руководить меня», то есть Достоевского, прививал нигилизм, писаревщину, сновидческие бредни и представление о высшей духовной деятельности по знаменитой диссертации, где говорится о живой женщине и о ее изображении на картине. Вспомним формулу одного философа, которому еще не исполнилось ста лет: выпьем за науку, но не за ту, которая, а за ту, которая… Это было произнесено в последний год жизни Мандельштама, и он любил повторять дивную формулу, приучая себя к мысли о неизбежной гибели.

Русская литература – не та, которая, а та, которая, – всегда

все разлагала. Так действует, наверное, любая литература, но русская оказалась самой могущественной. Это рассуждение не случайно возникло по поводу кухонного инцидента – во всем, что случается в литературе, пахнет зловещей кухней. Для Мандельштама литература и поэзия – несовместимые понятия. Поэт – лицо частное и «работает для себя», а к литературе не имеет ни малейшего отношения. В Союзе писателей он случайный и пришлый элемент и подлежит исключению, как Пастернак и Солженицын. Нечего поднимать бузу, когда их исключают. И я не верю милым мальчикам, которые жуют овес из писательских кормушек.

# Промежуток

Зиму 23/24 года мы провели в наемной комнате на Якиманке. Московские особнячки казались снаружи уютными и очаровательными, но изнутри мы увидели, какая в них царит нищета и разруха. Каждую комнату занимала семья во главе с измученной, но железной старухой, которая скребла, чистила и мыла, стараясь поддержать деревенскую чистоту в запущенном, осыпающемся, трухлявом доме. Мы жили в большой квадратной комнате, бывшей гостиной, с холодной кафельной печкой и остывающей к утру времянкой. Дрова продавались на набережной, пайки исчерпали себя, мы кое-как жили и тратили огромные деньги на извозчиков, потому что Якиманка тогда была концом света, а на трамваях висели гроздьями – не вишни, а люди.

Новый, двадцать четвертый год мы встретили в Киеве у моих родителей, и там Мандельштам написал, что никогда не был ничьим современником. Он мог бы прибавить, что его тоже никто современником не считает, но тогда он еще не понял, что время принадлежит ему, а не им. В тот год родилась идеология – одержав победу на всех фронтах, властители перешли на мирное строительство. Только в центральных областях еще не заглохли крестьянские восстания, и каждый вагон, когда мы ехали в Киев, провожали двое пулеметчиков. Зато поезд состоял не из теплушек, милейших дач на колесах, где беснуются демобилизованные или командировочные, а из обыкновенных вагонов – верный признак того, что началась мирная жизнь. А мир у нас всегда сопровождается чудовищными вспышками самоистребления. Передайте от меня итальянскому писателю, который, надеюсь, меня читать не станет, что, когда вырывают «сто цветов», земля насыщается кровью и больше на ней никогда ничего не растет. Сколько нужно съесть пекинских уток, чтобы умилиться особым формам «борьбы с бюрократизмом». Остерегайтесь литературы. Самая невинная форма литературы – полицейские романы.

В ту зиму появилось выражение «литературный фронт» и кто-то уже стоял «на посту». Критики пропечатали, что Мандельштам бросил поэзию, а сменовеховская газетка «Накануне» подхватила этот изящный слух. Можно бросить женщину, жену или любовницу, а в мое время женщины бросали мужей и любовников. А нельзя ли разобраться, как это «бросают поэзию»? Какая техника? Такое понятно только специалистам по смене вех – вырвали одни и понатыкали другие, чтобы обозы двинулись

новым путем.

Бухарин открыл Мандельштаму, что не может печатать его стихи – только переводы. Мы впервые узнали вкус не добровольной, а настоящей изоляции: ни один современник не заглянул к нам на Якиманку. Все были заняты настоящими делами, к которым Мандельштам не имел никакого отношения: шла борьба за то, кому управлять литературой. Одни дрались за власть, другие пристраивались к дерущимся в качестве подхалимов. «Леф» еще верил в победу, усачи и попутчики занимали стойкие позиции, а мальчишка Авербах, будущий победитель, сидел пока в маленькой редакции на Никитском бульваре на подступах к Дому Герцена.

Мы познакомились с Авербахом, когда жили еще на Тверском бульваре, а произошло знакомство ради папиросного мальчишки, который носил нам на дом папиросы и поразил Мандельштама своим законченным урбанизмом. Мальчишка презирал Москву с ее убогим автомобильным движением и рассказывал, что в Америке машины идут одна за другой, впритык – конца-краю не видно – и своим количеством замедляют движение. Мандельштам решил пристроить урбаниста комсомольскому Авербаху. Мальчишку Авербах взял рассыльным, а Мандельштама попросил перевести – услуга за услугу – стишок какого-то революционного венгра. Получив перевод, Авербах пробежал его глазами, встал, пожал руку переводчику и сказал: «Поздравляю, Мандельштам, вы сделали большое дело». Мандельштам ответил резко – несколько теплых слов о различных формах уничтожения литературы и поэзии, и его слова вызвали генеральскую улыбку на лице Авербаха. С урбанистом тоже ничего не вышло: он украл перчатки Пастернака и был с позором выгнан. Я чуть не съела Пастернака за перчаточную жадность, но он так в ней раскаивался, что Мандельштам на меня цыкнул. Он пошел к Авербаху и пробовал внушить ему, что комсомол должен не выгонять, а воспитывать, но узнал, что в дни обострившейся классовой борьбы нечего тратить силы на недостойных имени пролетария. Авербах уже в пеленках выучил все слова, и Мандельштам понял, что он далеко пойдет.

В нашем уединении на Якиманке мы замечали обострение классовой борьбы только по тому, как трудно становилось добывать деньги, вернее переводы. Мандельштам еще не вполне осознал, что мы вошли в эпоху организованной литературы – и не только литературы, но и мысли. Летом – на даче Госиздата в Апрелевке – он пожалуется, что «они» допускают его только к переводам. В языке у него появится новое слово «они». Оно существует у всех. Говорят, Никита жаловался, что «они» не дают

ему развернуться и заедают за «Ивана Денисовича». Бесконечная лестница, на которой стоящие на верхних ступенях ощущаются как «они» и на них взирают снизу те, кто для нижних тоже «они». При хозяине все завершалось человеком, чье имя и отчество полагалось произносить с соответствующим выражением лица. На человека, забывшего о священном трепете при произнесении имени, писался донос. Неопределенные подозрения излагались устно в отделе кадров или по начальству. «Они» есть и будут, а вот с доносами обстоит хуже. Говорят, что поток ослабевает. Огромное значение имело бы исследование количества доносов по периодам и распределение доносителей по возрасту. Существенны также качество и стиль доноса. К сожалению, социологические исследования у нас не в почете.

Сейчас я в отставке и перестала интересоваться, как идет «ход воспаленных тяжб людских», а тогда – на Якиманке – мы только удивлялись новым веяньям и не верили в их прочность. Мы еще не научились ловить слухи и по косвенным признакам угадывать реальные соотношения. Все, что происходит наверху, всегда тайна, а мы, наивные, не заметили, что на горизонте уже сияет зловещая звезда! Портрет хозяина появился в первый раз на обложке того самого номера «Огонька», в котором впервые была напечатана проза Мандельштама и его отличная фотография в свитере. Такая славная фотография, где он вышел поразительно похожим, была напечатана в самом страшном номере мерзопакостного журнала.

Выбирать, впрочем, не приходится: все номера всех журналов омерзительны, и в каждом есть что-нибудь, от чего хочется бежать на край света, только бежать-то нельзя А вышел Мандельштам так хорошо, потому что фоторепортеры знают свое дело – если бы не пакостный журнал, у меня бы не было отличной карточки Мандельштама. Фоторепортер снял и меня, потому что иначе Мандельштам отказывался сидеть. Эти фотографии гораздо живее, чем те, которые года через три сделал Наппельбаум, знаменитый фотограф, специализировавшийся на портретах вождей. На портретах Наппельбаума я – приличная дама с застывшим лицом, чего никогда не было, а Мандельштам – утонченный молодой человек, чем даже не пахло. Он отлично выходил на фотографиях, сделанных любым уличным фотографом – «лопаткой из ведерка», – но только не на наппельбаумовских портретах, столь же слащавых, как зарисовки Эренбурга: хилый еврей с могучим голосом.

Гораздо легче сделать портрет вождя, чем поэта. Вождя следует приукрасить, а поэта дать таким, как он есть. Эпоха соцреализма отучила людей смотреть внимательно и непредвзято

на предмет изображения. Поэты тем и вредны, что смотрят на мир открытыми глазами. Все прочие находятся во власти готовых представлений и «улучшают» объект, как Наппельбаум.

Зима на Якиманке была единственной в моей жизни безрадостной порой. От стен, что ли, шел мертвящий дух или сами мы потеряли способность радоваться, что я не запомнила никакой дури, которая нас тешила всегда и всюду. Зато я запомнила, как, возвращаясь поздно вечером от Нарбута в пустом трамвае – пустыми они бывали только к ночи, – мы вдруг заметили, что вагоновожатый остановил вагон в неурочном месте и выскочил на мостовую. Он вернулся с газетой: экстренный выпуск – смерть Ленина. Стояли страшные морозы, а в последующие дни и ночи протянулись огромные многоверстовые очереди к Колонному залу. Мы прошли вечером вдоль такой очереди, доходившей до Волхонки, и простояли много часов втроем с Пастернаком где-то возле Большого театра. Очередь не двигалась, а мы еще боялись, что нас из нее выгонят, – это была какая-то делегация. Остальные, вытянувшиеся в нитку, состояли из обычного черного и мрачного люда. «Они пришли жаловаться Ленину на большевиков, – сказал Мандельштам и прибавил: – Напрасная надежда: бесполезно».

Горели костры, и мы подходили греться – на мне было драповое пальто, лучшее в моей жизни, одно на все сезоны. Мандельштам уже хотел вести меня домой, чтобы я не превратилась в сосульку, как произошел неожиданный случай: по площади прошел Калинин. Вожди еще не разучились ходить пешком. К нему бросились какие-то комсомольцы, требуя, чтобы их провели поскорее. «Требуют себе привилегий», – сказал кто-то из моих спутников. Калинин отогнал комсомольцев обыкновенным здоровым матом. Реакция Калинина нас не удивила – мы еще считали вождей обыкновенными людьми, способными на обыкновенные слова. Нас скорее поразило то, в каком темпе они стали терять человеческие черты.

С Калининым было несколько спутников. Один из них заметил нас – мы стояли в нескольких шагах – и подозвал. Без блата не обошлось – мы прошли с Калининым, нас пристроили в движущуюся очередь, и мы продефилировали мимо гроба. Мы возвращались пешком домой, и Мандельштам удивлялся Москве: какая она древняя, будто хоронят московского царя. Похороны Ленина были последним всплеском народной революции, и я видела, что его популярность создавалась не страхом, как впоследствии обожание и обожествление Сталина, а надеждами, которые возлагал на него народ. Единственный раз за всю мою жизнь Москва добровольно вышла на улицы и построилась в

очереди. Люди стояли терпеливо, молча, мрачно. Нигде не было давки, ни малейшей тени Ходынки. Комсомольцы, которых покрыл Калинин, стояли на подступах – в особой короткой очереди для делегаций. Они требовали для себя не просто привилегий, но особых. Начиналась новая жизнь, и такие организованные группы, вероятно, и создали катастрофу на похоронах Сталина: все хотели обскакать соседа хоть на полноздри, хоть на целое ухо… Этого я уже не видела, потому что была далеко от Москвы.

С Якиманки нам пришлось несколько раз ездить в Ленинград, потому что заболел отец Мандельштама. Я уже успела познакомиться с ним – он несколько раз приезжал в Москву по своим кожевенным делам, когда мы жили еще на Тверском бульваре, а мы ездили в Ленинград после смерти жены Евгения Эмильевича. В то время переводческий центр переместился в Ленинград и хозяином переводов стал Горлин, сидевший в Доме книги против Казанского собора. В Москве мы доедали последние остатки Барбюса, нудные рассказы которого буквально отравляли нам жизнь, да еще Барбье. Жилищный кризис в Ленинграде, опустевшем и опустошенном городе, был гораздо менее ощутим, чем в Москве, где в каждой комнате жила семья, а в каждом углу приезжие родственники. Так подготовлялся наш переезд в Ленинград, уже чуждый Мандельштаму город, где для него оставалась близкой только архитектура, белые ночи и мосты. В один из весенних наездов в Ленинград Мандельштам ночью возил меня по набережным и радовался «чистым корабельным линиям города». Мы смотрели невероятные квартиры на Неве с зеркальными окнами прямо на серую воду. Это были квартиры, брошенные хозяевами, бежавшими из России. Никто их не брал, потому что на ремонт и дрова ушло бы целое состояние. Мы с Мандельштамом только облизнулись, Ахматова же прожила целый год в одной из таких квартир и отлично вписалась в пейзаж, но и ей пришлось оттуда бежать. Мы достали не чудо на Неве, а две прелестных комнаты на Морской, нечто вроде гарсоньерки, перевезли мебель из Москвы – палисандровую горку, туалет и секретер красного дерева, что-то докупили в Ленинграде – город был завален брик-а-браком – и зажили среди красного дерева, корня карельской березы, старого фаянса и синего стекла. Эту муру я находила на Апраксином рынке, хищным глазом подмечая «удачи»…

Одна беда: в нашей гарсоньерке не было двери. Она, вероятно, отделялась от передней ковром, а может, дверь стопили в голодные годы – в железной печке-«буржуйке». Мы нанимали одного плотника (или это столяры?) за другим, но они исчезали,

пропив аванс, пока какой-то чудак не соорудил нам нечто из некрашеных досок такой невероятной грубости, что чрезмерное изящество жилья как-то смягчалось и не лезло в глаза. Петербургский мастеровой разучился работать и презирал нового заказчика.

Так начиналась петербургская идиллия с хождением к Горлину, изредка в гости к Бенедикту Лившицу, где процветал Кузмин, всех нас презиравший и даже не пытавшийся этого скрывать. Его всегда сопровождали Юркун и по-старомодному жеманная, но миленькая Арбенина. Она тихонько рассказала мне подробности своего минутного романа с Мандельштамом, и я убедилась в его неправдоподобной правдивости. Приближался Новый год. К нам пришли встречать Лившицы и друзья Мандельштама еще по дому Синани, случайно приехавшие из Москвы. В общем мы жили одиноко, ни с кем не сходились, а Мандельштам радовался, что у меня наконец есть милый дом и серые боты, которые ходят по Гостиному двору. Мандельштам писал стихи, не предвещавшие беды, шел новый январь, и вдруг все перевернулось.

# Нищий

В марте 25 года, насильно увезенная из своей милой, но опоганенной квартирки, я очутилась в маленьком пансиончике в Царском Селе. Петербуржцы, заявил Мандельштам, ездили объясняться в Финляндию, теперь Финляндии нет, приходится довольствоваться Царским… Первую ночь я металась и умоляла отпустить меня на волю: зачем я тебе?.. Зачем ты держишь меня?.. Зачем так жить – как в клетке?.. Отпусти… Я не раз молила его отпустить меня на волю, но в ту ночь особенно настойчиво. Бегство к Т. сулило свободу и, может, возвращение к живописи, хотя я уже понимала, что в ней я случайный гость (почти все, кто занимается поэзией и живописью, делают это из самоуслады и принадлежат к категории случайных гостей). Мало того, неудача давала мне право на самоубийство. Я была уверена в своем праве на уход из жизни, если она мне не улыбнется, а Мандельштам это право начисто отрицал. Ему в Москве донесли, что я раздобыла пузырек с морфием и держу его на случай жизненной неудачи. Он силой отобрал его у меня, хотя я царапалась, как кошка, и вырвал обещание нового не заводить. Будь у меня мой пузырек, я бы использовала его на Морской вместо того, чтобы сидеть у камина. Надо прожить жизнь, чтобы понять, что она тебе не принадлежит.

Для меня все же остается один вопрос: не оправданно ли самоубийство, если оно дает возможность избежать не только мерзости наших лагерей и тюрем, но и пыток, под которыми люди оговаривали кого попало? К мысли о самоубийстве я вернулась после смерти Мандельштама, но только тешила себя этой мыслью, потому что никуда не могла уйти от его наследства. Мне кажется, что, умри я первая, Мандельштам бы без меня долго не прожил; в нем было что-то от зверька, который так мечется в клетке, что разбивается насмерть. Мне совестно, что я оказалась долгоживущей. Понимает ли он, что я жила только ради него? Чтобы оказаться такой стойкой, надо было вместе пройти весь путь и видеть, как травят моего зверя. В 25 году ни близости, ни стойкости еще не образовалось, и я рвалась на волю. Он же только молил: не губи нашей жизни…

В моей тяге на волю живопись была только предлогом. Мандельштам успел мне внушить: если человек не работает, значит, ему нечего сказать, внешние помехи только отговорка пустопорожних болтунов. От него я впервые услышала, что нужно иметь, «что сказать». Остальные говорили только потому, что им хотелось говорить. Я понимала, что он прав, но пыталась заткнуть уши. Во всем, чего он требовал от меня, была мысль, был

внутренний стержень, а у всего моего поколения только тяга к легкой жизни и к легковесной свободе. В наших ссорах и спорах я никогда открыто не сдавалась, но не могла не чувствовать его внутреннюю правоту. Однажды в Москве я сидела на Тверском бульваре и плакала от какой-то очередной обиды. Со мной был Клима Редько, художничек из моего киевского табунка. Он жил с богатой дамой-покровительницей и тут же придумал выход, как избавить меня от Мандельштама: «Идем со мной, – сказал он, – я заставлю ее взять и вас…» – «Она выгонит нас обоих», – возразила я. Климочка знал себе цену: «Попробует только! Идем…» – «А ведь Оська прав», – неожиданно сказала я и, оставив ошарашенного Климочку посреди бульвара, ушла в свое логово, где меня ждал разъяренный Мандельштам. В Москве речь шла о чем-нибудь вроде «ты» и «вы», но в Царском была права я. Мандельштам соглашался, что он кругом виноват, и только повторял, что наша жизнь дороже и важней всех метаний и ошибок: «Пойми это…» – «Как смел ты допустить, чтобы Ольга приходила издеваться надо мной? Чего еще от тебя ждать?.. Отпусти…»

Наутро в нашу комнату вошла Мариэтта Шагинян. Это было первое событие, заставившее нас рассмеяться. Выяснилось, что она наша соседка и живет в соседней комнате за тоненькой переборкой. Не будь она глуха как тетерев, ей поневоле пришлось бы узнать уйму вещей, которых я не открываю и в этих откровенных записках. Нам здорово повезло, что рядом очутилась именно она, глухая зануда, размышлявшая о Ленине и Гёте и находившая прямую связь между штейгерским молотком и полезной деятельностью Фауста и знаменитым планом электрификации нашей молоденькой социалистической страны. Хоть и глухая, Мариэтта почуяла что-то неладное и надавала кучу советов. Основной совет: пореже принимать ванны, потому что современная медицина против ванн. Второй совет: довериться ее другу, замечательному врачу, и влюбиться в него. Между прочим вопрос, знакома ли я с ее мужем (армянки ревнивы). Через час она привела врача, у которого был вид факельщика. Он цедил многозначительные слова, а я так нафыркала на него, что Мандельштам дал мне по голове, и мы опять рассмеялись. Вскоре Мариэтта уехала со своим замогильным спутником, и мы окончательно развеселились.

В тот же день произошло еще одно событие: приехал Пунин, искавший, куда бы пристроить Ахматову, – у нее началось обострение туберкулеза, предвестник петербургской весны. Он обрадовался, встретив нас, и обещал на следующий день привезти Ахматову. Мандельштам не поверил – она не приедет. У

Ахматовой был дар ускользать от друзей. Я это знаю и по себе: как будто мы были очень нужны друг другу, с трудом расстаемся, а потом – ни слова, ни звука, ничего… А Мандельштаму в давние годы она вдруг сказала, чтобы он пореже бывал у нее, и он взбесился, потому что никаких оснований не было. Она же объясняла этот поступок – приличием («Что скажут люди?») и заботой о мальчике («А что, если бы он в меня влюбился?»)… Мандельштам называл это «ахматовскими фокусами» и смеялся, что у нее мания, будто все в нее влюблены. Для меня «фокусы» назывались «старомодными петербургскими штучками». Я находила их и у Мандельштама. В начале нашей дружбы, проведя весь день со мной, примелькавшись всем прохожим, знакомым и незнакомым, он подходил ко мне в «Хламе» и церемонно здоровался. Так полагалось у них в «Собаке», но в моем вольном поколении казалось смешным и глупым. Что, собственно, скрывать? Я могла бы пощадить родителей, но они старательно ничего не замечали, лишь бы я от них не ушла. Игра в тайну быстро провалилась.

А в Царское Ахматова все-таки приехала, и ее приезд таинственным образом снял наши раздоры. Она тут же собрала всю информацию: кое-что ей рассказал Мандельштам, конечно, я, да еще Т., который так и не сообразил, что был втянут в эту историю только из-за жилищного кризиса. Она всем посочувствовала, повздыхала, но никаких советов не дала. Умница, она знала, что советов давать не надо. Я очень ценю последнюю формулу Ахматовой: «Пускай сами разбираются со своими бабами».

До встречи в Царском я с Ахматовой была еще мало знакома. Мандельштам водил меня к ней раза два, о чем я расскажу попозже, да еще раз она приходила к нам на Морскую – осенью 24 года, когда мы только переехали из Москвы. Она застала меня одну – Мандельштам поехал в Москву за мебелью. Я была в той самой полосатой пижаме, которую Георгий Иванов принял за мужской костюм, и вдруг хватилась, что у меня нет папирос. Мне не захотелось переодеваться, чтобы выбежать на улицу, и я послала за папиросами ее: «Сбегайте, Анна Андреевна, а я пока поставлю чай…» Она навеки запомнила этот случай и в Ташкенте рассказывала всем, как я с ней обращалась: «И я побежала, как послушная телка…» Ей надоел «большой сюсюк» женщин-читательниц, устраивавших вокруг нее сентиментальный балаган, но она так к нему привыкла, что не могла забыть, как ее послали за папиросами. Хорошо, что я погнала ее, а не Радлову. Та бы повествовала о наглых одесситках, которых привозят в священный город незадачливые поэты.

Настоящая дружба началась у нас с Ахматовой на террасе пансиончика, где мы лежали закутанные в меховые полушубки, дыша целебным царскосельским воздухом. Он действительно оказался целебным, раз мы обе выжили. Хозяин пансиончика, повар Зайцев, ежедневно ездил в Ленинград к фининспектору, спасая свое частное предприятие от полного разорения, и мы часами ждали, чтобы он вернулся и накормил нас. Частный сектор в нашей стране изничтожался как в литературе, так и в поварском деле, а казенная пища, как и литература, вызывает несварение желудка. В 1926 году, когда мы вернулись в Царское зимогорами, пансиона Зайцева уже не существовало. Фининспектор съел его. Дольше всех держался пансион, хозяева которого были родственниками Урицкого. (Туда-то и ушла наша баптистка-повариха.) Для того чтобы держать крошечный пансиончик, требовались связи с правительственными кругами. В 37 году все рухнуло – родственников Урицкого пересажали, как и вообще всех… Одну из них, жену поэта Спасского, обвинили в том, что она хотела взорвать памятник своему дяде, а такого памятника вообще не было. Следователи, конечно, с разрешения высоких инстанций «забавлялись» зловещими шутками. Особенно страшно это проявлялось в Ленинграде. Сам Спасский тоже «уехал», как член террористической группы, возглавляемой ни более ни менее как Фадеевым и еще кем-то – не то Алексеем Толстым, не то Тихоновым. Ассоциативные ходы советской женщины всегда ведут к одной и той же теме…

Прогоравший повар по возвращении жарил на крошечных сковородках удивительные котлеты, блинчики или телячьи отбивные, и мы наслаждались его искусством. Возродиться ему не суждено. Говорят, оно на ущербе во всем мире, но нигде оно не падало так стремительно, как у нас. С поэзией тоже обстоит плоховато, но последние поэты держались до последнего издыхания.

Терраса еще была завалена сугробами подтаявшего снега, но солнце уже чуть грело сквозь грязные стекла, на которых накапливалась пыль с семнадцатого года. Мы с Ахматовой непрерывно мерили температуру и радостно ждали смерти. В те годы Ахматова не знала страха смерти, и он охватил ее в последнее – такое мирное! – десятилетие жизни. Я и сейчас не знаю этого страха и не верю, что он когда-нибудь проймет и меня. Неужели все подвластны ему?.. На царскосельской террасе жизнь в нас еле теплилась. Мы обе были такие слабые, что еле передвигали легкие шезлонги, когда к нам подбиралось солнце. Нам велели сидеть только в тени и остерегаться даже мартовского солнца. Все было под запретом для нас, таких

молодых, слабых и веселых… Мандельштам и Пунин пили вино, шутили и непрерывно дразнили нас. Мы отдразнивались. «Все они хороши, когда женихи», – вспоминала об этой поре Ахматова, подыгрывая под бойкую бабенку. Роман с Пуниным был в самом цвету. Ее вещи еще находились в Мраморном дворце в комнатах Шилейко, переехавшего в Москву. Пунин собирался перевезти барахло на Фонтанку, где жила его жена с дочерью. Ахматова была в смуте. Она как-то напугала Мандельштама, когда, идя к себе в комнату, вдруг остановила его и сказала: «Не уходите – с вами все-таки легче…»

Он рассказал мне про это, удивляясь (мы всегда удивлялись друг другу): «Чего она дурит? С Пуниным у нее все в порядке, а она изображает раненую птицу…» Ему всегда казалось, что все в порядке, а на самом деле в нашей жизни ничего похожего на порядок не было.

Однажды к нашей террасе пробрался совершенно изнеможенный нищий. Он шел с трудом, проваливаясь в чуть подтаявший снег. Это произошло в первые недели или даже дни нашей царскосельской жизни, потому что потом наши шезлонги выносились на сухой асфальт перед домом – во дворик. Мы высыпали нищему все, что было у нас в сумочках, стыдясь скудости подаяния, а он ушел, пораженный нашей щедростью. Эпизод с нищим оказался началом настоящей, а не календарной дружбы между нами, потому что я призналась, как щемит у меня сердце при виде нищих – долго ли моему отцу, матери, братьям и сестре до того, чтобы пойти с протянутой рукой?.. На эти слова она откликнулась сразу: ее мать и сестра погибали где-то на юге, а братья, Виктор и Андрей, исчезли. Не помню, дошла ли до нее уже весть о самоубийстве Андрея, но мы часто говорили с ней о нем. Я как-то жила с отцом в Севастополе, а он повадился ходить к нам и мне, еще подростку, рассказывал про сестру, про ее брак и развод с Гумилевым. С его слов я знала, что в семье всегда считали этот брак обреченным на неудачу и потому никто не пришел в церковь на венчание. Ахматова подтвердила, что так и было. Ее оскорбляло отношение семьи… Про второго брата, Виктора, ей сказали, что он расстрелян в Ялте. Слух шел такой; тела сбросили с мола в море, а наутро море было спокойное и прозрачное и на дне лежали еще не всплывшие трупы. Подобных рассказов ходило множество – кто их проверит? Но к двадцати годам я уже видела столько трупов и убийств, что не хотела глядеть на Божий мир.

Надо прожить нашу жизнь, чтобы узнать одну истину: пока трупы валяются на улицах и на больших дорогах, еще можно жить. Самое страшное наступает, когда уже не видишь трупов.

Пока «по улицам Киева-Вия ищет мужа не знаю чья жинка», в жизни еще сохраняется что-то человеческое. Когда «чья-то жинка», подкрасив губы, идет на службу, жить уже нельзя.

К приходу нищего мы уже испытали немало: потерю близких, страх, полное обнищание, первый голод в полной мере. Она пережила его в Петербурге, простаивая часы в очереди за пайком Шилейко, а я – бродяжничая по стране. Мандельштам писал про себя: «Я, оборванец каторжного вида с разорванной штаниной…» Такими были все, кто оторвался от дома в гражданскую войну, потом все беженцы Второй мировой войны, а про лагерников и говорить нечего. Недаром в языке появилось новое слово «доходяга» – смерть на ходу. Голодающие крестьяне, которые умирали на нетопленой печи, в буквальном смысле доходягами не были, но их братья – депортированные и бежавшие из деревни в конце двадцатых годов – вполне вмещаются в категорию доходяг. Все это мы видели и за все отвечаем. Разве мы не ели отобранный у них хлеб?

«Дети, вы обнищали, до рубища дошли» – понятно всем матерям и всем блудным сыновьям нашей эпохи. К счастью, мать Мандельштама умерла до катастрофы, отец же умирал в 38 году, совершенно брошенный младшим сыном, и все ждал в больнице, что появится старший и спасет его. Он не знал, что сын сидит на Лубянке и готовится к смерти. В пору моей встречи с Ахматовой я испытывала непрекращающуюся боль при мысли о брошенных стариках, о пропавшем брате – где и как он погиб? – и о насмерть испуганной сестре. Ахматова остро ощущала собственную нищету и беспомощность – иначе она вряд ли согласилась бы на переезд к Пуниным, – горькую долю сестры и матери, разлуку с сыном, а также бедствия страны, людей, братьев. Моя мысль про нищего оригинальностью не отличается, но чувство принадлежит далеко не всему разворошенному муравейнику. Люди нашего круга, если у нас был круг, в чем я сомневаюсь, старались не вспоминать бедственные годы и думать, что все худшее осталось позади. Поразительная черта, свойственная огромному большинству людей, – считать, что все страшное провалилось в бездну времени, а впереди – в будущем – цветут розы. Только этим ощущеньем люди живы. Те немногие, которые чувствуют будущее, часто теряют способность жить настоящим, таким страшным видится им то, что предстоит. Ахматова, Кассандра, как ее назвал Мандельштам, с ужасом глядела не только назад, но и вперед, предчувствуя испытания и горести, хотя 25 год был еще сравнительно тихим. Мандельштам, а следовательно, и я, тоже был охвачен тревогой, хотя и не терял способности наслаждаться настоящим. (Я не могла.) Тревога чуть-чуть

смягчилась в годы, когда мы жили в Ленинграде и в Царском (1924–1927). Он тогда слегка поддался пропаганде на высшем уровне: «это последние расстрелы и последние бедствия, чтобы потом никогда не было ни расстрелов, ни бедствий…» Точно так гражданская война считалась последней войной, чтобы потом никогда не было войн…

Не из этого ли свойства человека происходят все миражи – хилиазм, культ Софии, теория прогресса и прочие оптимистические идеи? Сколько раз мы попадались на эту удочку, но и сейчас – в грозной тишине семидесятого года – люди тушат вспышки тревоги и надеются на будущее. А что сулит нам это будущее, которого я, слава Богу, не увижу?

Самой высшей точки вера в будущее достигла в середине двадцатых годов. Все, включая деревню, были поглощены одной мыслью: как бы наверстать потерянное и стать на ноги. Крестьяне, вставшие на ноги в двадцатые годы, были раскулачены и уничтожены на подступах к тридцатым. Раскулачиванье коснулось именно их, поднявшихся в нэп. Ведь прежних «богатеев» успели убрать еще до нэпа. Город не замечал деревни, хотя его порой наводняли толпы голодных – уже не крестьян, а нищих. Город хотел хлеба с маслом и неслыханно долго соблюдал благодушие. Верхушка новой интеллигенции, ставшая «кадрами», задалась одной целью: пробиться к неугасаемому государственному пайку, спрятаться за ограду, куда пускают не всех, а только избранных, где всегда сытно, пожалуй, сытнее, чем раньше. Спрятавшись за оградой, они переставали упоминать тех, кого уводили ночью из дому. Перенесенный всеми голод научил людей ценить сытость, а тем более – довольство. С первого дня у нас людей кормили выборочно – по категориям, согласно пользе, приносимой государству. Трогательные рассказы о правителях, живущих, как рабочие, – сантиментальный блеф. В годы гражданской войны они жили скромно, но разница в уровнях соблюдалась всегда. Чем дальше, тем она больше, и уже к середине тридцатых годов их жизнь стала тайной. Они были вельможами, но не смели в этом признаться. А в нэп выделили группу ИТР, инженерно-технических работников, а писатели рыли землю, чтобы стать «инженерами человеческих душ» и получить свою долю. Что нужно было делать, чтобы добиться цели, ясно каждому. Они делали свое дело от всей души, и звание «инженеров» получено ими не зря. Об этом свидетельствуют груды книг и подмосковные дачи.

Каждому – свое. Мы свою нищету избрали сами. К тому же совершенно добровольно. По мере того как из испуганной девочки-Европы я превращалась в нищенку-подругу, крепли наши

отношения с Ахматовой. Ведь отречение от внешних благ, от всего, что вызывает вожделение людей, было ей свойственно с ранней юности. Мандельштам отметил эту черту еще до революции: «В последних стихах Ахматовой произошел перелом к гиератической важности, религиозной простоте и торжественности: я бы сказал, после женщины настал черед *жены.* Помните: „смиренная, одетая убого, но видом величавая жена»? Голос отречения крепнет все более и более в стихах Ахматовой, и в настоящее время ее поэзия близится к тому, чтобы стать одним из символов величия России…»

Как прошли мимо основной и лучшей струи в поэзии Ахматовой и не заметили, что она поэт отречения, а не любви? Сюсюкали над правой перчаткой, надетой на левую руку (или наоборот – попробуй надень!), а главного не увидели. «В этой жизни я немного видела, только пела и ждала. Знаю, брата я не ненавидела и сестры не предала. Отчего же Бог меня наказывал каждый день и каждый час? Или это ангел мне указывал свет, невидимый для вас?» Это слова двадцатилетней женщины, и в них – мера, по которой следует расценивать ее поэзию.

Вот основной путь жизни. Все остальное по сравнению с этим – лишь второстепенные детали и дань человеческой слабости. Ведь все мы люди. Я очень рада, что послала Ахматову за папиросами. Это упростило наши отношения и проложило путь к дружбе. Надо всегда посылать за папиросами тех, кого любишь и уважаешь. С чужими-то и вообще ни курить, ни пить не следует.

А вот насчет Мандельштама – я сомневаюсь, что поступила правильно. Надо было уйти от него: как он смел любить кого-то, кроме меня? Дура я была, что не умела по-настоящему ревновать и скандалить. Скольких наслаждений я себя лишила…

# Наш союз

В Царском Селе на террасе частного пансиончика без слов и объяснений был заключен наш тройственный союз и с тех пор никогда не нарушался. Я не могу сказать, что ничто его не омрачало. Правильнее выразиться так: что бы его ни омрачало, мы – все трое – оставались ему верны. Весь наш жизненный путь мы прошли вместе, сначала втроем, после смерти Мандельштама вдвоем, теперь я одна. «Зачем я тебе нужна?» – спрашивала я Мандельштама. Один ответ: «Я с тобой свободен», другой: «Ты в меня веришь». Через много лет после его смерти, сидя на скамейке в церковном садике на Ордынке, куда мы с Ахматовой убегали для разговоров, которые боялись вести в квартире Ардовых, я услышала от нее те же слова: «Вы, Надя, ведь всегда в меня верили». Этим людям, твердо и смолоду знавшим свое назначение, нужна была дружба женщины, которую они сами научили с голосу схватывать стихи. Таково одиночество поэта, даже если он окружен людьми: один близкий и растворившийся в нем человек бывает ему нужнее, чем целая толпа почитателей, – у Ахматовой их всегда хватало, как и хулителей, – один настоящий читатель, вернее, слушатель дороже всех хвалителей.

Как случилось, что трое невероятно легкомысленных людей сохранили и через всю жизнь пронесли нерушимую дружбу и союз на все времена? Многие думают, что жизненная ставка Ахматовой – любовь, но эти связи рушились у нее, как карточные домики (она умела ревновать больше, может, чем любить), а напряженно личное, яростное отношение к Мандельштаму выдержало все испытания. Мандельштам легко завязывал дружбу и с мужчинами и с женщинами, но быстро терял интерес к своим временным друзьям. Меня даже пугало, как он охладевает на глазах к людям, с которыми только что ждал встречи, вел разговоры, жил общей жизнью. Он признавался, что в отношениях с людьми он – хищник, берет, что может, а затем отворачивается. (Так было и с его единственной влюбленностью – с Ольгой Ваксель, весь роман с которой уложился в два приблизительно месяца.) Одно время он любил поболтать с Эммой Герштейн, а потом я вдруг услышала: «Как быстро Эмма превратилась в тетку». С ней-то был не роман, а просто приятельство. Он выслушал все, что она могла сказать про марксизм, что заняло с месяц, а потом начал убегать от разговоров. Точно так было и с Кузиным, хотя тот исчерпывал свой золотой запас около года. Дольше держались шутливые дружбы – вроде Маргулиса – без разговоров, с одной болтовней, а также устоявшиеся, но к концу

совсем пустые отношения с Нарбутом и Зенкевичем.

В оправдание Мандельштама я могу сказать только одно: люди не разговаривали, а только рассказывали, рассказов же хватало на короткий срок. Думать никто не хотел. Как в моем поколении, так и в поколении Мандельштама мысль иссякла слишком рано. Пунин говорил: «Я не вытягиваю за Мандельштамом». Он был умный человек, но резко остановленный. Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский, цвет литературоведенья двадцатых годов, – о чем с ними можно было говорить? Они пересказывали то, о чем написали в книгах, и на живую речь не реагировали. Большинство людей, с которыми мы сталкивались, бурно самоутверждались. В просторечье это называется – хвастаться. Такого разлива хвастовства, как в наших поколениях, представить себе нельзя. Те, которые дожили до нынешнего дня, продолжают заниматься тем же: несчастные старики, слишком мало сделавшие в жизни, раздуваются, как индюки, рассказывая о своих успехах и достижениях… Недавно я услышала, что Бобров, умный человек, к концу жизни затосковал, сообразив, что ничего не сделал. Насколько это достойнее, чем идти на непрерывный самообман, как делают другие. В молодости они метили в гении, но слишком рано иссякли. Униженные и замученные люди, запутавшиеся, утратившие способность мыслить, непрерывно делали открытия и держали хвост трубой, чтобы не увидеть собственную пустоту. Ошметки рационализма, которыми они питались, страсть к новаторству и фейерверк двадцатых, а в значительной степени и десятых годов, плохая пища для мысли. Бедный Рудаков, когда мы познакомились с ним в Воронеже, твердил, что пишет книгу о поэзии, от которой у людей наконец-то откроются глаза, и при этом нес такую звонкую чушь, что я тихонько спросила Мандельштама: «Что ты думаешь про эту книгу?» Мандельштам ответил: «Пусть утешается, не обижай его».

Мандельштам с надеждой слушал рассказчиков и хвастунов, потом отступал и передавал их на мое попечение. Он все надеялся найти полновесную мысль, но это исключалось. Быть может, она где-то таилась и нам просто не везло. Я не видела людей мысли и вокруг Ахматовой. Она называла Энгельгардта и уважала Томашевского. Их я не знала, но видела статью Энгельгардта о Достоевском и подумала, что здесь что-то было. Несомненно, многие затаились, а другие увяли от отсутствия воздуха.

Пришлось Мандельштаму довольствоваться легкими дружбами с легкими людьми, но, как бы ни складывалась жизнь, он всегда берег наши отношения и ценил дружбу Ахматовой. С

ней были разговор, шутка, смех, вино и главное – общий путь, одинаковое понимание самых существенных вещей и взаимная поддержка в труде и во всех бедах. Они были союзниками в самом настоящем смысле слова. Их было только двое, и они стояли на одном. Если перелистать книги, вышедшие за полвека, можно убедиться, что между ними и всеми действующими силами лежала пропасть. Оба они любили Пастернака, и с ним у них было много общего, но в ту пору он недвусмысленно тянулся к другим, личной дружбы с Мандельштамом не хотел, но временами между ними завязывался разговор – ненадолго. Он тут же обрывался: путь был слишком разный, у каждого свой. Временами вспыхивала дружба между Ахматовой и Пастернаком, но она тоже обрывалась, потому что он отходил. Возможно, что Пастернак не искал отношений с равными и даже не подозревал, что существует равенство. Он всегда чувствовал себя отдельным и особенным. К тому же он очень ценил внешний успех. Интересно, что в конце пути скрестились, но Пастернак этого не узнал. Мандельштам и Ахматова всегда знали, что идут вместе и дорога их близка пастернаковской: даже в пору «Второго рождения», хотя для них главное было в «Сестре моей – жизни». В поздних стихах Ахматова выделяла «Больницу». Для меня это стихотворение звучит чересчур программно.

Из людей, близких нам, надо назвать Наташу Штемпель, женщину чудной духовной красоты. Она поздно вошла в нашу жизнь, но навсегда осталась в ней. О Василисе Шкловской я уже говорила. Это отношения глубокие, но совсем другого рода, чем с Ахматовой, потому что пути были разные. Все-таки нас было трое, и только трое. После смерти Мандельштама Ахматова сказала: «Теперь вы всё, что осталось у нас от Оси». В нашу дружбу вошла новая черта – я связывала ее с ушедшим Мандельштамом. Она часто говорила, что я своим появлением способствовала возобновлению ее дружбы с Мандельштамом. Возможно, что это так. Он был на перепутье, терял себя и мог не найти свою естественную союзницу. Нигде, по-моему, шум жизни, трескотня сегодняшних исканий и требований не оглушали в такой степени людей, как у нас. Трескотня была такой, что заглушала все на свете. Один за другим поэты замолкали, потому что переставали слышать собственный голос. Трескотня заглушила мысль, а у миллионов людей – совесть. Петенька Верховенский говорлив, и безумная логика его слов соблазнительна для людей и отравляет сознание.

Я как-то спросила случайного спутника, с которым ехала в эвакуацию на пароходе по Амударье: «Вы странно говорите о своей семье. Что, она вам чужда? Вы ее не любите?» Это был

поляк, только что выпущенный из лагеря. Он рассмеялся и ответил: «Я потерял не только семью, но и себя. Если я найду себя, я буду знать, как отношусь к семье…» Такое случилось с ним за два года лагерного бреда. В нашей бредовой жизни мы все теряли себя, не слышали собственного голоса, не видели своего пути. Хорошо, если кому-нибудь из нас удавалось вовремя спохватиться, а это было предельно трудно. Всех нас путало еще и то, что мы все время преследовали то одну цель, то другую и совсем не думали о смысле. Соблазненные мнимой свободой, мы щедро позволяли себе все, не думая, что за каждый поступок надо расплачиваться. Ахматова едва не потеряла дружбу Мандельштама, когда в угоду приличиям, а скорее не приличиям, а двум подругам, которые подумали, что появился еще один влюбленный у ее ног, прогнала Мандельштама. Он же из-за мальчишеской обиды едва не отказался от преданного друга и спутника. К ее чести могу сказать, что она надолго сумела обуздать себя и в зрелые годы начисто оставила привычку сводить все отношения к влюбленности в нее. В его защиту напомню, что он отказывался от всех союзов и остался верен юношеской дружбе и первому «мы», то есть акмеизму.

И мы с ним тоже едва не лишились друг друга из-за его увлечения и моих жестоких «правил». Он вовремя спохватился, а я из-за обиды, из-за женского самолюбия и миража так называемой свободы[5] чуть не загубила и свою, и его жизнь. Если в моей жизни был какой-то смысл, то только один – пройти через все испытания с Ахматовой и Мандельштамом и обрести себя в близости с ним. При его жизни я, кстати, не думала о том, чтобы «обрести себя». Мы слишком интенсивно и неразделимо жили, чтобы «искать себя». У Мандельштама есть странное стихотворение, написанное в Крыму, когда он думал обо мне. Смысл этих стихов он открыл мне не сразу: в юности я бы взбунтовалась, узнав, какую участь он мне предрек. Это стихи про женщину, которая будет наречена Лией, а не Еленой «за то, что солнцу Илиона ты желтый сумрак предпочла». Вероятно, наша связь остро пробудила в нем сознание своей принадлежности к еврейству, родовой момент, чувство связи с родом: я была единственной еврейкой в его жизни. Евреев же он ощущал как одну семью – отсюда тема кровосмесительства: «Иди, никто тебя не тронет, на грудь отца в глухую ночь пускай главу свою уронит кровосмесительница дочь…» Дочери, полюбившей иудея, предстояло отказаться от себя и раствориться в нем: «Нет, ты полюбишь иудея, исчезнешь в нем – и Бог с тобой…»

Это жестокие и странные стихи для человека, который скучает по женщине, оторванной от него фронтами гражданской

войны, но Мандельштам всегда знал, как сложатся его отношения с женщинами – в том числе и со мной. В сущности, он не только знал, как они сложатся, но сам занимался активной формовкой, извлекал из любых отношений – с мужчинами и женщинами – то, что считал нужным. От меня он хотел одного – чтобы я отдала ему свою жизнь, осталась не собой, а частью его существа. Именно поэтому он так упорно внушал мне свои мысли, свое понимание вещей. «Мое ты» для него неотделимая часть «я». Однажды, когда он доказывал мне, что я не только принадлежу ему, но являюсь частью его существа, я вспомнила стихи про Лию. Библейская Лия – нелюбимая жена. И я сказала: «Я теперь знаю, о ком эти стихи…» Он, как оказалось, окрестил Лией дочь Лота. Тогда-то он мне признался, что, написав эти стихи, он сам не сразу понял, о ком они. Как-то ночью, думая обо мне, он вдруг увидел, что это я должна прийти к нему, как дочери к Лоту. Так бывает, что смысл стихов, заложенная в них поэтическая мысль не сразу доходит до того, кто их сочинил. Я часто слышала и от Мандельштама, и от Ахматовой, что они «догадались», о ком и о чем говорится в том или ином стихотворении. Оно вырвалось, и они сами не знают, как оно возникло. Проходит какое-то время, и вдруг все проясняется… И меня изумляет, что были поэты, заранее писавшие в прозе «план» будущего стихотворения. Или другие, излагавшие в стихах втолкованную им мысль… Мне кажется, такое возможно только в период ученичества (середина «Камня» у Мандельштама, стихи о спорте, «Египтянин» и тому подобное). Это первичное овладение мыслью и словом, а затем они становятся неразделимыми и слово только выявляет мысль. И я остро различаю у любого поэта стихотворение, возникшее из глубин сознания, и стихи, излагающие мысль. Ахматова рассказывала, что она слышала от Пастернака о том, как его привезли в больницу и что он при этом думал. Стихи воплотили уже оформившийся рассказ. И у Ахматовой есть стихи, написанные сознательным способом. В них исчезает чудо стихотворчества, но они нравятся неискушенному читателю, потому что в них наличествует элемент пересказа готовой мысли. Мне такие стихи не нужны. Каждому – свое.

Стихи о Лии, полюбившей еврея, возникли из самых недр сознания, были неожиданностью для самого Мандельштама, который как будто искал во мне только нежности, и он просто не хотел их понять, но они предопределили мою судьбу. Он всегда до мелочей ждал от меня того же, что от себя, и не мог отделить мою судьбу от своей: если меня пропишут в Москве, то и тебя, с тобой будет то же, что со мной, ты прочтешь эту книгу, если я буду ее читать… Он твердо верил, что я умру тогда же, когда он,

а если случайно раньше, то он поспешит за мной. Его ранило, если я знала что-то, чем он не интересовался, или ленилась читать с ним итальянцев или испанцев. В последние годы я много читала Шекспира, и он ревновал, а под конец написал мне, чтобы я научила его «своим англичанам». Мою любовь к живописи, очевидно неискоренимую, он сразу забрал себе и так же решил поступить с Шекспиром. Ведь любить врозь означает отделиться друг от друга – это было ему не под силу. С моими друзьями он поступал точно так: либо сам завязывал с ними дружбу, либо – и чаще – искоренял. Он хотел, чтобы я не спала, когда он не спит, и вместе с ним засыпала. Мой брат говорил ему: «Нади нет, она ваш подголосок». Он ухмылялся: «Нам так нравится…» Зато он верил, что я читаю его мысли и слышу те же слова, что он. У него и у Ахматовой было своеобразное свойство: отвечать на вопрос, только мелькнувший в голове собеседника, но еще не произнесенный. «Ведьмовские штучки», – говорила я Ахматовой, ахнув, что она перехватила мысль, едва оформившуюся в моем сознании… Мои-то мысли Мандельштам действительно читал и поражался, что я не знаю, о чем он подумал в эту секунду. Может, я просто не утруждалась вникать в его мысли, и он был прав, обижаясь, что я «не сижу у него в голове»…

Иногда, отдаляясь и уходя в себя или в дружбу с кем-нибудь, он выпускал меня на свободу. Я любила эти минуты передышки (особенно если это была дружба с мужчиной или с Ахматовой, словом, с женщиной, с которой не было «вы»-«ты» отношений) и ухитрялась быстро улизнуть из-под его власти. Не тут-то было – он моментально замечал мое освобождение и круто возвращал меня к себе. Отдельной Лии не было и быть не могло. С ним было трудно жить и легко. Трудно, потому что он жил с невероятной интенсивностью и я всегда бежала за ним, как тогда по солнечной площадке перед центральной усадьбой в Гаспре. Я скрывала, что еле поспеваю за ним, за его мыслью и ритмом. Мне не хотелось, чтобы он остановился из-за меня, но меня огорчало, что он не видит, как я задыхаюсь… А легко, потому что это был он и мне ни разу в жизни не стало с ним скучно. Вероятно, и потому, что я его любила. Наверное не скажу.

Теперь я понимаю, что лучшей участи у меня и быть не могло, и не могу понять тупиц, которые терлись около нас и не замечали его блеска. Для Эммы Герштейн, например, наш дом был площадкой, где она ловила «интересных людей» и неудачно влюблялась в Леву, в Нарбута, в кого попало и так и не заметила самого Мандельштама и не поняла его стихов. Время, конечно, было не для Мандельштама: его мысли, блеск его разговоров, его шутки – все это требовало воспринимающую аппаратуру совсем

иного класса, чем та, которая производилась в первой половине века. Кругом роились люди, которые все понимали иначе, чем Мандельштам, и подстрекали меня против него, прельщая благополучием, благоразумием и прочими благами: здравым смыслом, марксизмом, новаторством, легкой жизнью, театрами и кабаками, домостроительством и свеженькой современностью. Мне противно вспоминать о бурных вспышках самоутверждения, которое я, к счастью, никогда не доводила до логической развязки. Все художники с итальянскими и русскими фамилиями, все марксисты с остроумием Петеньки Верховенского, все авангардисты и молодые ученые с марксистскими и антимарксистскими концепциями в разных науках, все циники и жизнелюбцы, все меланхолики и отщепенцы, прошедшие через мою жизнь, занимали меня ровно минуту, чтобы сделать «мертвую петлю» над Москвой, а потом оказывались горестными пустышками, рассказчиками и хвастунами. Если б я связала свою судьбу с кем-нибудь из них или стала самостоятельной «единицей», художницей, как собиралась в молодости, или языковедом, как мне поневоле пришлось быть в поздние годы, мой жизненный заряд пропал бы впустую и я действительно превратилась бы в единицу в штатном расписании какого-нибудь гнусного института. Скорее всего, эта единица недолго бы ходила павой, как полагается выступать нашим деятельницам науки и искусства, а быстро взбунтовалась бы, как мой ташкентский приятель, оставивший после себя удивившую начальников записку.

Ахматова потому и была моей союзницей, что смотрела на Мандельштама, как я. Она с удовольствием слушала целую армию обожателей, которые венчали ее с безмерно любимым и почитаемым ею Пушкиным, но твердо знала, что ее место с Мандельштамом. Больше всего она боялась, чтобы какие-нибудь авангардисты не оторвали их друг от друга, зачислив его посмертно в футуристы, в братья Хлебникову или, чего доброго, в «Леф». Она бушевала от злости, если его зачисляли в ученики не к Анненскому, а к величавому старцу, славившемуся «ядовитой приятностью». Мандельштама соединяют с футуристами, потому что не разобрались ни в нем, ни в них. Ахматова же знала, что сближает ее с Мандельштамом. Она говорила: «Не надо нас делать близнецами, но разлучать нас нельзя – мы вместе». А Мандельштам, нисколько не заботившийся о том, как его расценивают, дразнил меня: «Наденька, не зазнавайся, нас признали только две женщины – Анна Андреевна и Вера Яковлевна…» Вторая – моя мать, «нелегальная теща», как называл ее Мандельштам, когда, не смея войти к себе в квартиру, мы

встречались с ней на бульваре… Они всегда смешно пикировались. Если она подавала что-нибудь невкусное к обеду, он говорил: «Вера Яковлевна, вы понимаете только в стихах». И она тоже не отставала…

Пусть только никто не думает, что у нас был культ стихов и работы. Ничего подобного и в помине не было: мы интенсивно и горячо жили, шумели, играли, забавлялись, пили водку и вино, гуляли, дружили с людьми, ссорились, издевались друг над другом, ловили один другого на глупостях, неоднократно пробовали разбежаться в разные стороны и почему-то не могли расстаться ни на один день. Как это произошло, я сама не знаю.

Это настоящая загадка: каким образом балованная и вздорная девчонка, какой я была в дни слепой юности, могла увидеть «свет, невидимый для вас» и спокойно пойти навстречу страшной судьбе. В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошел такой разговор: я сказала, что люблю деньги, Ольга возмутилась – какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюбленный Мандельштам засиял и понял разницу между ее благородством и моей пошлостью… А я и сейчас люблю деньги, комфорт, запах удачи. И Мандельштам любил все радости, которые дают деньги. Мы вовсе по природе не аскеты, и нам обоим отречение никогда свойственно не было. Просто сложилось так, что пришлось отказаться от всего. У нас требовали слишком большую расплату за увеличение пайка. Мы не хотели нищеты, как Мандельштам не хотел умирать в лагере. (Я и сейчас смертельно боюсь, что мне предоставят на старости лет путевку в сумасшедший дом или в лагерь.)

Мы хотели жить, а не погибать, но с самого начала всем было ясно, что ничего хорошего нас не ждет. Это понимали даже совсем чужие люди, если в них сохранилось человеческое чутье. Таких было мало, но все же одичали далеко не все – даже среди интеллигентов. В тридцать втором году мы жили в Болшеве, одном из санаториев Цекубу. Среди оголтело-аспирантской толпы и гладких ученых, читавших Сельвинского и Кирсанова вперемежку с Багрицким, жила высокая и худая осетинка, чем-то похожая на Ахматову в ее зрелости – ростом, худобой, монашеским видом, легкой походкой, одухотворенной скромностью. Она была из крестьянской семьи, но сыновья у нее вышли в люди и отправили мать отдохнуть в ученый санаторий. Мы с ней дружили и убегали на прогулки по снежным дорожкам парка – подальше от споров марксистской толпы и хитрых профессоров. Именно она, не знавшая литературной свары тридцатых годов, почувствовала неблагополучие Мандельштама и

его отчужденность от академической среды, где водились и философы и литературоведы, приставшие с изъявлением интереса к Мандельштаму. «Ося, – как-то сказала она (ее смешило его имя, значившее по-осетински нечто совсем неподходящее, кажется, девушка или женщина), – Ося, ты к ним в колхоз не идешь, я понимаю… Ты лучше иди, не то пропадешь, видит Бог, пропадешь…»

Я слышала одноголосые погребальные песни осетинов. Люди, поющие такие песни, могут прозреть судьбу не в пример лучше всезнающих посетителей академических санаториев, организованных по милости Горького. И лучше, чем вся литературная накипь, производившая печатные памятники эпохи.

В литературных кругах про Мандельштама говорили: «Неужели он до сих пор ничего не понял?» Это высказывание «кадров», разделявших и даже сбивавших «платформу». Другие удивлялись: «Почему мы можем, а он не может?» Так говорили исполнители заказа, хитроумные господа, сознательно перелицевавшие себя и свою одежонку. Они как должное приняли гибель Мандельштама и гибель миллионов. Тридцатые и сороковые годы – эпоха полного торжества идеологии, когда уничтожение тех, кто отказался принять ее тезисы, а главное – фразеологию, считалось нормальной охранительной мерой. Сейчас – задним числом – многие называют это время и эти меры «уничтожением пятой колонны». Толпа в те годы дружно приветствовала все «мероприятия», лишь бы ей разрешили подбирать крохи с господского стола. Чем беднее люди, тем легче ими управлять. Они рады и крохам с господского стола. Голод – отличный организатор единомыслия.

Мы отказались от фразеологии, не приняли тезисов и отвернулись от пира, от костей и от крох. В колхоз не пошли. Осетинка правильно поняла положение и вовремя нам посочувствовала. Я хотела бы знать, что значит по-осетински «Ося». Ведь это индоевропейский язык, моя бывшая специальность. Как хорошо, что я в молодости не самоопределилась и не приобрела приличной самостоятельной профессии. Меня и так ждало тридцать с лишком лет чрезмерной самостоятельности и одиночества. Я ими сыта по горло, как и крохами с господского стола. Даю согласие на смерть в тюрьме или в лагере за право отвернуться от этой жизни и сказать, что я о ней думаю.

## Скрытые автопризнания

В толпе хвастунов Мандельштам был белой вороной и очень следил, чтобы и я не распускала хвост. Он так открыто и при посторонних издевался надо мной, если случалось хвастануть, что я при нем придерживала язык – чтобы не осрамил. К посторонним хвастунам он относился снисходительно: «А тебе что? Пусть, если ему это помогает жить…» Сам он хвастаться не мог, потому что жил с твердой уверенностью, что все лучше его, и искренно хотел быть как все: у всех все гладко, а у него – нет, все умеют промолчать, а он – нет… И, наконец: «Посмотри, как он ловко рубит дрова, приятно смотреть…» Если я случайно говорила ему что-нибудь лестное (у нас это не было принято), он искренно удивлялся, и я часто слышала от него фразу: «По-моему, я хуже всех…»

Признание это было совершенно искренним, сомнений нет никаких, но меня забавляло, что, несмотря на такое самоощущение, он совершенно не хотел меняться и самоусовершенствованием не занимался. Он знал, что он хуже всех, но его это ничуть не смущало: такой, как есть, ничего не поделаешь… Один-единственный раз в жизни он обещал мне «исправиться», но это случилось в самую последнюю ночь нашей жизни – за полчаса, может, перед тем, как за ним пришли, – в минуту нашего примирения. Мне больно, что в эту ночь я грызла его за какой-то пустяк, абсолютную чушь, в сущности – за неосторожность. Как будто осторожность могла спасти…

Единственное мое оправдание, что я грызла его очень редко. Я-то не считала, что он хуже других, и миролюбиво относилась к его курению, деспотизму – он вечно вырывал у меня изо рта папиросы, – озорству, любви к «пирам», состоящим из баночки консервов, и волшебной способности радоваться жизни, когда я погибала от страху. С годами у него усиливалась страсть к наслаждению, а наслаждался он всем, чего люди и не замечают: струей холодной воды из-под крана, чистой простыней, книгой, шершавым полотенцем. Смерть стояла у порога, а он в Савелове (1937) тащил меня в чайную «Эхо инвалидов» – выпить чаю, посмотреть на людей, почитать газету и поболтать с буфетчиком. У него была редкая способность видеть мир перед глазами, и, полный любопытства, он на все смотрел и все замечал.

Ирина Семенко заметила, что в переводах из Петрарки у него своеобразный сдвиг против подлинника: он перенес внимание с переживания субъекта на объект. Для него такой сдвиг очень характерен: даже в повседневной жизни он редко говорил о себе

или о своих чувствах и ощущениях. Он предпочитал говорить о том, что вызвало эти чувства. В его восприятии текущего момента главную роль играл не личный момент, а события и предметы внешнего мира. Это отражалось даже на том, как он говорил о мелкобытовых вещах: не спина болит, оттого что плохой матрац, а «кажется, лопнула пружина, надо бы починить»…

В быту, в повседневной жизни и в книгах он всегда говорил о себе с большой осторожностью, прикрывая признание какой-нибудь внешне объективной оболочкой. Я вижу здесь своеобразное противоречие: с одной стороны, – это невероятно прямой и открытый человек, не способный ни на какую маскировку, с другой – внутренняя стыдливость запрещает ему прямые автовысказывания. Записывая под диктовку «Разговор о Данте», я часто замечала, что он вкладывает в статью много личного, и говорила: «Это ты уже свои счеты сводишь». Он отвечал: «Так и надо. Не мешай…» Свои автопризнания он запрятывал в самые неожиданные места, так что рассеянный взгляд равнодушного читателя их не обнаружит. Автопризнания рассеяны главным образом в прозе. Самораскрытие в стихах не является признанием в точном смысле слова. Стихи раскрывают поэта в его глубинных пластах, а автопризнания касаются жизненных установок, взглядов, вкусов, тяготений. Они служат биографическим ключом, а не исповеданием веры, как стихи.

В Воронеже мы вместе делали радиопередачу о юности Гёте, положив в основу автобиографическую повесть Гёте. Нейтральные куски и скрепы, которые делала я, выброшены, и в напечатанном только текст Мандельштама. Я заметила, что он подбирает эпизоды из жизни Гёте, которые считает характерными для становления каждого поэта, поскольку и сам он пережил нечто подобное. Гёте, например, попал в компанию жуликов и еле выбрался – да и то по совету девушки. «А ты, что ли, тоже?» – спросила я. «А Георгий Иванов», – ответил Мандельштам и прибавил, что в своем роде и Волошин: душемутитель, болтун, соблазнитель, проповедующий хитроумную чушь… Гёте пережил юношескую неврастению, преодолевая которую ходил в анатомический театр и поднимался на колокольню Кёльнского собора (этот кусок, кажется, пропал). Мандельштам испытал юношескую тоску и неврастению в те два года, что учился в Париже и в Гейдельберге, а особенно – в Италии, где был даже не на положении студента, а туриста[6]. Больше в Италии ему не пришлось побывать, и он жалел, что в свою единственную поездку он успел так мало повидать. (До этого он из Швейцарии на день или на два ездил, кажется, в Турин.) У Гёте рассказано про встречу с Клопфштоком. Молодые люди, пришедшие навестить

мэтра, были и почтительны и насмешливы. Так относились к старшим и Ахматова с Мандельштамом. Только Белый вызывал у Мандельштама иное отношение. Он был так трагичен, что вызывал только сочувствие и уважение. Впрочем, ко времени встречи с Белым Мандельштам и сам не был молод.

В той же передаче есть место, не имеющее никаких соответствий в текстах Гёте, и, хотя Мандельштам говорит о Гёте, оно явно относится к нему самому: «…нужно также помнить, что его дружба с женщинами при всей глубине и страстности чувства была твердыми мостами, по которым он переходил из одного периода жизни в другой…» Работа над «Молодостью Гёте» продолжалась больше двух месяцев – с конца апреля, когда мы переехали в центр города от «обиженного хозяина» в русских сапогах, до конца июня. Мы взяли в университетской библиотеке несколько немецких биографий Гёте. Рассматривая портреты женщин, Мандельштам вдруг заметил, что все они чем-то похожи на Ольгу Ваксель, хоть в ней как будто была литовская, а не немецкая кровь. Это, вероятно, и послужило толчком к стихам о мертвой женщине. Недаром в этой группе стихов есть прямое упоминание о Гёте: «Юношу Гёте манившее лоно» – и реминисценции: «Мельниц колёса», рожок почтальона, Шуберт (связь с Гёте через «Лесного царя»), Я недавно вспомнила: «Пускай там итальяночка, покуда снег хрустит, на узеньких на саночках за Шубертом летит». Здесь это певица, Бозио, какая-то черненькая девочка, певшая в его молодости (до встречи со мной) Шуберта. Я думаю, что через нее и Миньону в стихах об Ольге Ваксель появилась тема Италии («смеясь, итальянясь, русея») и Шуберта («И Шуберта в шубе застыл талисман»). Мать Ольги была пианистка, но сама Ольга пела и играла, как десятилетняя школьница. Музыка была в ней самой, как ни трудно мне в этом признаться. Но не в ее мемуарах. В конце мая в Воронеж приехал наш приятель, антрополог Рогинский. Его только что вызволили с Лубянки – антропологов всех уничтожали под корень, подозревая в самой профессии идеологическую связь с фашизмом. В Москве в конце учебного года он никакой работы не нашел и ухватился за предложение Воронежского университета прочесть коротенький курс и провести несколько семинаров. (В Воронеже на биологическом факультете был очень хороший человек, кажется, Козополянский, который старался пристроить там порядочных людей. Я его не знала, но слышала про это от многих биологов.) Я использовала приезд Рогинского, чтобы съездить в Москву. С ним, я знала, Мандельштам не будет чувствовать себя одиноко. Одного Рудакова для этого было недостаточно. Мальчишка – на него положиться я не могла. Во время моего короткого отсутствия

Мандельштам написал стихи в память Ваксель. Он уже не мог писать стихи другой женщине при мне, как в 1925 году (стихи Петровых написаны в несколько дней, когда я лежала на исследовании в больнице: не свинство ли?)… У него было острое чувство измены, и он мучился, когда появлялось «изменническое», как он говорил, стихотворение. (Даже стихи Наташе Штемпель он относил к этой категории.) Он хотел уничтожить к моему приезду стихи к Ольге, но я уже знала о них от вернувшегося в Москву Рогинского. Вместе с Рудаковым я уговорила Мандельштама надиктовать стихотворение – тем более что мы нашли в помойном ведре разорванный листок. Лучшего места, чтобы утаить стихи, он не нашел.

Печатать «изменнические стихи» при жизни он не хотел: «Мы не трубадуры…» В 31 году, когда предполагалось издать двухтомник, я, зная, что есть еще одно стихотворение Ольге Ваксель («Как поила чаем сына»), уговаривала Мандельштама закончить ими раздел после «Тристий». Он наотрез отказался. Увидела я их только в Воронеже, хотя знала об их существовании с самого начала, когда он «под великой тайной» надиктовал их Ахматовой и отдал на хранение Лившицу. По-моему, самый факт измены значил для него гораздо меньше, чем «изменнические стихи». И вместе с тем он отстаивал свое право на них: «У меня есть только стихи. Оставь их. Забудь про них». Мне больно, что они есть, но, уважая право Мандельштама на собственный, закрытый от меня мир, я сохранила их наравне с другими. Я предпочла бы, чтобы он хранил их сам, но для этого надо ему было остаться в живых.

Не менее острое чувство измены он переживал, читая нерусских поэтов. «И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, получишь уксусную губку ты для изменнических губ…» Гордыня – смертный грех для антииндивидуалистического сознания Мандельштама, и ее-то он видит в наслаждении чужой речью, которой предается «звуколюб», пробуя на язык «звуков стакнутых прелестные двойчатки». Чтение Ариосто и Тассо, а также немецких романтиков («К немецкой речи») было для него изменой, но это чувство не пробуждалось, когда он читал Данта. Читая «великого европейца» (сходное понимание Данта я нашла у Элиота), он не звуками наслаждался, не «прелестными двойчатками», но входил в самую суть европейской культуры и поэзии. Ведь всю европейскую поэзию он считал лишь «вольноотпущенницей Данта», и в чтении «Комедии» было поклонение и приобщение, а не изменническая сладость чужих звуков. Отсюда бунт против Тассо и Ариосто, прорвавшийся в стихи: «Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, чудовища с

лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз» (морской климат Италии порождает русалочьего поэта!), и запись о печальной судьбе Батюшкова, который «погиб оттого, что вкусил от тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки». Пушкин, сказано в тех же записях, единственный русский поэт, который «стоял на пороге подлинного, зрелого понимания Данта, потому что ему всегда было мало одной только вокальной, физиологической прелести стиха и он боялся быть порабощенным ею, чтобы не навлечь на себя печальной участи Тасса».

Мандельштам говорит о поэзии, словно о любви, и отделяет оголенно-чувственную сторону от чего-то другого, заключенного и в поэзии, и в любви. Это «иное» не поддается определению и, как мне кажется, было понято или почувствовано Владимиром Соловьевым. В суждении Мандельштама о поэзии нет скрытого автопризнания, открывающего его отношение к любви. Оно скорее является ключом к пониманию и поэзии и любви в их двусторонней природе, одна из которых непосредственно связана с полом, с чистой физиологией, а другая коренится в тех свойствах человека, которые выделяют его из животного мира. В замечательной опере Шёнберга Моисей и Аарон противопоставлены друг другу как два полюса – чувственного и надчувственного – сознания. (Как жаль, что Мандельштам не знал Шёнберга – мы были отрезаны от всего мира.) Мандельштам предостерегает (самого себя, я думаю) от *только* физиологического наслаждения. Эти строки не вошли в основной текст «Разговора о Данте», но остались в черновых записях, потому что Мандельштам чурался открывать свои потаенные мысли.

Поэзия, как всякое искусство (и любая, как мне думается, познавательная деятельность, то есть наука), тесно связана с чувственной природой человека, с физиологией в целом, но нигде – ни в живописи, ни в музыке – нет такой тесной связи с любовью во всех ее проявлениях, как в поэзии. Единственное, чего я не могу себе представить и ни в каких видах не наблюдала, это сублимация. Какой унылый немец, засидевшийся в своем кабинете, выдумал ее! Поэтический труд действительно нарушает заунывный ритм физиологических проявлений любви, но он нарушает ритм чего угодно – еды, питья, сна, движения и отдыха, подчиняя все внутренней музыке, усиливая и укрупняя все человеческие потребности. Только при чем здесь сублимация, то есть преобразование полового влечения в духовную деятельность?.. Кабинетные ученые, ушедшие корнями в девятнадцатый век, отличались до ужаса ослабленной чувственностью (далеко не только в любви) и нашли благородное

объяснение своей вялости и графомании. На самом деле поэтический труд сопровождается обострением всех видов чувственности, полным накалом и физиологических, и духовных свойств. Другое дело, как накал проявляется: есть стихи воздержания и стихи полного удовлетворения всех страстей, когда исступленный аскетизм сменяется совсем другим исступлением. Есть стихи такой невероятной сопряженности с полом, что про них ничего не скажешь, – это стихи ночи. И в подготовке стихов, и в созревании стихотворного порыва участвует плотское начало – от аскетизма, свойственного, вероятно, ранней юности («И камнем прикинулась плоть», как я прочла в юношеских стихах Мандельштама), до полного разгула.

Любовная лирика только частный случай переплетения стихотворного порыва с физиологией пола. Как это ни странно, но она почти всегда относится к аскетическому варианту поэзии. Лауры и Беатриче, прекрасные дамы менестрелей, недоступные и далекие, блоковские незнакомки, проходящие мимо поэта, не мода и не выдумка своего времени, а нечто более глубокое, укорененное в самой природе поэзии. Самый распространенный тип любовной лирики – порыв к женщине, а если страсть удовлетворена, порыв сразу иссякает, как стихотворный, так и любовный. Знаменитый случай – стихотворение Пушкина («Я помню чудное мгновенье…») и письмо на ту же тему мне вполне ясны. Порыв связан со стихотворением, после разрядки Пушкин мог заговорить на языке своего времени и своего товарищеского круга – таким представляется мне письмо. Именно в письме нет свободы, и язык в нем использован готовый. Когда недоступных женщин нет, а в наше время недоступности, кажется, не существовало, поэт сам создает ее, чтобы продлить порыв. Ни Ахматова, ни Пастернак не писали стихов тем, с которыми жили, пока не наступало кризиса. Упоминание в стихах женщины не равнозначно любовной лирике, поскольку целое вызвано иным порывом.

Любовная лирика занимает в стихах Мандельштама ограниченное место, и у него преобладали более сложные связи поэзии и пола, в частности та связь, которая порождается удовлетворением всех страстей. Он это сознавал и даже говорил мне про такую связь. Может, именно поэтому он мог писать стихи и мне. Записав стихотворение «Твой зрачок в небесной корке», он удивленно сказал, что только Баратынский и он писали стихи женам. В своей личной жизни Мандельштам был полной противоположностью Блока, я сказала бы, что он принадлежал к антиблоковской породе. Высшая сторона любви была у него отнюдь не служением прекрасной даме, а чем-то совсем иным,

что он выразил словами «мое ты». Антиблоковская порода выразилась и в выборе жены: не «прекрасная дама» и даже не просто «дама», а девчонка, сниженный вариант женщины, с которой все смешно, просто и глупо, но постепенно развивается предельная близость, когда можно сказать: «Я с тобой свободен». Мы оба при первой же встрече почувствовали себя такими свободными друг с другом, что приняли ее за знак судьбы. Другое дело, что оба мы пробовали бунтовать против судьбы – кто против нее не бунтовал? – но наш бунт длился миг, неделю, два месяца и не разрывал связи. Мне всегда казалось обидным и горьким, что в неразрывности нашей связи большую роль сыграла чисто физиологическая удача, и я плакалась на это Мандельштаму, но для него такое не было снижением любви, скорее даже наоборот. Он смеялся надо мной, и я не отдавала себе отчета, что он сам сделал из меня то, что ему было нужно, потому что сразу почувствовал таинственную свободу-судьбу. Я об этом молчала, потому что была идиоткой, а он открыто говорил.

С первой встречи с людьми, особенно с женщинами, Мандельштам знал, какое место этот человек займет в его жизни. Разве не странно, что буквально после первой встречи со мной он назвал свадьбу («И холодком повеяло высоким от выпукло девического лба»), хотя обстоя-тельства были совсем неподходящими? В стихах Ольге Ваксель выдумана «заресничная страна», где она будет ему женой, и мучительное сознание лжи – жизнь изолгалась на корню. Он не переносил двойной жизни, двойственности, разлада, совмещения несовместимого и всегда чувствовал себя «в ответе» (чувство виновности и греховности), как сказано в группе поминальных стихов. Ольгу он помнил всегда, хотя, узнав про ее смерть, он вспомнил: «Из равнодушных уст я слышал смерти весть и равнодушно ей внимал я». Кстати, уста были далеко не равнодушные, и первично равнодушное приятие вести я объясняю неподготовленностью к ней, уличной суетой, шумом… В стихотворении «Всё лишь бредни, шерри-бренди, ангел мой» мне, как я думаю (мы об этом никогда не говорили), предоставлена роль ангела Мэри (случайная женщина, легкая утеха!), а Ольга – Елена, которую сбондили греки. Оно написано на людях, когда я весело пила с толпой приятелей кислое кавказское вино, а он расхаживал и бормотал, искоса поглядывая на нас… Я никогда не спрашивала Мандельштама (почему я щадила его? Не сознательно, а скорее – инстинктивно), но мне кажется, что переводы Петрарки не случайность, а как-то связаны с Ольгой. Возможна и обратная связь – работа над Петраркой воскресила в памяти Ольгу. В пользу второго предположения говорит то, что «изменнических стихов» мне

Мандельштам в руки никогда не давал: «Это не тебе – оставь их…» Переводы Петрарки он часто давал мне переписывать, показывал все варианты. Во всяком случае, их следует печатать не среди переводов (как и «Алисканс» и «Алексея»), а в основном корпусе (о «Сыновьях Аймона» я и не говорю – они уже напечатаны в третьем «Камне»). Он так и собирался сделать, но ни ему, ни мне не придется увидеть его книгу, напечатанную в России.

Стихи Саломее Андрониковой – юношеское поклонение красоте, обычная для мальчика влюбленность в чужую и старшую женщину. Даже если они были ровесниками, замужняя женщина всегда старше юноши. В романе с Мариной Цветаевой нечто совсем другое – прекрасный порыв высокой женской души – «в тебе божественного мальчика десятилетнего я чту». По всему, что Марина сказала о себе, видно, что у нее была душевная щедрость и бескорыстие, которым нет равных, и управлялись они своеволием и порывистостью, тоже не знавшими равных. Она из тех русских женщин, которые рвутся к подвигу и готовы омыть раны Дон Кихота, только почему-то всегда случается так, что в минуту, когда Дон Кихот истекает кровью, они поглощены чем-то другим и не замечают *его* ран. Недаром Мандельштам почувствовал, что «с такой монашкою туманной остаться, – значит, быть беде»… Все стихи Марине, кроме первого, в котором она «дарила ему Москву», овеяны предчувствием беды: «… связанные руки затекли. Царевича везут, немеет страшно тело и рыжую солому подожгли…» Бедный мой царевич – он помнил, что его кровь отягощена «наследством овцеводов, патриархов и царей»… Во многих стихах – предчувствие насильного увоза и страшной смерти, но нигде не сказано, что это будет массовая депортация в набитых до отказа теплушках, созданных для перевозки животных, а не людей.

Стихи к Ахматовой – их пять, и все они написаны в 17 году – нельзя причислить к любовным. Это стихи высокой дружбы и несчастья. В них ощущение общего жребия и катастрофы. Тон задан в «Кассандре», и даже в таком сравнительно спокойном стихотворении, как «Твое чудесное произношенье», говорится, что смерть окрыленнее любви и «наши губы к ней летят». Я понимаю обиду Мандельштама, когда после таких стихов Ахматова вдруг упростила отношения в стиле «мальчика очень жаль» и профилактически отстранила его. В дружбе Ахматова отличалась от всех людей на свете, и в ней было настоящее величие, но, окруженная женщинами, которых называла «красавицами», она поддавалась их лести и начинала изображать из себя даму. В глубокой старости она начала горевать, что у Мандельштама

слишком мало стихов о любви, – в сущности, она упрекала меня в этом. Я поняла: «красавицы» ценили любовную лирику и плевали на Мандельштама. Нам было не до любви в нашей страшной жизни. Моя Ахматова – неистовая и дикая женщина, друг, с железной твердостью стоявший рядом с Мандельштамом, союзник в противостоянии дикому миру, в котором мы прожили жизнь, суровая и беспощадная игуменья, готовая за веру взойти на костер. Все «дамское» в ней наносное. Если оно прорывалось в стихи (а это, конечно, бывало, и часто), то оно самое слабое в ее поэзии, и я уступаю это «красавицам». Себе я беру струю отречения и гнева.

Группа стихов Арбениной посвящена конкуренции «мужей» и ревности, естественной в этой ситуации[7]. Арбенина нашла свое точное место – в период дружбы с Гумилевым она его искала – при Кузмине: фарфор, кавалеры, изящество… Однажды в Москве Мандельштам показал мне женщину, переходившую мелкими шагами Красную площадь: «Посмотри, как обдуманно она одета…» На ней все было подкрахмалено и в чем-то вроде складочек. Это петербургский стиль женщин, не имеющих денег на дорогого портного. Оленька была из них, а Ольга Ваксель ходила в нелепой шубе, которую сама называла шинелью. Именно в этой «шинели» она цвела красотой, которой я не могла не завидовать.

Прекрасные стихи Наташе Штемпель стоят особняком во всей любовной лирике Мандельштама. Любовь всегда связана с мыслью о смерти, но в стихах Наташе высокое и просветленное чувство будущей жизни. Он просит Наташу оплакать его мертвым и приветствовать – воскресшего[8]. И даже в стихах Наташе мелькнуло чувство вины – они гуляли в парке, и зелень показалась Мандельштаму «клятвопреступной». Клятв-то, по совести говоря, никаких не было – кто давал клятвы в нашем поколении и кто им верил? У Мандельштама было глубокое чувство поэтической правоты, но в текущей жизни он всегда готов был считать себя виновным[9]. Ахматова ощущала поэтическую правоту в гораздо меньшей степени, чем Мандельштам, зато в житейских делах, особенно в изменах и разводах, всегда настаивала на своей «несравненной правоте». «Поток доказательств» отличался грозной стремительностью, но я не понимала, зачем ей нужна была такая правота. Вероятно, она действительно бывала права, во всяком случае в истории с Пуниным, которую я наблюдала от начала до самого конца… Но в этом ли дело? Любовь, а тем более физическое влечение, как известно, правотой не регулируются. То, что происходит между участниками любви, разрыва или даже гибели, никакому суду не

подлежит. Правота Ахматовой, как и правота Мандельштама, принадлежала к высшему разряду, и женские счеты – кто кого бросил – здесь ни при чем. Им принадлежит правота внутренне свободных людей, которые стояли на том, на чем должны были стоять. В этом их жизненный подвиг. В остальном они были такими же людьми, как все, и это нисколько не умаляет их подвига и не омрачает прекрасной жизни, которую они прожили. За свою свободу они заплатили огромную плату: он – смертью в лагере, она – многолетней изоляцией и таким одиночеством, которое и представить себе нельзя. А я-то отлично себе его представляю, потому что была им награждена, только не за внутреннюю свободу, а за «бестолковую жизнь» с носителем свободы. Обидно расплачиваться по чужим счетам, но так уж у нас принято…

У Ахматовой, как я уже говорила, в конце жизни была передышка. Мандельштам передышки не получил, но зато его спасла смерть. Такая смерть-избавительница действительно в сто раз окрыленнее всего, к чему мы стремимся в жизни. Я жду своей, как лучшего друга. Все сделано, и я к ней готова.

# Часть 2. Гибельный путь

# Майская ночь

Дав пощечину Алексею Толстому, О. М. немедленно вернулся в Москву и оттуда каждый день звонил по телефону Анне Андреевне и умолял ее приехать. Она медлила, он сердился. Уже собравшись и купив билет, она задумалась, стоя у окна. «Молитесь, чтобы вас миновала эта чаша?» – спросил Пунин, умный, желчный и блестящий человек. Это он, прогуливаясь с Анной Андреевной по Третьяковке, вдруг сказал: «А теперь пойдем посмотреть, как вас повезут на казнь». Так появились стихи: «А после на дровнях, в сумерки, В навозном снегу тонуть. Какой сумасшедший Суриков Мой последний напишет путь?» Но этого путешествия ей совершить не пришлось: «Вас придерживают под самый конец», – говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передергивалось тиком. Но под конец ее забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пунина.

На вокзал встречать Анну Андреевну поехал Лева – он в те дни гостил у нас. Мы напрасно передоверили ему это несложное дело – он, конечно, умудрился пропустить мать, и она огорчилась: все шло не так, как обычно. В тот год Анна Андреевна часто к нам ездила и еще на вокзале привыкла слышать первые мандельштамовские шутки. Ей запомнилось сердитое «Вы ездите со скоростью Анны Карениной», когда однажды опоздал поезд, и «Что вы таким водолазом вырядились?» – в Ленинграде шли дожди, и она приехала в ботиках и резиновом плаще с капюшоном, а в Москве солнце пекло во всю силу. Встречаясь, они становились веселыми и беззаботными, как мальчишка и девчонка, встретившиеся в Цехе поэтов. «Цыц, – кричала я. – Не могу жить с попугаями!» Но в мае 1934 года они не успели развеселиться.

День тянулся мучительно долго. Вечером явился переводчик Бродский и засел так прочно, что его нельзя было сдвинуть с места. В доме хоть шаром покати – никакой еды. О. М. отправился к соседям раздобыть что-нибудь на ужин Анне Андреевне… Бродский устремился за ним, а мы-то надеялись, что, оставшись без хозяина, он увянет и уйдет. Вскоре О. М. вернулся с добычей – одно яйцо, но от Бродского не избавился. Снова засев в кресло, Бродский продолжал перечислять любимые стихи своих любимых поэтов – Случевского и Полонского, а знал он поэзию и нашу, и французскую до последней ниточки. Так он сидел, цитировал и вспоминал, а мы поняли причину этой назойливости лишь после полуночи.

Приезжая, Анна Андреевна останавливалась у нас в маленькой кухоньке – газа еще не провели, и я готовила нечто вроде обеда в коридоре на керосинке, а бездействующая газовая плита из уважения к гостье покрывалась клеенкой и маскировалась под стол. Кухню прозвали капищем. «Что вы валяетесь, как идолище, в своем капище? – спросил раз Нарбут, заглянув на кухню к Анне Андреевне. – Пошли бы лучше на какое-нибудь заседание посидели…» Так кухня стала капищем, и мы сидели там вдвоем, предоставив О. М. на растерзание стихолюбивому Бродскому, когда внезапно около часа ночи раздался отчетливый, невыносимо выразительный стук. «Это за Осей», – сказала я и пошла открывать.

За дверью стояли мужчины – мне показалось, что их много, – все в штатских пальто. На какую-то ничтожную долю секунды вспыхнула надежда, что это еще не то: глаз не заметил форменной одежды, скрытой под коверкотовыми пальто. В сущности, эти коверкотовые пальто тоже служили формой, только маскировочной, как некогда гороховые, но я этого еще не знала.

Надежда тотчас рассеялась, как только незваные гости переступили порог.

Я по привычке ждала «Здравствуйте!», или «Это квартира Мандельштама?», или «Дома?», или, наконец, «Примите телеграмму»… Ведь посетитель обычно переговаривается через порог с тем, кто открыл дверь, и ждет, чтобы открывший посторонился и пропустил его в дом. Но ночные посетители нашей эпохи не придерживались этого церемониала, как, вероятно, любые агенты тайной полиции во всем мире и во все времена. Не спросив ни о чем, ничего не дожидаясь, не задержавшись на пороге ни единого мига, они с неслыханной ловкостью и быстротой проникли, отстранив, но не толкнув меня, в переднюю, и квартира сразу наполнилась людьми. Уже проверяли документы и привычным, точным и хорошо разработанным движением гладили нас по бедрам, прощупывая карманы, чтобы проверить, не припрятано ли оружие.

Из большой комнаты вышел О. М. «Вы за мной?» – спросил он. Невысокий агент, почти улыбнувшись, посмотрел на него: «Ваши документы». О. М. вынул из кармана паспорт.

Проверив, чекист предъявил ему ордер. О. М. прочел и кивнул.

На их языке это называлось «ночная операция». Как я потом узнала, все они твердо верили, что в любую ночь и в любом из наших домов они могут встретиться с сопротивлением. В их среде для поддержания духа муссировались романтические легенды о ночных опасностях. Я сама слышала рассказ о том, как Бабель,

отстреливаясь, опасно ранил одного из «наших», как выразилась повествовательница, дочь крупного чекиста, выдвинувшегося в 37 году. Для нее эти легенды были связаны с беспокойством за ушедшего на «ночную работу» отца, добряка и баловника, который так любил детей и животных, что дома всегда держал на коленях кошку, а дочурку учил никогда не признаваться в своей вине и на все упрямо отвечать «нет». Этот уютный человек с кошкой не мог простить подследственным, что они почему-то признавались во всех возводимых на них обвинениях. «Зачем они это делали? – повторяла дочь за отцом. – Ведь этим они подводили и себя, и нас!»… А «мы» означало тех, кто по ночам приходил с ордерами, допрашивал и выносил приговоры, передавая в часы досуга своим друзьям увлекательные рассказы о ночных опасностях. А мне чекистские легенды о ночных страстях напоминают о крошечной дырочке в черепе осторожного, умного, высоколобого Бабеля, который в жизни, вероятно, не держал в руках пистолета.

В наши притихшие, нищие дома они входили, как в разбойничьи притоны, как в хазу, как в тайные лаборатории, где карбонарии в масках изготовляют динамит и собираются оказать вооруженное сопротивление. К нам они вошли в ночь с тринадцатого на четырнадцатое мая 1934 года.

Проверив документы, предъявив ордер и убедившись, что сопротивления не будет, приступили к обыску. Бродский грузно опустился в кресло и застыл. Огромный, похожий на деревянную скульптуру какого-то чересчур дикого народа, он сидел и сопел, сопел и храпел, храпел и сидел. Вид у него был злой и обиженный. Я случайно к нему с чем-то обратилась, попросила, кажется, найти на полках книги, чтобы дать с собой О. М., но он отругнулся: «Пускай Мандельштам сам ищет», – и снова засопел. Под утро, когда мы уже свободно ходили по комнатам и усталые чекисты даже не скашивали нам вслед глаза, Бродский вдруг очнулся, поднял, как школьник, руку и попросил разрешения выйти в уборную. Чин, распоряжавшийся обыском, насмешливо на него поглядел: «Можете идти домой», – сказал он. «Что?» – удивленно переспросил Бродский. «Домой», – повторил чекист и отвернулся. Чины презирали своих штатских помощников, а Бродский был, вероятно, к нам подсажен, чтобы мы, услыхав стук, не успели уничтожить каких-нибудь рукописей.

# Выемка

О. М. часто повторял хлебниковские строчки: «Участок великая вещь! Это место свидания меня и государства…» Но эта форма встречи чересчур невинна – ведь Хлебников рассказал о заурядной проверке документов у подозрительного бродяги, то есть о почти классических отношениях государства и поэта. Наше свидание с государством происходило по другому и более высокому рангу.

Незваные гости, действуя по строгому ритуалу, сразу, без сговора, распределили между собой роли. Всего их было пятеро – трое агентов и двое понятых. Понятые развалились на стульях в передней и задремали. Через три года – в тридцать седьмом – они, наверное, храпели от усталости. Какая хартия обеспечила нам право на присутствие понятых при обыске и аресте? Кто из нас еще помнит, что именно эта сонливая парочка понятых обеспечивает гражданам общественный контроль над законностью ареста: ведь ни один человек не исчезал у нас во тьме и мраке без ордера и понятых. В этом наша дань правовым понятиям прошлых веков.

Присутствовать при аресте в качестве общественного контроля стало у нас почти профессией. В каждом большом доме для этого будили одних и тех же заранее намеченных людей, а в провинции двое понятых обслуживали целую улицу или квартал. Они жили двойной жизнью: днем числились служащими домоуправления – слесарями, дворниками, водопроводчиками – не потому ли у нас всегда текут краны? – а по ночам в случае надобности торчали до утра в чужих квартирах. На их содержание шла часть нашей квартирной платы – это ведь тоже расходы по содержанию дома. А как расценивалась их ночная работа, мне знать не дано.

Старший из агентов занялся сундучком с архивом, а двое младших обыском. Тупость их работы бросалась в глаза.

Действовали они по инструкции, то есть искали там, где, как принято думать, хитрецы прячут тайные документы и рукописи. Они перетряхивали одну за другой книги, заглядывали под корешок, портили надрезами переплеты, интересовались потайными – кто не знает этих тайн? – ящиками в столах, топтались вокруг карманов и кроватей. Запрятать бы рукопись в любую кастрюлю, она бы там пролежала до скончания века. Или еще лучше просто положить на обеденный стол…

Из двух младших я запомнила одного – молодого, ухмыляющегося, толсторожего. Он перебирал книги, умиляясь

старым переплетам, и уговаривал нас поменьше курить. Вместо вредного табака он предлагал леденцы в жестянке, которую вынимал из кармана форменных брюк. Сейчас один мой добрый знакомый, писатель, деятель ССП, усиленно собирает книги, хвастается старыми переплетами и букинистическими находками – Саша Черный и Северянин в первоизданиях – и все предлагает мне леденец из жестяной коробочки, хранящейся в кармане отличных узеньких брюк, сделанных на заказ в самом закрытом литературном ателье. Этот писатель в тридцатых годах занимал какое-то скромное место в органах, а потом благополучно спланировал в литературу. И эти два образа – пожилого писателя конца пятидесятых годов и юного агента тридцатых – сливаются у меня в один. Мне кажется, что молодой любитель леденцов переменил профессию, вышел в люди, ходит в штатском, решает нравственные проблемы, как полагается писателю, и продолжает угощать меня из той же коробочки.

Этот жест – угощение леденцами – повторялся во многих домах и при многих обысках. Неужели и он входил в ритуал, как способы входа в дом, проверка паспортов, ощупывание людей в поисках оружия и выстукивание потайных ящиков? Нас обеспечили процедурой, обдуманной до мельчайших деталей и ничуть не похожей на безумные обыски первых дней революции и гражданской войны. А что страшнее, я сказать не могу.

Старший чин, невысокий, сухопарый, молчаливый блондин, присев на корточки, перебирал в сундучке бумаги. Действовал он медленно, внимательно, досконально. К нам прислали, вернее, нас почтили вполне квалифицированными работниками литературного сектора. Говорят, этот сектор входит в третье отделение, но мой знакомый писатель в узеньких брючках, тот, что угощает леденцами, с пеной у рта доказывает, что то отделение, которое ведает нами, считается не то вторым, не то четвертым. Роли это не играет, но соблюдение некоторых административно-полицейских традиций вполне в духе сталинской эпохи.

Каждая просмотренная бумажка из сундука шла либо на стул, где постепенно вырастала куча, предназначенная для выемки, либо бросалась на пол. По характеру отбора бумаг можно всегда сообразить, на чем собираются строить обвинение, поэтому я навязалась чину в консультанты, читала трудный почерк О. М., датировала рукописи и отбивала все, что можно, например, хранившуюся у нас поэму Пяста и черновики сонетов Петрарки. Мы все заметили, что чин интересуется рукописями стихов последних лет. Он показал О. М. черновик «Волка» и, нахмурив брови, прочел вполголоса этот стишок от начала до конца, а

потом выхватил шуточные стихи про управдома, разбившего в квартире недозволенный орган. «Про что это?» – недоуменно спросил чин, бросая рукопись на стул. «А в самом деле, – сказал О. М., – про что?»

Вся разница между двумя периодами – до и после 37 года – сказалась на характере пережитых нами обысков. В 38-м никто ничего не искал и не тратил времени на просмотр бумаг. Агенты даже не знали, чем занимается человек, которого они пришли арестовать. Небрежно перевернули тюфяки, выкинули на пол все вещи из чемодана, сгребли в мешок бумаги, потоптались и исчезли, уведя с собой О. М. В 38-м вся эта операция длилась минут двадцать, а в 34-м – всю ночь до утра.

Но оба раза, видя, как я собираю вещи, шутливо – по инструкции! – говорили: «Что даете столько вещей? Зачем? Разве он у нас долго собирается гостить? Поговорят и выпустят»… Таковы были остатки эпохи «высокого гуманизма» – двадцатых и начала тридцатых годов. «Я и не знал, что мы были в лапах у гуманистов», – сказал О. М. зимой 37/38 года, читая в газете, как поносят Ягоду, который, мол, вместо лагерей устраивал настоящие санатории…

Яйцо, принесенное для Анны Андреевны, лежало нетронутым на столе. Все – у нас находился еще и Евгений Эмильевич, брат О. М., недавно приехавший из Ленинграда, – ходили по комнатам и разговаривали, стараясь не обращать внимания на людей, рывшихся в наших вещах. Вдруг Анна Андреевна сказала, чтобы О. М. перед уходом поел, и протянула ему яйцо. Он согласился, присел к столу, посолил и съел… А куча бумаг на стуле и на полу продолжала расти. Мы старались не топтать рукописей, но для пришельцев это было трын-трава. И я очень жалею, что среди бумаг, украденных вдовой Рудакова, пропали черновики стихов десятых и двадцатых годов – они для выемки не предназначались и потому лежали на полу – с великолепно отпечатавшимися каблуками солдатских сапог. Я очень дорожила этими листочками и поэтому отдала их на хранение в место, которое считала самым надежным, – преданному юноше Рудакову. В Воронеже, где он пробыл года полтора в ссылке, мы делились с ним каждым куском хлеба, потому что он сидел без всякого заработка. Вернувшись в Ленинград, он охотно принял на хранение и архив Гумилева, который доверчиво отвезла ему на саночках Анна Андреевна. Ни я, ни она рукописей больше не увидели. Изредка до нее доходят слухи, что кто-то купил хорошо известные ей письма из этого архива.

«Осип, я тебе завидую, – говорил Гумилев, – ты умрешь на чердаке». Пророческие стихи к этому времени были уже

написаны, но оба не хотели верить собственным предсказаниям и тешили себя французским вариантом злосчастной судьбы поэта. А ведь поэт – это и есть человек, просто человек, и с ним должно случиться самое обычное, самое заурядное, самое характерное для страны и эпохи, что подстерегает всех и каждого. Не блеск и ужас индивидуальной судьбы, а простой путь «с гурьбой и гуртом». Смерть на чердаке не для нашего времени.

Во время кампании в защиту Сакко и Ванцетти – мы жили тогда в Царском Селе – О. М. через одного церковника передал на церковные верхи свое предложение, чтобы церковь тоже организовала протест против этой казни. Ответ последовал незамедлительно: церковь согласна выступить в защиту казнимых при условии, что О. М. обязуется организовать защиту и протест, если что-нибудь подобное произойдет с кем-либо из русских священников. О. М. ахнул и тут же признал себя побежденным. Это был один из первых уроков, полученных О. М. в те дни, когда он пытался примириться с действительностью.

Наступило утро четырнадцатого мая. Все гости, званые и незваные, ушли. Незваные увели с собой хозяина дома. Мы остались с глазу на глаз с Анной Андреевной, вдвоем в пустой квартире, хранившей следы ночного дебоша. Кажется, мы просто сидели друг против друга и молчали. Спать, во всяком случае, мы не ложились и чаю выпить не догадались. Мы ждали часа, когда можно будет, не обращая на себя внимания, выйти из дома. Зачем? куда? к кому? Жизнь продолжалась… Вероятно, мы были похожи на утопленниц. Да простит мне Бог эту литературную реминисценцию – ни о какой литературе мы тогда не думали.

# Утренние размышления

Мы никогда не спрашивали, услыхав про очередной арест, «За что его взяли?», но таких, как мы, было немного. Обезумевшие от страха люди задавали друг другу этот вопрос для чистого самоутешения: людей берут за что-то, значит, меня не возьмут, потому что не за что! Они изощрялись, придумывая причины и оправдания для каждого ареста – «Она ведь действительно контрабандистка», «Он такое себе позволял», «Я сам слышал, как он сказал…» И еще: «Надо было этого ожидать – у него такой ужасный характер», «Мне всегда казалось, что с ним что-то не в порядке», «Это совершенно чужой человек»… Всего этого казалось достаточно для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный… Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: «не наш»… И общественное мнение, и карающие органы придумывали лихие вариации и подбрасывали щепки в огонь, без которого нет дыма. Вот почему вопрос: «За что его взяли?» – стал для нас запретным. «За что? – яростно кричала Анна Андреевна, когда кто-нибудь из своих, заразившись общим стилем, задавал этот вопрос. – Как за что? Пора понять, что людей берут ни за что»…

Но когда увели О. М., мы с Анной Андреевной все же задали себе этот самый запретный вопрос: за что? Для ареста Мандельштама было сколько угодно оснований по нашим, разумеется, правовым нормам. Его могли взять вообще за стихи и за высказывания о литературе или за конкретное стихотворение о Сталине. Могли арестовать его и за пощечину Толстому. Получив пощечину, Толстой во весь голос при свидетелях кричал, что закроет для Мандельштама все издательства, не даст ему печататься, вышлет его из Москвы… В тот же день, как нам сказали, Толстой выехал в Москву жаловаться на обидчика главе советской литературы – Горькому. Вскоре до нас дошла фраза: «Мы ему покажем, как бить русских писателей»… Эту фразу безоговорочно приписывали Горькому. Сейчас меня убеждают, что Горький этого сказать не мог и был совсем не таким, как мы его себе тогда представляли. Есть широкая тенденция сделать из Горького мученика сталинского режима, борца за свободомыслие и за интеллигенцию. Судить не берусь и верю, что у Горького были крупные разногласия с хозяином и что он был здорово зажат. Но из этого никак не следует, чтобы Горький отказался поддержать Толстого против писателя типа О. М., глубоко ему враждебного и чуждого.

Чтобы узнать отношение Горького к свободной мысли,

достаточно прочесть его статьи, выступления и книги.

Так или иначе, мы возлагали все надежды на то, что арест вызван местью за пощечину «русскому писателю» Алексею Толстому. Как бы ни оформлять такое дело, оно грозило только высылкой, а этого мы не боялись. Высылки и ссылки стали у нас бытовым явлением. В годы передышки, когда террор не бушевал, весной – обычно в мае – и осенью происходили довольно широкие аресты, преимущественно среди интеллигенции. Они отвлекали внимание от очередных хозяйственных неудач. Бесследных исчезновений в ту пору еще почти не бывало: люди из ссылки писали; отбыв свой срок, они возвращались и снова уезжали. Андрей Белый, с которым мы встретились в Коктебеле летом 33 года, говорил, что не успевает посылать телеграммы и писать письма своим друзьям-«возвращенцам». Очевидно, в 27 или в 29 году метла прошлась по теософическим кругам и дала массовое возвращение в 33-м… А к нам весной до ареста О. М. вернулся Пяст… «Возвращенцы» после трех или пяти лет отсутствия селились в маленьких городках стоверстной зоны. Раз все «уезжают», чем же мы лучше? Незадолго до ареста, услыхав, что О. М. ведет вольные разговоры с какими-то посторонними людьми, я напомнила: «Май на носу – ты бы поосторожнее!» О. М. отмахнулся: «Чего там? Ну, вышлют… Пусть другие боятся, а нам-то что!..» И мы действительно почему-то не боялись высылки.

Другое дело, если б обнаружились стихи про Сталина. Вот о чем думал О. М., когда, уходя, поцеловал на прощание Анну Андреевну. Никто не сомневался, что за эти стихи он поплатится жизнью. Именно поэтому мы так внимательно следили за чекистами, стараясь понять, чего они ищут. «Волчий» же цикл особых бед не сулил – в крайнем случае лагерь…

Как будут квалифицировать все эти потенциальные обвинения? Не все ли равно! Смешно подходить к нашей эпохе с точки зрения римского права, наполеоновского кодекса и тому подобных установлений правовой мысли. Карающие органы действовали точно, осмотрительно и уверенно. У них было много целей – искоренение свидетелей, способных что-то запомнить, установление единомыслия, подготовка прихода тысячелетнего царства и прочее, и прочее… Людей снимали пластами по категориям (возраст тоже принимался во внимание): церковники, мистики, ученые-идеалисты, остроумцы, ослушники, мыслители, болтуны, молчальники, спорщики, люди, обладавшие правовыми, государственными или экономическими идеями, да еще инженеры, техники и агрономы, потому что появилось понятие «вредитель», которым объяснялись все неудачи и просчеты. «Не носите эту шляпу, – говорил О. М. Борису Кузину, – нельзя

выделяться – это плохо кончится». И это действительно плохо кончилось. Но, к счастью, отношение к шляпам переменилось, когда решили, что советские ученые должны одеваться еще лучше западных пижонов, и Борис Сергеевич, отсидев свой срок, получил вполне приличный научный пост. Шляпа – шутка, а голова под шляпой действительно предопределяла судьбу.

Люди искореняющей профессии придумали поговорку: «Был бы человек – дело найдется». Впервые мы ее услышали в Ялте (1928) от Фурманова, брата писателя. Чекист, которому только что удалось спланировать в кинематографию, но через жену еще связанный с этим учреждением, он кое-что в этом понимал. В пансиончике, где большинство лечилось от туберкулеза, а Фурманов укреплял морским воздухом расшатанные нервы, жил добродушный и веселый нэпман. Он быстро сошелся с Фурмановым, и они оба придумали игру в «следствие», которая своей реальностью щекотала им нервы. Фурманов, иллюстрируя поговорку про человека и дело, проводил допрос дрожащего нэпмана, и тот неизбежно запутывался в сети хитроумных расширительных толкований каждого слова. К тому времени сравнительно небольшой круг до конца, то есть на собственном опыте, познал особенности нашего правосудия: через горнило проходили только перечисленные мною выше категории людей, иначе говоря, те, у кого под шляпой была голова, да еще те, у кого изымали ценности, и нэпманы, то есть предприниматели, поверившие в новую экономическую политику. Вот почему никто, кроме О. М., не обращал внимания на забавы бывшего следователя и игра в кошки-мышки проходила незамеченной. Не заметила бы ее и я, если б О. М. не сказал мне: «Ты только послушай…» У меня ощущение, будто О. М. специально показывал мне все то, что он хотел, чтобы я запомнила… Фурмановская игра дала нам кое-какое первое понятие о судопроизводстве в нашем еще только становящемся государстве. В основе судопроизводства лежала диалектика и великая стабильная мысль: «Кто не с нами, тот против нас».

Анна Андреевна, с первых дней настороженно следившая за жизнью, знала больше меня. Вдвоем в разгромленной ночным обыском квартире мы перебирали все возможности и гадали о будущем, но слов при этом мы почти не произносили… «Вам нужно беречь силы», – сказала Анна Андреевна… Это значило, что нужно готовиться к долгому ожиданию: сплошь и рядом люди сидели по многу недель или месяцев, а то и больше года, пока их не высылали или не уничтожали. Этого требовало оформление дела. От оформления отказываться не собирались и упорно фиксировали весь бред на бумаге… Неужели они действительно

считали, что потомки, разбирая архивы, будут так же слепо верить всему, как обезумевшие современники? А может, просто работал бюрократический инстинкт, чернильный дьявол, который кормится не законом, а постановлением и поглощает тонны бумаги? Впрочем, законы тоже бывают разные…

Для семьи арестованного период ожидания заполнялся хлопотами – О. М назвал их в «Четвертой прозе» «невесомыми интегральными ходами», – добыванием денег и стоянием в очередях с передачами. По длине очередей мы знали, на каком мы свете. В 34 году они были небольшие. Я должна была беречь силы, чтобы пройти по всем путям, уже протоптанным другими женами. Но у меня в ту майскую ночь наметилась еще одна задача, и ради нее я жила и живу: изменить судьбу О. М. было не в моих силах, но часть рукописей уцелела, многое сохранилось в памяти – только я могла все это спасти, а для этого стоило беречь силы.

Из оцепенения нас вывел приход Левы. В ту ночь из-за приезда Анны Андреевны его увели ночевать к себе Ардовы – у нас негде было разместиться. Зная, что О. М. встает рано, Лева явился чуть свет, чтобы выпить с ним чаю, и на пороге выслушал новость.

Мальчишка, захлебывающийся мыслью юнец, где бы он ни появлялся в те годы, все приходило в движение.

Люди чувствовали заложенную в нем динамическую бродильную силу и понимали, что он обречен. А наш дом оказался зачумленным и гибельным для всех, кто подвержен инфекции. Вот почему при виде Левы я испытала настоящий приступ ужаса: «Уходите, – сказала я, – уходите скорей – ночью забрали Осю». И Лева покорно ушел. Так было у нас принято.

# Второй тур

Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произнесли при этом ни одного из недозволенных слов, вроде «арестовали», «забрали», «посадили»… У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя ничего по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому – кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописей в кармане. Так мы спасли часть архива. Но какой-то инстинкт подсказал нам, что всего уносить не следует. Мало того, вся куча бумаг так и осталась на полу. «Не трогайте», – сказала мне Анна Андреевна, когда я открыла сундучок, чтобы спрятать туда эту красноречивую груду бумаг, и я послушалась, сама не зная почему… Попросту я верила в ее чутье…

В тот же день, когда после беготни по городу мы с Анной Андреевной вернулись домой, снова раздался стук, на этот раз довольно деликатный, и я опять впустила незваного гостя. Это был главный ночной чин. Он с удовлетворением поглядел на рукописи, валявшиеся на полу: «А вы еще даже не прибирали», – и тут же приступил к вторичному обыску. На этот раз он явился один, интересовался только сундучком, а в нем только рукописями стихов; на прозу он даже не глядел. Узнав о вторичном обыске, Евгений Яковлевич, самый сдержанный и молчаливый человек на свете, насупился и сказал: «Если они явятся еще раз, они уведут вас обеих с собой».

Чем объяснить второй обыск и вторую выемку? Мы с Анной Андреевной обменялись взглядами – для советских людей этого достаточно, чтобы понять друг друга. Очевидно, следователь успел уже просмотреть изъятые ночью рукописи – времени для этого понадобилось немного, так как стихи необъемны, – и не нашел того, что ему было нужно. Поэтому он послал произвести дополнительные розыски, боясь, что в ночной спешке нечаянно пропустили нужную бумажку. Из этого легко сделать вывод, что поиски были целеустремленные и стихами вроде «Волка» довольствоваться не хотят. Но той рукописи, которой они интересовались, в сундуке не было – ни я, ни О. М. этих стихов не записывали. И я не стала навязываться в консультанты, но обе мы спокойно пили чай, искоса поглядывая на гостя.

Чин явился буквально через двадцать минут после нашего возвращения. Следовательно, его об этом известили. Кто же? Это

мог быть агент, живущий в доме, любой сосед, получивший распоряжение следить за нами, или «Вася», торчавший на улице. Тогда мы еще не научились распознавать так называемых «Вась». Опыт пришел позже, когда мы нагляделись, как они, ничуть не скрываясь, делают стойку перед домом Анны Андреевны. Почему они не таились и были так грубо откровенны? Плохая работа, до непристойности топорная, или тоже до непристойности топорное застращивание? Вероятно, и то, и другое. Всем своим поведением они говорили: вам никуда не спрятаться, над вами бдят, мы всегда с вами… Не раз добрые знакомые, которых мы ни в чем не подозревали, бросали нам какую-нибудь фразу, давая понять, кто они и почему почтили нас своей дружбой. Должно быть, эта откровенность входила в общую воспитательную систему, потому что после такой приоткрывающей горизонты фразы язык у нас присыхал к гортани и мы становились тише воды, ниже травы. А мне, например, часто подносили советы не таскать за собой остатки рукописей О. М., забыть про прошлое, не рваться в Москву: «Вас одобряют, что вы живете в Ташкенте»… Спрашивать, кто одобряет, не стоило. На такой вопрос отвечали улыбкой. Намеки, фразочки с улыбкой и темные речи вызывали во мне бешеное сопротивление: а вдруг все это праздная болтовня паршивого человечка, ничего не знающего, а просто стилизующегося под главные силы эпохи? Таких стилизаторов было сколько угодно. Но случались и другие вещи. В том же Ташкенте, когда я жила с Анной Андреевной, мы нередко, вернувшись домой, находили полную чужими окурками пепельницу, неизвестно откуда появившуюся книгу, журнал или газету, а раз я обнаружила на обеденном столе до отвращения яркую губную помаду, а рядом с ней ручное зеркало, перекочевавшее сюда из другой комнаты. В ящиках и чемоданах возникал иногда такой беспорядок, что не заметить его было невозможно. По инструкции оставлялись эти следы или это просто забавлялись те, кому поручили порыться у нас в чемоданах? Веселый смех и – «А ну-ка, пускай полюбуются!» Оба варианта вполне допустимы… Отчего, собственно, не постращать нас, чтобы мы не зазнавались?.. Меня, впрочем, стращали гораздо меньше, чем Анну Андреевну…

Что же касается тех, кого мы называли «Васями», то я особенно хорошо запомнила одного, уже послевоенного. Дни стояли морозные, и он отогревался, топая ногами и бурно, по-извозчичьи, размахивая руками. Несколько дней подряд, выходя из дому с Анной Андреевной, мы стыдливо пробегали мимо пляшущего «Васи». Потом на его месте появился другой, уже не столь темпераментный. А в другой раз, когда мы шли по

внутреннему дворику Фонтанного Дома, позади нас вспыхнул магний – нас сфотографировали, решили, видно, узнать, кто приехал к опальной женщине. Чтобы попасть в этот внутренний дворик, надо было насквозь пройти через вестибюль главного здания. У дверей, выходивших во двор, стоял контроль. В день магниевой вспышки нас почему-то очень долго задерживали у входа. Предлог для задержки звучал идиотически: потеряли ключ или что-то в этом роде… Неужели фотосыщик начал заряжать аппарат, только когда его известили о нашем возвращении? Все это происходило незадолго до постановления об Ахматовой и Зощенко, и у меня пробегал мороз по коже от знаков особого внимания к моей подруге.

Лично мне такого внимания не уделяли: индивидуального наблюдения я почти не удостаивалась. Возле меня обычно копошились не агенты, а вульгарные стукачи. Только однажды в Ташкенте Лариса Глазунова, дочь крупного работника органов, предостерегла меня против одной из моих частных учениц, рекомендованной студенткой физмата: «Она только у вас хочет учиться»… Лариса случайно столкнулась с ней на моем пороге и объяснила, что эта девушка работает «у папы». Я успокоила Ларису, что мне это давно ясно: милая моя ученица никогда не приходила в назначенное время и все норовила застигнуть меня врасплох, чтобы извиниться и сказать, что очень, мол, занята и урок просит отложить… Кроме того, у нее были характерные повадки мелких сыщиков и она никак не могла удержаться, чтобы не скосить вслед за мной глаза, когда я двигалась по комнате. Нетрудно было понять, зачем ей понадобились уроки, которых она и не брала… Разоблаченная Ларисой сыщица быстро исчезла, а навязавшая мне ее в ученицы студентка, неплохая, но, видно, попавшаяся в сети девушка, явно переживала драму и все пыталась со мной объясниться. От объяснений я кое-как уклонилась, но навсегда запомнила, как сыщица ахала и повторяла: «Я обожаю Ахматову и вашего супруга»… В этой среде мужей называли супругами. Супругами – какой добродетельный звук! – а в цекистской – «товарищами»…

Но все это происходило позже, а к 34 году мы даже не придумали слова «Вася» и так и не догадались, кто информировал чекиста о том, что мы уже вернулись домой.

# Базарные корзинки

Чин, вторично рывшийся в сундучке и снова перебиравший рукописи, даже не заметил исчезновения поэм Пяста, а именно это могло выдать ему, что мы тоже успели произвести выемку. Хитрость Анны Андреевны, посоветовавшей мне не убирать комнату, удалась – сложи я бумаги в сундук, чекист мог бы насторожиться.

Поэмы Пяста были огромные. Именно их-то и пришлось выносить в базарных корзинках. Делились они на главы, называвшиеся «отрывами». О. М. поэмы нравились, быть может, потому, что в них проклинались законные жены. У Пяста жена называлась «венчанной», и он не хотел с нею жить. Очутившись чуть ли не впервые в нормальной, хотя и крохотной квартирке, О. М. тоже захотел взбунтоваться против тягот семейной жизни и бурно расхваливал Пяста. Заметив его восторг, я спросила: «А у тебя кто венчанная? Уж не я ли?»

Подумать только, что и у нас могла быть обыкновенная жизнь с разбитыми сердцами, скандалами и разводами! Есть же на свете безумцы, которые не знают, что именно это и есть нормальная человеческая жизнь и к ней надо всеми силами стремиться. Чего только не отдашь за такую драму!

Пяст вручил мне на хранение две поэмы, переписанные от руки, – машинка стоила дорого, не по карману ни нам, ни ему. Это был единственный перебеленный, как говорили в старину, экземпляр. Пяст не поверил, как я ни старалась убедить его, что худшего места для хранения найти нельзя. После ссылки ему показалось, что у нас устойчивый, благополучный, спокойный дом – почти крепость. Увидав «отрывы» в руках ночного гостя, О. М. горько вздохнул от жалости: что будет с Пястом! И тут в меня «вошла такая сила», как сказала Анна Андреевна, что я отбила у чина и чуть не сохранила для потомства проклятия «венчанным» и прославления незаконным красавицам, Пястовым великаншам, потому что он прельщался только женщинами гренадерского роста. Последнюю из великанш он приводил к нам слушать «отрывы». Сохранила ли она его рукопись? Кажется, она интересовалась не Пястом, а гонорарами за переводы Рабле, которые Пяст тогда выколачивал из Госиздата. Помнится, Пяст тогда жаловался на капризу-падчерицу, а она, как мне говорили, живет где-то далеко и дружески вспоминает своего чудаковатого отчима. Не у нее ли спасенные мной Пястовы поэмы?

А до ареста О. М. к нам все ходили милиционеры: Пяст дал наш адрес, регистрируясь в милиции и получая разрешение

провести несколько дней в Москве для устройства своих литературных дел. Срок истек, и его гнали из запрещенной в дозволенную зону. Хорошо, что он не попался у нас во время обысков, а это бы случилось, если б его не спугнули милиционеры. Попадись он «чину», его могли бы изъять вместе с рукописями. Ему просто повезло. А вторая Пястова удача, что он не дожил до повторных арестов и умер в какой-то разрешенной Чухломе от рака, в собственной постели или на больничной койке. Как и семейные драмы, это и есть нормальная жизнь, а следовательно, счастье. Чтобы понять это, надо пройти большую школу.

Из рукописей О. М. мы спасли небольшую кучку черновиков разных лет. С тех пор они никогда уже не находились дома. Я привозила их в Воронеж небольшими пачками, чтобы установить тексты и составить полные списки ненапечатанных стихов. Эту работу мы постепенно проделали с О. М., который внезапно переменил свое отношение к рукописям и к бумагам. Раньше он их знать не хотел и всегда сердился, что я их не уничтожаю, а бросаю в мамин желтый заграничный сундучок. Но после обыска он понял, что легче сохранить рукопись, чем человека, и перестал надеяться на свою память, которая, как известно, погибает вместе с человеком. Кое-что из этих рукописей сохранилось по сегодняшний день, но большая часть погибла во время двух арестов – что делали в недрах наших судилищ с бумагами, которые увозились сначала в портфелях, а потом в мешках? Что уж гадать о бумагах, когда мы не знаем, что там делали с людьми… То, что уцелели свидетели той эпохи и кучка рукописей, надо считать чудом.

# Интегральные ходы

В третий раз не пришли, и нас не забрали. Мы предались обычному занятию тех, у кого забрали близких: хлопотали. После дневной беготни по городу мы измученные возвращались домой и вместо обеда открывали рублевую банку с кукурузными зернами. Так продолжалось три дня. На четвертый из Киева приехала моя мать. Она ликвидировала там комнату, продала громоздкую семейную мебель и приехала доживать жизнь с зятьком и дочкой, которые наконец-то обзавелись квартирой. Никто не встретил ее на вокзале, и она была злой и обиженной. Но все эти чувства испарились в тот миг, когда она узнала об аресте О. М. Тут в ней проснулась либеральная курсистка, знающая, как относиться к правительству и арестам. Она всплеснула руками, высказалась по поводу теории и практики большевизма, произвела инспекцию нашего хозяйства, заявила, что еще в ее время профессора объясняли пеллагру в Бессарабии злоупотреблением мамалыгой, вынула из нагрудного мешочка деньги и побежала на базар. Наша беспризорность кончилась, и мы захлопотали еще энергичнее.

Николая Ивановича Бухарина я посетила в самые первые дни. Услыхав мои новости, он переменился в лице и забросал меня вопросами. Я не представляла себе, что он способен так волноваться. Он бегал по огромному кабинету и время от времени останавливался передо мной с очередным вопросом… «Было свидание?» Мне пришлось объяснить ему, что свиданий больше не бывает. Николай Иванович этого не знал. Как всякий теоретик, он не умел делать практических выводов из своей теории.

«Не написал ли он чего-нибудь сгоряча?» Я ответила – нет, так, отщепенские стихи, не страшнее того, что Николай Иванович знает… Я солгала. Мне до сих пор стыдно. Но скажи я тогда правду, у нас не было бы «воронежской передышки». Надо ли лгать? Можно ли лгать? Оправданна ли «ложь во спасение»? Хорошо жить в условиях, когда не приходится лгать. Есть ли такое место на земле? Нам внушали с детства, что всюду ложь и лицемерие. Без лжи я не выжила бы в наши страшные дни. И я лгала всю жизнь – студентам, на службе, добрым знакомым, которым не вполне доверяла, а таких было большинство. И никто мне при этом не верил – это была обычная ложь нашей эпохи, нечто вроде стереотипной вежливости. Этой лжи я не стыжусь, а Николая Ивановича я ввела в заблуждение вполне сознательно, с холодным расчетом – нельзя отпугивать единственного защитника… И это другое дело… Но могла ли я не солгать?

Николай Иванович утверждал, что за пощечину Толстому арестовать не могли. Я настаивала, что арестовать можно за что угодно. Что же касается до статьи кодекса, то всегда применяется пятьдесят восьмая – чего уж удобнее?

Рассказ об угрозах Толстого и фраза «Мы ему покажем, как бить русских писателей» произвели на Николая Ивановича должное впечатление: он почти стонал. Этот человек, знавший царские тюрьмы и принципиальный сторонник революционного террора, в тот день с особой, вероятно, остротой почувствовал свое будущее.

В дни хлопот я часто заходила к Николаю Ивановичу. Короткова, которую О. М. назвал белочкой, грызущей орешек с каждым посетителем («Четвертая проза»), встречала меня испуганным ласковым взглядом и тотчас бежала докладывать. Дверь кабинета распахивалась, и Николай Иванович выбегал из-за стола мне навстречу: «Ничего нового?.. И у меня нет… Никто ничего не знает»…

Это были наши последние встречи. Проездом из Чердыни в Воронеж я снова забежала в «Известия». «Какие страшные телеграммы вы присылали из Чердыни», – сказала Короткова и скрылась в кабинете. Вышла она оттуда чуть не плача: «Николай Иванович не хочет вас видеть… какие-то стихи»… Больше я его не видела. Эренбургу он впоследствии рассказал, что Ягода прочел ему наизусть стихи про Сталина, и он, испугавшись, отступился. До этого он успел сделать все, что было в его силах, и ему мы обязаны пересмотром дела.

В период хлопот визит в «Известия» к Бухарину занимал не больше часа, а сама процедура хлопот требует непрестанной беготни по городу. Жены арестованных – численное превосходство даже после 37 года всегда оставалось в тюрьмах за мужчинами – проторили дорогу в Политический Красный Крест, к Пешковой. Туда ходили, в сущности, просто поболтать и отвести душу, и это давало иллюзию деятельности, столь необходимую в периоды тягостного ожидания. Влияния Красный Крест не имел никакого. Через него можно было изредка переслать в лагерь посылку или узнать об уже вынесенном приговоре и о совершившейся казни. В 37 году эту странную организацию ликвидировали, отрезав эту последнюю связь тюрьмы с внешним миром. Ведь самая идея помощи политзаключенным находится в явном противоречии со всем нашим укладом – сколько людей отправились на каторгу и в одиночные камеры только потому, что были просто знакомы с людьми, подвергшимися каре? Закрытие Политического Красного Креста было вполне логичным делом, но с той поры семьи арестованных жили только слухами, часть

которых распространялась специально для нашего устрашения.

Во главе этого учреждения с самого начала стояла Пешкова, но я пошла не к ней, а к ее помощнику, умнейшему человеку – Винаверу. Первый вопрос Винавера: какой чин рылся в сундуке? Тут я узнала, что чем выше чин главного ночного гостя, тем серьезнее дело и тем страшнее предуготованная судьба. Об этой форме гадания я услышала впервые и потому не догадалась в ночь обыска посмотреть на нашивки. Винавер сообщил мне еще, что бытовые условия «внутри» вполне приличные – чистота и хороший стол. «Еда, наверное, лучше, чем у нас с вами дома…» Винаверу не пришлось объяснять, что лучше впроголодь, да на воле и что в этой подлой тюремной «цивилизации» есть нечто непереносимо зловещее. Он и без меня все понимал и все знал. Несколько позже он сказал мне, чего нам ждать от будущего, и его предсказание исполнилось: у него был огромный опыт, и он умел делать из него выводы. К Винаверу я ходила как на службу, а потом всегда извещала его о переменах судьбы. Делала я это даже не для того, чтобы получить совет, а просто из потребности в общении с одним из последних людей, не утративших в нашей сумятице правового мышления и упорно, хотя и тщетно, боровшихся с насилием.

А хороший совет Винавер мог дать. Это он уговаривал меня внушить О. М. быть как можно менее активным, ни о чем не просить, вроде перевода, например, в другое место, ничем о себе не напоминать, прятаться, молчать, словом, притворяться покойником… «Чтобы не было ни одной новой бумажки с вашим именем. Лишь бы они про вас забыли…» По его мнению, это был единственный способ спастись или хоть на некоторый срок продлить жизнь. Для себя Винавер этот рецепт использовать не мог и был все время на виду. В ежовщину он исчез. Про него ходят слухи, что он жил двойной жизнью и был не тем, за кого мы его принимали. Я этому не верю и никогда не поверю. Мне хотелось бы, чтобы потомство обелило его память. Мне известно, что подобного рода порочащие слухи нередко распускались самой Лубянкой про неугодных ей людей. Даже если в архивах хранятся какие-нибудь документы, чернящие Винавера, они не могут служить доказательством, что он предавал органам своих посетителей; даже если Пешкову убедили, что Винавер был поставлен шпионить за ней, нам этому верить нельзя. Сфабриковать документы не так трудно, люди в застенках подписывали черт знает какой бред, напугать старуху стукачами и провокаторами ничего не стоит… Но как будут историки восстанавливать истину, если всюду и везде на крупицу правды наслоились груды чудовищной лжи? Не предрассудков, не

ошибок времени, а сознательной и обдуманной лжи?

# Свидание

Через две недели случилось чудо, первое по счету: мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее: по коридору вели заключенного: видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант – высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой «внутренней» профессии еще до того, как я замечаю их взгляд – голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами, только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей – я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она страшно, как и все, подчеркнута, словно все люди с сыщицким взглядом – первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс.

Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, «внутри» приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось: коридоры, будто, разделены на секторы и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась: «Как не страх? А что еще?» Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет и это был страх, самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина.

Рассказы о технической оснащенности – они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации, – прекратились только в конце тридцатых годов в связи с

переходом на «упрощенный допрос». Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. «Теперь все ясно, – сказала та же Анна Андреевна, – шапочку-ушаночку и фьють – в тайгу». Отсюда: «Там, за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей Тень мою ведут на допрос»…

Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание – в третье или четвертое, но у следователя было традиционное в русской литературе отчество – Христофорович. Почему он его не переменил, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение. О. М. страшно сердился на все подобные сопоставления – он считал, что нельзя упоминать всуе ничего, что связано с именем Пушкина. Когда-то нам пришлось из-за моей болезни прожить два года в Царском Селе, да еще в Лицее, потому что там сравнительно дешево сдавались приличные квартиры, но О. М. этим ужасно тяготился – ведь это почти святотатство! – и под первым же предлогом сбежал и обрек нас на очередную бездомность. Так что обсуждать с ним отчество Христофорыча я не решилась.

Свидание состоялось при Христофорыче – я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими – по Малому театру – назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. Две недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние.

Когда ввели О. М., я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств – «внутри» отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки.

Несмотря на безумный вид, О. М. тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамино… Когда она приехала? Я назвала день. «Значит, ты все время была дома?» Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто, но теперь стало ясно – ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный – он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно.

Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама по себе. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во

мне хватало и того, и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила.

Думая, что мы расстаемся надолго, а может, навсегда, О. М. поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки – у всех, сидевших и не сидевших, – и мы умеем использовать «последнюю возможность быть услышанным»[10]. О. М. в «Разговоре о Данте» приписал эту потребность Уголино… Но это только наше свойство – чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз мне выпадала возможность «быть услышанной», и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. О. М. во время свидания находился в лучшем положении – я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось и ни одно слово не пропало даром.

О. М. сообщил, что у следователя были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в четвертой строке: «Только слышно кремлевского горца – Душегубца и мужикоборца»… Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше О. М. торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки все возможные сведения, чтобы передать их на волю.

Стихи следователь называл «беспрецедентным контрреволюционным документом», а меня соучастницей преступления: «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» – сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности… Через каждые три слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили «не поднимать дела». И тут я узнала формулу: «изолировать, но сохранить» – таково распоряжение свыше – следователь намекнул, что с самого верху, – первая милость… Первоначально намечавшийся приговор – отправка в лагерь на строительство канала – отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение… И тут Христофорыч предложил мне сопровождать О. М. к месту ссылки. Это была вторая неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас

согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если б я отказалась.

Какая бы выстроилась очередь, если бы в 37-м, скажем, году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, барахлом и книгами!.. Жены дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами, мачехи рядом с падчерицами…

А может, и нет… Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участи. Пока погибают соседи, уцелевшие тешат себя знаменитым вопросом «За что его взяли?» и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины – ведь именно они подлинные хранительницы домашнего очага – с демонической силой поддерживают огонек надежды. Лиля Яхонтова в 37 году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопасности, пока стоит этот дом»… Своей святой верой она, может, отсрочила на несколько лет гибель мужа – он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют. А в 53 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, «вы не совершили никакого преступления и совесть у вас чиста»… Да еще дорожная спутница 57 года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны – ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает… Причинность и целесообразность – основные категории нашей потребительской философии.

# Сборы и проводы

Как только я пришла домой, квартира заполнилась людьми. Мужья в зачумленный дом не пришли, но прислали жен – женщинам грозило все же меньше опасностей, чем мужчинам. Даже в 37 году большинство женщин пострадало за мужей, а не самостоятельно. Поэтому неудивительно, что мужчины соблюдали большую осторожность, чем женщины. Впрочем, «хранительницы очага» превосходили в своем «патриотизме» самых осторожных мужчин… Я прекрасно понимала, почему не пришли мужья, но изумилась, что набежало такое множество женщин: высылаемых обычно избегали все… Анна Андреевна даже ахнула: «Сколько красоток!»

Я укладывала корзины, те самые, которые раздражали прислугу в Цекубу, как рассказал О. М. в «Четвертой прозе». Вернее, не укладывала, а беспорядочно кидала в них все что попало: кастрюли, белье, книги… В тюрьму О. М. взял с собой Данта, но в камеру не затребовал – ему сказали, что побывавшая в камере книга на волю не выпускается: ее передают в библиотеку «внутри». Не зная точно, при каких обстоятельствах книга остается вечной узницей, я захватила с собой другое издание Данта. Надо было все припомнить, ничего не забыть – ведь переезд, да еще на поселение, ничуть не похож на нормальный отъезд с двумя чемоданами. Я хорошо это знаю, потому что всю жизнь переезжаю с места на место со всем своим жалким имуществом.

Мать моя выложила все деньги, вырученные в Киеве за мебель. Но это были гроши – кучка бумажек. Женщины бросились во все стороны собирать на отъезд. Эти проводы происходили на семнадцатом году существования нашего строя. Семнадцать лет тщательного воспитания не помогли. Люди, собиравшие нам деньги, и те, кто им давал, нарушили этими своими поступками весь выработавшийся у нас кодекс отношений с теми, кого карает власть. В эпохи насилия и террора люди прячутся в свою скорлупу и скрывают свои чувства, но чувства эти неискоренимы и никаким воспитанием их не уничтожить. Если даже искоренить их в одном поколении, а это у нас в значительной степени удалось, они все равно прорвутся в следующем. Мы в этом неоднократно убеждались. Понятие добра, вероятно, действительно присуще человеку, и нарушители законов человечности должны рано или поздно сами или в своих детях прозреть…

Анна Андреевна пошла к Булгаковым и вернулась, тронутая

поведением Елены Сергеевны, которая заплакала, услыхав о высылке, и буквально вывернула свои карманы. Сима Нарбут бросилась к Бабелю, но не вернулась… Зато другие все время прибегали с добычей, и в результате собралась большая сумма, на которую мы проехали в Чердынь, оттуда в Воронеж, да еще прожили больше двух месяцев. За билеты мы, правда, почти нигде не платили – только приплачивали на обратном пути – в этом удобство ссыльных путешественников… В вагоне О. М. сразу заметил, что у меня завелись деньги, и спросил, откуда. Я объяснила. Он рассмеялся – громоздкий способ добывать на путешествия. Ведь он всю жизнь рвался куда-нибудь съездить и не мог из-за отсутствия денег. Набранная сумма была по тем временам очень велика. Мы никогда не отличались богатством, но до войны в нашей среде никто не мог похвастаться даже относительным благополучием. Все перебивались со дня на день. Кое-кому из писателей-«попутчиков» привалило некоторое благополучие уже в 37 году, но оно, в сущности, было иллюзорно и ощущалось только по сравнению с прочим населением, которое всегда еле сводит концы с концами…

К концу дня пришел Длигач с Диночкой. Я попросила у него денег. Он пошел доставать, а Диночку бросил у нас. Больше я его никогда не видела – он исчез навсегда. Денег я от него не ждала, мне просто хотелось проверить, скроется ли он. Мы всегда подозревали, что он «адъютант». Узнав про мое свидание с О. М., «адъютант» должен был исчезнуть, боясь, что я догадалась о его роли. Так и случилось. Но его исчезновение еще не может служить полным доказательством его вины: ведь он мог просто испугаться… Это не исключается…

На вокзал меня провожала Анна Андреевна и братья – Александр Эмильевич и Женя Хазин. По дороге на вокзал, как было условлено со следователем, я остановилась у подъезда дома на Лубянке, через который утром пришла на свидание. Дежурный впустил меня, и через минуту по лестнице спустился следователь с чемоданчиком О. М. в руках. «Едете?» – «Еду»… Прощаясь, я машинально протянула ему руку, попросту забыв, с кем имею дело. Ведь, повторяю, мы не народовольцы, не конспираторы, не политические люди. Совершенно неожиданно мы очутились в этой несвойственной нам роли, и я чуть не нарушила благородных традиций, пожав руку члену тайной полиции. Но следователь избавил меня от этого настоящего нарушения закона; рукопожатия не состоялось – таким людям, как я, то есть своим потенциальным подследственным, Христофорыч руки не подавал. Я получила хороший урок – первый урок политической сознательности в духе революционных традиций – жандармам

руки не подают. Мне очень стыдно, что следователю пришлось мне напомнить о том, кто я и кто он. С тех пор я никогда об этом не забывала.

Мы вошли в зал ожидания. Я направилась к кассе, но меня перехватил невысокий блондин в мешковатом штатском костюме, и я узнала того, кто рылся в сундуке и разбросал по полу рукописи. Он вручил мне билет. Денег с меня не взяли. Носильщики, но не те, которых мы сначала подрядили, а какие-то новые, подхватили багаж. Мне сразу сказали, что я могу ни о чем не беспокоиться: все будет доставлено прямо в вагон. И я заметила, что первые носильщики даже не подошли ко мне поклянчить на чай, а просто испарились…

Ждать нам пришлось долго, и Анна Андреевна вынуждена была уйти – уже отходил ее поезд на Ленинград. Наконец снова явился блондин, и налегке, избавленные от всех вокзальных забот, мы вышли на платформу. Подали поезд. В окне мелькнуло лицо О. М. Я предъявила билет, и проводница велела пройти в самый конец вагона. Провожающих, то есть братьев, в вагон не пустили.

О. М. уже находился в вагоне, а с ним три солдата. Мы двое вместе с конвоирами занимали ровно шесть лежачих мест, включая два боковых. Распорядитель нашего отъезда, блондин, появлявшийся то в форме, то в штатском, организовал все так безукоризненно, словно демонстрировал чудеса из Тысячи одной калифо-советской ночи.

О. М. прижимался к стеклу. «Это чудо!» – сказал он и снова прильнул к стеклу. На платформе стояли братья – Женя и Шура. О. М. пытался открыть окно, но конвоир остановил его: «Не положено». Снова появился блондин и проверил, все ли в порядке. Последняя инструкция кондукторше: держать дверь на эту площадку запертой всю дорогу, ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах не отпирать, уборной с этой стороны не пользоваться. На промежуточных станциях выходить разрешается только одному конвоиру, двум другим неотлучно пребывать в вагоне. Словом: «Во всем придерживаться инструкции». Пожелав счастливого пути, блондин удалился, но я видела, что он стоял на платформе до самого отхода поезда. Наверное, тоже по инструкции.

Вагон постепенно наполнялся. У входа в последнее купе стоял солдат. Он отгонял пассажиров, рвавшихся на свободные места, – бесплацкартный вагон был набит до отказа. О. М. не отходил от окна. По обе стороны находились люди, которые стремились друг к другу, но стекло не пропускало звуков. Слух был бессилен, а смысл жестов неясен. Между нами и тем миром

образовалась перегородка. Еще стеклянная, еще прозрачная, но уже непроницаемая. И поезд ушел на Свердловск.

# По ту сторону

В тот миг, когда я вошла в вагон и сквозь стекло увидела братьев, мир раскололся для меня на две половины.

Все, что было раньше, куда-то кануло, стало смутным воспоминанием, Зазеркальем, и передо мной раскрылось будущее, которое не хотело склеиваться с прошлым. Это не литература, а робкая попытка описать сдвиг сознания, испытанный, вероятно, множеством людей, преступивших роковую черту. Этот сдвиг выразился прежде всего в полном безразличии ко всему, что осталось позади, так как появилась абсолютная уверенность, что все мы вступили на колею бесповоротной гибели. Одному, может быть, отпущен еще час, другому – неделя или даже год, но конец один. Конец всему – близким, друзьям, Европе, матери… Я говорю именно о Европе, потому что в «новом», куда я попала, не существовало всего того европейского комплекса мыслей, чувств и представлений, которыми я до сих пор жила. Другие понятия, другие меры, другие счеты…

Еще недавно я была полна тревоги за близких, за родное мне дело, за все, на чем стояла. Сейчас исчезла тревога и пропал страх. Их заменило острейшее сознание обреченности, и оно породило безразличие, физически ощутимое, осязаемое, весом почти в пуд. И тут оказалось, что времени больше нет, а есть только сроки до осуществления этого бесповоротного, которое подстерегает всех нас с нашей Европой, с нашей горсточкой последних мыслей и чувств.

Когда же придет беспросветное? Где? Как это случится? Не все ли равно!.. Сопротивление бесполезно. Я потеряла чувство смерти, потому что вошла в область небытия. Перед лицом обреченности даже страха не бывает. Страх – это просвет, это воля к жизни, это самоутверждение. Это глубоко европейское чувство. Оно воспитано самоуважением, сознанием собственной ценности, своих прав, нужд, потребностей и желаний. Человек держится за свое и боится его потерять. Страх и надежда взаимосвязаны. Потеряв надежду, мы теряем и страх – не за что бояться.

Бык, когда его ведут на бойню, еще надеется вырваться и растоптать грязных живодеров. Ведь другие быки не сумели ему внушить, что таких удач не бывает и скот, идущий на бойню, никогда не возвращается в стадо. А в человеческом обществе происходит непрерывный обмен опытом. Вот почему я никогда не слышала, чтобы человек, которого ведут на казнь, сопротивлялся,

отбивался, защищался, ломал преграды и убегал. Люди даже выдумали особую отвагу для казнимого – запретил завязать себе глаза и умер без повязки. А я за быка, за его слепую ярость. За упрямое животное, которое не рассчитывает своих шансов на успех с благоразумием и тупостью людей и не знает грязного чувства безнадежности.

Потом я часто задумывалась, надо ли выть, когда тебя избивают и топчут сапогами. Не лучше ли застыть в дьявольской гордыне и ответить палачам презрительным молчанием? И я решила, что выть надо. В этом жалком вое, который иногда неизвестно откуда доносился в глухие, почти звуконепроницаемые камеры, сконцентрированы последние остатки человеческого достоинства и веры в жизнь. Этим воем человек оставляет след на земле и сообщает людям, как он жил и умер. Воем он отстаивает свое право на жизнь, посылает весточку на волю, требует помощи и сопротивления. Если ничего другого не осталось, надо выть. Молчание – настоящее преступление против рода человеческого.

Но в тот вечер под конвоем трех солдат, в темном вагоне, куда меня так комфортабельно доставили, я потеряла все, даже отчаяние. Есть момент, когда люди переходят через какую-то грань и застывают в удивлении: так вот, оказывается, где и с кем я живу! так вот на что способны те, с кем я живу! так вот куда я попал! Удивление так парализует нас, что мы теряем даже способность выть. Не это ли удивление, предшественник полного ступора и, следовательно, пропажи всех мер и норм, всех наших ценностей, охватывало людей, когда они, попав «внутрь», вдруг узнавали, где и с кем живут и каково подлинное лицо современности. Одними физическими мучениями и страхом не объяснить того, что происходило там с людьми – что они подписывали, что делали, в чем признавались, кого губили вместе с собой. Все это было возможно только «за гранью», только в безумии, когда кажется, что время остановилось, мир кончился, все рухнуло и никогда не вернется. Крушение всех представлений – это тоже конец мира.

Но со мной-то, в сущности, что случилось? Ведь если подойти разумно, что ужасного в переезде в маленький городишко на Каме, где нам как будто придется прожить три года? Чем Чердынь хуже Малого Ярославца, Струнина, Калинина, Муйнака, Джамбула, Ташкента, Ульяновска, Читы, Чебоксар, Вереи, Тарусы, Пскова, по которым меня, бездомную, носило после смерти О. М.? Было ли от чего сходить с ума и ждать конца мира?

Оказывается, да. Было. Сейчас, когда ко мне вернулось отчаяние и я обрела способность выть, я говорю это с полной

уверенностью и твердостью. Было и есть. И мне кажется, что прекрасная организация нашего отъезда – без сучка и задоринки – с заездом на Лубянку за чемоданом, бесплатными носильщиками и вежливым блондином-провожатым в штатском, который взял под козырек, желая нам счастливого пути, – так никто не уезжал в ссылку, кроме нас, – страшнее, и омерзительнее, и настойчивее твердит о конце мира, чем нары, тюрьмы, кандалы и хамская брань жандармов, палачей и убийц. Все это произошло в высшей степени красиво и гладко, без единого грубого слова, и мы вдвоем, под конвоем трех деревенских парней – конвоиров с инструкцией – мчались, увлекаемые неведомой и непреодолимой силой, куда-то на восток, на поселение, в ссылку и в изоляцию, где, как мне изволили сказать, кого-то велено сохранить; а сказали мне это в чистом и большом кабинете, где, может быть, сейчас допрашивают китайца, у которого, вероятно, тоже есть жена.

# Тезка

В вагоне я не сразу поняла, что с О. М. Он встретил меня с восторгом и мое появление воспринял, как чудо. Да оно и было чудом. О. М. сказал, что все время готовился к расстрелу: «Ведь у нас это случается и по меньшим поводам»… Речи как будто вполне разумные. Мы никогда не сомневались, что его убьют, если узнают про стихи. Винавер, человек очень осведомленный, с громадным опытом, хранитель бесконечного числа фактов и тайн, сказал мне через несколько месяцев, когда я, приехав из Воронежа, зашла к нему и по его просьбе прочла ему стихи про Сталина: «Чего вы хотите? С ним поступили очень милостиво: у нас и не за такое расстреливают»… Он тогда же предупредил меня, чтобы мы не возлагали лишних надежд на высочайшую милость: «Ее могут отобрать, как только уляжется шум»… «А так бывает?» – спросила я. Моя наивность поразила его: «Еще бы!»… И еще: «Только не напоминайте о себе – может, забудут»… Вот этот совет – тише воды, ниже травы – мы не выполнили. О. М., шумный человек, продолжал шуметь до самой гибели.

В вагоне О. М. сказал мне: милостивая высылка на три года только показывает, что расправа отложена до более удобного момента, то есть буквально то, что я услышала потом от Винавера. И я этой концепции нисколько не удивилась: все мы к 34 году уже кое-что знали. О. М. утверждал, что от гибели все равно не уйти, и был абсолютно прав – трезвая оценка положения приводила именно к такому выводу. И я только кивала головой, когда он шептал мне: «Не верь им!» Еще бы! Кто им поверит!

А ведь именно это было содержанием травматического психоза, которым О. М. заболел во внутренней тюрьме. Но на первых порах сумасшедшим показался мне не О. М., а старший конвойный Оська, тезка О. М. и адресата стихов, когда, отозвав меня в сторону и выпучив добрые бараньи глаза, он сказал: «Успокой его! Скажи, что у нас за песни не расстреливают»…

О том, что речь идет о стихах – по-народному они называются песнями, – Оська догадался из наших разговоров. По его мнению, у нас расстреливали шпионов, диверсантов и вредителей. Вот в буржуазных странах, говорил Оська, уцелеть невозможно: там за милую душу могут отправить на тот свет, если сочинишь какой неподходящий стишок…

Все мы, в разной степени, конечно, верили тому, чем нас пичкали: особенно доверчива молодежь – студенты, конвойные, писатели, солдаты… «Самые справедливые выборы, – сказал мне в 37 году демобилизованный солдат, – нам предлагают, а мы

выбираем»… О. М., как писатель, тоже попался на удочку и оказался чересчур доверчивым: «Сначала так выбирают, потом постепенно приучатся и будут обыкновенные выборы», – сказал он, покидая избирательный участок и поражаясь нововведению – первым и последним выборам, в которых участвовал. Даже мы, а опыта у нас было уже достаточно, не могли до конца оценить всех преобразований. Чего же требовать от молодежи – солдат и студентов?.. А соседка, носившая мне молоко перед войной в Калинине, раз вздохнула: «Нам хоть когда подкинут селедки там, или сахару, или керосинчику… А как в капиталистических странах? Там, верно, хоть пропадай!» Студенты до сих пор верят, что всеобщее обучение возможно только при социализме, а «там» народ погряз в неграмотности и темноте… За столом у той же Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, возник горячий спор: отказывают ли в больших городах, вроде Лондона или Парижа, прописывать демобилизованных летчиков-инвалидов. Такой случай только что произошел в Ташкенте (1959), и Лариса утверждала, что летчика, особенно испытателя, прописать необходимо. Я попробовала объяснить, что «там» вообще никакой прописки нет, но мне никто не поверил: «там» ведь куда хуже, чем у нас, значит, с пропиской строгости совсем неимоверные… Да и кто станет жить без прописки? Враз попадешься!.. Если все мы верили своим воспитателям и даже воспитатели, запутавшись, начали верить самим себе, что же удивительного, что им поверил старший конвоир Оська?

В дорогу я захватила томик Пушкина. Оська так прельстился рассказом старого цыгана, что всю дорогу читал его вслух своим равнодушным товарищам. Это их О. М. назвал «племенем пушкиноведов», «молодыми любителями белозубых стишков», которые «грамотеют» в шинелях и с наганами… «Вот как римские цари обижают стариков, – говорил товарищам Оська. – Это ж за песни его так сослали»… Описание Севера подействовало неотразимо: северная ссылка, конечно, вещь жестокая, и Оська решил меня успокоить: нам не грозит такая жестокая ссылка, как римскому изгнаннику. Провожая меня в уборную – по инструкции! – Оська умудрился шепнуть, что наша цель Чердынь – там климат хороший – и первая пересадка в Свердловске. Когда выяснилось, что следователь уже назвал нам место ссылки, Оська был потрясен: ему запретили говорить, куда мы едем, и велели хранить маршрут в тайне. И вообще такие вещи полагается знать только конвою… Полюбив нас, Оська нарушил инструкцию и назвал место назначения… Но, оказывается, напрасно – я уже это знала. Но я утешила старшого – если бы не его бесхитростные слова, подтвердившие сообщение следователя, я могла бы

вообразить Бог знает что – такую из всего делали тайну.

Это была не единственная поблажка, на которую решился Оська. На многочисленных пересадках он заставлял конвоиров таскать наши вещи, а когда мы пересели в Соликамске на пароход, он шепнул, чтобы я взяла за свой счет каюту: «Пусть твой отдохнет»… Конвоиров он к нам не пускал, и они болтались на палубе. Я спросила, зачем он нарушает инструкцию, но Оська только махнул рукой. До сих пор он провожал уголовников и «вредителей» – с ними надо держать ухо востро. «А твой – что! Его и стеречь не стоит!» Но до еды, как я ни пробовала угощать конвоиров, никто не дотронулся – запрещено. Лишь сдав О. М. в Чердыни коменданту, конвоиры сказали: «Теперь мы свободные – угощай»…

В своей жизни я соприкоснулась еще с двумя людьми Оськиной профессии. Один только скрежетал зубами и твердил, что мы ничего не знаем, не понимаем, не подозреваем… Он мечтал о демобилизации, просто бредил ею, и я рада была узнать, что он вырвался на волю. «Даже и совхоз вроде рая», – сказал он при встрече… Другой – низколобое, звероподобное существо – упустил однажды преступника и потерял работу, которая сулила столько возможностей и явно пришлась ему по вкусу. Годами, в трезвом и пьяном виде, он проклинал «контру», «немца», «вредителя», «фашиста», «врага», сгубившего его карьеру. Жил он мечтой – встретить и казнить злодея. Он затаил обиду и против советской власти: зачем татькаются с такими преступниками? Не в лагерь их посылать, а в расход – и он выразительно прищелкивал пальцами…

…Плохо бы нам пришлось, если б инструкцию о перевозке заключенного Мандельштама вручили не Оське, а этому человеку.

# Шоколадка

Первая пересадка была в Свердловске. Там многочасовое ожидание на вокзале, причем конвойные не отходили не только от О. М., но и от меня. Я хотела дать телеграмму – нельзя! Купить хлеба – нельзя! Подойти к газетному ларьку – нельзя!.. На промежуточных станциях тоже не давали выйти – не положено! О. М. сразу заметил это: «Значит, и ты попалась»… Я пробовала объяснить конвойным, что я не выслана, а еду добровольно, провожаю… «Нельзя. Инструкция»…

Свердловск это многочасовое – с утра до позднего вечера – сидение на деревянной вокзальной скамейке с двумя часовыми при оружии. При малейшем нашем движении – нельзя было даже приподняться, чтобы размять ноги, не разрешалось шевельнуться или переменить положение – часовые тотчас настораживались и хватались за пистолеты… Нас посадили почему-то прямо против входа, лицом к нему, и мы невольно смотрели на непрерывный поток входящих и выходящих людей. Первый их взгляд был обращен на нас, но каждый из них тотчас отворачивался. Даже мальчишки, и те не удостаивали нас вниманием… Есть тоже не полагалось, потому что еда находилась в чемодане, а до вещей дотрагиваться – не положено. До воды не дотянуться… Здесь Оська не смел нарушать инструкцию: Свердловск – станция серьезная…

Вечером мы пересели на узкоколейку Свердловск – Соликамск. Погрузились мы на запасных путях в сидячий вагон, и нас отделяли от прочих пассажиров несколько оставленных пустыми скамеек. Два солдата всю ночь простояли около нас, третий – у последней пустой скамейки, откуда он отгонял упрямых пассажиров. В Свердловске мы сидели рядом, а в вагоне друг против друга у окна неосвещенного вагона. Ночи уже были белые, и перед нами мелькали уральские леса, станции и холмы. Дорога была проложена в густом лесу, и О. М. не отрываясь смотрел в окно всю ночь напролет. Это была третья или четвертая бессонная ночь.

Мы ехали в переполненных вагонах и на пароходах, сидели на шумных, кишащих народом вокзалах, но нигде никто не обратил внимания на такое экзотическое зрелище, как двое разнополых людей под охраной трех вооруженных солдат. Никто даже не обернулся, чтобы посмотреть на нас. Привыкли они, что ли, на Урале к таким зрелищам или просто боялись заразы? Кто их знает… Но скорее всего это было проявлением особого советского этикета, который твердо соблюдался нашим народом в

течение многих десятилетий: раз начальство ссылает, значит – так и надо, а моя хата с краю… Равнодушие толпы ранило и мучило О. М: «Раньше они милостыню арестантам давали, а теперь даже не поглядят»… Он с ужасом шептал мне на ухо, что можно на глазах такой толпы сделать с арестантом что угодно – пристрелить, убить, растерзать – и никто не вмешается… Зрители только повернутся спиной, чтобы избавиться от неприятного зрелища… Всю дорогу я пыталась перехватить хоть бы чей-нибудь взгляд, но мне этого не удалось…

Может, только Урал был таким твердокаменным? В 38 году я жила в Струнине, в стоверстной зоне под Москвой; это небольшой текстильный поселок по Ярославской дороге, где в те годы еженощно проходили эшелоны с арестантами. Соседи, забегая к моей хозяйке, только об этих эшелонах и говорили. Их оскорбляло, что им запрещалось жалеть арестантов и они не могут подать им хлеба. Однажды моя хозяйка умудрилась бросить в разбитое зарешеченное окно теплушки шоколадку – она несла ее дочке!.. Редкое угощение в нищенской рабочей семье… Солдат с руганью отогнал ее прикладом, но она весь день была счастлива – все же удалось хоть что-то сделать! Кое-кто из соседок, правда, вздохнул. «Лучше с ними не связывайся… Со свету сживут… по завкомам затаскают…» Но моя хозяйка «сидела дома», то есть нигде не служила, и поэтому завкома не боялась.

Поймет ли кто-нибудь из будущих поколений, чем была эта шоколадка с детской картинкой в душном каторжном вагоне-телятнике 38 года? Люди, для которых остановилось время, а пространство стало камерой, карцером, будкой, где можно было только стоять, вагоном, набитым до отказа человеческим полумертвым грузом, отвергнутым, забытым, вычеркнутым из списка живых, потерявшим имена и прозвища, занумерованным и заштемпелеванным, переправлявшимся по накладным в черное небытие лагерей, – вот эти-то люди вдруг получили первую за многие месяцы весточку из другого, для них запретного мира: дешевую детскую шоколадку, говорящую о том, что их еще не забыли и еще живы люди по ту сторону тюрьмы… По дороге в Чердынь я утешала себя мыслью, что суровые уральцы просто боятся глядеть на нас и что каждый встретившийся нам человек, вернувшись домой, расскажет шепотом отцу, жене или матери о двух людях – мужчине и женщине, – которых трое солдат из внешней охраны перегоняют куда-то на север.

# Прыжок

Я поняла, что О. М. болен, в первую же ночь, когда заметила, что он не спит, а сидит, скрестив ноги, на скамейке и напряженно во что-то вслушивается. «Ты слышишь?» – спрашивал он меня, когда наши взгляды встречались. Я прислушивалась – стук колес и храп пассажиров. «Слух-то у тебя негодный… Ты никогда ничего не слышишь…» У него действительно был чрезвычайно изощренный слух, и он улавливал малейшие шорохи, которые до меня не доходили, но на этот раз дело было не в слухе.

Всю дорогу О. М. напряженно вслушивался и по временам, вздрогнув, сообщал мне, что катастрофа приближается, что надо быть начеку, чтобы не попасться врасплох и успеть… Я поняла, что он не только ждет конечной расправы – в ней и я не сомневалась, но думает, что она произойдет с минуты на минуту, сейчас, здесь, в пути… «В дороге? – спрашивала я. – Ты, верно, про двадцать шесть комиссаров вспомнил…» «Отчего ж нет? – отвечал О. М. – Ты думаешь, что наши на это неспособны?» Мы оба прекрасно знали, что наши способны на что угодно… Но в своем безумии О. М. надеялся «предупредить смерть», бежать, ускользнуть и погибнуть, но не от рук тех, кто расстреливал. Странно, что все мы, безумные и нормальные, никогда не расстаемся с надеждой: самоубийство – это тот ресурс, который мы держим про запас и почему-то верим, что никогда не поздно к нему прибегнуть. А между тем столько людей собирались не даваться живыми в руки тайной полиции, но в последнюю минуту попались врасплох…

Мысль об этом последнем исходе всю нашу жизнь утешала и успокаивала меня, и я нередко – в разные невыносимые периоды нашей жизни – предлагала О. М. вместе покончить с собой. У О. М. мои слова всегда вызывали резкий отпор. Основной его довод: «Откуда ты знаешь, что будет потом… Жизнь – это дар, от которого никто не смеет отказываться…» И, наконец, последний и наиболее убедительный для меня довод: «Почему ты вбила себе в голову, что должна быть счастливой?» О. М., человек абсолютно жизнерадостный, никогда не искал несчастья, но и не делал никакой ставки на так называемое счастье. Для него таких категорий не существовало.

Впрочем, чаще всего он отшучивался: «Покончить с собой? Невозможно! Что скажет Авербах? Ведь это был бы положительный литературный факт!» И еще «Не могу жить с профессиональной самоубийцей»… Впервые мысль о самоубийстве пришла к нему во время болезни по дороге в

Чердынь – как способ улизнуть от расстрела, который казался ему неизбежным. И тут я ему сказала: «Ну и хорошо, что расстреляют, – избавят от самоубийства»… А он, уже больной, в бреду, одержимый одной властной идеей, вдруг рассмеялся: «А ты опять за свое»… С тех пор жизнь складывалась так, что эта тема возвращалась неоднократно, но О. М. говорил: «Погоди… Еще не сейчас… Посмотрим…»

А в 37 году он даже советовался с Анной Андреевной, но она подвела: «Знаете, что они сделают? Начнут еще больше беречь писателей и даже дадут дачу какому-нибудь Леонову. Зачем это вам нужно?»… Если б он тогда решился на этот шаг, это избавило бы его от второго ареста и бесконечного пути в телячьем вагоне во Владивосток – в лагерь, к ужасу и смерти, а меня – от посмертного существования. Меня всегда поражает, как трудно людям переступить этот роковой порог. В христианском запрете самоубийства есть нечто глубоко соответствующее природе человека – ведь он не идет на этот шаг, хотя жизнь бывает гораздо страшнее смерти, как нам показала наша эпоха. А меня, когда я осталась одна, все поддерживала фраза О. М.: «Почему ты думаешь, что должна быть счастливой?», да еще слова протопопа Аввакума: «Сколько нам еще идти, протопоп?» – спросила изнемогающая жена. «До самой могилы, попадья», – ответил муж, и она встала и пошла дальше.

Если мои записки сохранятся, люди, читая их, могут подумать, что их писал больной человек, ипохондрик… Они ведь забудут все и не будут верить ни одному свидетельскому показанию. Сколько людей за рубежом до сих пор не верят нам. А ведь они – современники: нас разделяет только пространство, но не время. Еще недавно я прочла чье-то разумное рассуждение: «Говорят, что там боялись ВСЕ. Не может быть, чтобы все боялись: одни боялись, другие нет»… Разумно и логично, но наша жизнь была далеко не так логична. И я вовсе не была «профессиональной самоубийцей», как меня дразнил О. М. Об этом думали многие. Недаром вершиной советской драматургии была пьеса, называвшаяся «Самоубийца»…

Итак, в вагоне, под охраной трех солдат, О. М. впервые подумал о самоубийстве, и это было для него болезнью: этот человек всегда замечал тончайшие детали происходящего и обладал острейшей наблюдательностью. «Внимание, – записал он где-то в черновиках, – доблесть лирического поэта, растрепанность и рассеянность – увертки лирической лени». И вот по дороге в Чердынь эта хищная наблюдательность и изощренный слух обратились против него, подбрасывая горючее его болезни. В дикой вокзальной суете и в вагонах он непрерывно регистрировал

всякие мелочи и, относя все к себе – не эгоцентризм ли является первым признаком душевных заболеваний? – делал из всего один вывод: роковой момент приближается.

В Соликамске нас посадили на грузовик, чтобы с вокзала отвезти на пристань. Ехали мы лесной просекой.

Грузовик был переполнен рабочими. Один из них – бородатый, в буро-красной рубахе, с топором в руке – своим видом напугал О. М. «Казнь-то будет какая-то петровская», – шепнул он мне. А на пароходе, в отдельной каюте, полученной благодаря Оське, О. М. уже смеялся над своими страхами и ясно сознавал, что пугается тех, кто совсем не страшен – вроде соликамских мужиков. И сетовал, что ему дадут успокоиться, забыться и «зацапают», когда он этого не будет ждать. Так и случилось, только через четыре года.

В безумии О. М. понимал, что его ждет, но, выздоровев, потерял чувство реальности и поверил в собственную безопасность. В той жизни, которую мы прожили, люди со здоровой психикой невольно закрывали глаза на действительность, чтобы не принять ее за бред. Закрывать глаза трудно, это требует больших усилий. Не видеть, что происходит вокруг тебя, отнюдь не простой пассивный акт. Советские люди достигли высокой степени психической слепоты, и это разлагающе действовало на всю их душевную структуру. Сейчас поколение добровольных слепцов сходит на нет, и причина этого самая примитивная – возраст. Но что передали они по наследству своим потомкам?

Чердынь обрадовала нас пейзажем и общим допетровским обликом. Нас привезли в Чека и сдали вместе с документами коменданту. Оська объяснил, что он привез особую птицу, которую ведено обязательно сохранить. Вероятно, он очень старался внушить это коменданту, человеку с типажем не внешней, а внутренней охраны, из тех, кто расстреливал и пытал и за жестокость, то есть как свидетель неупоминаемых вещей, был отправлен подальше. Я почувствовала, что Оська приложил какие-то старания, по любопытно-злобным взглядам коменданта и по тому, как легко я заставила его помочь мне внедриться в больницу. Обычно, как мне потом сказали чердынские ссыльные, он никогда не «потворствовал» приезжающим под конвоем… В больнице нам отвели огромную пустую палату, где поставили перпендикулярно к стене две скрипучие койки.

Я действительно не спала пять ночей и сторожила безумного изгоя. А в больнице, истомившись бесконечной белой ночью, я под утро забылась каким-то тревожным, как будто прозрачным сном, сквозь который видела, как О. М., скрестив ноги и

расстегнув пиджак, сидит, прислушиваясь к тишине, на шаткой койке.

Вдруг – я почувствовала это сквозь сон – все сместилось: он вдруг очутился в окне, а я рядом с ним. Он спустил ноги наружу, и я успела заметить, что весь он спускается вниз. Подоконник был высокий. Отчаянно вытянув руки, я уцепилась за плечи пиджака. Он вывернулся из рукавов и рухнул вниз, и я услышала шум падения – что-то шлепнулось – и крик… Пиджак остался у меня в руках. С воплем побежала я по больничному коридору, вниз по лестнице и на улицу… За мной бросились санитарки. Мы нашли О. М. на куче земли, распаханной под клумбу. Он лежал, сжавшись в комочек. Его с руганью потащили наверх. Ругали главным образом меня за то, что я недоглядела.

Прибежала встрепанная и очень злая врачиха и быстро его осмотрела. Сказала, что он вывихнул правое плечо. Остальное все цело. Это был благополучный исход – он выбросился из окна второго этажа старой земской больницы, который по высоте равен по крайней мере трем современным. Откуда-то взялось множество санитаров и костоправов, Бог их знает, кто они были. О. М. лежал на полу совершенно пустой комнаты, называвшейся операционной, отбиваясь от державших его мужчин, а врачиха вправляла ему плечо под громкую ругань, заменявшую отсутствовавший в больнице наркоз. Рентгеновский аппарат не работал, так как в период белых ночей движок экономии ради останавливали, а монтер уходил в очередной отпуск. Вот почему врачиха не заметила перелома плечевой кости (без смещения). Перелом обнаружился гораздо позже – в Воронеже, где пришлось обратиться к хирургу, потому что рука не работала. О. М. долго лечился и стал частично владеть рукой, но поднять ее, чтобы повесить, например, пальто, не мог. Это он делал левой рукой.

После ночного прыжка наступило успокоение. Так и сказано в стихах: «Прыжок – и я в уме».

# Чердынь

Небритый, заросший библейской бородой, две недели прожил О. М. в Чердыни, внимательно приглядываясь ко всему сосредоточенным и почему-то очень спокойным взглядом. Мне кажется, что у него никогда не было такого внимательного и спокойного взгляда, как в этот период болезни. Он не испугался таких же бородатых, как он, мужиков, которые бродили по коридорам больницы; помог, как он мне тогда же объяснил, соликамский опыт: мужики это мужики, и от них ничего худого ждать не надо… «Те» выглядят совершенно иначе… У мужиков гноились запущенные язвы, и их лечили такими же цирюльничьими методами, как О. М. Они вели между собой неторопливые разговоры и почему-то всегда усмехались. Много есть непонятного в человеческом поведении – вот и эту усмешку не понять никогда. Проще объяснить язвы – переселение в чудовищных условиях, непосильные тяжести, ушибы… Худенькая женщина с лицом шестидесятницы, ссыльная, работавшая в больнице кастеляншей, – она считала, что ей удивительно повезло с работой, – говорила, что готова пожертвовать жизнью ради этих мужиков, и по этой реплике О. М. определил, кто она[11].

Как называли там этих бородатых мужиков? Переселенными? Перемещенными? Не помню, но раскулаченными их называть запрещалось. Мы не любим называть вещи собственными именами. Бородатые люди с гноящимися язвами – они давно лежат в могилах. Мы никогда и нигде о них не упоминаем. Боимся ли мы коснуться этих язв?

В тот период не только на каторге, но и в дальних ссылках сохранились товарищество и взаимопомощь. На воле с этим давно покончили, но Чердынь жила традициями, и кастелянша приняла в нас горячее участие. Она настаивала, чтобы я купила на зиму пимы – их потом не достанешь – и занялась огородом – иначе не прокормиться. Участок для огорода ссыльным отводили, но комнату приходилось нанимать. Как и всюду, в Чердыни был жилищный кризис, и ссыльные ютились по углам. Мы заходили с кастеляншей к коротконогому человечку, который сумел недурно устроиться – отгородил плюшевыми занавесками угол в чьем-то доме, сам сделал полки и сверху донизу уставил их сочинениями Маркса и Энгельса. За этими занавесками он жил вместе с женой, и оба ходили каждые три дня отмечаться к коменданту. Это приходилось делать и О. М., хоть он и попал в больницу. Ему выдали бумажку, которая «видом на жительство» служить не

могла, и на ней комендант каждые три дня ставил свою печать. Чердынских ссыльных беспокоило, как бы комендант не вздумал загнать О. М. в район. В Чердыни, уездном центре, старались никого не оставлять: «Они считают, что нас здесь и так слишком много»… «А он имеет право?» – спросила я, объяснив, что назначение О. М. просто «Чердынь», а не район… «Вы у него в руках. Куда захочет, туда пошлет. Только и делает, что гонит из города…» В начале весны здесь было значительно больше политических, но их всех выселили в район, где никакой работы, кроме физической, получить нельзя. «А там были совсем больные товарищи», – сказала кастелянша. В обстановке каторги и ссылки слово «товарищ» имело особое значение, о котором на воле уже давно успели позабыть.

Муж кастелянши постоянно спорил с коротконогим марксистом, жившим за плюшевой занавеской. Это были остатки разбитых партий, их периферия, а споры начались еще в царском подполье. Жены занимались больше хозяйством и работой, чем спорами, и явно скучали по детям. Обе пары оставили детей у родственников. «Как-то им там живется!» – вздыхали матери, но к себе брать детей не решались: «Мы ведь обреченные, пусть хоть они живут»… Собственное будущее представлялось им совершенно ясно: при случае их тут же прикончат или сгноят в лагерях. «Может, смягчится», – сказали мы как-то марксисту. «Что вы! – ответил он. – Только сейчас начинает разгораться». И я не поверила. Совершенно естественно, думала я, что они так мрачно смотрят на будущее: в их положении оптимизма не наберешься… Но ведь не может же вечно так продолжаться, как сейчас… За мою долгую жизнь мне много раз казалось, что мы дошли до предела и скоро наступит то, что я называла смягчением… Расставаться с иллюзиями никому не хочется.

Чердынские ссыльные успокаивали меня насчет здоровья О. М: «Оттуда все выходят в таком виде, а потом ничего, поправляются»… «Почему в таком виде?» – спрашивала я. Они не знали, как объяснить. «А раньше тоже было так?» Они ведь прошли царские тюрьмы и могли мне раскрыть, в чем дело… Но они только говорили, что раньше аресты не так действовали на психику. Беспокоиться, однако, не надо: «это» проходит бесследно… Длится болезнь от двух до трех месяцев. Главное – внутренняя дисциплина: нельзя заглядывать в будущее – оно ничего хорошего не сулит. Надо пользоваться Чердынью как последней передышкой. Ничего не ждать и быть ко всему готовым. В этом секрет равновесия.

Они умоляли меня примириться с судьбой и не тратить последних денег на телеграммы. Все ссыльные, пораженные той

фантастикой, которая с ними случилась «внутри», начинают с того, что забрасывают правительство телеграммами с протестами. Ответа не получил еще никто. Опыт у моих новых знакомых был огромный – их таскали по ссылкам и лагерям уже больше десяти лет, сначала врозь, а потом мужьям и женам удалось соединиться. Я вспомнила старика Г.[12], провинциального врача. Я встретила его в самом начале двадцатых годов в Москве. Он приехал «хлопотать» и ничего не добился. «Никого не осталось, – сказал он мне. – Они сослали всех, даже Милю, даже Нолю…» Он перечислял мне сыновей и подростков-внуков: «Так никогда не бывало»… Старик знал, что в старое время, когда старшего сына отправляли в ссылку, а это случалось весьма часто, к нему тут же привозили внуков. Арест сына не затрагивал никого из членов семьи – все оставались на воле и жили, где кому вздумается. Теперь старик пытался отхлопотать хоть кого-нибудь из несовершеннолетних, но у него ничего не вышло.

Я рассказала чердынским ссыльным про формулу «изолировать, но сохранить». Что она сулит, эта формула? Может, комендант не посмеет выбросить О. М. в район – в еще более тяжелые условия? Может, удастся добиться облегчения участи, лечения? Они сомневались… В их среде многие были лично знакомы с теми, кто оказался облеченным властью, включая Сталина. Им приходилось сталкиваться с ними и в царском подполье, и в ссылках. Теперь же, когда их ссылали, они часто слышали заверения, что их только «изолируют», но постараются «создать им условия», чтобы они могли жить и работать… Обещания, однако, никогда не выполнялись, а все заявления и письма, которыми они забрасывали правительство, канули в бездну. Изоляция сулила не «сохранение», а самое обыкновенное уничтожение втихаря, без свидетелей, в «удобную минуту»… Единственное, на что можно надеяться, это на собственную выдержку и дисциплину. Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства. Сохранить его трудно, для этого надо собрать все силы. Этому учит опыт и трезвый анализ положения… Так нас поучали люди, которые приобрели опыт раньше нас. А нам казалось, что они не совсем объективны в своем пессимизме – такая уж у них судьба, что они невольно видят все в чересчур темном свете. Три года ссылки в Чердынь – неужели это конец? Все наладится, все смягчится, жизнь возьмет свое…

Человек всегда цепляется за малейший проблеск надежды, расстаться с иллюзиями не хочет никто, посмотреть прямо в лицо жизни очень трудно. Трезвый анализ и выводы требуют сверхчеловеческого усилия. Есть добровольные слепцы, но среди

тех, кто считает себя зрячими, много ли осталось людей, которые не только смотрят, но и видят? Вернее, не искажают слегка того, что видят, чтобы сохранить иллюзии и надежду… Может, именно этим объясняется наша живучесть?

У моих чердынских знакомых осталась одна цель – сохранить человеческое достоинство. Ради этого они отказались от всякой деятельности, добровольно обрекли себя на полную изоляцию с перспективой близкой гибели. Несомненно, что это род пассивного сопротивления, но по сравнению с ним то, что известно под этим названием и применялось в Индии, является активнейшей политической борьбой… В известном смысле они приняли путь самоусовершенствования, который им когда-то предложили веховцы, а они с негодованием отвергли. Впрочем, выбора у них не было. Единственное, что им оставалось, это вой, который все равно никто бы не услышал.

Мне удалось совершенно случайно узнать про судьбу чердынской кастелянши. Она попала на Колыму и рассказывала одной сосланной туда ленинградке про болезнь О. М. После прыжка из окна он продолжал ждать расстрела, но уже не пытался спастись бегством. Приход убийц он назначал на какой-нибудь определенный час и ждал их в страхе и смятении. В палате, где мы жили, висели большие стенные часы. Однажды О. М. признался, что ждет расправы в шесть вечера, и кастелянша посоветовала мне потихоньку перевести часы. Мы это с ней сделали, и О. М. не пережил припадка возбуждения и страха при приближении рокового часа. «Смотри, – сказала я. – Ты говорил о шести, а теперь уже четверть восьмого»… Как это ни странно, обман удался и пароксизмы, связанные с определенными часами, прекратились.

Кастелянша очень точно запомнила этот случай и рассказала о нем соседке по лагерному бараку, литераторше из Ленинграда Е.М. Тагер. Промаявшись около двадцати лет по лагерям, Тагер получила после Двадцатого съезда реабилитацию и вернулась в родной город. Ей дали квартиру в том же доме, что Анне Андреевне, и там мы с ней встретились. И я, тоже случайно уцелевшая и сохранившая память, опознала в той, что рассказывала про случай с часами, чердынскую кастеляншу. Случайность цеплялась за случайность для того, чтобы я могла записать на этом листочке – дойдет ли он когда-нибудь к людям? – о том, что худшие ожидания чердынских ссыльных оказались правильными. Моя безымянная чердынская сестра умерла на Колыме от острого истощения. Но я никак не могу узнать про участь ее детей, от которых она отказалась, чтобы «хоть они жили»… Миновала ли их та судьба, которая обычно

доставалась детям ссыльных и каторжных? Не пришлось ли им тоже расплачиваться тюрьмами и лагерями за своих родителей, пожелавших сохранить человеческое достоинство? И, наконец, сохранили ли дети то человеческое достоинство, за которое так дорого заплатили их родители?

Этого я не знаю и никогда не узнаю.

# Галлюцинации

Мы ходили по Чердыни, разговаривали с людьми, ночевали в больнице, и я уже не боялась открытого окна. Только рука на перевязи напоминала мне о первом утре – или это была белая ночь? – и о том, как у меня в руках остался пустой пиджак. Когда в 38 году пришли чекисты и снова увели О. М., у меня опять в руках остался пустой пиджак – в спешке он забыл его взять.

За несколько дней в Чердыни О. М. очень успокоился, острое состояние прошло, но болезнь все же продолжалась. По-прежнему он ждал расправы, но произошел психический поворот, вернувший его к некоторой реальности. Уже в Чердыни, после случая с часами, он мне сказал, что от расправы, очевидно, не уклониться, все равно ничего не успеешь сделать, даже покончить с собою не так просто – «иначе никто не дался бы им в лапы живым»…

Возбуждение прошло, но слуховые галлюцинации остались. Они ощущались не как внутренний голос, а как нечто насильственное и совершенно чуждое. Уже в Чердыни О. М. говорил о них почти объективно, пробовал разобраться и понять, в чем дело. Он объяснял, что голоса, которые он слышит, не могут идти изнутри, а только извне: не его словарь. «Этого я не мог даже мысленно произнести» – таков был его довод в пользу реальности этих голосов. В каком-то смысле способность к анализу мешала ему бороться с галлюцинациями. Он не мог поверить в их внутреннее происхождение, считая, что галлюцинация должна каким-то образом отражать внутренний мир больного.

«Может, вытесненное?» – допытывалась я. Он твердо настаивал, что «вытесненное» у него совсем другое, а это постороннее. «Страхи – и то совсем не те…» О. М. так сильно раскрывался в стихах, что в нем оставалось, по крайней мере для меня, очень мало темных мест – я говорю именно о «темных местах», потому что по-своему он был сдержанным человеком и существовали темы, которых он почти не касался. Например, он не раскрывал ход стиховых ассоциаций, стихов вообще не комментировал, скупо высказывался о самых дорогих для него вещах и людях, о матери, например, и о Пушкине… Иначе говоря, у него была область, касаться которой ему казалось почти святотатством, и именно в этом смысле я говорю о сдержанности. Но назвать это «задержками» нельзя, это не был человек задержанных мыслей, чувств и ощущений, скорее, наоборот… Да стоит ли вообще думать о «задержках», когда болезнь вызывается

слишком сильной реакцией на действительность?

«Чей же это язык? Чьи слова ты слышишь?» Точно определить он не мог. Быть может, тех, кто водил его по коридорам внутренней тюрьмы на ночные допросы. Они иногда, перемигиваясь, щелкали пальцами – символический жест, означавший «в расход», и обменивались отдельными устрашающими репликами. Ведь все их поведение тоже служило для застращивания заключенных, они, так сказать, сотрудничали со следователями, и это знали все, побывавшие во внутренней тюрьме. О. М. часто припоминал еще голос человека, выпускавшего его из «железных ворот ГПУ». О. М. называл его комендантом, но, может, это был просто дежурный из охраны. Самого выпускавшего он не видел, потому что находился в «воронке», но слышал, как некто проверяет документы прежде, чем выпустить из ворот машину, и голос вместе со всем обрядом произвел на него большое впечатление. Но главное – это внушительные речи следователя с его «преступлением и наказанием»…

«Голоса, – сказал он как-то мне, – это как будто «сборная цитата» из всего, что я слышал…» («Сборная цитата» – выражение Андрея Белого: каждого автора, говорил Беглый, он представляет себе не в виде разрозненных и точных цитат, а в виде некой обобщенной «сборной цитаты», представляющей как бы квинтэссенцию его мыслей и слов…)

Чтобы проверить, как О. М. ориентируется в действительности, я спрашивала, не слышит ли он голосов конвойных, Оськи, например, или мужиков, с которыми мы находились в больнице. О. М. возмутился: конвойные – простые деревенские парни, несущие страшную службу – «как кур во щи попались», а раскулаченных он принимал именно за то, чем они были. «Обыкновенные люди этого говорить и думать не могут…» «Обыкновенные» люди и те, с кем он столкнулся внутри, представлялись ему как бы двумя полюсами. Не раз и в Чердыни, и позже О. М. говорил: «Ты себе не представляешь, как они там подобрались»… При этом он отличал внешнюю охрану и некоторых начальников, с которыми мы сталкивались в Воронеже, от специфического аппарата, работавшего по ночам. Первые были подобраны по общекрасноармейскому типу, а те «внутри» – совсем особые: «чтобы там работать, нужно иметь к этому призвание – обыкновенный человек этого не выдержит»… В Чердыни он относил к людям «внутренней профессии» одного только коменданта. Это совпадало с оценкой ссыльных. Они предостерегали – с комендантом вести себя поосторожнее и поменьше попадаться ему на глаза: «Бог знает, что ему взбредет в

голову». Это был человек гражданской войны. «Он всегда прислушивается к своему классовому чутью, – с ужасом сказал мне коротконогий марксист, – а это к добру не приводит – ведь никогда не угадаешь, на что оно его толкнет». Бедняга находился в полной власти этого коменданта, переведенного на окраину за самоуправство. Инстинктивный ужас О. М. перед этим человеком был вполне обоснован.

О. М. мерещились грубые мужские голоса, запугивающие, квалифицирующие его преступление, перечисляющие всевозможные кары, говорящие на языке наших газет в дни сталинских разоблачительных кампаний, ругающие его отборной бранью, упрекающие его в том, что он сгубил столько людей, прочитав им свои стихи. Голос перечислял имена этих людей как подсудимых на будущем процессе и взывал к совести того, кто их погубил. Как это ни странно, но слово «совесть», совершенно выпавшее у нас из обихода – оно не употреблялось ни в газетах, ни в книгах, ни в школе, потому что его функция выполнялась сначала «классовым чувством», а потом «пользой государства», – сохранилось и работало «внутри». Там постоянно угрожали подследственным «муками совести». Борис Сергеевич Кузин рассказывал, что, когда его «таскали», требуя, чтобы он стал стукачом, его запугивали арестом, помехами в работе, слухами, которые грозились распустить среди друзей и сослуживцев, будто он является тайным агентом, но также муками совести за те бедствия, которые он навлечет на свою семью, если отвергнет предложения органов… Это слово, появившееся в галлюцинациях в специфическом контексте, прямо указывало, что их источник в ночных допросах. И «процесса» вместе со списком обвиняемых в заговоре против Сталина О. М. тоже не выдумал и не почерпнул в темных сферах своего сознания – этой темы при мне касался следователь, объясняя, что не «поднимает дела» только по приказу свыше, а за этим последовал риторический вопрос: как же объяснить такое поведение людей, как не заговором… Наша реальность превосходит самое смелое и самое больное воображение.

Где же проходит в такие эпохи, как наша, грань между психической нормой и болезнью? И я, и О. М. думали об одном и том же, но у него все эти мысли вызывали чувственную окраску – он не только думал, но и представлял себе, как все может обернуться. Среди ночи он будил меня и говорил, что Анна Андреевна арестована и ее ведут сейчас на допрос. «Почему ты так думаешь?» – «Мне так кажется»… Гуляя по Чердыни, он искал труп Анны Андреевны в оврагах… Конечно, это безумие… А я, очнувшись от летаргии, охватившей меня в вагоне, не спала

ночей и гадала, кого из наших близких и друзей уже забрали и что им предъявляют – хорошо, если недонесение, но ведь можно пришить что угодно… Следователю, обещавшему «не поднимать дела», верить было бы настоящим безумием и даже подлостью. Вот Адалис, например: я отшатнулась от нее, узнав, как ее вызывали по делу одного из ее мужей – она поверила следователю и тут же отреклась от ни в чем не повинного человека…

Была ли я больна, когда бессонными ночами воображала допросы и истязания – пока что психологические и, во всяком случае, такие, что не оставляют никаких следов на теле, – всех своих знакомых? Нет, болезнью тут и не пахло – всякий нормальный человек на моем месте мучился бы именно такими мыслями. Кто из нас не воображал себя в кабинете следователя, кто из нас по самым дурацким поводам не придумывал ответов на те вопросы, которые ему зададут? Недаром у Анны Андреевны появились строчки: «Там за проволокой колючей, В самом сердце тайги дремучей, Тень мою ведут на допрос»…

О. М. был, конечно, человеком повышенной чувствительности и возбудимости. Травмам он поддавался легче других и на внешние раздражения реагировал всегда очень сильно. Но нужна ли такая сверхчувствительность, чтобы сломаться в этой жизни?

Больных полагается лечить. Я требовала экспертизы. Женщина-врач, заведующая больницей, наотрез отказалась послать его на экспертизу. Ее ответы напоминали мне Оськино «не положено»… Я приставала, она избегала разговоров и отругивалась. Однажды, не выдержав, она мне сказала: «Чего вы от меня хотите? Все они «оттуда» приезжают в таком состоянии…»

У меня сохранилось устарелое представление, что ссылать человека в бреду нельзя – беззаконие… И врача за ее равнодушие я честила палачихой. Но вскоре я заметила, что бородатые мужики относятся к ней неплохо. «Нечего к ней лезть, – сказал один из них. – Что она может? Ровным счетом ничего…» – «А что она за человек?» – спросила я. – «Не хуже других», – ответили бородачи. Действительно, проявлять высокие нравственные качества можно не во всяких условиях. Присмотревшись, я поняла, что она обыкновенный районный врач. Ей не повезло – она попала в местность, куда посылали «оттуда», и поэтому ей приходилось непрерывно входить в соприкосновение с органами и «действовать по инструкции». Тут-то она и научилась держать язык за зубами и не вмешиваться в распоряжения начальства. По целым дням она возилась с гнойными перевязками бородачей, кричала на них, ругалась, но все же по мере сил лечила их, а мне

дала добрый совет: не добиваться, чтобы О. М. послали в Пермь на экспертизу, и не отдавать его ни в какое лечебное заведение. «Это у них проходит, а там его загубят… Вы знаете, как у нас в таких местах…» Этот совет я приняла и хорошо сделала: «это» у них действительно проходит… Но я бы хотела знать, как «это» называется в медицине, почему оно поражает такое количество подследственных, какими условиями «внутри» обусловлена массовость заболевания. Повторяю, О. М. обладал чрезмерной возбудимостью, может быть, склонностью к психическим заболеваниям, и меня поразила не его болезнь, а то, что все, с кем я сталкивалась, твердили мне о массовости этих заболеваний; люди, знавшие царские тюрьмы, отнюдь не отличавшиеся гуманностью, подтвердили мою догадку о том, что тогда арестанты держались гораздо крепче и их психика сохранялась несравненно лучше.

Через много лет в поезде, идущем на восток, я попала в одно купе с молоденькой девушкой, врачом, которой тоже не повезло: она попала по распределению в лагерную больницу. Время уже было не страшное – 54 год, и девушка разговорилась. Куда идти?.. Как спастись?.. Ведь больше нельзя терпеть… «Главное, ничего нельзя сделать… Что врач?.. Пишем, что прикажут, делаем, что прикажут…» К этому времени я уже твердо знала, что никакие врачи вольничать не смеют и слишком часто вынуждены поступать против своей совести, а некоторые даже не подозревают, что поступают против медицинской совести, когда отказывают, например, в удостоверениях о болезни, бюллетенях, свидетельствах об инвалидности… А впрочем, почему выделять врачей? Все мы делаем только то, что нам приказано. Все мы живем «по инструкции», и нечего на это закрывать глаза.

## «Внутри»

Что происходило во внутренней тюрьме во время следствия? О. М. много говорил об этом со мной в Воронеже и старался отделить галлюцинации и бредовые представления от фактов. Острой наблюдательности он не терял ни на минуту. Я убедилась в этом, когда на свидании он сразу задал мне вопрос о том, что за пальто на мне, и сделал из моего ответа, что пальто мамино, правильный вывод: «значит, ты не была арестована»… Но болен он был, и далеко не все наблюдения и выводы оказались правдой. Мы тщательно отбирали с ним крупицы реальности, и это давалось нам нелегко.

У нас был один неплохой критерий подлинности того, что он запомнил, – во время свидания следователь успел коснуться многих вопросов. Он преследовал при этом явную цель – внушить мне свою точку зрения на все дело в целом и на различные аспекты следствия. Я получала, так сказать, авторитетные разъяснения, как следует трактовать происшедшее. Существовало много женщин, подобных Адалис, которые подобные разъяснения принимали с благодарностью… Большинство делало это из чувства самосохранения, но кое-кто от всей души. Итак, во время свидания я была как бы пластинкой, на которой и следователь, и О. М. торопливо записывали свою версию происходившего, чтобы я сообщила о ней на воле. Следователь сознательно старался припугнуть меня, а через меня и тех, с кем я буду разговаривать. Но он прогадал, как и другие деятели нашей эпохи, которым в голову не приходило, что их жертва что-нибудь запомнит и посмеет подойти к событиям не с официальной, а с собственной меркой. Террор и самовластие всегда близоруки.

О. М., благодаря своей возбудимости, оказался, вероятно, легкой добычей, и особенно утонченных приемов с ним не применяли. Содержался он в «двухместной одиночке». Следователь прокомментировал одиночку следующим образом: «Одиночное заключение у нас запрещено из гуманных соображений». Я знала, что это ложь. Если такое запрещение когда-нибудь существовало, то только на бумаге. Во все периоды мы встречали людей, которых держали в одиночках. Зато, когда ощущалась нужда в тюремной жилплощади, эти крохотные камеры набивались до отказа. Об этом мы впервые услышали во время изъятия ценностей. Люди, выходившие из тюрьмы, рассказывали, что им сутками приходилось стоять в набитых битком одиночках. Обычно же вторую койку использовали особым образом, о котором в 34 году до ареста О. М. мы еще не

знали…

Сосед О. М. по камере запугивал его предстоящим процессом. Он убеждал О. М., что все его близкие и знакомые уже арестованы и будут обвиняемыми на грядущем процессе. Он перебирал статьи кодекса и, так сказать, «консультировал» О. М., то есть угрожал ему обвинениями в терроре, заговоре и тому подобных вещах. Возвращаясь с ночного допроса, О. М. попадал в лапы к своему «соседу», который не давал ему отдохнуть. Но работал этот человек топорно, и на его приставания О. М. спрашивал: «Отчего у вас чистые ногти?» Этот заключенный имел глупость сказать, что он «старожил» и сидит уже несколько месяцев, а ногти у него были аккуратно подрезаны. Однажды утром этот тип вернулся чуть позже О. М. – якобы с допроса, и О. М. заметил, что от него пахнет луком, и тут же ему это сказал.

Следователь, парируя сообщение О. М., что он содержался в одиночке, заявил о гуманном запрещении одиночек и прибавил, что О. М. был в камере с другим заключенным, но «обижал своего соседа», и того пришлось перевести. «Какая заботливость!» – успел вставить О. М., и перепалка на эту тему кончилась.

О. М. на первом же допросе признал авторство инкриминируемых ему стихов, значит, роль подсаженного лица не могла сводиться к обнаружению фактов, которые пытаются скрыть от следователя. Вероятно, в функции этих людей входило запугивание и утомление подследственных, чтобы жизнь им стала не мила. До 37 года у нас щеголяли психологическими пытками, но потом они сменились физическими, совершенно примитивными избиениями. Не слышала я после 37 года и об одиночных камерах с подсаженными людьми или без. Быть может, люди, удостоенные одиночки на Лубянке после 37 года, живыми оттуда не выходили.

О. М. подвергся тем физическим пыткам, которые практиковались у нас всегда. В первую очередь это бессонный режим. На допросы его водили каждую ночь, и они продолжались по многу часов. Большая часть ночи уходила не на допрос, а на ожидание у дверей кабинета следователя под конвоем. Однажды, когда допроса не было, О. М. все-таки разбудили и повели к какой-то женщине, и она, продержав его много часов у себя под дверью, изволила спросить, нет ли у него жалоб. Бессмыслица жалоб так называемому прокурорскому надзору всем ясна, и О. М. этим своим правом не воспользовался. К прокурорше его таскали, вероятно, чтобы соблюсти формальность и сохранить для него бессонный режим и в ту ночь, когда следователь отсыпался. Эти ночные птицы вели дикий образ жизни, но все же поспать им удавалось, хотя и не в те часы, когда спят

обыкновенные люди. А пытка бессонницей и направленный на глаза ярчайший свет знакомы всем, кто прошел этот путь…

На свидании я заметила воспаленные веки О. М. и спросила, что у него с глазами. На этот вопрос поспешил ответить следователь: читал, мол, слишком много, но тут же выяснилось, что книг в камеру О. М. не давали. С больными веками пришлось возиться все годы – вылечить их так и не удалось. О. М. уверял меня, что воспаление произошло не только от ярких ламп, но что ему будто бы пускали в глаза какую-то едкую жидкость, когда он подбегал в камере к «глазку». Всякое беспокойство ведь претворялось у него в движение, и, оставшись один в камере, он метался по ней… Мне говорили, что «глазок» защищен двумя толстыми стеклами, поэтому пустить жидкость через него никак нельзя. Возможно, что эта едкая жидкость принадлежит к ложным воспоминаниям, но достаточно ли одной яркой лампы, чтобы причинить такое стойкое заболевание век?

О. М. кормили соленым, но пить не давали – это делалось сплошь и рядом с сидевшими на Лубянке. Когда он требовал воды у того же часового, подходя к «глазку», его тащили в карцер и завязывали в смирительную рубашку. Раньше смирительной рубахи он никогда не видел и поэтому предложил мне проверить этот факт следующим образом: он записал, как она выглядит, и мы сходили в больницу посмотреть, точно ли его описание. Оно оказалось точным.

На свидании я заметила, что обе руки у О. М. забинтованы в запястьях. «Что это у тебя с руками?» – спросила я. О. М. отмахнулся, а следователь произнес угрожающую тираду о том, что О. М. пронес в камеру запрещенные предметы, а это карается по статуту тем-то… Оказалось, что О. М. перерезал себе вены, а орудием послужило лезвие «Жилетт». Дело в том, что Кузин, выпущенный в 33 году после двухмесячной отсидки – его отхлопотал знакомый ему чекист, увлекавшийся энтомологией, – рассказал О. М., что в таких переделках больше всего не хватает ножа или хоть лезвия. Он даже придумал, как обеспечить себя на всякий случай лезвиями: их можно запрятать в подошве. Услыхав это, О. М. уговорил знакомого сапожника пристроить у него в подошве несколько бритвочек. Такая предусмотрительность была в наших нравах. Еще в середине двадцатых годов Лозинский показал нам приготовленный на случай ареста мешок с вещами. Инженеры и люди других «подударных профессий» делали то же самое. Удивительнее всего не то, что они держали у себя заготовленные заранее тюремные мешки, а то, что эти мешки и рассказы не производили на нас никакого впечатления: совершенно естественно, что люди думают о будущем, молодцы…

Таковы были наши будни, и заблаговременно упрятанное в сапоге лезвие дало О. М. возможность вскрыть себе вены: изойти кровью не такой уж плохой исход в нашей жизни…

Работа, разрушающая психику, велась на Лубянке по всей линии, в ней была система, а так как наши органы тоже бюрократическое заведение и ничего без инструкций не делают, то существовали, вероятно, и соответствующие инструкции. Нельзя ничего объяснить инстинктами злобного персонала, хотя людей, конечно, подбирали подходящих, но завтра такой же персонал может оказаться добрым – тоже по инструкции… Среди нас на воле ходили слухи, что Ягода завел тайные лаборатории, насадил там специалистов и всячески экспериментирует: пластинки, наркозы, внушение. Проверить эти слухи нельзя, быть может, это наше больное воображение или сознательно пущенные среди нас басни, чтобы держать всех в руках…

О. М. слышал у себя в камере доносившийся издалека женский голос, который он принял за мой. Это были жалобы, стоны и торопливые рассказы, но настолько неясные, что слов он не мог разобрать. Тогда он решил, что меня действительно арестовали, как ему намекал следователь на допросах. Обсуждая с ним это, мы колебались, можно ли приписать этот голос слуховой галлюцинации. Почему он не разбирал слов? Ведь при слуховой галлюцинации слова слышались ему даже чересчур ясно, а множество людей, прошедших в те годы через внутреннюю тюрьму, тоже слышали голоса и крики своих жен, которые потом оказывались на свободе. У всех, что ли, были галлюцинации? А если так, то чем это достигалось? Поговаривали, будто есть у них в арсенале пластинки с голосами типовой жены, матери, дочери, которые используются для сокрушения духа арестованного… После того как утонченные пытки и психологические методы сменились примитивнейшими, никто больше не жаловался, что слышит голос своей жены. О более грубых приемах я знаю: показывали, например, в щелку избитого человека, окровавленного, в страшном виде, и говорили, что это сын или муж арестованной… Зато про издали доносящиеся голоса уже не говорил никто… Были ли такие пластинки? Мне этого знать не дано и узнать не у кого.

Поскольку у О. М. вообще были после выхода из тюрьмы галлюцинации, я склоняюсь к мысли, что и этот голос принадлежал к тем внутренним голосам, которые мучили его в Чердыни. А про лабораторию наркозов слухи ходят и сейчас.

Все эти методы возможны только там, где с момента ареста у заключенного прерывается всякая связь с внешним миром: ничего, кроме расписки в книге передач, он об оставленных на

воле людях не знает, но ведь и передачи разрешаются далеко не всем. Первый способ воздействия на заключенного – это запрещение ему передач, этой последней ниточки, связывающей его с миром. Вот почему в нашей жизни лучше было не иметь привязанностей: насколько крепче чувствует себя человек, которому не приходится ловить на допросах мнимые обмолвки и намеки следователя, чтобы узнать о судьбе близкого человека. У одинокого гораздо труднее расшатать психику, и ему гораздо легче сосредоточиться на собственных интересах и вести систематическую оборону. Несмотря на предрешенность приговора, кое-какую роль умная самозащита все же играла. Одному моему приятелю[13] удалось поразительно перехитрить следователя, правда, провинциального. Он после долгой борьбы согласился у себя в камере записать все басни, которые ему приписывали. Ему выдали бумагу, и он понаписал все, что с него требовал следователь, но своей подписи под показаниями не поставил, а следователь на радостях этого не заметил. Приятель мой, конечно, родился под счастливой звездой, потому что в это время сняли Ежова. Дело не успело дойти до коллегии, приговора не вынесли, и он добился пересмотра ввиду того, что отсутствие подписи делало его показания недействительными. Он принадлежал к тем немногим, кто после падения Ежова вышел на волю. Родиться под счастливой звездой еще недостаточно, рекомендуется еще не терять голову, а легче всего это сделать одиноким людям…

# Христофорыч

Следователь О. М., пресловутый Христофорыч, был человеком не без снобизма и свою задачу по запугиванию и расшатыванию психики выполнял, видно, с удовольствием. Всем своим видом, взглядом, интонациями он показывал, что его подследственный – ничтожество, презренная тварь, отребье рода человеческого. «Почему он так пыжится?» – спросили бы мы, если б встретили такого человека в нормальной обстановке, но во время ночных допросов человек должен чувствовать себя раздавленным этим взглядом или, по крайней мере, сознавать свое полное бессилие. Держался он как человек высшей расы, презирающий физическую слабость и жалкие интеллигентские предрассудки. Об этом свидетельствовала вся его хорошо натренированная повадка, и я тоже, хотя и не испугалась, но все же почувствовала во время свидания, как постепенно уменьшаюсь под его взглядом. А ведь я уже догадывалась, что такие христофорычи, зигфриды, потомки и друзья сверхчеловека не выдерживают никаких испытаний и совершенно теряются в нашем положении. Они великолепны только перед беззащитными и умеют когтить очередную жертву, уже пойманную в капкан.

Снобизм следователя не ограничивался его манерой держаться, иногда он позволял себе выпады высшего класса, припахивающие литературными салонами. Первое поколение молодых чекистов, смененное и уничтоженное в 37 году, отличалось моднейшими и вполне утонченными вкусами и слабостью к литературе, тоже, разумеется, самой модной. При мне он сказал О. М., что для поэта полезно ощущение страха – «вы же сами мне говорили», – оно способствует возникновению стихов, и О. М. «получит полную меру этого стимулирующего чувства»… Мы оба заметили, что Христофорыч употребил будущее время – не «получили», но «получите».

В каких московских салонах набрался следователь таких разговорчиков?

У меня с О. М. появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так «У этого Христофорыча все перевернуто и навыворот». Чекисты действительно были передовым отрядом «новых людей» и подвергли все обычные взгляды коренной сверхчеловеческой ломке. Их сменили люди совершенно другого физического типа, у которых вообще никаких взглядов, перевернутых или правильных, не было.

Основной прием, которым действовал следователь, запугивая О. М., оказался все же абсолютно примитивным: назвав чье-

нибудь имя – мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, – он сообщал, что получил от нас такие-то показания… О. М. начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что «они уже у нас», чтобы через минуту отречься от своих слов: «Я вам этого не говорил». Неизвестность в таких делах разрушительна для подследственного, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорыч, играя в кошки-мышки с О. М. и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны… А потом сиди у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь…

Следователь, «специалист по литературе», усиленно щеголял своей осведомленностью: всех он, мол, знает и в курсе «всех ваших дел». Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку: одного – «двоеженцем»[14], другого – «исключенным»[15], одну из бывавших у нас женщин – «театралкой»[16]… Эти прозвища он употребил при мне на свидании, но О. М. говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое: ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Характерно, что ташкентский самоубийца, по словам его дочери, тоже «знал всех и для всех придумывал клички»… О. М. на клички не обращал внимания – он понимал, чего этим хочет достичь следователь.

О. М. утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые «разговорчики». Говорят, что научные силы Лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать О. М. «Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже»… Считалось, что О. М., как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязательно очень распространенная, вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности – Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрогнуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичей, с которыми он мог поделиться своей

заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции если не полное преступление, то, во всяком случае, отягощающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае, мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться… К такому же типу схематических вопросов относится: «Такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас». Ясно, что на такие крючки О. М. не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем?.. Был бы человек, дело найдется…

Сначала Христофорыч вел следствие как подготовку к «процессу», но санкции на «процесс» не получил, о чем он упомянул при свидании – «мы решили не поднимать дела» и тому подобное… По нашим обычаям, материала на «дело» хватило бы с избытком, и такой оборот был более вероятен, чем то, что случилось. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. О. М. огорошил его неожиданным ответом: больше всего, сказал он, ему ненавистен фашизм… Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что О. М. не собирался исповедоваться перед следователем, но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все… Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем О. М. усматривает фашизм в нашей жизни, – эту фразу он повторил и при мне на свидании, но – удивительное дело! – удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. О. М. убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила, но в 38 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, О. М. заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 34 году, когда велось следствие о стихах О. М., уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте – вот она, власть готовых концепций! – мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец

самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы – уже знавшие по процессам двадцатых годов, чего можно ожидать от Вышинского!.. Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофорыча, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель, и О. М., может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательное свойство эпохи: все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение. Любой из них расхохотался бы, если б узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации, тот самый человек, которого к ним приводят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи О. М., что он изволил запомнить их наизусть – ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыни, – но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу – прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушить народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать – каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки, но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи О. М. были настоящим преступлением – узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина так же, как и для его клики. Эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей: право на суждение определяется и будет определяться положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака: доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорыч не мог признать этого права за Мандельштамом.

Самый факт написания стихов Христофорыч называл «акцией», а стихи – «документом». На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного «документа» ему не приходилось видеть никогда. О. М. не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в одиннадцать, включая меня,

двух братьев – моего и своего – и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснилось, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, О. М. перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснял, как каждый из слушателей реагировал на стихи. О. М. утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих одиннадцати, стихи о Сталине слышали еще человек семь-восемь, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский.

Протоколы О. М. подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», – злобно сказала я… И действительно, я и сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было довериться: дело по нашим условиям было совершенно реальным, материалов хватило бы на десять процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла.

В начале следствия, как заметил О. М., следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихотворения как террористический акт и угрожать расстрелом. Вначале же он грозился расстрелом не только автору, но и «всем сообщникам», то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией «сохранить». Я не видела следователя в первой фазе – угрожающей, и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия, и вероятно, не только у нас.

Следователь выяснял также отношение О. М. к советской власти, и О. М. сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме Чека. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезвычайное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с О. М. вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно

открывают душу своим следователям и «сотрудничают с ними» на допросах… И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку… Добровольно Шагинян написала этот фельетон или по инструкции свыше, во всяком случае, забывать его не следует.

В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 34 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело О. М., и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей – их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанная и глубоко современная архитектура подобных зданий ставит себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофорыча.

Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид, брюки падали – он все за них хватался, отвечал невпопад – ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде, и тому подобное… Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного, но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой Булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но, во всяком случае, не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей двадцатого века? С песнями валиться во рвы и общие могилы?.. Смело задыхаться в газовых камерах?.. Улыбаясь, путешествовать в телячьих вагонах?.. Вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве?.. Или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования?..

А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх – перед самим бытием. Об этом часто говорил О. М.: с революцией, у нас на глазах пролившей потоки крови, тот страх исчез.

# Кто виноват

Первый вопрос, заданный следователем: «Как вы думаете, почему вас арестовали?» После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. О. М. последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуются: любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. «Квартиру» О. М. сообщил без восьми строчек – «Наглей комсомольской ячейки И вузовской песни наглей Присевших на школьной скамейке Учить щебетать палачей… Пайковые книги читаю, Пеньковые речи ловлю И грозное баюшки-баю Колхозному баю пою», – и в этом виде она оказалась в списках Тарасенкова[17]. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. О. М. признал авторство. Следователь потребовал, чтобы О. М. прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант «Мы живем, под собою не чуя страны, Наши речи за десять шагов не слышны, Только слышно кремлевского горца, Душегубца и мужикоборца». О. М. объяснил, что таков был первый вариант. После этого О. М. пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку.

О. М. видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи – полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны.

Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти шестнадцать строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения: замены слов, пропуски… Если бы О. М. обнаружил такие искажения, он мог бы наверное сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки О. М. не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо поступать. Теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару… Не плод ли это позднейших

размышлений о том, что надо делать и как поступать?..

Равнодушие О. М. объяснялось и другим: он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет для этого время. Мы жили в мире, где всех «таскали туда», требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначая совсем иные функции для красоток и дурнушек и соблазняя их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами – одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство… Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все… Таская, преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление: чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доносчиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетиями… И когда всем известно, что «таскают», само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом – неоценимое преимущество для властей.

Они взывали к сыновним чувствам Кузина: «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем»… Он отвечал, что желает смерти своей матери, и собеседник был ошеломлен таким бессердечием. Это он грозился распустить слухи, что «мы вас завербовали и вы не сможете смотреть в лицо людям»…

Б.[18], художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием – не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности»… Мою подругу, хорошенькую тогда девочку[19], еще в двадцатые годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы… Чего только не делали…

Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающихся держали там часами, бесконечно долго, предлагая «подумать». Из вызовов тайны не делали: они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств – упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало – ведь подрастали новые поколения.

У каждого поколения была своя реакция на предложение сотрудничать с органами. Старшие страдали оттого, что со страху дали подписку хранить разговор в тайне. Из моих знакомых только Зощенко отказался подписаться под таким документом. Следующие поколения даже не понимали, чем такая подписка предосудительна. Отбояривались они совсем другим способом: «Если б я что-нибудь узнал, я бы сам к вам пришел, но я и узнать ничего не могу – кроме службы, никуда не хожу»… Все эти рассказы идут от тех, кто отказался «сотрудничать». Сотрудничеством у нас называлось все на свете… Но какой процент отказывался? Этого учесть нельзя. Надо думать, что их количество увеличивалось в периоды ослабления террора. Кроме людей, принуждавшихся к «сотрудничеству», были толпы добровольцев. Доносами заваливали все учреждения. Доносы стали бедствием. Перед Двадцатым съездом я сама слышала, как инспектор Министерства просвещения, приехавший в Чувашский пединститут, где я работала, просил на собрании преподавателей перестать писать доносы и предупреждал, что анонимные вообще читаться не будут. Так ли это? Неужели их действительно не читают? Мне что-то не верится…

На почве вызовов у людей развились две болезни: одни подозревали во всяком человеке стукача, другие боялись, что их примут за стукача. Совсем недавно один поэт вздыхал, что у него нет стихов О. М. Я предложила дать ему список, но он пришел в ужас: вдруг я подумаю, что он выманивает список для Лубянки! Ш.[20], когда я предложила дать ему те же стихи, счел своим долгом подробно мне рассказать, как его десятилетиями вызывают и мучат. В 34 году, когда О. М. уже находился в Воронеже, ко мне явился М.[21], насупленный и мрачный: «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась.

Мы не раз останавливали людей, которые слишком вольно разговаривают «Бог с вами! Что вы делаете? За кого вас примут, если вы будете так разговаривать?». А нас уговаривали ни с кем не встречаться. Вот Мишенька Зенкевич, например, он учил меня пускать к себе только тех, кого знаешь всю жизнь, но я ему весьма резонно отвечала, что и те люди могли превратиться совсем не в то, чем они были в начале жизни. Так мы жили, и поэтому мы не такие, как все.

Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке – подозрительными, залгавшимися,

запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, в свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.

## «Адъютант»

«Стансы» из «Воронежских тетрадей» появились так: некто Д. напечатал в одном из толстых журналов стихи, в которых обещал распознать классового врага по одному только звуку его лиры. В этих стихах упоминалось «Слово о полку».

С Д. мы познакомились в Киеве в середине 20-х годов, когда кучка молодых журналистов так задурила голову идиоту редактору местной газеты, что он согласился напечатать несколько статеек О. М. В центре это уже было невозможно. Жена Д., прозрачная беляночка, из тех, что всегда трогали О. М, кончила ту же гимназию, что я. Жили они неподалеку от моих родителей, и, приезжая в Киев, мы часто встречались с ними. Через несколько лет Д. очутился в Москве, в одной редакции «Московского комсомольца» с О. М. Работа у него не ладилась, московские лихачи затирали провинциала. Однажды Д. прибежал к нам сияющий – наконец-то ему повезло: он нашел оброненное письмо своего врага, одного из руководителей газеты. Это было типичное письмо деревенского парня, ушедшего в город на заработки. Родным, знакомым, друзьям, сверстникам и соседям кланяется. Мамаше сообщает, что начальство его, слава Богу, любит и поощряет. Без милости и без работы он не останется. А там, гляди, устроится попрочнее, заслужит награду, ему комнатку дадут и возьмет он к себе кого-нибудь из братишек, чтобы и его в люди вывести.

Письмо было вполне человеческим, и в нем перечислялись личные интересы ответственного комсомольского газетчика, а на это он права не имел. Мало того, мальчишка упоминал Бога – этого комсомольским вождям не разрешалось. Даже такие отработанные сочетания, как «слава Богу», считались данью религии. Парень явно жил двойной жизнью и говорил на двух разных языках. В какой момент переходят они с языка учрежденческого и высокоидеологического на язык домашний? Самый крупный из наших драматургов[22] все мечтал написать пьесу о двуязычье и об этом критическом моменте. Но он принадлежал к старшему поколению и поэтому замысла своего не осуществил. А руки у него чесались, и он все спрашивал: «Когда это бывает? На улице или уже дома?»… Через много лет к этой теме подошел другой писатель, гораздо моложе, рассказав о заседании сельсовета. У него мужики переходили на казенную речь по звонку председателя, открывающего собрание.

Д. готовился вовсю использовать находку – письмо двуязычного идеолога комсомольской газеты, чтобы разоблачить

своего врага перед высшим начальством. Он пришел к нам похвастаться своей удачей и показал письмо О. М. Тот выхватил его и бросил в печку.

Поведение Д. типично для той эпохи – конца двадцатых и начала тридцатых годов. В борьбе за чистоту идеологии начальство всячески поощряло «мужественных разоблачителей», которые, «невзирая на лица», обнаруживали «пережитки» и остатки старой психологии у своих сослуживцев. Репутации лопались, как мыльные пузыри, а разоблачители карабкались вверх по служебной лестнице. Каждый из деятелей, поднимавшихся в те годы, хоть разок да использовал этот прием – то есть разоблачение своего начальника. Иначе как займешь его место? Письмо могло сослужить Д. большую службу, но, к нашему удивлению, до него дошли доводы О. М. и он покинул нас печальный, но не рассерженный, хотя его надежды на лучшее будущее сгорели в печке. А может, все-таки он рассердился, потому что после этого инцидента мы не видели его несколько лет.

Д. снова появился уже на Фурмановом переулке зимой 33/34 года. Привела его Диночка, оставленная нам в наследство Яхонтовым, крошечная актриска, маленькая, нелепая, но очень милая женщина. Вспомнили письмо: Д. благодарил О. М. за то, что он спас его от низости. Он быстро втерся в доверие, старая комсомольская история перестала поминаться – чего только не творили мальчишки в те времена, нельзя же преследовать их всю жизнь за один поступок…

В 33 году Д. вертелся и возле Безыменского, устраивая через него какие-то свои газетные делишки. Он то и дело предлагал О. М. посоветоваться относительно разных дел с Безыменским: О. М. кипел еще историей с Саргиджаном и Толстым… Почти перед самым арестом Д. уговаривал О. М. пойти к какой-то прокурорше, приятельнице Безыменского, чтобы рассказать ей, что послужило поводом к пощечине Толстому. Не знаю, что означало это шебуршение, но мне известно, что О. М. прочел Д. стихи о Сталине.

Наутро после ареста, очень рано, нам позвонил Безыменский. Я объяснила – конечно, иносказательно, но этот язык был понятен всем, – что случилось ночью. Безыменский присвистнул и повесил трубку. Ни до этого, ни после он никогда нам не звонил. Что ему рассказывал Д. про О. М.? Может, он прослышал что-нибудь об аресте и позвонил, чтобы проверить? Но от кого мог он узнать об этом? Кто об этом знал? Ведь подписал ордер Ягода, а времени после увоза О. М. прошло слишком мало – едва ли несколько часов, чтобы успел распространиться слух. Почему он позвонил?

Последний раз я видела Д. у нас в передней на Фурма-новом переулке в день, когда я вернулась со свидания в кабинете следователя. Д. ушел добывать деньги, которые я с него потребовала, и больше не вернулся. Когда Диночка собралась к нам в Воронеж, Д. устроил ей страшную сцену, требуя, чтобы она отказалась от своей затеи. Диночка возмутилась, и они расстались. Не помня себя от удивления, Диночка рассказывала нам в Воронеже про неожиданную истерику своего возлюбленного и про разрыв их отношений, длившихся, кажется, несколько лет. После войны до меня дошло, что Д. повесился. Это был испуг во время кампании против «космополитов». Храбростью Д. не отличался.

О. М. не искал предателя. Он говорил, что виноват во всем сам – в наши дни нельзя искушать людей. Недаром Бродский, тот, который сидел в кресле при аресте О. М., просил как-то О. М. не читать ему опасных стихов, так как он будет вынужден о них донести… «Не Д., так другой», – с поразительным равнодушием говорил О. М. Это я прожужжала ему уши относительно Д. Мне очень хотелось все свалить на эту блоху, потому что все другие варианты были действительно непереносимыми. Гораздо легче оклеветать ничтожного Д., чем заподозрить какого-нибудь настоящего человека, которого мы считали другом. И все же я не уверена, что доносчиком был он.

Во время следствия имя Д. не упоминалось. Быть может, берегли агента, но возможно и другое: стукачи, перечислявшие, кто нас посещает, не встретились с Д., потому что он обычно заходил днем вместе с Диночкой, а она вечером была занята в театре и вообще дичилась наших знакомых и предпочитала заставать нас одних. Стукачи же всегда информировали органы о всех посетителях – прожектор направлялся не на одного человека, а на весь его круг. И в нашем случае – Христофорыч знал почти всех, кто у нас бывал.

Способен ли был Д. с голоса запомнить шестнадцать строчек? Я никогда не слыхала, чтобы он повторял услышанные с голоса стихи. Стихотворение о Сталине О. М. прочел при нем только один раз и, вопреки своему обычаю, в присутствии другого лица, художника Т[23]. Имя этого художника на следствии не всплывало – следователь его не называл. А самого существенного мы восстановить не смогли: в каком варианте слышал Д. это стихотворение – с «мужикоборцем» или без. Скорее всего – без. Т. бывал у нас редко, он зашел к нам незадолго до ареста, когда первый вариант был уже совсем отставлен. А единственный человек, которому О. М. разрешил записать стихи, имел первый вариант, но, судя по всей жизни, этот человек вне подозрения.

Может, кто-нибудь похитил у него эти стихи? Предположение не лишено эффектности, но, по-моему, пути передвижения из каждого дома в органы были гораздо более примитивными.

Поведение Д. после ареста О. М. можно объяснить трусостью или знаменитой болезнью – страхом быть принятым за стукача. По своей биографии он больше всех подходил к этой роли, но в том-то и ужас, что этим занимались люди, от которых никак нельзя было этого ожидать. Сколько в этой профессии насчитывалось вполне приличных дам и юношей из хороших семей – им ведь всякий доверится! – или мыслящих, болеющих за науку и искусство людей, проникающих в самую душу тонкими, умными, изящными разговорами. И к этой роли они подходили несравненно лучше, чем сиволапый Д!.. А в конце концов, Бог с ним. Он лишь жалкая букашка, которой довелось жить в страшное время. Разве человек действительно отвечает за себя? Даже поступки, даже характер его – все находится в лапах у эпохи. Она сжимает человечка двумя пальцами и выжимает из него ту каплю добра или зла, которая ей потребна.

Еще одна проблема: когда стали известны органам стихи о Сталине? Они были написаны осенью 33 года, арест произошел в мае 34-го. Может, после пощечины Толстому власти активизировали слежку, порасспросили агентов и только тогда узнали про стихи? Или они пролежали целых полгода без движения? Последнее кажется немыслимым… А Д. появился у нас довольно поздно – среди зимы – и втерся в доверие к весне.

И последний вопрос: виновата ли я, что не повыгоняла всех друзей и знакомых и не осталась с глазу на глаз с О. М., как делало большинство моих современниц, хороших жен и матерей? Мою вину умаляет только то, что О. М. все равно бы вырвался из-под присмотра и прочел недопустимые стихи – а с нашей точки зрения, все стихи недопустимы – первому встречному. Режим самообуздания и самоареста был не для него.

# О природе чуда

Винавер, которому часто приходилось ходить на Лубянку, первый узнал, что вокруг дела О. М. что-то происходит: «Какая-то особая атмосфера – суета, перешептывания…» Оказалось: дело внезапно пересмотрено, новый приговор – «минус двенадцать». Все это в неслыханных темпах – пересмотр занял не то день, не то несколько часов. Сами темпы свидетельствовали о чуде: когда наверху нажималась кнопка, бюрократическая машина проявляла удивительную гибкость.

Чем сильнее централизация, тем эффектнее чудо. Мы радовались чудесам и принимали их с чистосердечием восточной, а может, даже ассирийской черни. Они стали частью нашего быта. Кто только не писал писем в высшие инстанции на самые металлические имена! А ведь такое письмо является, так сказать, прошением о производстве чуда. Грандиозные груды писем, если они сохранятся, настоящий клад для историка: в них запечатлелась жизнь нашей эпохи в гораздо большей степени, чем во всех других видах письменности, потому что они говорят об обидах, оскорблениях, ударах, ямах и капканах. Но чтобы их разобрать и выловить из-под словесного сора мелкие крупицы реальности, все же понадобится сизифов труд. Ведь и в этих письмах мы соблюдали особый стиль и утонченную советскую вежливость и говорили о своих несчастьях на языке газетных передовиц. А если только взглянуть на эти кипы писем «наверх», можно безошибочно констатировать, что в чудесах ощущалась насущная потребность, иначе говоря, жить без чудес было невозможно. Надо только иметь в виду, что писавших, даже если чудо совершалось, подстерегало горькое разочарование. К этому просители не были подготовлены, хотя народная мудрость издавна утверждает, что чудо – лишь мгновенная вспышка, не дающая никаких результатов. Что оставалось в руках после осуществления трех желаний? Во что превращалось утром золото, полученное ночью от хромоногого? Глиняная лепешка, горсточка пыли… Хороша только та жизнь, в которой нет потребности в чудесах.

История с О. М. открыла целую серию передававшихся из уст в уста историй о чудесах, грянувших сверху, как гром и благодетельная гроза, если только гроза бывает благодетельной… А все-таки нас чудо спасло и подарило нам три года воронежской жизни. Как обойтись без чудес? Нельзя…

Е. Х. сообщил нам телеграммой о замене приговора. Мы показали ее коменданту. Он пожал плечами: «Улита едет… Пока

до нас доползет, снег выпадет»… И он напомнил, что пора выбираться из больницы и добывать себе зимнее жилье: «Смотрите, чтобы из щелей не дуло. Здесь зима знатная».

Официальная телеграмма пришла на следующий день. Комендант, может, и не сразу бы оповестил нас о ней, но еще до его прихода на работу нам рассказали о ней две девушки – телеграфистка и регистраторша, с которыми О. М. уже научился болтать и шутить. Мы пошли в комендантскую и долго ждали «хозяина». Он при нас прочел телеграмму и не поверил своим глазам: «А может, это ваши родственники бахнули?.. Я почем знаю!» Два-три дня он не выпускал О. М. – и это стоило нам немало волнений, – пока наконец не дождался подтверждения из Москвы, что телеграмма действительно правительственная, а не сфабрикована ловкими родственниками ссыльного, сданного ему под расписку. Тут он вызвал нас и предложил выбирать город. Решать пришлось сразу – на этом комендант настаивал: ведь в телеграмме не было сказано, чтобы он дал нам подумать. «Безотлагательно!» – сказал он, и мы выбрали город под его взором. Провинции мы не знали, знакомых у нас не было нигде, кроме двенадцати запрещенных городов да еще окраин, которые тоже находились под запретом. Вдруг О. М. вспомнил, что биолог Леонов из Ташкентского университета хвалил Воронеж, откуда он родом. Отец Леонова работал там тюремным врачом. «Кто знает, может, еще понадобится тюремный врач», – сказал О. М., и мы остановились на Воронеже. Комендант выписал бумаги. Он так был потрясен всем оборотом событий, то есть быстротой, с которой было пересмотрено дело, что проявил неслыханную любезность – дал казенную подводу, чтобы перевезти вещи на пристань. Частных лошадей мы бы не достали, их уже смыла недавно проведенная коллективизация. В последнюю минуту комендант пожелал нам всяческой удачи – вероятно, он даже счел нас чем-то вроде «своих», потому что оказался одним из первых свидетелей чуда, которое грянуло «сверху»…

Зато с кастеляншей все вышло наоборот – она потеряла к нам всякое доверие. Кем должен быть человек, чтобы с ним так поступили? – прочла я немой укор в ее глазах. Она, конечно, не усумнилась, что у О. М. должны быть какие-то страшные заслуги, иначе «они» не выпустили бы его из своих лап, как не выпускают никого, кто однажды попался. Опыт у кастелянши был глубже, чем у нас, а в нашей стране у людей развился странный, но вполне понятный эгоцентризм – они соглашались доверять только собственному опыту. Ссыльный О. М. был для нее «свой» – через три года она уже узнала, что далеко не всякий ссыльный может быть зачислен в категорию «своих» и что при ссыльных тоже надо

держать язык за зубами; неожиданно помилованный – для чердынца ссылка в Воронеж кажется раем, – он стал для нее чужим и подозрительным. Думаю, чердынские ссыльные после нашего отъезда долго припоминали, не наговорили ли они чего опасного при нас, и обсуждали, не были ли мы специально засланы, чтобы разведать их мысли и тайны. Сердиться на кастеляншу не приходится – я бы так же чувствовала себя на ее месте. Потеря взаимного доверия – первый признак разъединения общества при диктатурах нашего типа, и именно этого добивались наши руководители.

И для меня кастелянша была «чужой», и я не понимала многого, что она говорит. У нас такие исковерканные правовые представления, мы так одичали и такими полубезумными глазами смотрим на мир, что между «познавшим» и «еще не познавшим», в сущности, не может быть никакого контакта. В тот памятный год я уже кое-что понимала, но еще недостаточно. Кастелянша утверждала, что их всех совершенно незаконно держат в ссылке. Вот она, например, к моменту ареста уже отошла от работы в своей партии и, когда ее забрали, являлась частным лицом: «И они это знали!» А я, дикарка или одичавшая от всего, что мне вливали в уши, не понимала ее доводов: если она сама признает, что принадлежала к разбитой партии, почему ж она обижается, что ее держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается… Так я тогда думала. «Наши нормы», как я полагала, ужасны, жестоки, но такова реальность, и сильная власть не может терпеть явных, хотя бы недействующих, но все же потенциально активных противников. Государственной пропаганде я поддавалась очень туго, но все же и мне успели внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, оказался еще более восприимчивым учеником нового права. С его точки зрения, нельзя было не сослать О. М.: «Должно же государство защищаться? Что ж будет иначе – ты пойми»… Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, что ненапечатанные и не прочитанные на собрании стихи равносильны мысли, а за мысли ссылать нельзя. Только собственное несчастье раскрывало нам глаза и делало нас чуточку похожими на людей, да и то не сразу.

Мы некогда испугались хаоса и вдруг все сразу взмолились о сильной власти, о мощной руке, чтобы она загнала в русло все взбаламученные людские потоки. Этот страх – самое, пожалуй, стойкое из наших чувств, мы не оправились от него и поныне, и он передается по наследству. Каждому – и старым, видевшим революцию, и молодым, которые еще ничего не знают, – кажется, что именно он станет первой жертвой разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющееся: «нас первых повесят на столбе», –

я вспоминаю слова Герцена про интеллигенцию, которая так боится народа, что готова ходить связанной, лишь бы с него не сняли пут.

Выровнять ход истории, уничтожить ухабы на ее пути, чтобы не стало никаких неожиданностей, а все текло гладко и планомерно, – вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила появление мудрецов, определяющих наши пути. А раз они есть, мы уже больше не решались действовать без руководства и ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка ни я, ни ты, ни он составить не можем, значит, нужно благодарить за тот, что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет в каком-нибудь частном случае: нельзя ли, например, разрешить различные стили при выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы… Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, потому что в каждом разногласии, каждом особом мнении нам снова чудились анархия и неодолимый хаос. И мы сами помогали – молчанием или одобрением – сильной власти набирать силу и защищаться от хулителей – какой-нибудь кастелянши, поэта или болтуна.

Так мы жили, культивируя свою неполноценность, пока на собственной шкуре не убеждались в непрочности своего благополучия. Только на собственной шкуре, потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными и ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса.

# К месту назначения

Нам выправили документы со штампом самого влиятельного в Союзе учреждения, и мы получили право получать билеты в воинской кассе по литерам. Неслыханное по тому времени преимущество, так как все пристани и вокзалы были забиты черной и мрачной толпой, по неделям дежурившей у билетных касс. Дикая толпа, как во времена переселения народов или эвакуации… Пристань в Перми. На мешках, на тряпье, около деревянных сундуков с грубым лакированным рисунком расположились целыми семьями, а то и родами, изнеможенные, оборванные люди с почерневшими лицами. На берегу в вырытых в песке ямах тлели угли: здесь варили детям похлебку. Взрослые жевали корки. Их везли мешками про запас – хлеб еще выдавался по карточкам. Это раскулачиванье столкнуло с места огромные толпы, и они метались по стране в поисках, где лучше, и еще вздыхали по своим заколоченным избам.

Раскулаченных в полном смысле слова здесь не было. Те давно уже были высланы и доставлены по месту назначения. А эти – периферийные волны – снялись с места в момент испуга и заколобродили по всей стране – куда угодно, только прочь из родной деревни… Мы пережили много насильственных и несколько добровольных переселений народов: гражданская война, голод в Поволжье и на Украине, раскулачиванье, эвакуация. Вплоть до войны вокзалы были еще забиты снявшимися с места крестьянами. После войны опять потянулись люди, но уже не в таких количествах, в поисках хлеба и работы. Всякая семья, где сохранился мужчина, рвалась туда, где, по слухам, был хлеб и спрос на рабочие руки. Иногда переселялись организованно, то есть предварительно завербовавшись. Узнав на опыте, что хрен редьки не слаще, бросались обратно или искали нового прибежища. Всякое насильственное переселение – классов и национальностей – вызывало волны добровольных беженцев. Дети и старики мерли, как мухи.

Насильственное переселение – это нечто абсолютно новое, принесенное нам двадцатым веком. А может, египетскими или ассирийскими завоевателями? Я видела поезда с бородачами с Украины и с Кубани, а потом запертые теплушки «зэков», отправляемых на Дальний Восток А потом поезда с немцами Поволжья, татарами, поляками, эстонцами… И снова теплушки с зэками. Они шли всегда – иногда гуще, иногда реже… Как-то иначе уезжали дворяне из Ленинграда. Это было второе по счету массовое переселение, следующее после раскулачивания. В 35

году мы поехали с Анной Андреевной на Павелецкий вокзал проводить тщедушную женщину с тремя крошечными мальчиками, направлявшихся на постоянное жительство в Саратов. Прописали их, конечно, не в городе – такие беспомощные и в районе проживут!.. На вокзале нас встретила обычная картина – ступить некуда, все забито до отказа, но люди сидели не на мешках, а на довольно приличных чемоданах и сундучках, еще пестревших старыми заграничными наклейками. Пока мы пробивались на платформу, нас все время останавливали какие-то знакомые старухи – внучки декабристов, бывшие дамы, просто женщины. «Я не знала, что у меня столько знакомых дворян», – сказала Анна Андреевна… «Почему подняли крик? Зачем им загромождать Ленинград?» – сказала, поджимая губы, Таня Григорьева, беспартийная большевичка, жена Евгения Эмильевича, младшего брата О. М.

Я читала, что в истории каждого народа есть пора, когда люди «блуждают и телом и духом»[24]. Это молодость народа, творческий период его истории, отзывающийся на много столетий и двигающий его культуру. И мы тоже, «все как будто странники», и не только «как будто», а на самом деле. Принесут ли наши блуждания те плоды, которые нам обещал мыслитель? Нам было слишком тяжело, чтобы сохранить веру в эти плоды. И все-таки я не могу сказать – нет. Всем народом, сверху донизу, мы чему-то научились, хотя успели при этом уничтожить свою культуру и попросту одичать. Но то, чему мы научились, кажется, очень существенно.

Из Чердыни в Казань мы ехали двумя пароходами, и пересадка в Перми далась нам нелегко. Ждать парохода пришлось почти целые сутки. В гостиницу нас не пустили, потому что у О. М. не было паспорта: его отняли при аресте. Паспорт – это привилегия горожанина, деревня у нас беспаспортная, так что чуйкам в гостиницу не попасть, так же, как и потерпевшим катастрофу горожанам. Впрочем, в гостиницах никогда нет мест и для обыкновенных граждан.

Присесть на пристани не удалось из-за толпы добровольных переселенцев. Мы бродили весь день до полного изнеможения по городу. Сидели на скамейках в чахлом городском саду и удивлялись бледности благополучных городских детей. Вспомнили, как нас по временам поражала желтизна кожи московских малышей – ею знаменовалась каждая очередная массовая голодовка. Последний раз это случилось в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении в Москву сразу после повышения цен и незадолго до введения карточек и распределителей. Это Москва расплачивалась за раскулачивание.

К нашему отъезду она уже оправилась, но Пермь еще пугала своим видом. Обедали мы в ресторане, но посидеть там не могли, потому что возле каждого столика выстраивалась очередь: продуктов в городе не было, а рестораны все же давали какую-то суррогатную еду.

Пропорционально усталости у О. М. нарастало возбуждение, и я ждала рецидива. Два путешествия – с конвоем и без – затягивали и обостряли травматическую болезнь. Ночью он рвался к окошечку МГБ в городе – мы еще бродили по улицам – «поговорить о деле»… Дежурный отогнал его: «Уходите прочь… Целыми днями к нам такие лезут»… О. М. вдруг опомнился: «Как магнит это проклятое окошко», – сказал он, и мы пошли на пристань. Время это Анна Андреевна называет еще сравнительно вегетарианским, но «магнит» действительно уже притягивал все умы. Был ли человек, которому не мерещились допросы, следствия, «дела» и расстрелы?.. Среди очень молодых, пожалуй, такие счастливцы были…

Пароход пришел среди ночи. Получив билеты в воинской кассе, мы, чувствуя себя не ссыльными, а, по крайней мере, любимыми детищами грозного учреждения, пробрались через рокочущие толпы и почти первыми взошли на сходни. Толпа провожала нас завистливыми и недружелюбными взглядами: народ не любит привилегий, а ведь толпа на пермской пристани не знала, как нам досталась эта приятная возможность купить билет не в общей очереди. В нашу эпоху ненависть к привилегированным особенно обострилась, потому что даже кусок хлеба всегда бывал привилегией. По крайней мере десять лет из первых сорока мы пользовались карточками, и даже на хлеб не было никакой уравниловки – одни не получали ничего, другие мало, а третьи с излишком. «У нас голод, – объяснил нам в тридцатом году, когда мы вернулись из Армении, Евгений Яковлевич. – Но сейчас все по-новому. Всех разделили по категориям, и каждый голодает или ест по своему рангу. Ему выдается ровно столько, сколько он заслуживает…» А один молодой физик – это было после войны – поразил свою тещу: он ел бифштекс, полученный в распределителе тестя, и похваливал: «Вкусно и особенно приятно, потому что у других этого нет»… Люди гордились литерами своих пайков, прав и привилегий и скрывали получки от низших категорий. По иронии судьбы нам полагалось на этот раз получать билеты в самой «чистой» из всех привилегированных касс, и это вызывало всеобщую зависть. А вид у нас к тому же был далеко не начальственный, и это усугубляло раздражение. «Начальничек», то есть тот, кто при случае может и в рыло заехать, всегда импонирует нашей толпе – ничего с этим

не поделаешь… Зато пароходная челядь всю дорогу отлично нас обслуживала – эти знали наизусть, что первыми на сходни попадают только достойные люди: такие «главные», что даже на чай не дают…

Мы заняли двухместную каюту, гуляли по палубе, принимали ванну – ехали, как настоящие туристы. Именно в эти пароходные дни произошел подлинный перелом в болезни О. М. Я даже удивилась, как мало ему нужно, чтобы очнуться, – трое суток тишины и покоя. Он сразу затих, хорошо спал, читал Пушкина, разговаривал, и к тому же совершенно спокойно. Между прочим, он ослепил меня целым фейерверком сопоставлений «чудотворных строителей» и доказывал, что принятые у нас суждения по аналогии не выдерживают критики. Впервые за последние недели он говорил на эту тему, позабыв о себе и о том, что его могут растоптать. Когда дошло до этого, я поняла, что болезнь побеждена. Недаром Эмма Герштейн называла О. М. фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла. Слуховые галлюцинации, припадки страха, возбуждение и эгоцентрическое восприятие действительности больше почти не возвращались; во всяком случае, он научился сам справляться с легкими рецидивами болезни. Но она еще не исчерпалась – на пароходе был только решающий перелом. До поздней осени оставалась повышенная чувствительность, утомляемость – он всегда легко уставал, так как сердце было у него непропорционально маленьким, а в то лето оно резко ослабело. Кроме того, я заметила несвойственную ему ранимость и уж совершенно чуждую интеллектуальную вялость. Читать он начал почти сразу, но активных занятий избегал, даже в Данта почти не заглядывал. Быть может, возвращение к полной жизни замедлилось потому, что в Воронеже его ждала новая неприятность – заболела я, сначала сыпным тифом, подхваченным на какой-нибудь пристани или вокзале. Народные бедствия всегда сопровождаются сыпняком, и у нас он не переводился до самого последнего времени. В больницах, обманывая статистику, название болезни заменяли цифрой – люди болели не сыпняком, а формой номер пять или шесть, точной цифры я не помню… Из этого тоже делали государственную тайну, чтобы враги социализма не догадались, чем мы болеем. После сыпняка я съездила в Москву и схватила там дизентерию. Она тоже была законспирирована и числилась под каким-то номером. Я попала вторично в инфекционные бараки, и лечили меня по старинке. Бактериофаг в бараки еще не проник, его придерживали для высших категорий больных. Одновременно со мной болел Вишневский, и только поэтому я

узнала, что существуют новые лекарства, которые могли значительно ускорить мое выздоровление. Но и лекарства распределяются у нас по табели о рангах. Однажды я пожаловалась на это при одном отставном сановнике: всем, мол, такие вещи нужны… «Как так всем! – воскликнул сановник. – Вы хотите, чтобы меня лечили, как всякую уборщицу?» Сановник был человек добрый и вполне порядочный, но у кого не сковырнутся набекрень мозги от борьбы с уравниловкой?..

Хоть нам с О. М. полагалось лечиться по самому низшему разряду, мы оба выжили и начали свою трехлетнюю воронежскую «передышку»…

# Приводные ремни

Чудо – вещь двухступенчатая: первая ступень заключается в том, чтобы вручить письмо или прошение адресату, находящемуся вне пределов досягаемости; иначе письмо пойдет обычным ведомственным путем, при котором никаких шансов на осуществление чуда нет. Писем миллионы, чудеса можно пересчитать по пальцам. Уравниловки здесь нет и в помине. Без первой ступени обойтись нельзя.

Телеграммы к власть имущим пропали бы без толку, как предсказывала кастелянша, если б я не отправляла копий Николаю Ивановичу Бухарину… Моя чердынская советчица не учла именно этой детали, а по существу она была совершенно права. Николай Иванович отличался такой же импульсивностью, как О. М. Он не спросил себя: «А какое мне, собственно, дело до этого графа?» и не стал соразмерять свои силы: «А ну-ка, вспомним, удаются ли мне такие дела»… Вместо этого он сел за стол и написал Сталину. Поступок Бухарина совершенно выпадает из общепринятых у нас норм поведения: людей, способных на такие импульсивные действия, к этому времени в нашей стране уже не оставалось: их успели перевоспитать или уничтожить.

В 30 году в крошечном сухумском доме отдыха для вельмож, куда мы попали по недосмотру Лакобы, со мной разговорилась жена Ежова: «К нам ходит Пильняк, – сказала она. – А к кому ходите вы?» Я с негодованием передала этот разговор О. М., но он успокоил меня: «Все «ходят». Видно, иначе нельзя. И мы ходим. К Николаю Ивановичу».

Мы «ходили» к Николаю Ивановичу с 22 года, когда О. М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения Эмильевича… Всеми просветами в своей жизни О. М. обязан Бухарину. Книга стихов 28 года никогда бы не вышла без активного вмешательства Николая Ивановича, который привлек на свою сторону еще и Кирова. Путешествие в Армению, квартира, пайки, договора на последующие издания, не осуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как О. М. брали измором, не допуская ни к какой работе, – все это дело рук Бухарина. Его последний дар – переезд из Чердыни в Воронеж.

В тридцатые годы Николай Иванович уже жаловался, что у него нет «приводных ремней». Он терял влияние и был, в сущности, в глубокой изоляции. Но от помощи О. М. он никогда не открещивался и только ломал голову, к кому обратиться и через кого действовать. А в зените славы – конец двадцатых годов

– когда этот человек, едва достигший сорока лет, находился в самом центре мирового коммунистического движения и к серому дому, куда приезжали представители всех рас и национальностей, подкатывал в черном автомобиле в сопровождении трех или четырех таких же черных машин, где ехала охрана, он говорил вещи, сквозь которые уже просвечивало будущее. О. М. случайно узнал на улице про предполагаемый расстрел пяти стариков и в дикой ярости метался по Москве, требуя отмены приговора. Все только пожимали плечами, и он со всей силой обрушился на Бухарина, единственного человека, который поддавался доводам и не спрашивал: «А вам-то что?» Как последний довод против казни О. М. прислал Бухарину свою только что вышедшую книгу «Стихотворения» с надписью: в этой книге каждая строчка говорит против того, что вы собираетесь сделать… Я не ставлю эту фразу в кавычки, потому что запомнила ее не текстуально, а только смысл. Приговор отменили, и Николай Иванович сообщил об этом телеграммой в Ялту, куда О. М., исчерпав все свои доводы, приехал ко мне. Вначале Бухарин еще пробовал отбиваться от натиска О. М. и как-то раз сказал: «Мы, большевики, относимся к этому просто: каждый из нас знает, что и с ним это может случиться. Зарекаться не приходится»… А для иллюстрации рассказал про группу сочинских комсомольцев, которых только что «пустили в расход» за разложение… О. М. вспоминал эти слова во время процесса Бухарина.

С какой стороны ждал удара этот не зарекавшийся большевик? Боялся воскрешения поверженных врагов или чуял грозу от своих? Мы могли только гадать: на прямой вопрос рыжебородый человечек ответил бы шуткой.

В 28 году в кабинете, куда сходились нити грандиозных сдвигов двадцатого века, два обреченных человека высказались о смертной казни. Оба шли к гибели, но разными путями. О. М. еще верил, что «присяга чудная четвертому сословью» обязывает к примиренью с советской действительностью – «все, кроме смертной казни!» Он был подготовлен к приятию новшеств герценовским учением о «prioratus dignitatis», которое было сильнейшим подкопом под идеи народоправства. «Что такое механическое большинство!» – говорил О. М., пытаясь оправдать отказ от демократических форм правления… А ведь замысел воспитать народ тоже герценовский, хотя Герцен и смягчил его формулировкой: «путем законов и учреждений». Не здесь ли коренится изначальная ошибка нашего времени и каждого из нас? Зачем народу, чтобы его воспитывали? Какая дьявольская нужна гордыня, чтобы навязать себя в воспитатели! Только в России стремление к образованию народа подменили лозунгом об его

воспитании. И сам О. М., очутившись объектом воспитания, одним из первых восстал против его сущности и методов.

У Николая Ивановича был совсем иной путь. Он ясно видел, что новый мир, в построении которого он так активно участвовал, до ужаса не похож на то, что было задумано. Жизнь шла не так, как полагалось по схемам, но схемы были объявлены неприкосновенными, и предначертания запрещалось сравнивать со становящимся. Теоретический детерминизм породил, как и следовало ожидать, неслыханных практических деятелей, которые смело наложили табу на всякое изучение действительности: зачем подрывать основы и вызывать лишние сомнения, если история все равно примчит нас к предсказанной цели? Когда жрецы связаны круговой порукой, отступникам нечего ждать пощады. Николай Иванович ни от чего не отступал, но уже предчувствовал неизбежность ямы, куда его приведут сомнения или горькая потребность хоть когда-нибудь хоть что-нибудь назвать собственным именем.

О. М. как-то пожаловался ему, что в одном учреждении (ЗиФе) не чувствуется «здорового советского духа». «А какой дух в других учреждениях? – спросил Николай Иванович. – Как из хорошей помойной ямы! Смердит…» «Вы не знаете, как у нас умеют травить», – в другой раз сказал ему О. М. «Это мы-то не знаем!» – ахнул Николай Иванович и вместе со своим секретарем и другом Цетлиным расхохотался.

Основное правило эпохи – не замечать реальности. Деятелям полагалось оперировать только категорией желательного и, взобравшись на башню из слоновой кости – это они сидели в ней, а не мы! – благосклонно взирать оттуда на копошение человеческих масс. Человек, знавший, что из кирпичей будущего не построишь настоящего, заранее мирился с неизбежным концом и не зарекался от расстрела. А что ему, собственно, оставалось делать? Все мы были готовы к такому концу. О. М., прощаясь с Анной Андреевной зимой 37/38 года, сказал: «Я готов к смерти». Эту фразу в различных вариантах я слышала от десятков людей. «Я готов ко всему», – сказал мне Эренбург, прощаясь в передней. Это была эпоха дела врачей и борьбы с космополитизмом, и его черед надвигался. Эпоха следовала за эпохой, а мы всегда были готовы ко всему.

Благодаря Бухарину О. М. воочию увидел первые проявления «нового», которое возникало на наших глазах, и узнал раньше многих, откуда ждать угрозы. В 22 году О. М. хлопотал за своего арестованного брата Евгения. Тогда-то он в первый раз обратился к Бухарину. Мы пришли к нему в «Метрополь». Николай Иванович немедленно позвонил к Дзержинскому и попросил принять О. М.

Свидание состоялось на следующее утро. О. М. вторично вошел в учреждение, которому Блюмкин предсказал такую великую будущность, и мог сравнить период революционного террора и эпоху зарождавшейся государственности нового типа. Дзержинский еще не отступился от старого стиля. Он принял О. М. запросто и предложил взять брата на поруки. Это предложение, правда, было подсказано Бухариным. Сняв телефонную трубку, Дзержинский тут же дал соответствующее распоряжение следователю. На следующее утро О. М. отправился к следователю и вышел оттуда полный впечатлений. Следователь был в форме, при оружии, с телохранителями. «Распоряжение получено, – сообщил он, – но брата вам на поруки мы не отдадим». Причина отказа: «Нам неудобно будет вас арестовать, если ваш брат совершит новое преступление»… Из этого явствовало, что какое-то преступление уже было совершено. «Новое преступление, – сказал, вернувшись домой, О. М., – из чего они его сделали?» Доверчивости у нас не было никакой, и мы испугались, что Евгению Эмильевичу собирались что-то «пришить». Нам пришло в голову, что свое телефонное распоряжение Дзержинский отдал таким тоном, который не обязывал следователя ровно ни к чему.

Форма отказа еще звучала вполне любезно – вас, мол, не арестуем, – но общий тон, вся эта помпа с вооруженной охраной, таинственность и запугиванье – «совершит новое преступление» – все это звучало уже по-новому. Силы, вызванные к жизни старшим поколением, выходили из предначертанных им границ[25]. Так созревало наше будущее, отнюдь не похожее на террор первых дней революции. Даже фразеология вырабатывалась новая – государственная. Как ни страшен террор первых дней, его нельзя сравнить с планомерным массовым уничтожением, которому мощное государство «нового типа» подвергает своих подданных согласно законам, инструкциям, распоряжениям и разъяснениям, исходящим от коллегий, секретариатов, особых совещаний и просто «сверху».

Узнав от О. М. о приеме у следователя, Бухарин взбесился. Реакция была настолько бурной, что мы поразились. А через два дня он приехал к нам сообщить, что никакого преступления – ни старого, ни нового – нет и Евгений Эмильевич будет выпущен через два дня. Эти добавочные дни понадобились для завершения и оформления дела о несовершенном преступлении.

Как объяснить реакцию Бухарина? Ведь и он был сторонником террора – с чего бы тут кипятиться? Взяли мальчишку для острастки студентов, даже расстрел ему не грозил – самое рядовое дело… Что же случилось с Николаем

Ивановичем? Не почуял ли он «новое», надвигавшееся и угрожавшее всем нам? Не вспомнил ли он гётевскую метлу, таскавшую воду по приказу ученика чародея? Не успел ли он уже сообразить, что ему и его соратникам уже не удастся остановить разбуженные ими силы, как не мог остановить метлу бедный ученик чародея? Нет, скорее всего, Николай Иванович просто возмутился, что какой-то паршивый следователь сунул нос не в свое дело и не выполнил распоряжения старших по иерархической лестнице. Еще не наладили машину, подумал он, и она сбоивает… Ведь он всегда был человеком темпераментным, с быстрыми и сильными реакциями, только по-разному выражал свое негодование в разные эпохи.

Вплоть до двадцать восьмого года он восклицал «идиоты!» и хватал телефонную трубку, а с тридцатого хмурился и говорил: «Надо подумать, к кому обратиться»… Путешествие в Армению он устраивал через Молотова и пенсию тоже. Она была дана за «заслуги в русской литературе при невозможности использовать» данного писателя в советской. Эта формулировка чем-то соответствовала действительности, и мы подозревали, что она принадлежит Бухарину. А вот Анне Андреевне не нашли ничего лучшего, чем выдать пенсию по старости, хотя ей было около тридцати пяти лет. Тридцатипятилетняя «старуха» получила семьдесят рублей – государство обеспечило ей и спички, и папиросы.

В начале тридцатых годов Бухарин в поисках «приводных ремней» все рвался к «Максимычу», чтоб рассказать ему про положение Мандельштама – не печатают и не допускают ни к какой работе. О. М. тщетно убеждал его, что от обращения к Горькому никакого прока не будет. Мы даже рассказали ему старую историю со штанами: О. М. вернулся через Грузию из врангелевского Крыма, дважды его арестовывали, и он добрался до Ленинграда еле живой, без теплой одежды… В те годы одежду не продавали – ее можно было получить только по ордеру. Ордера на одежду писателям санкционировал Горький. Когда к нему обратились с просьбой выдать Мандельштаму брюки и свитер, Горький вычеркнул брюки и сказал: «Обойдется»… До этого случая он никого не оставлял без брюк, и многие писатели, ставшие потом попутчиками, вспоминают об отеческой заботе Горького. Брюки – мелочь, но эта мелочь свидетельствовала о враждебности Горького к чуждому для него течению в литературе: все те же «хилые интеллигенты», которых следует сохранять, только если у них есть основательная сумма научных знаний. Подобно многим людям тождественной биографии, Горький ценил знания и оценивал их количественно – чем

больше, тем лучше… Бухарин не поверил О. М. и решил предпринять рекогносцировку. Вскоре он нам сказал: «А к Максимычу обращаться не надо»… Сколько я ни приставала, мне не удалось узнать почему…

При обыске 34 года у нас отобрали все записочки Бухарина. Чуть-чуть витиеватые, украшенные латинской цитатой: просит прощения, не может принять сейчас, воленс-ноленс приходится встречаться в часы, назначенные секретарем… Не сочтите за бюрократизм – иначе не успеешь всего сделать… Удобно ли завтра в девять утра?.. Пропуск будет приготовлен… Если неудобно, может, сами предложите какой-нибудь час…

Я бы много отдала, чтобы еще раз договориться с Коротковой, белочкой-секретаршей из «Четвертой прозы», о часе, а потом прийти к Николаю Ивановичу и поговорить о том, чего мы не успели сказать друг другу. Может, он снова вызвал бы по междугородному телефону Кирова и спросил – что у вас делается в Ленинграде – почему вы не печатаете Мандельштама?.. Издание уже давно стоит в плане, а вы откладываете его с года на год… А со смерти прошло уже двадцать пять лет…

Судьба не таинственная внешняя сила, а математически выводимое производное из внутреннего заряда человека и основной тенденции эпохи, хотя в наше время немало мученических биографий вырезалось по чудовищной стандартной выкройке. Но эти двое – носители внутреннего заряда – сами определили свои отношения со временем.

# Родина щегла

Паспорт отобрали при аресте. Когда мы приехали в Воронеж, единственным документом О. М. оказалась сопроводительная бумажка чердынского ГПУ, по которой нам выдавали билеты в воинских кассах. Ее О. М. сдал в специальное окошко зашарканной пропускной ГПУ и получил новое удостоверение – по нему допускалась только временная прописка на несколько недель. Он разгуливал с этим удостоверением, пока выяснялось, следует ли оставить ссыльного в областном центре или можно сплавить в район. Кроме того, наши опекуны не знали, какому виду высылки он подлежит. В этом деле есть множество градаций; мне известны две основные разновидности: с прикреплением и без. В случае прикрепления надо регулярно ходить отмечаться в какое-то окошко этой самой приемной. В Чердыни О. М. полагалось являться на регистрацию каждые три дня. При отсутствии прикрепления существуют варианты, при которых разрешаются или запрещаются поездки по области. К осени О. М. вызвали в органы и разрешили получить воронежский паспорт. Вид высылки оказался самым легким – с паспортом! Тут-то мы узнали, что обладание паспортом тоже высокая привилегия – не всякий заслуживает ее.

Получение паспорта – огромное событие в жизни ссыльного, оно дает иллюзию гражданских прав. Первый год жизни в Воронеже ознаменовался непрерывными хождениями в милицию для получения бумажонки, называвшейся «временный паспорт». Семь или восемь месяцев подряд выдавался документ или бумажонка, действительная на один месяц. За неделю до истечения срока О. М. начинал собирать справки, необходимые для обмена: из домоуправления о том, что О. М. не бродяга, а прописан честь честью в таком-то доме, из ГПУ и, наконец, с места работы. С ГПУ отношения были вполне ясны, а вот последняя справка оказалась камнем преткновения: где ее взять? Первое время приходилось выклянчивать ее в местном отделении Союза писателей. Эта процедура никогда не проходила без осложнений. Деятели Союза охотно настукали бы какую угодно справку, но делать этого они не смели, а некоторые из них, может, действительно с трепетом относились к своему праву ставить печать Союза на листок бумаги: вдруг поставишь печать плохому писателю! И хозяева местного отделения куда-то обращались, чтобы получить санкцию на выдачу бумажки о том, что О. М. действительно занимается литературой. Начиналось все с шушуканья, мрачных взглядов, беготни… Получив санкцию,

воронежские писатели улыбались: им тоже было приятно, что все сошло благополучно… Время было еще невинное, вегетарианское…

За каждой справкой, как минимум, приходилось ходить по два раза: сначала попросить, а потом получить. Часто выдача справки откладывалась: «еще не готова»… Справки сдавались начальнику паспортного стола в милиции. К нему всегда стояла большая очередь. Через два-три дня О. М. опять бежал в ту же очередь к тому же начальнику для получения временного паспорта, а на следующий день он шел прописывать новый документ и становился в очередь к окошку у прописывающей милицейской барышни. Оказалось, что у милицейской барышни есть душа: она почему-то взяла О. М. под свое покровительство и, не обращая внимания на ропот домоуправленских работников, томившихся в очереди с толстыми домовыми книгами под мышкой – в них вносятся все прибывающие и уезжающие, – она подзывала О. М. к окошку и забирала у него паспорт, чтобы на следующее утро, опять избавив его от стояния в очереди, вручить ему эту драгоценную бумажку, но уже со штампом о прописке.

К лету 1935 года нас облагодетельствовали, выдав О. М. трехмесячный паспорт и разрешив трехмесячную прописку. Это очень облегчило жизнь, тем более что очереди после чистки Ленинграда резко увеличились: счастливцы, попавшие в Воронеж, проходили через все трудоемкие паспортные процедуры. Во время общего обмена паспортов О. М. вдруг удостоился настоящей трехлетней паспортной книжки.

Беспаспортные народы никогда не догадаются, сколько развлечений можно извлечь из этой волшебной книжки! В дни, когда паспорт О. М. был еще драгоценной новинкой, даром милостивой судьбы, в Воронеж приехал на гастроли Яхонтов. Это именно с ним О. М. в Москве упражнялся в чтении пайковой книжки из отличного писательского распределителя: «пайковые книжки читаю, пеньковые речи ловлю»… Теперь они перешли на паспортную и, надо сказать, она зазвучала мрачнее. В пайковой – хором и поодиночке – они прочитывали талоны: молоко, молоко, молоко… сыр, мясо… У Яхонтова, когда он читал паспортную, появлялись многозначительные и угрожающие интонации: основание, по которому… выдан… кем выдан… особые отметки… прописка, прописка, прописка… От пайковой книжки протянулась ниточка к той литературе, которую нам тоже выдавали в журналах и госиздатах, и, открывая «Новый мир» или «Красную новь», О. М. говорил: сегодня выдается Гладков, Зенкевич или Фадеев… В этом двойном значении она и попала в стихи. И паспортной нашлось место в стихах: «И в кулак зажимая истертый

Год рожденья с гурьбой и гуртом, Я шепчу обескровленным ртом: Я рожден в ночь с второго на третье Января в девяносто одном Ненадежном году, и столетья Окружают меня огнем»…

Вторая забава – тоже по типу «шиш в кармане» – происходила на подмостках. Яхонтов выступал с монтажом «Поэты путешествуют» и читал кусочки из «Путешествия в Арзрум» и Маяковского, из которых явствовало, что поэты могут ездить за границу только при советской власти. Аудитория оставалась вполне равнодушной: никто тогда даже не подозревал, что люди могут ездить за границу; «зажрались» – лениво говорили слушатели, расходясь с непонятного вечера. И Яхонтову, чтобы взбодрить себя, приходилось прибегать к трюкам и забавам. Он вставлял в свой монтаж отрывок из «Советского паспорта» и, вытащив свой из кармана, потрясал им, глядя прямо на О. М. А тот вытаскивал – любимый и новый, и они обменивались понимающими взглядами… Начальство не одобрило бы подобных шуточек, но оно у нас прямолинейное, а в инструкциях ничего подобного предусмотрено не было.

Кроме того, по паспорту можно гадать. Поскольку всякий общий обмен паспортов являлся также и чисткой, проводившейся под сурдинку, я не решилась поехать для обмена в Москву и произвела эту операцию в Воронеже. Этим самым я лишилась гражданства в великом городе и снова обрела его лишь через двадцать восемь лет. Но, в сущности, шансов на получение московского паспорта у меня не было: где бы я раздобыла справку о работе? как бы я объяснила, где хозяин площади, на которой я живу? а в каких отношениях я с ним состою и кто за кого отвечает? Получив два свеженьких воронежских паспорта, мы заметили, что у нас одинаковые серии, то есть буквы перед номером. Считалось, что эти буквы – тайный полицейский шифр, определяющий категорию, к которой принадлежит владелец – свободный, высланный, имеющий судимость… «Вот теперь ты окончательно попалась», – сказал О. М., разглядывая номера и серии. Оптимистически настроенные друзья утешали нас, что не я попалась, а милиция забыла, что О. М. ссыльный, и не поставила ему соответствующей пометки. У нас была такая твердая уверенность, что все граждане перенумерованы и проштемпелеваны согласно своим категориям, что никому даже в голову не пришла мысль усумниться в значении этих букв и цифр. Только через несколько лет после смерти О. М. окончательно выяснилось, что серии не означают ничего, кроме порядковых номеров да еще того, что мои напуганные сограждане превосходят в своем воображении даже ГПУ и милицию.

Потеря мною московского паспорта мало нас огорчала. «Если

я вернусь, – говорил О. М., – то и тебя пропишут. А пока я не вернулся, тебя все равно не пустят». Действительно, в 38-м меня выставили из столицы, потом мне удавалось прописываться на месяц-другой по научным командировкам. Наконец Сурков предложил мне вернуться: «хватит сидеть в изгнании». Бросив работу, я приехала получать выделенную мне Союзом писателей комнату. С полгода меня продержали в Москве, а потом Сурков мне заявил, что ни обещанной комнаты, ни прописки у меня не будет: «они говорят, что вы уехали добровольно», а у него нет времени, чтобы «поговорить о вас с товарищами»… И, наконец, сейчас, в 64 году, вдруг мне разрешили прописку. Немало, правда, народу писало письма, просило и хлопотало… А может, это случилось потому, что сейчас какой-то безумный журнал собирается напечатать несколько стихотворений О. М.? Все-таки это означает, что он вернулся в Москву. Тридцать два года ни одной строчки его стихов не появлялось в печати, двадцать пять лет прошло после его смерти и тридцать лет после первого ареста.

А получение настоящего паспорта было действительно большим облегчением. Паспортная канитель не только отнимала массу времени, пока О. М. жил по «временным удостоверениям», но еще и сопровождалась непрерывной тревогой и гаданием на кофейной гуще: выдадут – не выдадут… И в приемной ГПУ, и в милиции только и слышались одни и те же разговоры: одни жаловались человеку в окошке, что им отказали в прописке, другие просили, чтобы им разрешили… Окошечный человек не разговаривал, а только протягивал руку за заявлением и сообщал об отказе. Получившие отказ направлялись в район, где заработать было невозможно, а условия жизни непереносимы. И вместе со всей толпой, бегая за справками по канцеляриям и милициям, мы дрожали, что на этот раз не пройдет и нам снова придется отправляться неизвестно куда и зачем. «И в кулак зажимая истертый Год рожденья с гурьбой и гуртом…» Читая эти стихи Михоэлсу, О. М. выхватил паспорт и зажал его в кулак…

# Врачи и болезни

Мы приехали в Воронеж, и нас почему-то пустили в гостиницу. Те, кто бдят над нами, разрешили, очевидно, на конечных пунктах беспаспортным останавливаться в гостиницах. Номера нам не дали, но отвели койки в мужской и женской комнатах. Жили мы на разных этажах, и я все бегала по лестнице, потому что беспокоилась, как чувствует себя О. М. Но с каждым днем становилось все труднее подниматься по лестнице. Через несколько дней у меня подскочила температура, и я сообразила, что заболеваю сыпным тифом, подхваченным где-то в пути. Начало сыпного тифа, по-моему, нельзя спутать ни с чем – ни с каким гриппом, во всяком случае… Но это означало многонедельное лежание в больнице, в бараках, а передо мной все маячила сцена, как О. М. бросается из окна. Скрыв от него свою температуру, а она уже изрядно поднялась и все время лезла вверх, я умолила его пойти к психиатру. «Если тебе так хочется», – сказал он, и мы пошли. О. М. сам подробно описал все течение своей болезни, и мне не пришлось ничего прибавлять. Он был в эти дни уже совершенно объективен и точен. Врачу он пожаловался, что в минуты усталости у него бывают галлюцинации. Чаще всего это случается в момент засыпания. Сейчас, сказал О. М., он понимает природу «голосов» и научился останавливать их усилием воли, но в гостиничной жизни есть много раздражающих моментов, которые мешают борьбе с болезнью: шум, днем нельзя отдохнуть… А самое неприятное – это запирающиеся двери, хотя он прекрасно знает, что двери запираются не снаружи, а изнутри…

Тюрьма прочно жила в нашем сознании. Василиса Шкловская терпеть не может закрытых дверей – не потому ли, что в молодости ей пришлось основательно посидеть и она на собственном опыте узнала, что такое быть запертой. Да и люди, не испытавшие тюремных камер, тоже не могли избавиться от тюремных ассоциаций. Когда года через полтора в той же гостинице остановился Яхонтов, он сразу заметил, как там лязгают ключи в замках: «Ого!» – сказал он, когда, выйдя из его номера, мы запирали дверь. «Звук не тот», – успокоил его О. М. Они отлично поняли друг друга. Вот почему в стихах О. М. так горячо утверждается право «дышать и открывать двери», которого О. М. боялся лишиться.

Психиатр разговаривал с ним осторожно – ведь в каждом человеке все мы подозреваем стукача, а среди потерпевших их было множество, потому что люди, пережившие психическую

травму, часто теряли сопротивляемость, но, выслушав рассказ О. М., он все же сказал, что у «психастенических субъектов», побывавших в тюрьме, очень часто наблюдаются подобные «комплексы»…

Я рассказала врачу про свою болезнь – тут и О. М. понял, в чем дело, и страшно испугался – и спросила, не следует ли на время моей болезни устроить О. М. в клинику. Врач решительно заявил, что можно совершенно спокойно оставить О. М. на воле – следов травматического психоза уже не видно. Среди людей, сосланных на поселение в Воронеж, сказал врач, ему часто приходилось наблюдать состояния, подобные тому, что описал О. М. Это случается после нескольких недель, а иногда даже дней ареста. Заболевания всегда кончаются благополучно и не оставляют никаких следов.

На этот раз не я, а О. М. спросил, почему сейчас заболевают после нескольких дней внутренней тюрьмы, хотя раньше просиживали по много лет в крепости и выходили здоровыми. Врач только развел руками.

А действительно ли выходили здоровыми? Быть может, всякая тюрьма вызывает психические болезни, не говоря уже о травмах? Или это специфика только наших тюрем? А может, наша психика расшатана еще до ареста – предчувствиями, страхами и размышлениями на «тюремные темы»? У нас в стране этим никто не интересуется, а за рубежом всего этого не знают, потому что мы умеем хранить свои маленькие секретики от внешнего мира.

Я слышала, что недавно кто-то опубликовал свои лагерные воспоминания: автора поразило количество душевнобольных среди заключенных. Сам он иностранец. Живя в Советском Союзе, он был поставлен в особые условия и нашей жизни не знал, вернее, имел о ней самое поверхностное представление. Он делает вывод, что у нас не лечат некоторых болезней, вроде психастении, и больные за нарушение служебной дисциплины и прочие прегрешения, вызванные болезнью, попадают в лагеря. Процент психически неустойчивых людей у нас и в самом деле огромный. Сейчас среди правонарушителей, осужденных за хулиганство и мелкие грабежи, многие, я думаю, тяжелые психастеники или даже психопаты. Они отсиживают по нескольку лет за то, что, взломав замки, похитили из лавки несколько литров водки, и, выйдя на свободу, тотчас опять попадают в тюрьму и лагерь уже на добрый десяток лет за такое же повторное преступление. При Сталине на них обращали гораздо меньше внимания, в лагеря они попадали несравненно реже, чем сейчас, но зато массами спроваживали туда своих близких… А вопрос, почему интеллигенты и вообще нервные и

чувствительные люди так сильно реагируют на арест и часто заболевают таинственным, быстро проходящим и не оставляющим следов травматическим психозом, остается открытым… Где заболели те, кого видел этот иностранный мемуарист – в тюрьме или на воле? Кто они были – мальчишки, укравшие на выпивку, или мирные граждане? Психопаты они или больны этим самым травматическим психозом? Все эти вопросы остаются открытыми – не только для иностранцев, но и для нас, в этом не разобраться, пока мы во весь голос не заговорим о нашем прошлом, настоящем и будущем.

О. М. еще раз ходил к психиатру уже после того, как я вышла из больницы, на этот раз к крупному специалисту, приехавшему из Москвы обследовать сумасшедший дом. О. М. пошел к нему по собственной инициативе, чтобы рассказать историю своей болезни и спросить, не является ли она следствием каких-нибудь органических дефектов. Он сказал, что и раньше замечал у себя навязчивые идеи, например, в периоды конфликтов с писательскими организациями он ни о чем другом и думать не мог. К тому же – и это истинная правда – он слишком чувствителен ко всяким травмам… Эти свойства, кстати, я наблюдала у обоих братьев О. М., людей совершенно другого склада, чем он, но также подверженных травмам и превращающих в навязчивые идеи каждое тяжелое для них биографическое событие…

Московский психиатр сделал неожиданную вещь: он пригласил О. М. пройтись с ним по палатам. Вернувшись после обхода, он спросил, находит ли О. М. что-нибудь общее между собой и пациентами клиники? Под какую рубрику он отнес бы себя: старческое слабоумие? шизофрения? циркулярный психоз? истерия?.. Врач и пациент расстались друзьями.

На следующий день я все же потихоньку от О. М. еще раз забежала к психиатру: я боялась, что страшное зрелище, которое нам накануне показали, может оказаться новой травмой. Врач успокоил меня. Он сказал, что сознательно продемонстрировал О. М. своих пациентов – знание дела только поможет ему избавиться от тяжелых воспоминаний о травматической болезни. Что же касается до нервной возбудимости и неумения сопротивляться травмам, психиатр никакой особой патологии в этом не увидел, травмы были достаточно серьезны, и можно только пожелать, чтобы их было меньше в нашей жизни… «А субъект он легко возбудимый и чрезмерно чувствительный…» Так оно и было.

Меня поражало, с какой легкостью О. М. подсмеивается над своей болезнью и как быстро он сумел отрезать кусок жизни с бредом и галлюцинациями. «Наденька, – сказал он мне месяца

через два с половиной после приезда в Воронеж, обидевшись на халтурный обед, – я не могу есть такую дрянь – ведь я теперь не сумасшедший…» А в стихах («Стансы») он назвал болезнь «семивершковой кутерьмой», а попытку к самоубийству – прыжком («прыжок, и я в уме»).

Единственное, что мне казалось остатком болезни, это возникновение у О. М. время от времени желания примириться с действительностью и найти ей оправдание. Это происходило вспышками и сопровождалось нервным состоянием, словно в такие минуты он находился под гипнозом. Тогда он говорил, что хочет быть со всеми и боится остаться вне революции, пропустить по близорукости то грандиозное, что совершается на наших глазах… Надо сказать, что это чувство пережили многие из моих современников, и среди них весьма достойные люди, вроде Пастернака. Мой брат Евгений Яковлевич говорил, что решающую роль в обуздании интеллигенции сыграл не страх и не подкуп, хотя и того, и другого было достаточно, а слово «революция», от которого ни за что не хотели отказаться. Словом покоряли не только города, но и многомиллионные народы. Это слово обладало такой грандиозной силой, что, в сущности, непонятно, зачем властителям понадобились еще тюрьмы и казни.

К счастью, припадки того, что сейчас у нас называют патриотизмом, происходили с О. М. не часто. Очнувшись, он сам называл их безумием. Но все же интересно, что у людей, работавших в искусстве, полное отрицание существующего приводило к молчанию, полное признание губительно отзывалось на работе, делало ее ничтожной, и плодотворны были только сомнения, которые, к сожалению, преследовались властями.

К примирению с действительностью толкало и самое обыкновенное жизнелюбие. К мученичеству у О. М. не было никакого влечения, но за право на жизнь приходилось платить слишком большой ценой. Когда О. М. решился сделать первый взнос, оказалось, что уже поздно.

Что же касается меня, то я попала в сыпнотифозный барак. Главврач, остановившись у моей койки, сказал какому-то инспектору, что я тяжелая больная и «числюсь за органами». Я думала, что этот разговор мне померещился в бреду, но тот же главврач, оказавшийся добрым знакомым, братом агронома Феди, подтвердил мне после моего выздоровления, что эти слова действительно были произнесены и что я «числюсь за органами». Впоследствии во время моих скитаний по Союзу мне неоднократно сообщали, как явные, так и тайные работники органов, то есть отделы кадров и стукачи, что я «числюсь за Москвой». Что это значит, я не знаю. Чтобы понять, надо изучить

структуру органов, за которыми я почему-то «числилась». Мне кажется, гораздо приятнее не числиться ни за кем, но ума не приложу, как это сделать. Любопытно, все мы «числились» или только избранные?

Палатный врач, добрая женщина, рассказала мне, что ее муж, агроном, досиживает свой лагерный срок. Он «уехал» с многими другими сельскими интеллигентами по обвинению в отравлении колодцев. Это не выдумка, не досужее воображение, а факт. Выздоровев, я начала ездить в Москву, и она давала мне посылки, чтобы я отправляла их в лагерь. В те годы продуктовые посылки принимались только в Москве, а сейчас их посылают только из районных городов. Эмма Григорьевна Герштейн много лет ездила в какие-то фантастические городишки, таская тяжелые посылки, которые Анна Андреевна собирала для Левы.

Когда «отравитель колодцев» вернулся, отсидев свой срок, нас пригласили на вечеринку. Мы пили сладкое вино в его честь, а он пел мягким баритоном романсы и ликовал. В 37 году он стал «повторником»…

Со мной много возилась сиделка Нюра. Ее муж работал на мельнице. Однажды он вынес горсть муки для голодной семьи. Его осудили по декрету на пять лет. Сиделки жадно поедали остатки с тарелок сыпнотифозных и дизентерийных больных. Они рассказывали про свои беды и нищету.

Я вышла из больницы бритая, и О. М. прозвал меня каторжанкой.

# Обиженный хозяин

Из сыпнотифозного барака О. М. перевез меня не в гостиницу, а в «свою» комнату. Он успел снять нам временное помещение – застекленную терраску в разваливающемся особняке лучшего повара в городе. Дом сохранили в частном владении за заслуги хозяина, который служил шефом в столовой самого что ни на есть закрытого типа. По этому поводу О. М. сказал мне, что наконец-то мы сможем разузнать, кто этот таинственный «закрытый тип»… Дело в том, что летом 33 года мы ездили в Крым. И в Севастополе, и в Феодосии нас не пускали ни в одну столовую, говоря, что она «закрытого типа». В Старом Крыму оказалась даже парикмахерская «закрытого типа», и О. М. шутил, что это новый «Канниферштанд». От повара мы ничего не узнали о «закрытом Канниферштанде» – ему было не до шуток. Этот больной, усталый старик, лишенный всякого аппетита, ютился в одной из комнат своего особняка, а в остальных комнатах расселились жильцы, уже давно плативше по ставке. Как собственник повар должен был производить ремонт за свой счет, и на лето он сдавал терраску, чтобы хоть как-нибудь свести концы с концами. Он только и мечтал, чтобы дом снесли или объявили жактом, но от подобных развалин всякий разумный Совет откажется с ходу. Последний домовладелец тосковал и разорялся, но все еще надеялся стать жактовским жильцом домишки, который пойдет на снос.

Воронеж тридцать четвертого года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Они торчали у коммерческих хлебных магазинов и протягивали руку. Эти, очевидно, успели уже съесть все сухие корки, захваченные в мешках из родной деревни. В доме у повара жил одичавший от голода старик Митрофан. Старик мечтал устроиться хотя бы в ночные сторожа, но его никуда не брали. Все неудачи он приписывал своему имени: «Раз я Митрофаний, думают, что я церковник, и гонят в шею». В центре города стоял полуразрушенный собор святого Митрофания, и старик, вероятно, был прав. Когда мы переехали в зимнюю комнату, Митрофан повесился. С нашим отъездом у него кончился последний заработок: он помогал нам искать комнату и приводил старух, занимавшихся своеобразным сводничеством – они знакомили владельцев углов, коек и комнат с потенциальными жильцами. Искать приходилось в покосившихся домишках, оставшихся в частном владении, и у тех, кто сдавал жактовскую площадь. Дело

это было незаконное – спекуляция жилплощадью. Хозяева и жильцы заранее ненавидели друг друга. Жильцам хотелось поскорее рассориться с хозяевами и перестать платить в двадцатикратном по сравнению с жактовскими ценами размере. А хозяева, залатав на полученные деньги крышу или сменив венцы, вдруг соображали, за какую чечевичную похлебку они продали свое первородство, и пугались, что жильцы навеки «останутся на их шее», то есть завладеют площадью. Этим обычно сдача комнаты и кончалась: прописавшись и прожив положенные несколько месяцев, жилец договаривался с домоуправлением – здесь обычно не обходилось без «смазки» – и получал собственную «жировку», то есть право на площадь. Так происходило в жактовских домах, а в частных он просто отказывался выехать, и выселить его судом не удавалось, только платить он переставал. Именно таким образом большинство людей получили оседлость и площадь. Это было, так сказать, естественное перераспределение жилья. Шло оно гораздо интенсивнее, чем изъятие излишков и выдача ордеров, и сопровождалось драмами, скандалами и грудами доносов, с помощью которых и жильцы, и хозяева стремились избавиться друг от друга. Сейчас отношения упорядочились и конфликтам положен конец, потому что комнаты сдаются без прописки: жилец, находящийся на птичьем беспрописочном положении, ни на что претендовать не может. Единственная лазейка для склоки – соседский донос о непрописанном жильце, но начальство стало смотреть на это сквозь пальцы – время переменилось.

В Воронеже хозяева охотнее пускали на свою площадь ссыльных. Над ссыльными всегда висела угроза, что их вышлют в более глухое место, и в случае конфликта хозяин мог приложить к этому руку. Вот почему мы получали множество предложений, и О. М. по целым дням бегал смотреть комнаты по всяким трущобам, но нам долго не удавалось вселиться, потому что всюду требовали за год вперед. На летней террасе уже замерзала вода, когда я съездила в Москву и получила перевод. Он достался мне удивительно легко: Луппол слышал про «чудо» и был уверен, что без особого риска может обеспечить О. М. работой. Сделал он это с большой охотой. Полученный за перевод аванс мы отдали хозяину домика на окраине города, который удовлетворился оплатой за полгода вперед. Каждая поездка в город, а ездить приходилось много – справки, обмен паспорта, поиски работы для О. М. – была настоящим мучением – бесконечные ожидания на трамвайных остановках, толпы, гроздьями висящие на площадках вагонов, давка… До войны городской транспорт всюду, даже в Москве, был в чудовищном состоянии. В ту зиму мы познали всю

ярость степных ветров – люди, перенесшие крушение, особенно чувствительны к холоду. Мы убедились в этом в периоды очередных бесхлебиц и голода, а они регулярно повторяются через каждые несколько лет, войн и ссылок.

Вскоре выяснилось, что агроном, хозяин дома, где мы поселились, пустил нас, чтобы завести интересные знакомства. «Думал, придут к вам писатели – Кретова, Задонский, – румбу вместе танцевать будем», – жаловался обиженный хозяин в русских сапогах. Разочаровавшись, он «принял свои меры» – врывался, когда к нам приходили приятели, тоже ссыльные и тоже беспаспортные, Калецкий и Рудаков, и требовал для проверки паспорта: «У вас тут собрания, а я, как хозяин, отвечаю»… Мы выставляли хозяина из комнаты, и он печально вздыхал и, поймав меня одну, жаловался: «Хоть бы кто поприличнее к вам зашел»… Данные вперед деньги вернуть он не мог, и нам пришлось их отживать. О. М. посмеивался: ссыльные всегда страдали от своих хозяев – такова традиция. Раньше они бегали в полицию, теперь в ГПУ, а наш агроном только грозится и как будто «не пишет» и «не ходит» никуда. А это надо ценить…

Следующая комната – мы занимали ее с апреля 35-го по февраль 36 года – находилась в центре, в бывшей меблирашке, где ютился всякий сброд. Несколько раз в доме бывали ночные облавы – искали самогонщиков. Молоденькая соседка, проститутка, обожала О. М. за то, что он кланялся ей на улице, и вечно прибегала к нам с ведром – вымыть пол, но денег ни за что не брала: «Я вам по дружбе»… Заходила пожаловаться на жизнь старуха еврейка, растившая трех маленьких внуков. Наш хозяин взялся сжить ее со свету и писал, куда следует, доносы, обвиняя ее в проституции. Старуха оправдывалась возрастом – кому она такая нужна? – и размером комнаты, где внуки спали вповалку.

Наше счастье, что доносчики писали что попало, нисколько не заботясь о правдоподобии, а вплоть до 37 года оно все-таки требовалось, пока в прессе не появились статьи, рекомендующие сообщать властям о разговорах, которые ведут соседи. Донос больше всего, в сущности, отражает уровень доносчика, иллюстрируя, на какие взлеты способно его воображение. Второй воронежский хозяин занимал низшую ступень на этой лестнице. Однажды нас вызвали в приемную МГБ и показали один из его доносов на нас, предложив написать объяснение. Там было сказано, что ночью нас посетил какой-то подозрительный тип и из нашей комнаты послышалась стрельба. Первая часть доноса еще могла бы сойти, но вторая все погубила. Ночной посетитель, Яхонтов, афиши о выступлении которого были развешаны по всему городу, подтвердил, что просидел у нас до утра. На этом

дело и кончилось.

Самый факт вызова по поводу доноса показывал, что его не собираются использовать. Такое случалось со мной и после 37 года, правда, когда Ежова уже сняли и террор пошел на убыль. Однажды меня вызвали в отделение ГПУ при милиции в Москве, где после смерти О. М. я добилась временной прописки в своей квартире, и потребовали объяснений. На этот раз донос оказался довольно квалифицированным: в моей комнате происходят собрания, на которых ведутся контрреволюционные разговоры. Единственным человеком, посетившим меня, был Пастернак. Он прибежал ко мне, узнав о смерти О. М. Кроме него, никто не решался зайти, что я и объяснила уполномоченному. Дело кончилось ничем, то есть мне просто предложили выехать из Москвы до окончания срока временной прописки. На этот раз квартирной хозяйкой была я, а выживал меня временный жилец, вселенный к нам Союзом писателей под поручительство Ставского. Он называл себя писателем, а иногда сообщал, что по чинам равен генералу. Фамилия его Костырев. Когда после Двадцатого съезда мне собирались дать в Москве жилплощадь, меня вызвали в Союз писателей и спросили, каким образом я потеряла квартиру. Я рассказала про Костырева. Работник Союза Ильин долго искал это имя в писательских списках, но так и не нашел. Но кем бы ни был Костырев, писателем или генералом, роли это не играет: добывая себе квартиру, он действовал по трафарету, а «писали» у нас в самых различных слоях общества. Думаю, что Костырев пытался спланировать из органов в литературу, но это ему не удалось. Время, когда он вселился к нам, представляло собой переходный момент двойной службы и двойных заданий.

Воронежский квартирный хозяин, которому по ночам мерещилась стрельба, свою письменную деятельность зазорной не считал. Вероятно, он чувствовал себя полезным членом общества, охранителем порядка. В чем заключалась его служба, понять было нелегко. О ней он молчал, и мы предпочитали не спрашивать. Называл он себя «агентом» и постоянно выезжал в район «по делам коллективизации». Во всяком случае, он был мельчайшей сошкой, но и такие подбирались достаточно тщательно.

Жена «агента», молоденькая, почти девочка, которую он «взял за себя», чтобы избавить от тяжкой участи раскулаченной семьи, сдала комнату без его ведома во время одной из его длительных отлучек «по делам коллективизации». Сама она переехала в проходную кухню, а деньги отправила родителям. Муж получил на свою шею жильцов и никакой выгоды. Жена, хоть и «спасенная» этим рыцарем, крепко держала его в руках. Судя по

их разговорам, она кое-что про него знала, что даже в те жестокие времена не сошло бы с рук. В глаза и за глаза она называла его традиционным именем «Ирод», а когда она осыпала его отборной бранью, он робко поджимал хвост. Но с жильцами он все же примириться не мог и старался напакостить, как умел. Он заходил к нам в комнату, держа за хвост живую мышь – дом просто кишел всякой нечистью. Вежливый, по-военному подтянутый, он приветствовал нас с порога, а затем говорил: «Разрешите поджарить?» – и шел прямо к электрической плитке с открытой спиралью. Плитку он презирал, считая ее интеллигентской прихотью, одной из буржуазных замашек, с которыми честный советский гражданин должен бороться, как с кулачьем. Рудаков или Калецкий, вечно у нас торчавшие, вступались за мышь, и хозяин, изрядный трус, встретив сопротивление, позорно отступал. Из соседней комнаты доносились его шуточки об интеллигентских нервах: а я их еще не так припугну – кота зажарю… Замечательно, что он не пил и все свои трюки выполнял в абсолютно трезвом виде. Мышь была его коронным номером.

Когда О. М. уезжал в Тамбов в санаторий, «агент» выбросил наши вещи из комнаты – их подобрала и сохранила проститутка… Вернувшись, О. М. не знал, куда деваться, и отсиживался в редакции газеты, находившейся в соседнем доме. Оттуда позвонили в известное учреждение, где служил наш хозяин, он же мышеборец и «агент». К вечеру он неожиданно явился в редакцию и сказал: «Возвращайтесь, мне велели не скандалить», и мы поняли, как хорошо жить у сотрудников учреждений с военной дисциплиной. С тех пор «агент» был тише воды, ниже травы… Когда мы нашли новую комнату и выезжали, он сам погрузил наши вещи на извозчика и чуть не крестился от радости: кому бы пришло в голову, что победивший жилец не останется навеки?

Говорят, что от следующего жильца он избавился в 37 году, но долго пользоваться жилплощадью ему не удалось – его перевели на «внутреннюю работу» в лагерь.

Всего за три года в Воронеже мы сменили пять комнат, считая терраску. После «агента» мы переехали в роскошный новый дом ИТР к вдовушке, сдавшей сразу две комнаты – нам и молодому журналисту Дунаевскому. Добрый малый устроил нам этот чудесный переезд, но хозяйка тоже оказалась неудачной: журналист и не думал на ней жениться, а она нас пустила только, чтобы «устроить свою судьбу». Ей захотелось снова попытать счастья, и нам пришлось съезжать, чтобы уступить место потенциальному жениху. Последняя комната в крошечном,

вросшем в землю домишке у театральной портнихи оказалась раем, сном из безвозвратно ушедшего прошлого, наградой за все мытарства. Хотя О. М. спокойно относился ко всем неурядицам с хозяевами, у портнихи он все же ожил.

Портниха была самой обыкновенной женщиной, приветливой и добродушной. Она жила с матерью, которую называла бабушкой, и сыном Вадиком, мальчишкой, как все мальчишки. Муж, сапожник, умер несколько лет назад, и актеры, чинившие у него обувь, пристроили жену в театр, чтобы она могла прокормить семью. На сына ей выхлопотали пенсию – сапожник был коммунистом. Жили они, как полагается, на картошке, да еще бабушка держала в сарае с десяток кур. Двести рублей за комнату составляли в их доходе статью огромной важности. Обычно у нее жили актеры, и она среди них прославилась своим добродушием. Вот почему они нас к ней пристроили, и нам у нее дышалось легко.

Когда-то было много добрых людей. Мало того, даже злые притворялись добрыми, потому что так полагалось. Отсюда и лицемерие, и фальшь – великие пороки прошлого, разоблаченные критическим реализмом в конце девятнадцатого века. Результат этих разоблачений оказался неожиданным: добряки вывелись. Ведь доброта не только врожденное качество – ее нужно культивировать, а это делают, когда на нее есть спрос. Для нас доброта была старомодным, исчезнувшим качеством, а добряк – чем-то вроде мамонта. Все, чему нас учила эпоха – раскулачиванью, классовой борьбе, разоблачениям, срыванию покровов и поискам подоплеки под каждым поступком, – все это воспитывало какие угодно качества, только не доброту.

Доброту, как и добродушие, приходилось искать в захолустных местах, глухих к зову времени. Только пассивные люди сохраняли эти качества, завещанные предками. Вывернутый наизнанку гуманизм сказывался на всех и каждом.

У портнихи мы жили тихо, спокойно, по-человечески и совсем забыли, что у нас нет жилплощади. Проезжая на извозчике, в машине или трамвае по огромным городам Советского Союза, я часто с удивлением считала окна мелькавших домов: почему ни одного из этих окон я не могу назвать своим? Мне снились нелепые сны: коридоры, огромные, словно крытые потолком улицы, с дверями по обе стороны. Сейчас двери откроются, и я буду выбирать себе комнату. Иногда оказывалось, что за дверями живут мои уже умершие родственники. Я сердилась: оказывается, вы здесь – все вместе, зачем же я скитаюсь? Какой Фрейд посмеет объяснить эти сны вытесненными комплексами? загнанным внутрь половым

чувством? эдиповской мурой и прочими добродушными зверствами?

Кто-то сказал, что советские граждане не нуждаются в строительстве собственных домов: ведь они имеют право требовать, чтобы государство дало им бесплатную квартиру… Но у кого требовать? Даже во сне я не знала, как к этому приступиться, и просыпалась прежде, чем наступала блаженная минута, когда наконец выписывается ордер на право вселения, прописки и жировки. В Воронеже я еще питалась иллюзиями, что у меня есть квартира, с трудом добытая, единственная в своем роде. Сейчас у меня уже нет иллюзий и я знаю законы, по которым я не имею права ни на что. А сколько нас таких? Не думайте, пожалуйста, что я исключение. Имя нам легион.

Будущие поколения не поймут, что такое «площадь» в нашей жизни. Из-за жилплощади и ради нее совершалось немало преступлений. Люди привязаны к своей площади – они и помыслить не могут, чтобы ее оставить. Кто способен бросить ненаглядную, родную, драгоценную жактовскую комнату в двенадцать с половиной метров? Таких безумцев у нас нет, и площадь переходит по наследству, как родовые замки, особняки, имения. Мужья и жены, ненавидящие друг друга, тещи и зятья, взрослые сыновья и дочери, бывшие домработницы, зацепившиеся за комнату при кухне, – все они навеки связаны со своей «площадью» и расстаться с ней не могут. В вопросах развода и брака первым встает вопрос о жилплощади. Я слышала про рыцарей, уходящих из дому и оставляющих жене площадь, я слышала про невест с хорошей квартирой и про женихов, ищущих такую невесту… Умные женщины покупали ватник и нанимались в переряженном виде в уборщицы студенческих общежитий, где им отводили конурку. И там они застревали, годами терпели проклятия комендантов и угрозы выбросить их на улицу. В этих общежитиях живут и преподаватели, которых тоже поносят коменданты. Я могла бы зацепиться в одном из этих общежитий и, сидя запершись, до поздней ночи слушать песни и пляски веселых студенток, на которых часто не хватает койки, так что они спят вдвоем в обнимку с подругой.

С площадью связана и прописка – потеряешь прописку в своем городе и вовеки не вернешься. Для большинства людей собственная квартира оказывалась настоящей западней. Тучи уже сгущались над головой, вокруг одного за другим забирали друзей и сослуживцев. Мы это называли: снаряды ложатся ближе… А собственники жировки продолжали сидеть на месте и ждать, пока за ними явятся; ожидая, они еще тешили себя надеждой, что их эта чаша почему-то минет. Так охраняли они свою конуру, так

называемую квартиру, а если она была отдельная и в новом доме, то из нее для вящего сходства с западней был только один выход – черного хода в новых домах нет. Я знала только одну разумную женщину, которая во время ленинградского выселения дворян сложила вещи и удрала в провинцию, сохранив чистый паспорт и тем самым избавив себя от множества бед.

А меня от ареста спасла бездомность. Один раз мне удалось добиться жилплощади. Это было в 33 году, когда под натиском Бухарина нам дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки. Через полгода О. М. забрали, но квартиру сохранили за нами. Под нажимом писателей наш комендант Матэ Залка даже ездил в МГБ просить разрешения выбросить с площади ссыльного старуху – мою мать – и использовать квартиру для настоящего советского писателя. Но чудо продолжалось, и ему отказали, попросив передать писателям, жаждущим площади, что не надо быть большими роялистами, чем сам король. Сохранение квартиры внушало нам надежду, что О. М. собираются вернуть в Москву, но когда понадобилось, ее отобрали, выкинув, кстати, и меня, хотя я не числилась ссыльной. Останься я в московской квартире рядом с писателем-генералом, мои кости давно бы сгнили в общей лагерной яме. После второго ареста О. М., когда я слонялась без жилья и прописки, за мной пришли в нашу последнюю калининскую комнату, но меня там уже не было. Ведь не могла же я сохранить за собой эту комнату – она была в частном доме и стоила слишком дорого… Западни для меня не нашлось, и меня, бездомную, забыли, поэтому я выжила и сохранила стихи О. М.

А что, если б у доброй воронежской портнихи нашелся после нас, то есть летом 37 года, жилец, который перестал бы ей платить и получил отдельную жировку на занимаемую им комнату? Неужели и она догадалась бы поступить, как все, и пойти с доносом в органы: у моего жильца, мол, происходят незаконные собрания и ведутся контрреволюционные разговоры… я, как хозяйка, считаю своим долгом… Или она смиренно отказалась бы от приварка для матери и сына? Но про нее известно только одно – домик без крыльца разрушен войной и на его месте выросло что-то совсем другое…

# Деньги

Первое время в Воронеже материально нам жилось легче, чем когда-либо: пораженный чудом Гослитиздат дал переводную работу. Женя даже сказал, что Москва украсилась от пожара. Я спешно перевела какой-то гнусный роман и тут же получила второй договор. Но зимой 34/35 года работодателям, видно, влетело за их доброту – меня вызвали в Москву – «ознакомиться с методами перевода». Редактором был тогда Старцев. Он похвалил «методы», а завотделом выманил у меня книжку – ему вдруг понадобилось посмотреть, не требует ли мой роман сокращений… Больше я этой книги не видела, и вскоре она вышла в другом переводе («Гнездо простых людей»). Нам оплатили еще несколько листов перевода Мопассана по старому договору, и на этом приток денег из Москвы кончился.

Добиваясь работы, О. М. писал бесконечные заявления и ходил в местный Союз писателей. Вопрос о предоставлении работы «стоял принципиально», как у нас тогда выражались. Это значило, что ждали указаний сверху, а запросил о них Союз, то есть ведомство, за которым числился О. М. Ни мне, ни О. М. никогда нельзя было получить никакой работы без предварительного шебуршения и ожидания. Даже в 55 году я поступила на работу в Чебоксарах только после того, как Сурков куда-то съездил, получил санкцию и позвонил при мне о результате своих переговоров министру просвещения. А в 34 году ни одно учреждение не предоставило бы ссыльному работу без распоряжения сверху. Этим руководители учреждений пытались застраховаться от ответственности за наличие в штате неполноценного гражданина, но если наступал период «бдительности», никакие ссылки на прежние санкции и распоряжения сверху не помогали, тем более что эти санкции никогда не давались в письменном виде – кто-то кивнул головой, кто-то пробурчал по телефону: «Ну, что ж», кто-то в лучшем случае сказал: «Решайте сами – мы не возражаем»… В деле никаких следов этого бурчания и кивка не оставалось, и начальники зачастую жестоко расплачивались за «засорение аппарата чуждым элементом». Мы столько лет были «чуждым элементом», что изучили этот механизм как свои пять пальцев. Он претерпевал с течением времени некоторую эволюцию, и власть государства над человеком принимала все более четкие формы, а за последние восемь лет, прошедшие с Двадцатого съезда, положение резко изменилось – наступила новая эпоха. Но я говорю о Сталинском времени, и этапы, через которые прошел

О. М., иллюстрируют процесс закрепощения литературы; то же самое происходило и в других областях, несколько иначе, конечно, но суть оставалась та же.

В 22 году, когда мы вернулись из Грузии, все журналы поместили имя О. М. в списке сотрудников, но напечатать стихи становилось все труднее. Показателен был Воронский – он отвергал все. «Что я с ним сделаю? – жаловался секретарь редакции Сергей Антонович Клычков. – Он говорит: не актуально…» В 23 году О. М. сняли сразу из всех списков сотрудников. Это не могло быть случайностью, иначе не было бы такой согласованности во всей периодике. Вероятно, летом провели какое-то идеологическое совещание, и в литературе началось расслоение на своих и чужих. Зимой 23/24 года Бухарин, редактировавший журнал «Прожектор», сказал О. М.: «Я не могу печатать ваших стихов. Давайте переводы…» Скорее всего, первоначальное ограничение касалось только периодики, и купленная в 22 году книга стихов («Вторая книга») успела выйти в 23-м, но через два года Нарбут, заведовавший издательством «ЗиФ», повторил то же, что сказал Бухарин: «Тебя печатать не могу, а переводов дам сколько угодно». К этому времени все, кому не лень, писали, что Мандельштам бросил поэзию и перешел на переводы. За нашей прессой это повторило и «Накануне», и О. М. очень огорчился. Да и вообще, тогда уже стало достаточно трудно. «Они допускают меня только к переводам», – жаловался О. М. Но и с переводами дело обстояло не так просто. Существовала, конечно, естественная конкуренция, но, кроме того, О. М. никогда не попадал в число людей, которых приказывали «обеспечить». Со второй половины двадцатых годов переводческая работа доставалась все труднее, очевидно, оспаривалось само право О. М. на заработок. Не вышло ничего и с детскими книжками. Маршак сильно испортил «Шары» и «Трамвай»; единственной отдушиной были нищие частные издательства, пока они еще существовали. Кое-какие статьи О. М. тиснул в провинции (Киев) и в театральных журнальчиках. Все же полного запрещения еще не существовало, а только ограничения и «рекомендации» заботиться об «актуальности»… Новый этап – это борьба за «чистоту линии», открывшаяся статьей Сталина в «Большевике», в которой он приказал совсем не печатать неподходящих вещей (1930). Я работала тогда в ЗКП и по разговорам в редакции поняла, что с партизанщиной кончили и объявили планомерное наступление. И все же в печать прорвалось еще несколько стихотворений, но за «Путешествие в Армению» («Звезда») сняли редактора отдела – Цезаря Вольпе, который, впрочем, знал, на что идет. Кольцо сжималось постепенно.

Мандельштам и Ахматова первыми почувствовали на себе, что значит сталинская эпоха, но постепенно это узнали все. Многим зажим литературы был на руку. Они и сейчас рады бы вернуть старое и борются за свои позиции и за сохранение старых запретов.

В период ссылки ни о каком печатанье уже речи быть не могло, переводы тоже отобрали, и самое имя О. М. больше не упоминалось. Оно промелькнуло за все эти годы только несколько раз в ругательных статьях. Сейчас с имени запрет снят, но по инерции его не произносят, а в кочетовских кругах оно еще вызывает ярость. Ведь Эренбурга клеймили главным образом за несколько слов о Мандельштаме и Цветаевой. Зимой 36/37 года прекратились все заработки. Мне удалось получить первую работу лишь в 39 году, когда было объявлено, что жены заключенных продолжают пользоваться правом на труд, но в периоды бдительности меня всегда выгоняли. Так как вся работа находится в руках государства, единственное, что остается, это «под кремлевскими стенами выть». Ведь частные способы существования у нас были следующие (сейчас их нет): огород на участке, где стоит собственный дом, корова там же, но сеном распоряжается начальство; тайная портниха, пока она не попалась фининспектору, то же относится к машинистке, но пишущие машинки стоили до войны очень дорого; наконец, нищенство, но оно у нас не приносит дохода, потому что деньги есть только у верных слуг государства, а они не станут компрометировать себя связью с отверженными. Из всех этих способов мы прибегали, пока было возможно, к «вою», то есть добивались «принципиального решения вопроса». О. М. занимался этим в Воронеже, а я ездила в Москву и разговаривала, пока меня пускали, с деятелями Союза – Марченко, Щербаковым и другими… Они хранили непроницаемый вид и не отвечали ни на один мой вопрос, но все же кого-то «наверху» запрашивали.

В первую же зиму после ссылки у О. М. отобрали персональную пенсию. Я добивалась, чтобы ее восстановили, и убеждала Щербакова, что «заслуг в русской литературе» отнять нельзя, следовательно, пенсии отбирать не следовало. Мое остроумие не произвело на вельможу никакого впечатления. «Какие же могут быть заслуги в русской литературе, если Мандельштам сослан за свои произведения?» – парировал он. Мы все, в том числе и я, совершенно потеряли представление о правовых нормах, и мне самой любопытно, можно ли навсегда лишить пенсии, старческой, трудовой, персональной или академической, человека, осужденного на какой-то срок без поражения в правах.

Щербакова я не случайно назвала вельможей. Самый физический тип деятеля у нас менялся. До середины двадцатых годов мы всюду сталкивались с бывшими подпольщиками, окруженными соответствующей молодежью. Резкие, уверенные в своей непререкаемой правоте, они охотно пускались в споры, агитировали, часто бывали грубы. От них припахивало семинаристом и Писаревым. Постепенно их сменили круглоголовые блондины в вышитых украинских рубашках, эдакие рубахи-парни с развязно-веселой и вполне искусственной манерой, шуточками и нарочитой грубоватостью. На их место пришли молчаливые дипломаты – каждое слово на вес золота, ничего лишнего не сказать, никаких обещаний не дать, но произвести впечатление человека с весом и влиянием. Одним из первых сановников этого типа был Щербаков. Когда я в первый раз к нему пришла, мы оба несколько минут молчали. Я хотела, чтобы заговорил он; из этого ничего не вышло, потому что сановник предоставлял просительнице возможность изложить свою просьбу… Я поставила перед ним вопрос о печатании, хотя заранее знала, что все эти попытки обречены на полную неудачу. Он объяснил мне, что единственным критерием для печатания литературных произведений является их качество; стихи Мандельштама, очевидно, не выдерживают этой пробы, раз их не печатают. То же самое, но с менее выработанными интонациями повторил Марченко. Один раз Щербаков оживился. Он спросил меня, о чем пишет О. М. Я ответила: «О Каме»… Он недослышал. «О партизане?» – спросил он, почти улыбнувшись, но улыбка тотчас исчезла, когда он услышал, что речь идет о реке. «Почему о реке?» – спросил он. Ему это показалось диким. Секундное оживление Щербакова навело нас на мысль, что от О. М., вероятно, ждали в те дни славословий и гимнов и удивлялись, что он их не пишет. На этот шаг он решился только в 37 году, но тогда уже ничего во внимание не принималось.

Все-таки мы с О. М. пробили стену, и наши совместные усилия увенчались сравнительным успехом: его направили на работу в местный театр. Числился он заведующим литературной частью, но не имел ни малейшего понятия о том, что нужно делать. В сущности, он просто болтал с актерами, и они его любили. Кроме того, открыли для приработков местное радиовещание. Такой вид безымянной работы считался у нас допустимым даже для ссыльных, правда, только в спокойные периоды, когда в печати не мелькало слово «бдительность». На радио мы вдвоем сделали несколько передач – «Молодость Гёте», Гулливера для детей… О. М. часто писал вступительное слово к концертам, в частности к «Орфею и Эвридике» Глюка. Его

обрадовало, что, когда он шел по улице, из всех рупоров несся его рассказ про голубку-Эвридику… Там же он вольно перевел неаполитанские песенки для ссыльной певицы с низким голосом.

В этот благополучный для нас воронежский период жить все же было трудновато. Театр платил 300 рублей.

Этого хватало на комнату (мы платили от 200 до 300 за наши конуры) и разве что на папиросы. Радио тоже давало 200–300 рублей, а я иногда получала внутренние рецензии в газете и ответы на «самотек». Все вместе обеспечивало скромную еду: яичницу на обед, чай, масло. Коробка рыбных консервов считалась «пиром». Варили щи, а иногда, не выдержав, разорялись на бутылочку грузинского вина. Нам еще удавалось кормить Сергея Борисовича Рудакова, которому жена присылала 50 рублей – оплата одной только койки. В тот год – мы жили у «агента» – мы редко оставались одни: забегали актеры, приезжали с гастролями музыканты. Воронеж был одним из немногих провинциальных городов с собственным симфоническим оркестром, и все гастролеры проезжали через него.

О. М. ходил не только на концерты, но и на репетиции: его занимало, как дирижеры разно работают с оркестром. Тогда он задумал прозу о дирижерах, но она так и не осуществилась – не хватило времени. Когда с концертами приезжали Лео Гинзбург со своим однофамильцем Григорием, они проводили у нас много времени, и пиры разнообразились излюбленными ими консервированными компотами. Марья Веньяминовна Юдина специально добилась концертов в Воронеже, чтобы повидаться с О. М., и много ему играла. В наше отсутствие – мы были в районе – нас искал певец Мигай, и мы очень жалели, что он не застал нас. Все это были большие события в нашей жизни. О. М., человек общительный, не мог жить без людей…

Наше благополучие кончилось осенью 36 года, когда мы вернулись из Задонска. Радиокомитет упразднили, централизовав все передачи, театр отсох, и газетная работа тоже. Рухнуло все сразу. Тут, перебрав все частные способы жить, О. М. сказал: «Корова!» – и мы стали мечтать о корове и только потом узнали, что она нуждается в сене.

Как ни тяжело жилось даже в дни так называемого благополучия, воронежская передышка была неслыханным счастьем. Сам город очень нравился О. М. Он любил все, что хоть сколько-нибудь напоминало о рубеже, о границе, и его радовало, что Воронеж – петровская окраина, где царь строил азовскую флотилию. Он чуял здесь вольный дух передовых окраин и вслушивался в южнорусский, еще не украинский говор. Вот почему паровозные гудки заговорили у него по-украински.

Граница говоров проходила чуть южнее Воронежа, и бабы, тыча пальцем в сушеные фрукты, спрашивали: «Це що за вышенки?»… В селе Никольском О. М. записал названия улиц, уже переименованных, но хранившихся в памяти жителей. Люди этого села гордились происхождением от ссыльных преступников и беглых петровского времени, и улицы называли по их преступлениям: проезды душегубов, казнокрадов, фальшивомонетчиков… Записные книжки с дневниковыми записями О. М. погибли при втором аресте, а я забыла старорусские слова, которые с такой легкостью произносили жители Никольского. Были они прыгунами и сочиняли духовные стихи про свои неудачные полеты на небо. Незадолго до нашего приезда в селе разыгралась драма: они назначили день полета и, твердо поверив, что наутро их уже не будет на этой земле, роздали все свое имущество соседям, лишенным крыльев. Очнувшись после падения, они бросились отнимать свои вчерашние дары, и разгорелся страшный бой. Самые свежие стихи, раздобытые нами, повествовали о том, как прыгун прощается со своим любимым ульем прежде, чем подарить его. О. М. запомнил эти стихи с голоса и не раз читал наизусть: не хотелось прыгуну улетать на небо, нравилось ему на земле, где ульи, дом, жена и дети…

Зимой Воронеж представлял собой сплошное ледяное поле, вечную скользоту, ахматовские хрустали, по которым «я прохожу несмело»… Ведь даже в режимных городах не всюду сохранились дворники с лопатами и песком. О. М. не боялся ни льдов, ни ветра. Временами он обольщался городом, но чаще проклинал его и рвался бежать. В сущности, он просто тяготился прикреплением, как запертыми дверями. «Я по природе ожидальщик, – говорил О. М, – а меня еще сунули в Воронеж, чтобы я все время чего-то ждал…» Действительно, жизнь складывалась так, что мы все время чего-то ждали: денег, ответа на письмо или заявления, милостивого кивка или спасения… А на самом деле я никогда не видела человека, который так жадно жил бы настоящим, как О. М. Он почти физически ощущал протяженность времени, каждую минуту этой жизни. В этом смысле он прямо противоположен Бердяеву, который говорит, что никогда не мог примириться с временем и что всякая тоска есть тоска по вечности. Мне кажется, что для любого художника вечность уже ощутима в каждом продолжающемся и текущем мгновении, которое он рад бы остановить, чтобы сделать еще более ощутимым. Тоска художника – не томление по вечности, а временная потеря чувства, что каждая секунда объемна, изобильна, насыщена и сама по себе равносильна любой

вечности. В тоске же естественно зарождалось чувство будущего, и О. М. становился «ожидальщиком». В Воронеже оба эти свойства О. М. развернулись вовсю, и в минуты тоски он рвался бежать куда глаза глядят, но не мог, потому что был накрепко привязан к месту. А может, он просто был птицей, которая не переносит клетки, и поэтому все время собирал какие-то справки, чтобы его пустили хоть на несколько дней в Москву вырезать что-то вроде гланд – он в жизни не болел ангиной, – полечиться или для устройства своих «литературных дел», совершенно забывая при этом, что никаких литературных дел у него и в помине не было и быть не могло. Разрешения на поездку он, разумеется, не добился. Под влиянием его стонов А. А. Ахматова и Борис Леонидович даже ходили к Катаньяну просить о переводе в какой-нибудь другой город. На это тоже последовал отказ. Кабинет Катаньяна, открытый любому посетителю, существовал для сбора заявлений, на которые отвечали отказами. Так О. М. и просидел в Воронеже все три года и лишь один раз выехал за границы разрешенной области – в тамбовский санаторий, откуда он почти сразу удрал. А по области он ездил несколько раз с газетными командировками и в Задонск на дачу. Нам удалось поехать в Задонск, потому что Анна Андреевна раздобыла 500 рублей у Пастернака и прибавила 500 своих. Мы почувствовали себя богачами и провели в Задонске целых шесть недель.

Метания прекратились летом 36 года, когда в Задонске мы услышали, как радио оповещает нас о грядущих процессах и о наступлении нового этапа в нашей жизни. Приближался 37 год. К этому времени О. М. был уже тяжело болен. Врачи не хотели или не умели распознать его болезнь. Припадки походили на грудную жабу. Он плохо дышал, но продолжал работать. В сущности, он сжигал себя и хорошо делал. Будь он физически здоровым человеком, сколько лишних мучений пришлось бы ему перенести.

Впереди расстилался страшный путь, и теперь мы уже знаем, что единственным избавлением была смерть. Людям поколения О. М. и даже моего ни до чего дожить уже не придется. Но даже до относительного благополучия послесталинского периода, которое Анна Андреевна и я считаем настоящим счастьем, ему бы не дотянуть. Я это остро поняла в конце сороковых и начале пятидесятых годов, когда большинство вернувшихся из лагерей после окончания своего срока – а среди них многие побывали на войне – снова отправились в лагеря.

«О. М. правильно сделал, что сразу умер», – сказал мне Казарновский, встретившийся с О. М. в пересыльном лагере, а потом проведший с десяток лет на Колыме. Разве нам снилось такое в Воронеже? Ведь и мы, вероятно, верили, что самое худшее

позади… Вернее, мы старались не заглядывать в будущее, как и другие обреченные. Мы исподволь готовились к смерти, растягивая и удлиняя каждую минуту, чтобы вкус ее остался у нас на губах, потому что Воронеж был чудом и чудо нас туда привело.

# Истоки чуда

В письме к Сталину Бухарин сделал приписку, что у него был Пастернак, взволнованный арестом Мандельштама. Ясно, зачем эта приписка понадобилась Николаю Ивановичу: ею он сообщал о так называемом резонансе, или общественном мнении. Согласно нашим обычаям, его нужно было персонифицировать. Можно сказать, что кто-то один волнуется, но нельзя обмолвиться о настроении или недовольстве целой группы, интеллигенции, скажем, или литературных кругов… Никакая группа у нас не имеет права на собственное отношение к событиям. В таких вещах существуют тончайшие градации, понятные только тем, кто побывал в нашей шкуре. Бухарин сумел соблюсти все приличия, чтобы обеспечить делу успех. А вот приписка объясняет, почему Сталин для своего телефонного звонка выбрал не кого иного, как Пастернака.

Разговор состоялся в конце июня, когда дело уже было пересмотрено. Пастернак широко о нем рассказывал. В тот же день он был у Эренбурга, находившегося в Москве… Но никому из заинтересованных лиц, то есть ни мне, ни Евгению Яковлевичу, ни Анне Андреевне, он почему-то не обмолвился о нем ни словом. Правда, он в тот же день позвонил по телефону Евгению Яковлевичу, уже знавшему о пересмотре дела, и заверил его, что все будет хорошо, но этим заверением и ограничился. Женя счел эти слова просто за оптимистический прогноз и никакого значения им не придал. Сама я узнала о сталинском звонке только через несколько месяцев, когда, уже переболев тифом и дизентерией, вторично приехала из Воронежа в Москву. В случайном разговоре Шенгели спросил у меня, дошли ли до нас слухи о звонке Сталина Пастернаку и соответствуют ли эти слухи действительности… Шенгели не усумнился, что все это вымысел досужего воображения, раз Пастернак ничего мне не сообщил. Но я все же решила съездить на Волхонку: ведь дыма-то, да еще такого, без огня не бывает… Рассказ Шенгели подтвердился до малейшей детали – Пастернак, передавая мне разговор, употреблял прямую речь, то есть цитировал и себя, и своего собеседника. Точно так рассказывал мне и Шенгели: очевидно, всем Пастернак передавал это в одинаковом виде, и по Москве он распространился в точном варианте. Я передаю его рассказ текстуально.

Пастернака вызвали к телефону, предупредив, кто его вызывает. С первых же слов Пастернак начал жаловаться, что плохо слышно, потому что он говорит из коммунальной

квартиры, а в коридоре шумят дети. В те годы такая жалоба еще не означала просьбы о немедленном, в порядке чуда, устройстве жилищных условий. Просто Борис Леонидович в тот период каждый разговор начинал с этих жалоб. Мы с Анной Андреевной тихонько друг друга спрашивали, когда он нам звонил: «Про коммунальную кончил?» Со Сталиным он разговаривал, как со всеми нами.

Сталин сообщил Пастернаку, что дело Мандельштама пересматривается и что с ним все будет хорошо. Затем последовал неожиданный упрек, почему Пастернак не обратился в писательские организации или «ко мне» и не хлопотал о Мандельштаме. «Если бы я был поэтом и мой друг поэт попал в беду, я бы на стены лез, чтобы ему помочь»…

Ответ Пастернака: «Писательские организации этим не занимаются с 27 года, а если б я не хлопотал, вы бы, вероятно, ничего бы не узнали…» Затем Пастернак прибавил что-то по поводу слова «друг», желая уточнить характер отношений с О. М., которые в понятие дружбы, разумеется, не укладывались. Эта ремарка была очень в стиле Пастернака и никакого отношения к делу не имела. Сталин прервал его вопросом: «Но ведь он же мастер, мастер?» Пастернак ответил: «Да дело не в этом…» «А в чем же?» – спросил Сталин. Пастернак сказал, что хотел бы с ним встретиться и поговорить. «О чем?» «О жизни и смерти», – ответил Пастернак. Сталин повесил трубку. Пастернак попробовал снова с ним соединиться, но попал на секретаря. Сталин к телефону больше не подошел. Пастернак спросил секретаря, может ли он рассказывать об этом разговоре или следует о нем молчать. Его неожиданно поощрили на болтовню – никаких секретов из этого разговора делать не надо… Собеседник, очевидно, желал самого широкого резонанса. Чудо ведь не чудо, если им не восхищаются.

Подобно тому, как я не назвала имени единственного человека, записавшего стихи, потому что считаю его непричастным к доносу и аресту, я не привожу единственной реплики Пастернака, которая, если его не знать, могла бы быть обращена против него. Между тем реплика эта вполне невинна, но в ней проскальзывают некоторая самопоглощенность и эгоцентризм Пастернака. Для нас, хорошо его знавших, эта реплика кажется просто смешноватой.

Теперь уже всем ясно, чего стоило сталинское чудо, а Пастернаку выпала честь не только распространять весть о нем по Москве, но еще и выслушивать поучения. Цель чуда была достигнута – внимание переключилось с жертвы на милостивца, с ссыльного на чудотворца. Удивительная черта времени – ни один человек, обсуждавший чудо, не задался вопросом, почему Сталин

делает такое исключение для поэтов, что считает нужным лезть на стены, чтобы выручить друга-поэта из беды, в то время как своих друзей и товарищей он совершенно спокойно отправляет на гибель. Об этом не задумался даже Пастернак, и его слегка передернуло, когда я ему это сказала. Мои современники совершенно серьезно восприняли сталинское поучение о дружбе поэтов и восхищались властителем, проявившим такую горячность и темперамент. А у нас с О. М. в глазах стоял Ломинадзе, отозванный для казни из Тифлиса, когда О. М. вел с ним переговоры о том, чтобы остаться на архивной работе в Тифлисе. И, кроме Ломинадзе, все те, чьи головы слетели к этому времени. Их было немало, но у нас упорно продолжают вести счет с 37 года, в котором Сталин вдруг переродился и начал всех уничтожать.

Сам Борис Леонидович остался недоволен своим разговором со Сталиным и многим жаловался, что не сумел его использовать, чтобы добиться встречи. Жаловался он и мне… Об О. М. он не беспокоился, так как безоговорочно поверил словам своего собеседника, что с ним будет все в порядке. Тем острее воспринималась собственная неудача: Борис Леонидович, подобно многим людям нашей страны, болезненно интересовался кремлевским затворником. Я считаю, что Борису Леонидовичу повезло, что эта вожделенная встреча не состоялась, но к моменту, когда все это происходило, мы еще многого не понимали. Нам еще кое-что предстояло познать. И вот вторая удивительная черта эпохи: почему неограниченные владыки, обещавшие организовать, чего бы это ни стоило, настоящий рай на земле, так ослепляли своих современников? Сейчас никто не усумнится в том, что в столкновении двух поэтов с властителем и моральный авторитет, и чувство истории, и внутренняя правота были у поэтов. Между тем Борис Леонидович тяжело пережил свою неудачу и сам мне говорил, что долго после этого не мог даже писать стихов. Было бы еще понятно, если бы Пастернак захотел собственноручно пощупать язвы эпохи. Как известно, он впоследствии это сделал, но никаких встреч с властителями ему для этого не понадобилось. А тогда, как мне кажется, Пастернак верил, что в его собеседнике воплощаются время, история и будущее, и ему просто хотелось вблизи посмотреть на такое живое и дышащее чудо.

Сейчас распространяются слухи, что Пастернак так струсил во время разговора со Сталиным, что отрекся от О. М. Незадолго до его болезни мы встретились с ним на улице, и он мне об этом рассказал. Я предложила вместе записать разговор, но он этого не захотел. А может, события развернулись так, что ему было не до

прошлого.

Что можно инкриминировать Пастернаку, особенно если учесть, что Сталин сразу сообщил о пересмотре дела и о своей милости? В нынешних версиях говорится, будто Сталин требовал, чтобы Пастернак поручился за О. М., а он отказался от поручительства. Ничего подобного не было, ни о каком поручительстве речь даже не заходила.

О. М., выслушав подробный отчет, остался вполне доволен Пастернаком, особенно его фразой о писательских организациях, которые «этим не занимаются с 27 года»… «Дал точную справку», – смеялся он. Он был недоволен самим фактом разговора: «Зачем запутали Пастернака? Я сам должен выпутываться – он здесь ни при чем…» И еще: «Он совершенно прав, что дело не в мастерстве… Почему Сталин так боится «мастерства»? Это у него вроде суеверия. Думает, что мы можем нашаманить…» И наконец: «А стишки, верно, произвели впечатление, если он так раструбил про пересмотр…»

Кстати, неизвестно, чем бы кончилось, если б Пастернак запел соловьем о мастерстве и мастерах – может, прикончили бы О. М., как Михоэлса, и уж во всяком случае приняли бы более жесткие меры, чтобы уничтожить рукописи. Я уверена, что они уцелели только благодаря постоянной брани лефовских и символистических современников: бывший поэт, бывший эстет, бывшие стихи… Считая, что О. М. уже уничтожен и растоптан, что он, как говорили, уже «вчерашний день», начальство не стало искать рукописи и затаптывать следы. Они просто сожгли то, что им попалось в руки, и вполне этим удовольствовались. Будь они более высокого мнения о поэтическом наследстве Мандельштама, ни меня, ни стихов не осталось бы. Когда-то это называлось «развеять прах по ветру»…

Заграничная версия разговора со Сталиным совершенно нелепа – там пишут, будто О. М. прочел стихи в гостях у Пастернака при посторонних, а бедного хозяина «таскали в Кремль и мучали»… Каждое слово показывает полное незнание нашей жизни. Впрочем, у кого хватит воображения, чтобы реально представить себе, как мы были скованы? Слова о Сталине никто не смел сказать, не то что прочесть «в гостях» такие стихи… Прийти в дом и при гостях прочесть стихи против Сталина мог только провокатор, да и то он не решился бы.

А в Кремль «для допросов» никого не вызывали – это было место для парадных приемов и награждения орденами. Для допросов существовала Лубянка, куда Пастернака по поводу Мандельштама не вызывали. Жалеть его по поводу разговора со Сталиным совершенно не стоит – это ему ничуть не повредило.

Кроме того, жизнь сложилась так, что у Пастернака мы не бывали, изредка он приходил к нам. Это нас вполне устраивало.

# Гибельный путь

Смерть художника не случайность, а последний творческий акт, как бы снопом лучей освещающий его жизненный путь. О. М. понимал это еще юношей, когда писал статью на смерть Скрябина. Почему удивляются, что поэты с такой прозорливостью предсказывают свою судьбу и знают, какая их ждет смерть? Ведь конец и смерть – сильнейший структурный элемент, и он подчиняет себе все течение жизни. Никакого детерминизма здесь нет, это, скорее, надо рассматривать как свободное волеизъявление. О. М. властно вел свою жизнь к той гибели, которая его подстерегала, к самой распространенной у нас форме смерти «с гурьбой и гуртом». Зимой 32/33 года, на вечере стихов О. М. в редакции «Литературной газеты», Маркиш вдруг все понял и сказал: «Вы сами себя берете за руку и ведете на казнь»… Это перифраз строчек О. М. в варианте одного стихотворения: «Сам себя я за руку по улицам водил…»

О. М. постоянно говорил в стихах об этом виде смерти, но этого не заметили, как и разговоров Маяковского о самоубийстве. Но, готовясь к смерти, люди в последнюю минуту стараются оттянуть неизбежный конец. Они закрывают глаза и делают вид, что спрятались и могут продолжать жить: ищут квартиру, покупают прочную обувь, отворачиваются от уже вырытой ямы. Так поступал и О. М., написав роковые стихи о Сталине.

Стихи были написаны в конце раскулачивания между «Старым Крымом» и «Квартирой». Был ли психологический импульс к написанию этих стихов? Импульсов было, наверное, несколько или множество, а не один. Каждый из них в какой-то пропорции участвовал в том, что на языке следователя называлось «акцией» и в начале следствия рассматривалось как террористический акт.

Первый импульс можно назвать «не могу молчать». Поколение наших отцов часто произносило эту формулу. Мы не повторяли ее за отцами, но, видно, есть капля, которая переполняет чашу. К 33 году мы сильно продвинулись в познании действительности. Сталинизм уже проявился в массовом предприятии – раскулачивании – и в частном – в организации на службу государству литературы, перед которой были поставлены чисто государственные цели.

Летом мы были в Старом Крыму, и в стихах впервые появились слова, указывающие, что О. М. видел свежие следы раскулачивания – страшные тени Украины и Кубани, голодные крестьяне… В первом варианте стихов Сталин назван душегубцем

и мужикоборцем. Все об этом тогда думали и говорили – шепотом, конечно, и стихи не опередили своего времени. Они опередили только сознание правящих кругов и тех, кто им прислуживал.

Вторая предпосылка для написания этих стихов – сознание собственной обреченности. Прятаться «шапкой в рукав» было поздно. Стихи тридцатых годов уже ходили по рукам. В «Правде» появился разносный подвал без подписи, где «Путешествие в Армению» называлось «лакейской прозой». Это было уже не предупреждение, а подведение итогов. До этого со мной говорил редактор Гослита Чечановский, который «советовал» немедленно в печати отказаться от «Путешествия в Армению», иначе, как он говорил, вы раскаетесь… Все предупреждения в форме угроз и советов были уже сделаны (Тройский, Гусев), но О. М. ими пренебрег. Гибель надвигалась.

Я не помню ничего страшнее зимы 33/34 года в новой и единственной в моей жизни квартире. За стеной – гавайская гитара Кирсанова, по вентиляционным трубам запахи писательских обедов и клопомора, денег нет, есть нечего, а вечером – толпа гостей, из которых половина подослана. Гибель могла прийти в форме быстрого или медленного уничтожения. О. М., человек активный, предпочел быстрое. Он предпочел умереть не от руки писательских организаций, которым принадлежала инициатива его уничтожения, а от карающих органов.

Обычной формы самоубийства О. М. не признавал, как и Анна Андреевна. А на самоубийство толкало все – одиночество, изоляция, время, тогда работавшее против нас.

Одиночество – это не отсутствие друзей и приятелей – их всегда вдосталь, а жизнь в обществе, которое не слышит предостережений и продолжает идти с закрытыми глазами по страшному братоубийственному пути, увлекая за собой всех и каждого. О. М. не случайно назвал Анну Андреевну Кассандрой. В этом положении были не только поэты. Люди старшего, чем мы, поколения видели, что надвигается, но их голоса потерялись и замерли. Еще до победы «нового» они успели сказать об его этике, идеологии, нетерпимости и об искаженных представлениях о праве. Голос вопиющего в пустыне… И с каждым днем становилось яснее, что говорить с отрубленным языком становится все труднее.

Выбирая род смерти, О. М. использовал замечательное свойство наших руководителей: их безмерное, почти суеверное уважение к поэзии: «Чего ты жалуешься, – говорил он, – поэзию уважают только у нас – за нее убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убивают»…

О. М. в витрине рассматривал портреты и сказал, что боится только человеческих рук. Жирные пальцы в стихах – несомненный отголосок истории Демьяна; недаром тот испугался и посоветовал Пастернаку не вмешиваться в это дело. Тонкую шею О. М. приметил у Молотова – она торчала из воротничка, увенчанная маленькой головкой. «Как у кота», – сказал О. М., показывая мне портрет. Честь оживления слова «тонкошеий» принадлежит Кузину. Он развлекался столкновением трех «е» в среднем роде этого прилагательного: тонкошеее животное…

Первые слушатели этих стихов приходили в ужас и умоляли О. М. забыть их. К тому же самоочевидность этой правды уменьшала для современников ценность стихотворения. В последние годы я замечаю сочувственную реакцию у слушателей. Кое-кто спрашивает меня, каким образом уже в 34 году О. М. все понял – нет ли ошибки в датировке? Это люди, принявшие официальную версию: все шло хорошо до ежовщины, а в сущности, и ежовщина не так плоха, а просто к старости, уже после войны, старик обезумел и наделал бед… Впрочем, эта версия уже отжила срок, и правда постепенно просачивается. Но мы продолжаем идеализировать двадцатые годы, а к ним прихватываем еще и кусочек тридцатых. И это упорно у нас бытует. Старые поколения вымирали, не успев ничего сказать. Нынешние старики, даже побывавшие в лагерях, по-прежнему твердят о своей цветущей молодости, которая оборвалась только с их арестом. Что будут думать наши внуки, если все мы молча уйдем?

Среди современников я зарегистрировала три обособленных мнения о стихах о Сталине. Кузин считал, что О. М. не имел права их писать, потому что О. М. в общем положительно относился к революции. Он обвинял О. М. в непоследовательности: принял революцию, так получай своего вождя и не жалуйся… В этом есть своя дубовая логика. Но я не понимаю, как Кузин, любивший и наизусть знавший стихи и прозу – на старости он об этом забыл и даже написал Морозову, что никогда «Путешествие в Армению» не читал, – не заметил раздвоенности и вечных метаний О. М. Очевидно, люди с трудом понимают замаскированные или даже слегка прикрытые высказывания. Им нужно, чтобы все било прямо в лоб. Иногда мне кажется, что О. М. пошел на такое «лобовое» высказывание, потому что устал от глухоты своих слушателей, которые твердили: какие прекрасные стихи, но при чем здесь политика?! Почему их не печатают?

Эренбург не признавал стихов о Сталине. Он называл их «стишками», к ужасу милой и вежливой Любы, которая не знает,

что другого слова для стихов у нас вообще не существовало. «Послушай стишок, – говорил О. М., – как он? Ничего?»… Илья Григорьевич считает их одно-плановыми и лобовыми, случайными в творчестве О. М.

Каково бы ни было качество этих стихов, можно ли их считать случайными для поэта, если они принесли ему страшную гибель? Стихи эти были актом, поступком; с моей точки зрения, они логически вытекают из всей жизни и работы О. М. Столь же несомненно, что в них есть элемент своеобразного приспособленчества: Мандельштам, никогда не делавший шага навстречу читателю, совершенно не заботившийся, чтобы быть понятым, считавший каждого слушателя стихов и собеседника равным себе и потому не разжевывавший свои мысли и не упрощавший их, именно эти стихи сделал общедоступными, прямыми, легкими для восприятия. С другой стороны, он позаботился о том, чтобы они не могли служить примитивным средством политической пропаганды, – об этом он даже сказал мне: «Это не мое дело». Иначе говоря, он написал эти стихи в расчете на более широкий, чем обычно, круг читателей, хотя знал, что в момент написания читателей у него быть не могло. Думаю, что он не хотел уйти из жизни, не оставив недвусмысленного высказывания о том, что происходило на наших глазах.

Враждебно относился к этим стихам и Пастернак. Он обрушился на меня – О. М. был уже в Воронеже – с целым градом упреков. Из них я запомнила: «Как мог он написать эти стихи – ведь он еврей!» Этот ход мыслей и сейчас мне непонятен, а тогда я предложила Пастернаку еще раз прочесть ему это стихотворение, чтобы он конкретно показал мне, что в них противопоказано еврею, но он с ужасом отказался.

Отношение первых слушателей наводило на память рассказ Герцена о разговоре его со Щепкиным, который приехал в Лондон, чтобы просить Герцена прекратить свою деятельность: ведь молодых людей в России хватают за то, что они читают «Колокол»… К счастью, «дела» не подняли и никто не погиб за то, что выслушал стихи О. М. Да и сам Мандельштам отнюдь не политический писатель, и его общественные функции совершенно непохожи на герценовские… Но где, в самом деле, проходит граница? В какой степени следует оберегать и щадить своих сограждан? Когда речь идет о современниках Герцена, я удивляюсь Щепкину: как можно так ограждать людей? Нельзя держать их в ватной коробке… А своих современников мне что-то не хочется ставить под удар – пусть уж лучше мирно живут и приспособляются к тяжким временам: даст Бог, все пройдет, а там

посмотрим… Жизнь возьмет свое, и все станет на место… Зачем будить спящих, если я верю, что они когда-нибудь сами проснутся. Не знаю, права ли я, но, как и все, я заражена инстинктом бездеятельности, пассивности и покорности…

Мне ясно только одно: стихи О. М. опередили свое время, к моменту их появления почва еще не созрела, идея не была изжита. Еще вербовались сторонники режима и слышались искренние голоса адептов, веривших, что будущее за ними и тысячелетнему царству не будет конца. Остальные – численно их было, может, даже больше, чем адептов, – только перешептывались и вздыхали. Никто не слышал их голосов, потому что в них не нуждались. Строчка «Наши речи за десять шагов не слышны» точно передает ситуацию тех лет. Ведь эти речи считались не новым, а старым, отжившим, прошлым, которого уже не вернешь… Адепты верили не только в свое будущее торжество, но и в то, что они несут счастье всему человечеству, и в их мировоззрении были своеобразная целостность и органичность, которые представляли собой величайший соблазн. Уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности, возможности из одной идеи вывести все объяснения для мира вещей и людей и привести все в гармонию одним-единственным усилием. Вот почему люди так охотно ослепляли себя и шли за вожаком, запрещая себе сравнивать теорию с практикой и взвешивать последствия своих поступков. Вот почему происходила планомерная потеря чувства реальности, а ведь найти первоначальную теоретическую ошибку можно было, только вновь обретя это чувство. Пройдет еще немало времени до того дня, когда мы сосчитаем, чего нам стоила эта теоретическая ошибка, и проверим, действительно ли «десяти небес нам стоила земля»… Заплатив небесами, действительно ли мы обрели землю?

# Капитуляция

У О. М. был долгий период молчания. Он не писал стихов – прозы это не коснулось – больше пяти лет: с 1926-го по 30 год. То же произошло с Ахматовой – и она какое-то время молчала, а у Бориса Леонидовича это длилось добрый десяток лет. «Что-то, должно быть, было в воздухе», – сказала Анна Андреевна, и в воздухе действительно что-то было – не начало ли общего оцепенения, из которого мы и сейчас не можем выйти…

Можно ли считать случайностью, что трех действующих поэтов постигло временное онемение? Различие в исходных позициях этих троих сущности дела не меняет, и чтобы обрести голос, каждому из них пришлось определить свое место в мире, который создавался на наших глазах, и на собственной судьбе показать, какое место в нем занимает человек.

Первым из троих замолчал О. М. Это случилось, вероятно, потому, что процесс самоопределения протекал у него с наибольшей остротой: отношения с эпохой стали основной движущей силой его жизни и поэзии, а по свойствам его характера – «нрава он не был лилейного» – О. М. не сглаживал, а скорее, обострял все противоречия и каждый вопрос ставил ребром. Стихи прекратились в середине двадцатых годов. Что же было тогда в воздухе, что О. М. задохнулся и умолк?[26]

Если судить по внешним признакам, мы прожили не одну, а несколько эпох. С точки зрения историка, это сорокалетие легко поддается периодизации и в нем различимы несколько этапов, которые могут показаться не только разными, но и противоречивыми, хотя я убеждена, что один логически вытекал из другого. То и дело исчезал верхний слой, изменялся даже физический облик деятеля. Так мы внезапно заметили, что исчезли «черненькие», сменившиеся «беленькими», которые, в свою очередь, быстро пали. А с этими сменами изменялся весь стиль жизни и управления. Но есть нечто, объединяющее все эти периоды. Люди, утверждавшие, что двигателем истории является «базис», экономический фактор, всей своей практикой доказали, что история – это развитие и воплощение идеи. Эта идея формировала сознание целых поколений, вербуя сторонников, распространяясь, завоевывая умы, создавая формы государственной и общественной жизни, торжествуя, а затем постепенно изживая себя и сходя на нет. Вячеслав Иванов при мне – мы навестили его в Баку проездом в Тифлис в 21 году – сказал, что бросил Москву и скрылся в бакинском уединении, потому что «идеи перестали править миром» и он в этом убедился. Какие

Дионисовы культы подразумевал под своей идеей Вячеслав Иванов, учитель, мэтр и пророк десятых годов, если он не заметил, что ко времени нашего разговора идея уже успела завоевать огромные пространства и массы людей не только у нас, но и за рубежом. Это идея о том, что существует непреложная научная истина и люди владеют ею; владея истиной, они могут предвидеть будущее и менять по своему усмотрению течение истории, вводя в него благоразумное начало. Отсюда авторитет владеющих истиной – priera tus dignitatis. Эта религия – адепты скромно называли ее наукой – возводит человека, облеченного авторитетом, на уровень Бога. Она разработала свой символ веры и свою мораль – мы видели ее в действии. В двадцатых годах было немало людей, вспоминавших, как победило христианство, и пророчивших по аналогии тысячелетнее царство новой религии. Самые совестливые проводили аналогию дальше, перечисляя исторические преступления церкви: ведь не изменила же инквизиция сущности христианства… И всем было ясно преимущество новой идеи, обещавшей рай на земле вместо небесной награды. Но самое существенное – это полный отказ от сомнений и абсолютная вера в добытую наукой истину.

«А что, если это не так, если в будущем на это посмотрят иначе?» – спросила я Авербаха. Речь шла об одной из его литературных оценок. Он сказал: «Говорят, Осип Эмильевич вернулся из Армении и напечатал плохие стихи»… Меня заинтересовал его критерий. Он объяснил: у О. Э. нет классового подхода. И через секунду: никакой вообще культуры и вообще искусства не существует, есть искусство буржуазное и искусство пролетарское, то же относится к культуре… Ничего вечного нет, а ценности бывают только классовые. Его нисколько не смущало то, что свои классовые ценности он считает все-таки вечными. Поскольку победа пролетариата начинает новую эру и будет длиться вечно, те ценности, которые устанавливает Авербах для класса, которому он служит, являются вечными. Он искренне удивился, как я могу сомневаться в его оценках, – ведь он владеет единственным научным методом и поэтому его суждение непререкаемо: осужденное им осуждено в веках. Я рассказала об этой встрече Мандельштаму – все эти истины я узнала, стоя на площадке трамвая. О. М. восхитился лапидарным величием Авербаха, который действительно верил в свою истину и упивался своеобразным изяществом своих логических построений. Дело происходило в тридцатом году, и О. М. уже мог восхищаться игрой авербаховского ума. К этому времени О. М. успел вернуть себе внутреннюю свободу и обрел голос – двадцатые годы с их ущербностью и сомнениями кончились,

поэтому О. М. мог как бы со стороны прислушиваться к «пеньковым речам» и не принимать их близко к сердцу.

Авербах был типичнейшим человеком первого революционного десятилетия. Так думали, рассуждали и говорили все адепты новой религии во всех областях. В их речах чувствовался задор – они любили поучать и ошеломлять. Они взяли на себя свержение кумиров, то есть старых ценностных понятий, а время работало на них, и поэтому никто не замечал, какими топорными орудиями они работают.

Крик «За что боролись?» раздался в самом начале двадцатых годов и сразу умолк Народ еще не безмолвствовал, а молчал, готовясь жить и благоденствовать. Интеллигенция же на досуге занялась переоценкой ценностей – это был период массовой капитуляции. По существу, они шли по пути, проложенному ниспровергателями дореволюционного периода и их продолжателями типа Авербаха, но, разумеется, старались избежать крайностей и грубой прямоты передовиков. Во главе движения капитулянтов были тридцатилетние, успевшие побывать на войне. Они вели за собой младших. Вообще в те годы действовали люди тридцати-сорока лет. Старшие, если они уцелели, молча отходили в сторону. В основе каждой капитуляции лежала предпосылка, что на смену «старому» пришло «новое», а тот, кто держится за «старое», останется на бобах. Это воззрение было подготовлено теорией прогресса, а также историческим детерминизмом новой религии. Капитулянты расшатывали все старые представления хотя бы потому, что они старые и, следовательно, отслужили свой срок. Для огромного числа неофитов никаких ценностей, истин и законов больше не существовало, кроме тех, которые нужны были сейчас и назывались для удобства классовыми. Христианская мораль с легкостью отождествлялась с буржуазной, а вместе с ней – древняя заповедь «не убий». Все казалось фикцией. Свобода? А где вы ее видели?.. Никакой свободы нет и не бывало… Искусство, а тем более литература, только и делали, что выполняли заказ своего класса – из этого прямой вывод: писателю следует с полным сознанием и пониманием дела перейти к новому заказчику… Из обихода исчезло множество слов – честь, совесть и тому подобное. Развенчать эти понятия не так уж трудно, когда открыт рецепт развенчивания.

Характерно, что всяким понятием в те годы орудовали в его чистом, то есть абсолютно абстрактном виде, без малейшего учета его социальной, человеческой и земной природы. В таком виде они легко поддавались низложению: ничего нет проще, чем доказать, например, что нигде в мире нет абсолютной свободы

печати, а затем заявить, что вместо суррогатов, которыми тешатся жалкие либералы, лучше с мужественной прямотой добровольно отказаться от всяких потуг на свободу. Эти схемы казались убедительными, потому что незрелые умы не доросли ни до ограничительных понятий, ни до отрицательных определений.

Психологически всех толкал на капитуляцию страх остаться в одиночестве и в стороне от общего движения, да еще потребность в так называемом целостном и органическом мировоззрении, приложимом ко всем сторонам жизни, а также вера в прочность победы и в вечность победителей. Но самое главное это то, что у самих капитулянтов ничего за душой не было. Эту поразительную пустоту лучше всех, пожалуй, выразил Шкловский в «Zoo», злосчастной книжке, где он слезно просит победителей взять его под опеку. Сами они себя, что ли, обокрали или это война и окопы вызвали такую горестную реакцию, но чувство несовершеннолетия и потребность в опеке ощущались с огромной силой. Только тот, кто разделял эти чувства с другими, мог быть признан современным человеком.

«В вопросах литературы они должны спрашивать у нас, а не мы у них», – сказал О. М. в редакции «Прибоя», отказываясь подписаться под коллективной писательской петицией, потому что она основывалась на постановлении ЦК о литературе. Речь шла о защите какого-то критика от нападок РАППа – его обвиняли в том, что он написал рецензию на роман Ляшко, не дочитав его до конца. Писатели писали наверх, прося ЦК распорядиться о прекращении травли. Они ссылались на постановление, предлагающее положить конец литературной борьбе – «распрям», как это тогда называлось, – и дружно приняться за труд, чтобы объединенными усилиями отлично выполнить партийный заказ.

В редакции, как всегда, толпилось много народу. Они окружили О. М. Мотивировка отказа, как мы заметили, вызвала самое искреннее недоумение. Для присутствовавших слова О. М. были ветошью из сундуков прошлого, признаком несовременности и отсталости. В искренности их недоумения сомневаться не стоит: я помню удивленное лицо Каверина, собиравшего подписи. И ему О. М. показался просто старомодным чудаком, не понимавшим своего времени и его основных тенденций. Когда О. М. и Анне Андреевне было по тридцать с лишним лет, их искренне считали стариками. Но случилось так, что оба они стали постепенно молодеть в сознании людей, а позиции сторонников «нового» безнадежно на глазах обветшали.

Андерсеновский мальчик сказал, что король гол, не рано и не поздно, а как раз вовремя. До него это говорили, наверное, не раз,

но никто не услышал этих слов. А вот О. М. многое сказал слишком рано, и это было в ту пору, когда всякое нормальное суждение казалось безнадежно устаревшим и обреченным. Кто не вторил общему хору, попадал на задворки. Общий хор заглушал все, он действительно звучал мощно. Сейчас многие хотели бы соединить двадцатые годы с сегодняшним днем и восстановить добровольное единство, которое создавалось в те дни. Люди, уцелевшие от двадцатых годов, ходят сейчас среди новых поколений и всеми силами стараются им внушить, что тогда был пережит неслыханный расцвет – наука, литература, театр! – и если бы все шло намеченным тогда путем, мы бы уже взобрались на самые вершины жизни. Остатки Лефа, сотрудники Таирова, Мейерхольда и Вахтангова, студенты и преподаватели ВИФЛИ и Зубовского института, профессора, выпущенные Институтом красной профессуры, марксисты и отовсюду изгнанные формалисты, все, чье тридцатилетие выпало на двадцатые годы, еще и сейчас призывают вернуться в ту эпоху и снова, уже «не допуская никаких искажений», пойти открывавшейся им оттуда дорогой.

Иначе говоря, они не признали себя ответственными за то, что произошло после. Но так ли это? Ведь именно люди двадцатых годов разрушили ценности и нашли формулы, без которых не обойтись и сейчас: молодое государство, невиданный опыт, лес рубят – щепки летят… Каждая казнь оправдывалась тем, что строят мир, где больше не будет насилия, и все жертвы хороши ради неслыханного «нового». Никто не заметил, как цель стала оправдывать средства, а потом, как и полагается в таких случаях, постепенно растаяла. И именно люди двадцатых годов начали аккуратно отделять овец от козлищ, своих от чужих, сторонников «нового» от тех, кто еще не забыл самых примитивных правил общежития.

Победители могли бы удивиться легкости одержанной победы, но они приняли ее как должное, потому что верили в свою правоту: ведь они несли счастье людям… Только требования к капитулянтам постепенно увеличивались. Об этом свидетельствует быстрое исчезновение слова «попутчик». Оно сменилось названием «беспартийный большевик», а потом всех сменил верный сын родины, который пламенно любит народ и беззаветно служит партии и правительству. На этом произошла стабилизация.

Память людей устроена так, что хранит смутный очерк и легенду, а не само событие. Чтобы извлечь факты, надо жестоко расправиться с легендой, а для этого прежде всего определить, в каких кругах она зародилась. Идиллические вздохи о двадцатых

годах – результат легенды, созданной тридцатилетними капитулянтами, которые случайно сохранили жизнь, и их младшими братьями. А на самом деле двадцатые годы – это период, когда были сделаны все заготовки для нашего будущего: казуистическая диалектика, развенчивание ценностей, воля к единомыслию и подчинению. Самые сильные из развенчивателей сложили головы, но до этого они успели взрыхлить почву для будущего. В двадцатые годы наши карающие органы еще набирались сил, но они уже действовали. Тридцатилетние настойчиво проповедовали свою веру. Уговаривая, а потом стращая, они повели за собой целые толпы в следующую эпоху, где отдельных голосов уже не было слышно.

У нас нет и не может быть института по изучению общественного мнения, а именно оно-то и является показателем тех брожений, которые складываются в психологические процессы. Функции таких институтов частично выполнялись карательными органами. В двадцатые годы они даже слегка зондировали общественные круги – что там думают? – и для этой роли существовали специальные кадры осведомителей. Затем решили, что общественное мнение совпадает с государственным, и роль осведомителей свелась к регистрации фактов расхождения, из которых планомерно делали административные выводы. После тридцать седьмого года зондирование окончательно потеряло значение из-за массовости «профилактических» мер, общественное же мнение подверглось полной национализации.

А в двадцатые годы мы еще играли с огнем и ничего не понимали. Едва О. М. успел сказать: «Чего тебе еще? Не тронут, не убьют», как появилась первая ласточка будущего. В Царское Село к нам приехал розовенький Всеволод Рождественский. Он явился предупредить О. М., что следователь – Рождественский только что вышел после небольшой отсидки – очень интересовался О. М. Сказать, о чем его допрашивали относительно Мандельштама, Рождественский отказался наотрез: «Я дал слово, а меня с детства приучили свое слово держать»… О. М. выгнал этого паиньку, а потом мы сообразили, что его попросту прислали припугнуть О. М. и напомнить ему о всевидящем оке. А впоследствии это делалось неоднократно. В «Разговоре о Данте» О. М. не забыл упомянуть о диффузии – взаимопроникновении тюрьмы и внешнего мира – и о том, что правителям полезно, чтобы управляемые запугивали друг друга страшными тюремными рассказами. Всеволод Рождественский аккуратно выполнил свое задание, но почему-то забыл написать об этом в своих мемуарах. Зато он заставил Мандельштама

рассуждать о поэзии в условном парнасско-акмеистическом жанре, приписав ему мысли и поучения, которые полагалось бы изрекать эстету, выдуманному советской критикой. Мандельштаму будут приписывать еще много дурацких разговоров. Лучший критерий подлинности этих разговоров – те статьи, которые им написаны. Многие статьи О. М. – это его живой голос в споре и разговоре. Он был не по плечу своим современникам, и они в своих мемуарах искажали его мысли, вольно или невольно. Особенно трудно понимали его те, кто, веруя, прожил двадцатые годы, когда завязывались все узлы, а люди воздействовали друг на друга, проповедуя новую религию, разрушая ценности и расчищая дорогу будущему.

# Топот и шепот

Это было в 32 году. Я переулками возвращалась домой из ЗКП, то есть из редакции журнала «За коммунистическое просвещение», находившейся на Никитской улице. Жили мы тогда на Тверском бульваре. Внезапно я увидела О. М. Он сидел на крыльце какого-то замызганного особняка и так повернул голову, что подбородком почти касался плеча. Правой рукой он вертел палку, а левой для устойчивости упирался о каменную ступеньку. Он сразу заметил меня, вскочил, и мы пошли вместе.

Сочиняя стихи, О. М. всегда испытывал потребность в движении. Он ходил по комнате – к сожалению, мы всегда жили в таких конурах, что разгуляться было негде; постоянно выбегал во двор, в сад, на бульвар, бродил по улицам. В день, когда я увидела его на крыльце, он, устав бродить, присел попросту отдохнуть. Работал он тогда над второй частью «Стихов о русской поэзии».

Стихи и движение, стихи и ходьба для О. М. взаимосвязаны. В «Разговоре о Данте» он спрашивает, сколько подошв износил Алигьери, когда писал свою «Комедию». Представление о поэзии-ходьбе повторилось в стихах о Тифлисе, который запомнил «стертое величье» подметок пришлого поэта. Это не только тема нищеты – подметки, конечно, всегда были стертые, – но и поэзии.

Только дважды в жизни я видела, как О. М. сочиняет стихи, не двигаясь. В Киеве у моих родителей, где мы гостили на Рождество 23 года, он несколько дней неподвижно просидел у железной печки, изредка подзывая то меня, то мою сестру Аню, чтобы записать строчки «1 января 1924». И еще в Воронеже он прилег днем отдохнуть – в тот период он был ужас как утомлен работой. Но в голове шумели стихи, и отвязаться от них не удалось. Так появились стихи о певице с низким голосом в конце «Второй воронежской тетради». Незадолго до этого он слушал по радио Мариан Андерсон, а накануне посетил другую певицу – высланную из Ленинграда. Для нее О. М. вольно перевел неаполитанские песенки, чтобы она выступала с ними по радио, где они оба тогда прикармливались. Мы побежали к ней, узнав, что ее мужа, недавно отсидевшего пять лет в лагере и отпущенного с каким-то минусом в Воронеж, снова арестовали. Мы еще не сталкивались с повторными арестами и не знали, что они сулят. Певица лежала в постели. Потрясенные люди всегда лежат. Моя мать, мобилизованная как врач во время одного из дореволюционных голодов в Поволжье для помощи деревне, рассказывала, что во всех избах лежали, не двигаясь, даже там,

где еще был хлеб и не замечалось тяжелого голодного истощения. Эмма, преподавательница Читинского пединститута, ездила на работу со студентами в колхоз. Вернувшись, она мне с удивлением рассказала, что все колхозники почему-то лежат. Лежали и лежат студенты в своих общежитиях, лежат служащие, вернувшись с работы. Все мы лежим. И я пролежала всю мою жизнь…

Певица лихорадочно строила планы на будущее – как овладевает нами эта лихорадка в роковые минуты смертей, арестов, вызовов в органы и прочих катастроф. Не этот ли лихорадочный бред помогает нам пережить вещи, непостижимые для человека, вроде смерти близкого или увода его в тюрьмы двадцатого столетия? Вот что говорила нам певица: не может быть, чтобы ее мужа отправили в лагерь – ведь он только что оттуда вернулся. Значит, его вышлют куда-нибудь, ну и пускай… не все ли равно куда… И она поедет за ним и будет петь… Не все ли равно, где петь – в Ленинграде, Ишиме, Воронеже или Иргизе… Всюду можно петь – в любой сибирской деревне… Она будет петь, и ей дадут муки, и она испечет хлеб… И они вместе его съедят…

Муж не вернулся, ведь вышел какой-то приказ о повторных арестах тех, кто уже удостоился этой чести. Тогда или в пятидесятых годах, не знаю, был еще один приказ о том, чтобы навечно сослать всех, кто успел побывать в лагерях… Сама певица тоже исчезла – ее отправили куда-то петь или валить лес – мы так и не узнали куда…

О. М. говорил, что в стихах о певице с низким голосом слились два образа – этой ленинградки и Мариан Андерсон. В день, когда он сочинял эти стихи, я не догадалась, что он работает, потому что он лежал тихо, как мышь. Движение – первый признак, по которому я распознавала работу; второй признак – шевелящиеся губы. В стихах сказано, что их нельзя отнять и что они будут шевелиться и под землей. Так и случилось.

Губы – орудие производства поэта: ведь он работает голосом. Рабочий топот губ – это то, что соединяет работу флейтиста и поэта. Если бы О. М. не испытал, как шевелятся губы, он не мог бы написать стихов про флейтиста: «Громким шепотом честолюбивым, Вспоминающим топот губ, Он торопится быть бережливым, Емлет звуки, опрятен и скуп…» И про флейту – «И ее невозможно покинуть, Стиснув зубы, ее не унять, И в слова языком не продвинуть, И губами ее не размять…» Мне кажется, что слова про то, что флейту невозможно продвинуть в слова, знакомы поэту. Здесь говорится про тот момент, когда в ушах уже

стоит звук, губы только шевельнулись и мучительно ищут первые слова…

И флейтист тоже был наш знакомый. Его звали Шваб. Он был немец и страшно боялся за свою единственную флейту, присланную из Германии каким-то старым товарищем по консерватории. Мы не раз заходили к нему, и он вынимал из футляра свою пленницу и утешал О. М. Бахом, Шубертом и прочей классикой. Все гастролеры любили его. «Шваб – настоящий музыкант», – говорили оба Гинзбурга. Однажды после работы – это произошло до «начала грозных дел», О. М. еще служил в театре – мы забежали в один из ярусов послушать симфонический концерт. Сверху весь оркестр был виден, как на ладони, и вдруг я обнаружила, что вместо Шваба сидит другой флейтист. Я наклонилась к О. М.: «Посмотри!» Соседи шикали, но мы продолжали шептаться. «Неужели его забрали?» – сказал О. М. и в антракте побежал за кулисы. Предположение подтвердилось. В нашей жизни такие предположения почему-то всегда подтверждались. Мы стали суеверными и боялись их высказывать – ну его! еще накличешь!.. Шваба, как мы узнали потом, обвинили в шпионаже и загнали на пять лет в уголовный лагерь под Воронежем. Там он и кончил жизнь, – ведь это был старик, да еще старик с флейтой… О. М. все думал, взял ли Шваб с собой в лагерь флейту или побоялся, что воришки, с которыми он жил в бараке, ограбят его. А если взял, то что он играет по вечерам другим каторжанам… Так появились стихи «Флейты греческой тэта и йота» – из звуков флейты, горькой участи старого флейтиста и первого испуга перед «началом грозных дел».

О. М. в этих стихах говорит про топот «вспоминающих» губ. Только ли у флейтиста губы заранее знают, что они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски «потерянного слова» – «Я слово позабыл, что я хотел сказать, Слепая ласточка в чертог теней вернется», – как не попытка припоминания еще неосуществленного? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании. На первом этапе губы шевелятся беззвучно, затем появляется шепот, и «вдруг дуговая растяжка Звучит в бормотаньях моих». Внутренняя музыка выявилась в смысловых единицах. Воспоминание проявилось, как фотографическая пластинка с изначальным световым отпечатком.

О. М. не случайно ненавидел дуализм, то есть разговоры о форме и содержании, столь модные у нас и столь удобные для заказчика: для официального содержания всегда требовалась красивая форма… Именно из-за этого разделения формы и

содержания О. М. сразу оттолкнул от себя армянских писателей; в одну из первых встреч он обрушился на лозунг «национальная по форме, социалистическая по содержанию» культура, литература и тому подобное, не зная, впрочем, кому принадлежат эти слова… Так мы даже в Армении остались в одиночестве. Сознание абсолютной неразделимости формы и содержания вытекало, по-видимому, из самого процесса работы над стихами. Стихи зарождались благодаря единому импульсу, и погудка, звучавшая в ушах, уже заключала то, что мы называем содержанием. В «Разговоре о Данте» О. М. сравнил «форму» с губкой, из которой выжимается «содержание». Если губка сухая и ничего не содержит, то из нее ничего и не выжмешь. Противоположный путь: для данного заранее содержания подбирается соответствующая форма. Этот путь О. М. проклял в том же «Разговоре о Данте», а людей, идущих этим путем, назвал «переводчиками готового смысла».

Илья Григорьевич Эренбург при мне объяснял Слуцкому, что О. М. портил свои стихи, внося в них многочисленные «фонетические исправления». Ничего подобного я никогда не замечала. Варианты стихов и «исправления» – качественно различные вещи. О. М., говоривший «мы – смысловики», знал, что слово всегда содержит информацию, то есть является смыслоносителем. Мне кажется, что исправления характерны для переводчиков, когда они пробуют, как бы получше выразить готовую мысль, фонетические же исправления предназначены для украшения. Вариант – это либо снятое лишнее, либо «отдельное», уводящее к новому единству. Поэт пробивается к целостному клочку гармонии, спрятанному в тайниках его сознания, отбрасывая лишнее и ложное, скрывающее то, что я называю уже существующим целым.

Стихописание – тяжелый изнурительный труд, требующий огромного внутреннего напряжения и сосредоточенности. Когда идет работа, ничто не может помешать внутреннему голосу, звучащему, вероятно, с огромной властностью. Вот почему я не верю Маяковскому, когда он говорит, что наступил на горло собственной песне. Как он это сделал? Мой странный опыт – опыт свидетеля поэтического труда – говорит: эту штуку не обуздаешь, на горло ей не наступишь, намордника на нее не наденешь. Это одно из самых высоких проявлений человека, носителя мировых гармоний, и ничем другим не может быть.

Выявление это носит общественный характер и говорит о делах людей, потому что носитель гармонии – человек и живет он среди людей, разделяя их судьбу. Он говорит не «за них», а с ними, не отделяя себя от них, – и в этом его правда.

Первоначальный импульс гармонического самовыявления – с людьми и среди людей – всегда поражал меня своей категоричностью. Ни симулировать, ни стимулировать его нельзя. К несчастью, конечно, того, кто называется поэтом. И мне понятны жалобы Шевченко – еще О. М. оценил их и показал мне – на неотвязность стихов, приносивших ему одни беды и мешавших заниматься живописным ремеслом, доставлявшим только радости. Этот импульс перестает действовать, когда иссякает материал, то есть ослабевает связь поэта с миром и людьми, когда он перестает слышать их и жить с ними. Не в этой ли связи с людьми черпает поэт чувство правоты, без которого нет стихов? Импульс перестает действовать, когда поэт умирает, хотя губы продолжают шевелиться, потому что они остались в стихах. Какие дураки, кстати, говорят, что поэты плохо читают свои стихи, портят их? Что они понимают в стихах? Стихи живут подлинной жизнью только в голосе поэта, и голос поэта продолжает жить в них навеки.

Мне пришлось жить и с Анной Андреевной, но у нее работа протекала далеко не так открыто, как у О. М., и я не всегда распознавала, что она в работе. Во всех своих проявлениях она всегда была гораздо замкнутее и сдержаннее О. М. Ее совершенно особое женское мужество, почти аскетизм, всегда поражали меня. Даже губам своим она не позволяла шевелиться с такой откровенностью, как это делал О. М. Мне кажется, что когда она сочиняла стихи, губы у нее сжимались и рот становился еще более горьким. О. М. говорил, когда я еще ее не знала, и часто повторял потом, что, взглянув на эти губы, можно услышать ее голос, а стихи ее сделаны из голоса, составляют с ним одно неразрывное целое, что современники, слышавшие этот голос, богаче будущих поколений, которые его не услышат. Этот голос с теми же интонациями, что звучали в нем в молодые и зрелые годы, и с той же глубиной, поражавшей О. М., удивительно запечатлелся на пленке у Ники, записанной совсем недавно. Если пленка сохранится, мои слова получат объективное подтверждение.

О. М. подметил несколько движений Анны Андреевны и всегда спрашивал меня после встречи с ней, видела ли я, как она вдруг вытянула шею, мотнула головой и губы у нее напряглись, будто она сказала «нет». Он повторял это движение и удивлялся, что я его не так точно запомнила, как он. В вариантах «Волка» я обнаружила рот, говорящий «нет», но там это уже не женский рот, а тот, который повторял движение Анны. Длившаяся всю жизнь дружба этих несчастнейших людей была, пожалуй, единственной наградой за весь горький труд и горький путь, который каждый из

них прошел. К старости в жизни Анны Андреевны появился просвет, и она умеет пользоваться им. Но стихи ее не напечатаны, прошлое вычеркнуть нельзя, и, если бы не способность жить настоящим, свойственная как будто поэтам, во всяком случае, этим двум, она вряд ли смогла бы так радоваться жизни, как она радуется сейчас.

# Книга и тетрадь

«Из вас лезет книга», – сказал Чаренц, слушая стихи об Армении. Это было в Тифлисе – в Эривани он бы не решился заходить к нам. О. М. обрадовался словам Чаренца: «Кто его знает, может, в самом деле книга»… Через несколько лет я, по просьбе О. М., занесла Пастернаку кучку стихов, написанных в Воронеже, и он вдруг заговорил о «чуде становления книги»… В его жизни, сказал он, это было один раз, когда он писал «Сестру мою жизнь»… Я рассказала об этом разговоре О. М. «Значит, книга это не просто стихи?» – спросила я. О. М. только рассмеялся.

Движение отдельных возникающих вещей так же строго закономерно, как порядок строк в одном стихотворении, но внешние признаки этой закономерности недостаточно отчетливы. Если бы речь шла о внешне единой форме, вроде поэмы, это было бы ясно каждому, а внутренняя последовательность лирических стихотворений не так бросается в глаза. Между тем слова о стереометрическом чутье поэта («Разговор о Данте») относятся и к лирическим стихам в их совокупности, называемой «книгой».

Вероятно, не у всех поэтов процесс становления книги протекает одинаково. У одних взаимосвязанные вещи возникают в хронологической последовательности, другие группируют стихи, как Анненский свои трилистники или Пастернак, делавший внутренние разделы в книгах, куда входили стихи, написанные в разное время, хотя и в один период. О. М. принадлежал к первому типу: стихи шли группами или потоком, пока не исчерпается порыв. Восстановив хронологию, он находил общую композицию книги. «Тристии» составлялись без него, и потому общий принцип нарушен.

Восстановление хронологии – трудная задача, и не только теперь, когда многие даты потеряны. Трудности существовали и при жизни Мандельштама, когда все даты были налицо. Дело в том, что сами даты таят в себе неточность, потому что означают момент записи, а не начало и конец работы. Мне кажется, что начало вообще определимо только при холодном верификационном процессе: разве О. М. мог знать, что ему предстоит написать и вообще что выйдет из его бормотаний, когда начинал прислушиваться к жужжанию пчелы? Вторая трудность: как определить, какой момент для каждого стихотворения решающий – начало или конец? Это тем более важно, что в работе часто находится не одно стихотворение, а несколько.

Общий порядок при жизни О. М. в ряде случаев был еще не совсем уточнен: О. М. колебался, как расположить «волчий» цикл и стихи в середине «Второй воронежской тетради». Этого доделать он не успел. Зато основная работа по подготовке к печати сделана при его жизни – это деление на «тетради». Мне часто задавали вопрос, откуда взялись эти «тетради». Происхождение этого названия чисто домашнее. Стихи с 30-го по 37 год записывались в Воронеже – ведь рукописи 30–34 годов были при обысках отобраны и не возвращены. Чтобы записать стихи, мы раздобыли, да и то не без труда, приличной бумаги у нас никогда нельзя было достать, – обыкновенные школьные тетради. Начало положило то, что сейчас составляет «Первую воронежскую тетрадь». Затем пришлось вспомнить и записать стихи 30–34 годов, то есть «Новые стихи». О. М. сам определил начало и конец двух тетрадок, составляющих «Новые стихи». «Тетрадь» – это, очевидно, раздел книги.

Осенью 36 года, когда поднакопились стихи, О. М. сам попросил меня завести еще одну тетрадку, хотя в старых еще было место. Это – «Вторая воронежская тетрадь». Между «Второй» и «Третьей» почти нет никакого промежутка во времени, но «Третья» показывает, что началось нечто новое. Стихи «Третьей» не продолжение прежнего порыва, который себя исчерпал. Если бы существовали точные методы стихового анализа, можно было бы доказать, что с каждой «тетрадью» исчерпывается определенный материал и кончается единый порыв. Впрочем, это видно и простым глазом.

Слово «книга» связано в нашем понимании с печатью: книга предполагает какой-то объем и подходящее для печати количество строк. Для «тетради» никаких правил не существует, арифметические мерки к ней неприложимы. Начало и конец «тетради» регулируются только единством стихотворного порыва, породившего внутренне связанные между собой стихи. «Тетрадь» – это, в сущности, «книга» – в понимании Чаренца, Пастернака и Мандельштама, – не стесненная удобствами книгоиздательства, требующего некоторой объемности и композиции, иногда даже искусственной. Но само слово «тетрадь» совершенно случайное – оно подсказано нашей вечной нуждой в бумаге. У этого названия есть, с одной стороны, неприятная конкретность, с другой – навязчивая ассоциация: «Нотная тетрадь» Шумана. За него только домашняя и рукописная традиция, а она приобретает громадное значение в наш догутенбергский век.

В юности О. М. употреблял слово «книга» в значении «этап». В 1919 году он думал, что будет автором только одной книги, потом заметил, что существует деление на «Камень» и то, что

потом стало называться «Тристии». Кстати, название это дал Кузмин в отсутствие Мандельштама. Сами «Тристии» имеют случайный состав – в них вошла кучка беспорядочных рукописей, вывезенная издателем без ведома автора за границу. «Вторая книга» искажена цензурой, а название она получила именно потому, что О. М. понял свою ошибку насчет одной книги, которую ему суждено написать. Он не сразу заметил, как кончился дореволюционный «Камень» и началась книга войны, предчувствия и осуществления революции. «Новые стихи» – это книга осознанного отщепенства, а «Воронежские тетради» – ссылки и гибели. Под каждым переписанным мной в Воронеже стишком О. М. ставил дату и букву «В». «Зачем?» – спрашивала я. «Так… Пусть…» – отвечал О. М. Он как бы клеймил все эти листочки, но их сохранилось очень мало, потому что впереди был 37 год.

# Двойные побеги

Стихотворение «Эта область в темноводье» работалось медленно и трудно, много дней подряд. О. М. жаловался, что «нечто», почти ощутимое и очень важное, никак не хочет прийти. Это созревала последняя строфа – она и пришла последней, что случается далеко не всегда.

О. М. стоял у стола, спиной ко мне, и что-то записывал. «Иди сюда, посмотри, что у меня…» Я обрадовалась, что «темноводье» кончилось и мы пойдем гулять. Оно мне надоело, как фанерная карта воронежской области на телефонной станции, на которой вспыхивали лампочки, показывая, с какими пунктами есть связь. Но меня ожидало разочарование – на протянутой мне бумажке я прочла «Вехи дальнего обоза». «Погоди, это еще не все», – сказал О. М. и записал: «Как подарок запоздалый Ощутима мной зима…» «Ты сошел с ума! – возмутилась я. – Мы так никогда не выйдем. Идем на базар, или я пойду одна…»

На базар мы пошли вместе – он находился в двух шагах от дома, – что-то продали и что-то купили. Кажется, в тот день мы продавали серый пиджак из торгсиновской материи. «В таких садятся в тюрьму», – сказал покупатель, умный и хитрый городской мужик. «Верно, – ответил О. М., – но он уже там побывал; теперь безопасно…» Мужик ухмыльнулся и дал нашу цену. Мы тут же устроили пир, то есть прихватили лишний кусок мяса или колбасы, если она тогда существовала, Трудно припомнить, чем нас кормили в разные периоды, но всегда существовало какое-то «дежурное блюдо», и все его ели. Сейчас для Москвы это вареная колбаса. В тот период нас, кажется, угощали синеватыми курами, а консервы в банках считались роскошью. Был период замороженных фазанов и голубей, но это быстро кончилось. Треска держалась значительно дольше. В провинцию, правда, почти ничего из «дежурных блюд» не попадало, но зато там умели ценить насущный хлеб.

Строфа с ночным чайником появилась чуть ли не в тот же день, а два маленьких стихотворения, вылупившиеся из «темноводья», лишь слегка дорабатывались. В «Вехах дальнего обоза» запечатлелся пейзаж из окна тамбовского санатория – вот откуда слово «особняк». Мы жили не в особняках, а где попало, преимущественно в лачугах. Мне ясно, каким образом стихи «Как подарок запоздалый Ощутима мной зима…» помогла найти последняя строфа «темноводья»: она дала строчку – «Степь беззимняя гола». Вдруг с этим стихотворением выявилась особенность времени года – все застыло в ожидании запоздавшей

зимы. Природа ждала зимы, а люди в декабре 36 года уже знали, что им несет грядущий тридцать седьмой. Для этого не требовалось никакого исторического чутья – нас успели предупредить еще летом в радиопередаче о будущих процессах. В этой строфе О. М. сказал про воронежскую землю: «Где я? что со мной дурного? Степь беззимняя гола… Это мачеха Кольцова… Шутишь – родина щегла!..» Здесь синтез его настроения тех дней – чувство беды не могло пересилить вечной и дикой радости жизни, совершенно необъяснимого веселья запертого в клетку стихотворца. И дальше опять точные подробности его жизни: к ночи, устав от работы, он выходил побродить по пустому городу, где всегда была гололедица. Наши провинциальные города после исчезновения дворников стали областью «вечной скользоты»… Об этом и в воронежских стихах Ахматовой, совершенно не умевшей ходить по гладкому льду: «По хрусталям я прохожу несмело…» А чайник был электрический – неслыханная роскошь по тому времени, но мы ее себе позволяли, потому что во время ночной работы О. М. всегда пил много чая. Только от двух вещей он не мог отказаться – от чая и папирос. Остальное, мы считали, приложится.

В Воронеже дважды появлялись «тройчатки», то есть три стихотворения одного происхождения. Первая «тройчатка» – «Темноводье», «Как подарок запоздалый» – мы называли этот стишок «вороном» – и «Вехи дальнего обоза». Другая «тройчатка»: «Десятизначные леса», «Что делать нам с убитостью равнин» и реминисценции Камы – «О, этот медленный, одышливый простор». В первой «тройчатке» все переплелось, как в цикле, запутанном в клубок. Во второй все три стихотворения развивались самостоятельно из общего корня. Строки «Что делать нам с убитостью равнин, С протяжным голодом их чуда» и «Равнины дышащее чудо» объединяют первые два стихотворения. Третье связано с темой дыхания, одышки, которая есть и в двух других. «Одышливый простор» третьего стихотворения перекликается с «дышащим чудом». В стихах, где назван Иуда, сам ритм организован, как одышка: «И все растет вопрос – куда они, откуда…» Одышка, мучившая О. М., сказалась в ту зиму на ритме многих стихов. «Я это я, явь это явь» – тому пример.

В первой «тройчатке» есть еще одно формальное сходство – это рифмы «совхозных» и «грозных» основного стихотворения и разгул звука «з» в двух других, например в рифмах: «мороза» – «обоза» – «береза» – «проза»…

В любом стихотворении О. М. выделяется строка, которая пришла первой, но, ища ее, надо помнить, что она очень редко начинает первую строфу. Выделив ее – если она, конечно, не

исчезла, выпав из окончательного текста, что тоже бывает, – можно восстановить почти весь ход работы. Вытеснение первой пришедшей в голову строки из окончательного текста – дело закономерное. О. М. любил по этому поводу вспоминать слова Гумилева: «Это хорошие стихи, Осип, но когда ты их кончишь, у тебя не останется ни одной строчки из тех, что сейчас»… В таких случаях история текста, разумеется, невосстановима: ведь большая часть работы производится в уме и губами, а на бумаге не фиксируется.

Первая побудительная строка и последнее найденное слово – это тоже ключи стихотворной композиции: в них импульс начала и конца. Эпитеты «совестный деготь труда», «десятизначные леса», «ленивый богатырь» – вот примеры последних найденных слов.

«Тройчатки» для О. М. редкий случай. Гораздо чаще встречаются «двойчатки», двойные побеги на одном корню. Среди напечатанных стихов – «Я не знаю, с каких пор эта песенка началась» и «Я по лесенке приставной лез на скошенный сеновал», а также «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник» – характерные образцы «двойчаток». В воронежский период их тоже было немало. Два стихотворения о Каме: «Как на Каме-реке глазу темно, когда На дубовых коленях стоят города» и «Я глядел, удаляясь на хвойный восток» – представляют обычную «двойчатку». Третье – с окончанием: «И речная верста поднялась в высоту» – это редкий случай удачной сознательной замены для цензуры. В стихотворениях «Дрожжи мира» и «Бесенок» сохранился первый вариант, в котором они оба еще переплетены. Два стихотворения «Заблудился я в небе» тоже представляют «двойчатку» с одинаковым началом и разным развитием. Такая «парная структура» очень характерна для О. М.: «двойчаток», кроме перечисленных, у него еще очень много.

О. М. собирался сохранить оба побега «Заблудился я в небе» и напечатать их рядом: композиторы ведь всегда так делают, и художники тоже… Если я доживу до свободного издания О. М., я обязательно выполню его волю. Но сейчас, если даже напечатают книгу, которая гниет в «Библиотеке поэта», ни мне, ни Харджиеву этого не дадут сделать: мы ведь люди бесправные. Какой-нибудь умный редактор совершенно ясно мне объяснит, что из двух вариантов надо выбирать лучший; что сами поэты, их друзья и родственники в этом деле не судьи; что наследство поэта принадлежит не тем, кому в течение пятнадцати лет полагается получать половину гонорара, а ученым знатокам и судьям, которые на этом собаку съели и твердо знают, что хорошо и что плохо… Кроме правильной идеологии, современный советский

редактор превыше всего ценит ясность, аккуратность, гладкую фактуру и пышную композицию, где, как на блюде, разложены сравнения, метафоры и прочие фигуры речи. О. М. не дожил до этого расцвета культуры, но уже не раз удивлялся, как наши знатоки не любят стихов. И Анна Андреевна, узнав, что одного бедного мальчишку[27] провозгласили «будущим Пушкиным», сказала: «Это потому, что они так не любят стихов»… Мальчишка писал гладкие стихи, в которых они узнавали все от века знакомое. Больше всего им милы переводы с их блеском готовых изделий. Всюду есть такие знатоки и судьи, но в сталинское время они распустились полным цветом и сейчас находятся у власти и в живописи, и в архитектуре, и в кино, и в литературе. Ну и черт с ними… Им ведь приказали делать ренессанс, а вышло что-то вроде кафе «Ренессанс», но дело с ними иметь непросто.

В юности О. М. вытравлял следы общего происхождения у стихов или уничтожал одно из родственных стихотворений. Он долго не записывал «Современника» и «Я не знаю, с каких пор», не признавая за ними права на самостоятельную жизнь. В зрелый период его отношение резко переменилось: видимо, он решил узаконить самый принцип двойных побегов и не считал их больше вариантами: «Одинаковое начало? Ну и что? Стихи ведь разные»… Или: «Тем лучше, что видно… А что тут скрывать?» – говорил он. Если в молодости О. М. был скрытен и показывал читателю только отдельные вещи, то в зрелом и завершающем своем периоде он открывал весь поток и видел ценность в самом поэтическом порыве, а не в отдельных его проявлениях. В этом сказалась обретенная им внутренняя свобода. Она и стала камнем преткновения для многих его старых ценителей. Они видят в этих стихах О. М. незавершенность и недоделанность. «Он ведь не готовил книгу к печати. Надо бы почистить», – твердили мне два брата Бернштейна – языковед Сергей Игнатьевич и Ивич. «Сколько тут повторений – ведь это просто варианты», – говорил Орлов. Слуцкий, как и Орлов, жалуется, что напечатанный Мандельштам понятен, а ненапечатанный чересчур труден. Хорошо, что появился новый читатель, который совсем иначе подходит к стихам и к поэзии.

Поэт с резко выраженными этапами осужден на то, что читатели, освоившись с одним периодом, не примут другого. Многие постоянные слушатели О. М. в штыки принимали каждое новое стихотворение и новый поэтический ход, потому что не узнавали в нем старого. Эмма Герштейн долго и упорно твердила, что после «волчьего» цикла О. М. вообще ничего не должен был писать. Так встречал новые стихи и Кузин – почти как личную обиду. Но оба они привыкали к стихам и становились их

друзьями. А Шенгели так и не примирился с поздними стихами, сохранив верность ранним. В зрелых стихах его особенно отвращал словарь – слова не поэтического словаря. Зато сейчас появилось множество читателей, знающих стихи по бродячим спискам и еще не заглянувших в книги. Неизвестно, понравится ли им ранний этап. Но право читателя на выбор также неоспоримо, как право поэта на печатный станок и на отстаивание своей поэтической позиции. «Какая есть, желаю вам другую», – сказала Ахматова… Поэтому я совершенно иначе отношусь к читателям с их вкусами и даже капризами, чем к редакторам, обладающим правом запрета и любящим задерживать рукописи. Что же касается до «незавершенности» О. М. последнего периода, то есть до его желания раскрыть свою лабораторию, то она-то и есть закон для посмертных изданий, поскольку прижизненных, несмотря на желание автора, не было. Ведь умел же он обособлять стихи друг от друга, когда считал это нужным.

Вероятно, двойные побеги не представляют индивидуальной особенности О. М. Точно такие пары есть и у Ахматовой: «Данте» («Он и после смерти не вернулся В нежную Флоренцию свою») и «Зачем вы отравили воду И с грязью мой смешали хлеб» – несомненные «двойчатки». Во многих случаях эти пары служат друг другу комментарием: «Нет, без палача и плахи Поэту на земле не быть, Нам покаянные рубахи, Нам за свечой идти и выть» – общий импульс двух стихотворений.

Собирая книгу, О. М. сохранил все «двойчатки», но во время работы у него в последний период было много колебаний. Так, он хотел отказаться от «Я около Кольцова, Как сокол, закольцован», потому что помнил, как это стихотворение послужило импульсом к другому – «Когда в ветвях понурых Заводит чародей Гнедых или каурых Шушуканье мастей». Эти «двойчатки» совершенно лишены внешнего сходства, и тем не менее О. М. не хотелось оставлять первое как чересчур прямое и в лоб. Самооценка поэта, вернее, его отношение к своим стихам в период работы, всегда пристрастна и обусловлена множеством сложных причин. Отказ от какого-нибудь стихотворения, может быть, вызван просто тем, что оно заслоняет новое, которое уже брезжит и не может пробиться. Иногда в старом содержится плодоносная почка какого-нибудь нового ростка, и когда этот росток появится, автору кажется, что первое было только заготовкой, прелюдией рабочего процесса. Это ощущение особенно сильно при появлении парных ростков и быстром расхождении обоих побегов. Так происходило с «Улыбкой» и «Щеглом». В готовых текстах между ними нет ничего общего, между тем «Щегол»

вылупился из «Улыбки». Случайно уцелел черновик, в котором обнаруживается взаимосвязь этих стихотворений. Там есть строфа, где детский рот, мякина и щегол. Именно мякина привела щегла, а сама сохранила одно свойство – колючесть – и обернулась колючим морозом этой не холодами страшной зимы. А О. М. вначале считал «Щегла» незаконным детищем.

А два стихотворения об Ариосто появились совершенно иначе. Первое было написано летом 33 года, когда мы гостили с выпущенным из тюрьмы Кузиным в Старом Крыму, у вдовы Грина. Рукописи и черновики отобрали при обыске, в мае 34 года. В Воронеже О. М. попытался вспомнить текст, но память изменила, и вышел второй «Ариост». Вскоре, съездив в Москву, я нашла «Ариоста» 33 года в одном из своих тайников. Вот и оказалось два стихотворения на одну тему с одним материалом.

Новелла эта в духе времени, и я дарю ее будущим комментаторам.

# Последняя зима в Воронеже

Летом 36 года нам удалось съездить на дачу. У Анны Андреевны появились деньги. Я уже говорила, что она взяла что-то еще у Пастернака, потом прибавил Евгений Яковлевич, и у нас образовалась сумма на несколько недель дачной жизни. А это было очень важно, потому что припадки все усиливались. Мы выбрали Задонск, городок на Дону, некогда прославленный благодаря своему монастырю и старцу Тихону Задонскому. Так мы прожили около шести недель на верховьях Дона, радуясь и ни о чем не думая. Но тут радио оповестило нас о начале террора. Убийцы Кирова, сказал диктор, найдены, готовятся процессы… Выслушав сообщение, мы молча вышли на монастырскую дорогу. Говорить было не о чем – все стало ясно. В тот день О. М., ткнув палкой, показал мне следы лошадиных копыт, в которых застоялась вода – накануне шел дождь. «Как память», – сказал он. Эти следы стали потом «подкопытными наперстками», когда звучавший в памяти голос прославленного диктора побудил О. М. принять меры для собственного спасения.

Мы вернулись в Воронеж, и оказалось, что все двери закрыты. Никто с нами не разговаривал, никто не принимал, никто не узнавал, во всяком случае, в публичных местах. Но потихоньку еще старались помочь. Так, театральный администратор устроил нам комнату у театральной портнихи. Дом стоял на горе над рекой – вросшая в землю лачуга. С площадки около дома мы видели противоположный берег с полоской леса. Мальчишки слетали на саночках прямо к реке. Этот пейзаж все время стоял перед глазами, и О. М. то упоминал его, то проклинал в стихах, и все им любовался.

Мальчишки спрашивали: «Дяденька, ты поп или генерал?» О. М. неизменно отвечал: «И то, и другое понемножку»… Они заподозрили в нем генерала, как скоро выяснилось, потому что он очень прямо держался и «задирал нос», то есть закидывал голову. Через Вадика, сына хозяйки, О. М. участвовал в птичьем торге. Птицы доставались Вадику. «У мальчиков особое отношение к птицам, – говорил О. М. – Видела ли ты когда-нибудь девочку с голубями или на торге?» Птицы попали в стихи. О. М. обидел только московку и ничего про нее не сказал. Впрочем, он уверял меня, что московка просто синичка, а им он уже отдал дань, правда, в детских стихах.

Мы знали, что эта бедственная зима – наша последняя передышка, и взяли от нее все, что она могла дать. Как в стихах у Клычкова, которые любил О. М.: «Впереди одна тревога, И тревога

позади. Посиди со мной немного, Ради Бога, посиди…» Вот почему самая светлая и жизнеутверждающая тетрадь появилась именно в этот период.

Человек для всякой интеллектуальной работы нуждается, как инструмент, в настройке. Вероятно, существуют разные человеческие инструменты – одни действуют бесперебойно, настраиваясь на ходу, другие, перестав звучать, должны заново настроить свою клавиатуру. Поэты с явно выраженными этапами принадлежат ко второму типу, и ключевые стихи, служащие как бы камертоном, приходят в начале нового этапа. В начале «Второй тетради» оказался «Гудок». «Почему гудок?» – спросила я. «А, может, это я», – ответил О. М.

Как мог этот загнанный, живущий в полной изоляции человек, в той пустоте и во мраке, в которых мы очутились, почувствовать себя «гудком советских городов»? Ведь из полного небытия О. М. сообщал, что он – тот голос, который разносится по советским городам. Вероятно, это и есть чувство правоты, без которого нельзя писать стихи. Борьба за социальное достоинство поэта, за его право на голос и свою позицию – основная, пожалуй, тенденция, определявшая жизнь и работу О. М. Об этом упомянуто и в «Разговоре о Данте», и я еще упрекала его, что он сводит личные счеты, но он только отвечал: «Так и нужно»…

И во «Второй тетради», сразу с «Гудка», возникла тема самоутверждения поэта в поэзии. Разумом дойти до такой темы в год величайшего зажима было бы невозможно. Тема пришла сама – ведь это всегда явление, а не рациональный замысел. Вначале она звучала скрытно, пряталась за реалиями, вроде гудка, или была недосказана, как в «Не у тебя, не у меня – У них вся сила окончаний родовых…» «Кто это они? – спросила я, – народ?» «Ну нет, – ответил О. М. – Это было бы чересчур просто…» Значит, «они» – это нечто, существующее вне поэта, те голоса, та гармония, которую он пытается уловить внутренним слухом для людей, «для их сердец живых»…

В стихах о щегле тоже намечается тема поэта, но отголоски ее можно заметить только в варианте, где О. М. приказывает щеглу, своему подобью, жить. В одной из статей О. М. рассказывает о юноше-поэте, который бегает по редакциям и всюду предлагает свой совершенно никому не нужный литературный товар. Этот юноша, как и щегол, назван щеголем. О. М. никогда не забывал своих прежних ассоциаций и мыслей или, как это называют, образов. Говоря о щегле и щеголе, он не мог не вспомнить, что и его литературный товар больше никому не нужен, и, может, именно поэтому он так настойчиво приказал себе жить.

Щегла запрятали в клетку, не выпустили в лесную

саламанку… «А меня нельзя удержать на месте, – сказал О. М. – Вот я побывал контрабандой в Крыму». Это он говорил про «Разрывы круглых бухт». В этих стихах резко замедленный темп – «И парус медленный, Что облаком продолжен». Нас всегда угнетало, что время неслось в каком-то неслыханном темпе, и у О. М. было ощущение, что настоящее по-прежнему ощутимо на юге, и только на юге.

«Ты и в Тифлис съездил», – сказала я, вспомнив стихи о Тифлисе. «Вынужденное путешествие, – ответил О. М. – Туда меня затащила нечистая сила». К стихам о Тифлисе его привела попытка написать оду Сталину.

Амнистировав опальные стихи «Не сравнивай, живущий несравним», О. М. заявил: «Теперь я по крайней мере знаю, почему мне нельзя поехать в Италию». Оказывается, его туда не пускала «ясная тоска» – «И ясная тоска меня не отпускает От молодых еще воронежских холмов К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане…» Италия по-прежнему жила у нас в доме итальянскими поэтами, архитектурными ансамблями. О. М. звал меня погулять под флорентийской крещальней, и эта прогулка радовала его не меньше, чем выход на площадку перед домом… Менялись времена года. О. М. говорил: «Это тоже путешествие, и его нельзя отнять»… Этот бесконечно жизнелюбивый человек черпал силы из всего, что других, в частности меня, могло только привести в отчаяние, как, например, осенняя слякоть или холод. И у него было ощущение, что раньше ему принадлежало все – юг, путешествия, поезда и пароходы, – и поэтому он употреблял для своего ссыльного прикрепления к воронежской земле только одно СЛОВО: «ОТНЯЛИ»…

Когда пришли стихи о звездах, О. М. огорчился. По его примете, звезды приходят в стихи, когда порыв кончается или «у портного исчерпан весь материал». Гумилев говорил, что у каждого поэта свое отношение к звездам, вспоминал О. М., а по его мнению, звезды – это уход от земли и потеря ориентации.

Еще большее огорчение принесла «Киевлянка», второе в ту зиму стихотворение о женщине, которая будет искать мужа. Первое – «Омут ока удивленный, Кинь его вдогонку мне…» «Это неспроста», – повторял он: его всегда преследовал страх разлуки. И он часто боялся того, что проявлялось в стихах, а больше всего песенки о женщине, чьим ногам ходить «По стеклу босиком Да кровавым песком…» Прочел он мне только несколько строк – я запомнила про утюги и веревки – и никогда больше про эти стихи не упоминал. «Не спрашивай, – просил он, – а то в самом деле случится».

А у нас была примета, что вещи, попадающие в стихи,

должны пропасть. О. М. самым нелепым образом потерял белорукую трость, упомянутую в «Патриархе» – «То усмехнусь, то робко приосанюсь И с белорукой тростью выхожу»; плед, которым я должна была его укрыть – «Ты меня им покроешь, как флагом военным, когда я умру», – расползся почти сразу, от него осталась только тряпочка, и я все вожу ее с собой… И квартиру, за которую я столько боролась, О. М. загубил, и щегла съела кошка, и сама потом пропала. Хорошо еще, что я не ослепла. Этого я всегда боялась, но один мудрый художник еще в сталинское время утешил меня: мы раньше умрем, чем ослепнем, да нам еще помогут…

# Золотые правила

В начале января 1937 года, когда О. М. только что записал «Улыбнись, ягненок гневный», к нам пришел мальчишка, совершенный сопляк, и, усевшись, сказал, что «писатели должны сотрудничать с читателями». Песенка была знакомая: он добивался, чтобы О. М. выдал для переписки новые стихи. За этим его и прислали, но забыли проинструктировать – он путался, врал, нес ахинею и не сумел даже толком объяснить, что ему нужно.

Все мы народ терпеливый, и у нас есть золотое правило: если на тебя наседают, ни в коем случае не упрямься – голосуй, подписывайся под любым воззванием, покупай облигации и отвечай стукачам на все вопросы, чтобы они могли отчитаться перед своим начальством, иначе «затаскают», как говорят в народе, и своего все равно добьются. Главное в этих ситуациях – поскорее отвязаться от наседающих. О. М. тоже придерживался этого правила, но тут почему-то разозлился или, как это называла Анна Андреевна, «вышел из берегов». На фоне общего безлюдия такие визитеры, как этот мальчишка, были, по-видимому, совершенно непереносимы. Сгоряча О. М. выгнал непрошеного гостя, а потом сам над собой смеялся: экая блажь пришла в голову – требую, чтобы ко мне присылали квалифицированных сексотов! Но когда на смену изгнанному явился второй, постарше, но той же квалификации, О. М. уже не смеялся, а просто «забился в падучей» – я опять прибегаю к терминологии Ахматовой.

Разоблачать агентов не полагалось – стоящее за ними учреждение не терпело, чтобы компрометировали его работу, и рано или поздно обрушивалось на разоблачителя. Даже и сейчас многие из побывавших в тюрьмах и лагерях предпочитают помалкивать о своих «крестных отцах» – не стоит связываться, потом не развяжешься… А в те годы молчали все. Редкие исключения только подтверждают правило. Таким исключением, например, считалась Мариэтта Шагинян. Все знали, что она к себе не подпускает никаких шпиков – если кто из них осмелится приблизиться, она поднимает крик, чтобы изобличить его при всем честном народе. В 34 году она проделала такую штуку при мне, и я, кажется, разгадала ее хитрость. Мы вместе вышли из Гослитиздата, и она расспрашивала меня о нашей воронежской жизни – в те дни никто не избегал и не боялся нас, потому что уже широко разнесся слух о разговоре Сталина с Пастернаком. Вслед за нами выскочил и побежал вдогонку за мной поэт Б. – ему

тоже хотелось узнать про О. М. Б. – то и попался под горячую руку Мариэтте. «Меня принимают в ЦК, – кричала она. – Я не позволю, чтобы за мною гонялись шпики…» Я пыталась остановить Мариэтту, объясняя, что Б. мой хороший знакомый. Она и слышать ничего не хотела, и у меня появилось подозрение, что выбор объекта для скандала произведен вполне сознательно. Мариэтта набрасывалась на вполне порядочных людей, надеясь отпугнуть этим настоящих стукачей, с которыми она, конечно, не посмела бы себя так вести. Но даже Мариэтта, повторяю, была исключением, и осведомители, не встречая ни малейшего сопротивления, становились все распущеннее и наглее.

Воронежский стукач, сменивший изгнанного сопляка, приходил, когда ему вздумается, в самое неурочное время: утром, вечером, днем – да к тому же без стука – дверь в «домике без крыльца» обычно не запиралась, потому что Вадик, горячий участник птичьего торга и знаток снегирей и щеглов, непрерывно гонял на улице. Новый стукач так неожиданно возникал на пороге, что мы только ахали и не успевали убрать со стола рукописи. Не раздеваясь, он присаживался к столу и начинал перебирать бумаги, сопровождая это занятие своими комментариями: «Сколько здесь куплетов? Ничего не разберешь – что за почерк! Вот у нее (то есть у меня) хороший»… О. М. вырывал у него рукописи и в бешенстве рвал их на куски. Потом приходилось восстанавливать записи по памяти, и это еще больше разжигало наше бешенство.

«Почему вы приходите в рабочие часы?» – спрашивал О. М.: стукач выдавал себя за рабочего, фрезеровщика или слесаря… Тот отвечал, что отпросился или что у него теперь ночная смена. «И вас отпускают с завода, когда вам захочется?» – спрашивали мы, но ему все было нипочем, и он говорил первое, что ему придет на ум, нисколько не заботясь о правдоподобии. Выпроводив его, О. М. всякий раз говорил: «Теперь кончено, он больше не придет»… Ему казалось, что у парня не хватит совести снова прийти в дом, где его разоблачили… Напрасная надежда: дня через два или три все повторялось сначала. Какой дурак признается начальству в своей неудаче, а ведь разоблаченному агенту полцены…

В работе уже была «Нищенка» – «Несчастлив тот, кого, как тень его, Пугает лай и ветер косит», когда О. М. позвонил в ГПУ и потребовал приема у начальника. Он этого добился вопреки всем обычаям; нормально было бы, если б ему предложили написать заявление и опустить его в специальный ящик в комендантской. Общение со всяким начальством ведется у нас такими заявлениями, которые опускаются в ящик. Я узнала об этой затее,

когда прием уже был назначен, и пошла в «большой дом» вместе с О. М. После припадка стенокардии летом 36 года О. М. избегал выходить один. Он даже не пошел бы звонить по телефону без меня, если б телефонная станция с ближайшим автоматом не находилась в двух шагах. Кстати, Наташа вспомнила, что однажды они вышли вместе погулять и О. М. потащил ее к автомату, позвонил в ГПУ и справился, назначен ли уже прием. От меня он попросил это скрыть – знал, что я буду против: все равно ничего не выйдет, а напоминать о себе не следует…

В комендантской после недолгих переговоров нам выдали пропуск на двоих – в Воронеже знали, что О. М. болен и один не выходит. Нас принял заместитель начальника, человек общекрасноармейского типа. Этот типаж часто встречается среди высших начальников карательных учреждений. О. М. уверял, что таких специально держат для внешних сношений, чтобы по их широким, открытым лицам нельзя было бы прочесть того, что делается «внутри». Тот, который принимал нас, вскоре перешел в кинематографию, и Шкловский уверял, что с ним можно иметь дело – широкий человек… Вероятно, симпатией кинематографистов пользовался и Фурманов-младший, проделавший тот же путь. Впрочем, в кинематографии людей с такой анкетой хоть пруд пруди. Их полно и в других местах, особенно в научных институтах и вузах, где они занимаются научной работой на кафедрах литературы, философии и экономики. Принимают их всюду с большой охотой – это называется «укреплять кадры». У меня создалось впечатление, что через «органы» сознательно пропускали массы молодежи – они как бы проходили там стаж и получали воспитание. Потом их выпускали в широкую жизнь, но свою альма-матер они не забывали никогда. Среди них попадались славные малые, которые по пьяной лавочке умели рассказать много забавных историй: как им жилось и служилось и как они вырвались на волю. В Чувашском пединституте я знавала одного такого доброго малого. Он писал диссертацию о материальной базе колхозов Чувашии и жаловался, что в этом вопросе сам черт ногу сломит. Он мне рассказывал, как в поисках «романтики» пошел после школы в органы и ему пришлось в мороз и жару выстаивать часами перед домом, где жил какой-то старик, и отмечать всех, кто к нему заходит. А к тому, как назло, не заходил никто, а сам он, «гнилой старикашка», носа на улицу не высунет, только иногда отодвинет занавесочку и выглянет. Диссертанту даже казалось иногда, что старику просто поручено следить, выстаивает ли юный чекист все положенные часы или сбегает в пивную… «А то с чего бы он на меня поглядывал? Какой ему

интерес?» – недоумевал мой сослуживец, один из тех, кого мы с Анной Андреевной называли «Васями». Но тем, что дежурили у дома Ахматовой, все же было веселее – к ней нет-нет да зайдет кто-нибудь, одну ее все-таки не оставляли. «Гнилой старикашка», кстати, был бывшим меньшевиком, как предупредили «Васю».

К людям, пришедшим в учреждения из органов, товарищи относились неплохо. Среди них, говорят, никогда не вербовали осведомителей, и это вполне естественно: какой-нибудь даме или юноше из известной интеллигентской или дворянской семьи легче втереться в доверие и вызвать знакомых на откровенность, чем бывшему чекисту. К тому же такие люди, «укрепившие кадры», не боялись сокращений и потому меньше участвовали в учрежденческих склоках, направленных на уничтожение конкурентов.

Воронежский начальник принял нас в огромном кабинете с такими же дверями или шкафами, как у московского следователя. Он спросил у О. М., какое у него дело, и поглядывал на нас с явным любопытством – не потому ли он нарушил обычай и принял нас, что ему захотелось посмотреть, какая птица сидит у него в клетке? Ведь у начальников тоже бывают человеческие слабости. Но думаю, что советскому генералу О. М. импонировать не мог. Не так должен был представляться писатель людям этого учреждения. Изможденный, с ввалившимися щеками и белыми губами, Мандельштам казался «полуживым», как он назвал себя в «Нищенке», рядом с плечистым, начинающим толстеть, но еще подтянутым начальником, бритым и бело-розовым.

О. М. сказал, что пришел по двум вопросам. Первый – как заработать денег на жизнь. Ссыльного не принимают на работу ни в какое учреждение, иначе принявшего выгонят вместе с принятым, обвинив в «отсутствии бдительности». Биржи труда – нет. Как осуществить право на труд? Сейчас перед О. М. все двери закрыты, но пока его пускали, он неоднократно обращался в советские и партийные организации с этим вопросом. В последний раз, летом 36 года, ему удалось пробиться в обком, где он говорил о своем трудоустройстве. Ему там сказали: «Вам надо начинать сначала – поступайте хоть сторожем или гардеробщиком и покажите себя на работе»… Но это лицемерие – сторожем его тоже не возьмут по причине той же бдительности, и кроме того, если интеллигент пойдет на такую должность, это будет истолковано как политическая демонстрация. Все организации, начиная с Союза писателей, утверждают, что О. М. к ним никакого отношения не имеет, и поэтому заниматься его трудоустройством они не должны и не будут. Очевидно, О. М. «имеет отношение только к вашему учреждению». Поскольку

лагерников обеспечивают работой, О. М. спрашивает, не распространяется ли это на ссыльных…

Начальник ответил, что трудоустройством ссыльных органы не занимаются – это была бы «слишком большая нагрузка», в которой нет нужды, потому что ссыльные вольны заниматься чем угодно, а безработицы у нас, как известно, нет.

– А чем вы сейчас занимаетесь? – прибавил он.

О. М. ответил, что, не имея никакой оплачиваемой работы, он занимается испанским языком и литературой, в частности одним поэтом, евреем по национальности, который много лет просидел в подвалах инквизиции и каждый день сочинял по сонету. Выпущенный на волю, он записал свои сонеты, но вскоре его снова забрали и посадили на цепь. Неизвестно, продолжал ли он и тогда свою поэтическую деятельность… Может, в клубе МГБ можно организовать кружок испанского языка и поручить О. М. руководство?

Я не могу сказать наверняка, но кажется, ко времени приема до нас уже дошли слухи об аресте ленинградских испанистов, и О. М. поэтому из всех своих занятий выбрал это, чтобы сообщить начальнику.

Начальник очень удивился, услыхав про испанские проекты О. М. Он ответил, что «наши молодцы» вряд ли заинтересуются испанским языком. Мне кажется, он даже не оценил рассказа про инквизицию и только недоумевал, что за чудак сидит перед ним…

– А почему вам не помогают родные или друзья? – внезапно спросил он. О. М. ответил, что родных нет, а друзья при встречах отворачиваются, а на письма не отвечают: «Вы сами понимаете, почему»…

– Мы никому не запрещаем встречаться с ссыльными, – добродушно рассмеялся начальник и предложил перейти ко второму вопросу.

Оказалось, что речь идет о стихах: О. М. предложил начальнику отправлять ему все новые стихи по почте. «Чтобы вам не приходилось ради этого отрывать отдела своих работников», – пояснил он. Ему хотелось, как он мне потом сказал, повторить за начальником слово «молодцы»: «Зачем вашим молодцам таскаться ко мне за стихами?» Но от этой сугубо патриархальной терминологии он, к счастью, воздержался.

Начальник становился все добродушнее. Он заверил О. М., что его учреждение никакими стихами не интересуется – только контрреволюцией! «Зачем нам ваши стихи – пишите, что хотите!», но тут же он неожиданно прибавил: «А почему вы написали те стихи, из-за которых все вышло? Испугались коллективизации?» В

партийных кругах было принято говорить о раскулачивании как о прошлом, изящно признаваясь, что это дело, необходимое и полезное, проводилось так решительно – «перегибы, конечно, имели место, не скроешь» – что подействовало на нервы кое-каким неустойчивым гражданам. Ответ О. М. прозвучал неопределенно: вроде и так, да не совсем… а может, не только…

Во время нашего разговора начальнику позвонили по телефону, и мы запомнили его реплики: «Да, да… это клевета… пришлите, оформим…» Мы поняли, что решается чья-то участь и оформляется ордер на арест по доносу: некто что-то сказал… Этого было достаточно, чтобы исчезнуть из жизни. Что бы мы ни сказали – обыкновенного, такого, как говорят повсюду, кроме нашей страны, – нам можно было это предъявить в качестве обвинения. Расходясь после разговора с друзьями, мы часто подытоживали: «Сегодня мы наговорили на десять лет»…

Расстались мы с начальником вполне дружелюбно. Я спросила у О. М.: «Зачем тебе понадобилась эта петрушка?» Он ответил: «Пусть знает», а я с обычной женской логикой завопила, что «они и так все знают»… Однако настроения О. М. мне испортить не удалось, и несколько дней он ходил веселый, вспоминая детали разговора. Кое-чего он все же добился: стукачей словно смыло и ни один из них больше не появлялся до самого конца воронежской жизни. А зачем они, собственно, были нужны? Ведь стихи все равно попадали куда следует, правда, в Москве, а не в Воронеже, через бдительного Костырева и редакции журналов.

Остается вопрос: почему начальник убрал от нас своих стукачей вместо того, чтобы обвинить О. М. в клевете и выписать на него ордер? Быть может, еще действовал приказ «изолировать, но сохранить» или же О. М. числился «за Москвой», а Воронеж присылал своих стукачей просто из служебного запала: и мы не лыком шиты! А возможно, что начальник просто позволил себе некоторый либерализм. Это иногда случалось: ведь начальники тоже люди и, может, некоторым из них надоедало убивать. Странно только, что все это делали люди, самые обыкновенные люди: «Такие же люди, как вы, с глазами, вдолбленными в череп. Такие же судьи, как вы»… Как это объяснить? Как это понять? И еще один вопрос: зачем?

# Моя святая

Срок трехлетней ссылки кончался в середине мая 1937 года, но кто интересовался сроками? Мы не формалисты – срок – это вопрос удачи, а не права: могут скостить, а могут и прибавить – кому как повезет. Опытные ссыльные, вроде чердынских, радовались, если им с ходу прибавляли несколько лет. Ведь законное оформление «прибавки» означало бы новый арест, новые допросы и обвинения, а потом ссылку в новое, еще необжитое место, а лагерники и ссыльные знают, как важно продержаться как можно дольше на одном месте. В этом, в сущности, закон спасения – люди обзаводятся друзьями, которые помогают друг другу переносить каторжные условия, обрастают жалким скарбом, пускают, так сказать, корни и тратят меньше сил на борьбу за существование. Да что говорить о ссыльных! Для любого человека переезд в наших условиях – непосильная встряска; ведь недаром же люди так держатся за свою жилплощадь. Только неисправимый бродяга О. М., для которого была невыносима сама мысль о прикреплении, мог тяготиться Воронежем и мечтать о перемене местожительства. Ничего, кроме беды, никакая перемена не приносит.

В апреле я ездила в Москву и, убедившись, что передо мной гладкая стена, которую нельзя прошибить, писала для утешения в Воронеж, что близится срок и мы скоро куда-нибудь переедем. О. М. никак не реагировал на эти утешения. Попалась на удочку моя мать, которая приехала в Воронеж пожить с О. М., чтобы дать мне возможность съездить в Москву за новыми надеждами.

Зачем на пороге новой эры, в самом начале братоубийственного двадцатого века, меня назвали Надеждой? Я ведь только и слышала от друзей и знакомых: «Не надейся, что кто-нибудь поможет – все привыкли, что вы погибаете… На частную помощь не надейся, на работу не надейся… Никто не прочтет твоего письма – не надейся… Никто не пожмет руку – не надейся… Никто не поклонится при встрече – не надейся… Ишь чего вздумала!»… А на что было надеяться? Ведь без надежды жить нельзя, и приходилось мне идти от одной обманувшей надежды к другой. В Воронеже мы могли жить только на частную помощь, как нам посоветовал великодушный начальник МГБ, но мы убедились, что надеяться на нее не следует, поэтому у нас не оставалось ничего, кроме надежды на переезд.

16 мая 1937 года мы пошли в комендантскую МГБ к тому самому окошку, куда три года назад О. М. сдал сопроводительную бумажку из Чердыни и через которое ему

надлежало вести все переговоры с государством о своей судьбе. Сюда приходили регистрироваться «прикрепленные» – кто раз в месяц, а кто каждые три дня. Нас было много – человеческой мелюзги, взятой на мушку государством, и поэтому у окошка всегда топталась большая очередь, но мы даже не подозревали, что эти толпы – признак устойчивости и благополучия, потому что продолжается эпоха, которую Ахматова назвала «сравнительно вегетарианской». Все постигается сравнением. Вскоре мы прочли в газетах, что каторжники при Ягоде жили в лагерях, как на курортах. Все газеты хором обвиняли Ягоду в попустительстве лагерному и ссыльному сброду. «Оказывается, – сказали мы друг другу, – мы были в лапах у гуманистов. Кто бы мог подумать!»

В середине мая 37 года очередь к окошку стояла крохотная – с десяток или полтора мрачных, ободранных интеллигентов. «Разъехались из Воронежа», – шепнул мне О. М. Несмотря на изоляцию, мы тотчас поняли, в чем дело: большинство прикрепленных уже сидели повторно, а новых не присылали. С «вегетарианством» покончили – никаких «минусов» и «прикреплений» больше не давали. Из тюрьмы открывались только две дороги: в лагерь или на тот свет. Кое-кто удостаивался и тюремного заключения. Даже жен и детей почти перестали высылать на поселение, их тоже предпочитали интернировать в специальные лагеря. Для детей, даже маленьких, завели особые детские дома. В них видели будущих мстителей за отцов. «У Гумилева, наверное, есть какое-нибудь дело, – сказал мне в 56 году Сурков. – Такого отца расстреляли! Он, должно быть, хотел за него отомстить…» Любопытно, что Сурков сказал это мне: проникнувшись кавказской психологией, он считал, что кровная месть дело мужчин, а не женщин… А до 1937 года потенциальные мстители еще высылались и заполняли очереди у окошек провинциальных комендантских. Приехав в Воронеж, мы застали там юношу Столетова, одинокого и полубезумного. Он бродил по улицам и жаловался на своего отца, который оказался «вредителем». В 37 году сын расстрелянного попал бы не в Воронеж, а прямо за колючую проволоку. Не помогли бы ему жалобы на отца, которым, кстати, никто, включая меня и О. М, не верил. Но бывали сыновья, которые искренне проклинали погибших родителей. После смерти О. М. я очутилась в пригороде Калинина (Твери), где жили несколько жен, получивших случайно не лагерь, а высылку. Там поселили мальчика лет четырнадцати, родственника или свойственника Сталина. О нем пеклась жившая неподалеку тетка, тоже высланная, и бывшая гувернантка. Родители исчезли, как в воду канули. Мальчик

целыми днями проклинал отца и мать-изменников, предателей рабочего класса, врагов народа. Он нашел формулировку, подсказанную тщательным воспитанием: «Сталин мой отец, другого мне не надо», и вспоминал героя советских хрестоматий Павлика Морозова, сумевшего вовремя донести на своих родителей. А этого мучила мысль, что он вовремя не сумел обнаружить преступную деятельность своих отца и матери и не попал из-за этого в хрестоматийные герои. Тетке и гувернантке оставалось только молчать. Они знали, что сделает их питомец, если они скажут хоть слово. Вот этот-то мальчик остался и в 37 году на вольном поселении, но исключение только подтверждает правило, и в Воронеж больше ссыльных пополнений не посылали.

Без всякой веры и надежды мы простояли с полчаса в жидкой очереди: «Какой-то нас ждет сюрприз?» – шепнул мне О. М., подходя к окошку. Там он назвал свою фамилию и спросил, нет ли для него чего-нибудь, поскольку срок его высылки окончился. Ему протянули бумажку. В первую минуту он не мог разобрать, что там написано, потом ахнул и вернулся к дежурному в окошке. «Значит, я могу ехать куда хочу?» – спросил он. Дежурный рявкнул – они всегда рявкали, это был их способ разговаривать с посетителями, – и мы поняли, что О. М. вернули свободу. По всей очереди, уныло топтавшейся за нами, словно пробежала искра. Люди зашевелились и начали шептаться. Наш случай, видно, пробудил в них угасшую надежду: если отпустили одного, могут отпустить и другого…

Несколько дней ушло на ликвидацию воронежской оседлости. Несмотря на нищету, у нас скопилась какая-то утварь. Мы завели ведра, бак для воды, сковородку, утюг – О. М. написал Бенедикту Лившицу, что я отлично глажу мужские рубашки, – плитку, лампу, керосинку, тюфяк и сенник, банки, тарелки, две или три кастрюли. Все это покупалось на базаре и стоило очень дорого – каждое приобретение было событием. Но еще дороже обошлось бы, если бы мы вздумали тащить с собой всю эту жесть: извозчики и носильщики нас бы разорили, хотя слово «разорить» неуместно в нашем положении. Часть вещей мы продали, но большинство роздали. К чему, например, ведра в Москве – ведь там водопровод… Мы ничуть не сомневались, что возвращаемся в Москву: если в такое тяжелое время О. М. не надбавили сроку, значит, его решено вернуть. И тут мы почему-то вспомнили, что нам почему-то сохраняют квартиру целых три года… Сколько раз писатели, тяготившиеся своей однокомнатностью, просили, чтобы у нас отобрали наши хоромы, и ходили к моей матери, чтобы посмотреть, что там пустует. Она не пускала их в дом и отчитывала тут же на пороге, рассказывая, как по старой

интеллигентской этике должен вести себя писатель по отношению к ссыльному коллеге… О Костыреве мы не подумали, продолжая верить в элементарную порядочность представителей общественных организаций – ведь за него поручился сам Ставский! Значит, он освободит комнату, как только она понадобится хозяину… Еще мы вспомнили фразу Сталина в разговоре с Пастернаком: «С Мандельштамом все будет хорошо». Но почему-то мы совершенно забыли то, о чем нас предупреждал Винавер, и еще мы забыли, где мы живем.

Через несколько дней мы сидели на груде вещей на воронежском вокзале. Денег, привезенных нами из Москвы, хватило на три билета – с нами была моя мать. Никто нас не провожал: Федя находился на службе, а Наташа давала уроки. Ведь Наташа была педагогом, и О. М., всегда сочинявший ей шуточные стишки, придумал: «Если бы проведал Бог, Что Наташа педагог, Он сказал бы: ради Бога, Уберите педагога»… Накануне мы распили бутылку вина, и О. М. все не отпускал Наташу, хотя она жаловалась, что мать будет беспокоиться… И на этот случай есть стишок «Пришла Наташа. Где была? Небось не ела, не пила… И чует мать, черна, как ночь, – Вином и луком пахнет дочь»…

Мы уезжали веселые и полные самых радужных надежд, и мы совершенно забыли, как обманчива и призрачна та, в честь которой меня назвали…

# «Один добавочный день»

Мы открыли дверь собственным ключом и с удивлением увидели, что в квартире никого нет. На столе лежала немногословная записка. Костырев сообщал, что переселился с женой и ребенком на дачу. В комнатах не осталось ни одной костыревской тряпки, словно никто не жил здесь без О. М., не отбирал стихов для переписки, не подслушивал разговоров моих с матерью, братом и немногочисленными друзьями, которые все же решались ко мне зайти. Почему Костырев счел нужным смыться? Во всяком случае не из деликатности… Мы сочли его исчезновение за добрый знак: ведь он обещал очистить квартиру, как только она понадобится Мандельштаму. Раз он ее освободил, значит, О. М. действительно возвращен…

Отсутствие Костырева и реальность знакомых стен и вещей – кровати, занавески, кастрюли и полки с горсточкой книг – вдруг заслонили весь чердынский и воронежский опыт: у нас создалась иллюзия, будто это настоящий дом, где мы жили и снова будем жить после каких-то непонятных и ненужных скитаний. В одну секунду произошел процесс склеивания прошлого с настоящим, когда вдруг блекнет и выпадает вклинившийся между ними, навязанный извне, а не свободно выбранный кусок жизни. Благодаря своей способности жить настоящим, О. М. умел без оглядки переходить из одного периода в другой – это видно и из его стихов с их отчетливым делением на этапы. Поэтому, когда он вошел в квартиру, вся трехлетняя ссылка вдруг потеряла достоверность, и процесс склеивания произошел на ходу, без подготовки, вдруг, сразу. Иногда куски жизни склеиваются, иногда – нет. Я уже рассказывала, как они не захотели склеиваться, когда мы отправились в Чердынь. А вот здесь, в Москве, нам показалось, будто мы и не уезжали. Этот процесс склеивания известен многим. Его испытывали освобожденные лагерники, у которых было куда вернуться. Но огромные толпы пробыли в «нетях» столько лет, что, вернувшись, застали одно пепелище: жен тоже сослали, родители умерли, дети погибли или выросли совершенно чужими. Этим оставалось только заново начинать жизнь, и она состоит у них из нескольких несклеивающихся кусков. Иногда жизнь склеивалась не домом и не семьей, а возвращением к нормальной профессии после многих лет чужой принудительной работы или каторжного труда. Сама я избежала лагеря, но мне все же пришлось испытать, как склеиваются разрозненные куски жизни. Человек в такие минуты становится самим собой и сбрасывает личину, которую волей

обстоятельств ему пришлось носить», как тому, кого прозвали Железной Маской. Ведь многим из нас разрешалось жить при условии, что мы будем скрывать свою сущность и притворяться одним из тех, в чье общество мы попали. В этих обстоятельствах не полагалось обнаруживать никаких связей со своим прошлым. Раскулаченный мог уцелеть, если он вовремя становился разнорабочим и начисто забывал о земле. Между известием о смерти Мандельштама и моментом, когда я вынула из тайника и положила на стол – вернее, в чемодан, потому что стола у меня нет, – кучку спасенных стихотворений, прошло около двадцати лет, и все эти годы я была кем-то другим и носила, так сказать, железную маску. В сущности, никому не могла я признаться, что не живу, а просто жду, затаившись, когда я снова стану собой и смогу открыто сказать, чего я ждала и что хранила.

Разрозненные части моей жизни склеивались в 56 году, но в мае 1937-го никакого склеивания произойти не могло: историческая тенденция вела не к соединению разрубленных частей, а к углублению разрыва между ними, и в день приезда в Москву мы попросту стали жертвами зрительной иллюзии, чистейшего обмана чувств. Зато благодаря этой иллюзии О. М. удалось получить свой «один добавочный день».

В такой жизни, как наша, все охотно поддаются иллюзии, люди активно ищут, во что бы поверить, за что бы уцепиться, чтобы вернулось чувство реальности. Окруженный мнимостями человек добровольно уходит в мнимую деятельность», завязывает мнимые отношения с людьми или мнимую любовь – лишь бы было за что держаться. «Нам кажется, что все идет, как надо, и жизнь продолжается, но ведь это только потому, что ходят трамваи», – сказал мне О. М. еще задолго до первого ареста, когда мы как-то вечером стояли на трамвайной остановке. Пустая квартира, где ничего не напоминало о Костыреве, и книжная полка – гораздо лучший предлог для иллюзий, чем переполненный довоенный трамвай… А мы еще подбадривали друг друга приятными напоминаниями: «Сталин сказал» или «Ставский сказал»… В то время мы уже отлично знали, что стоит у нас слово – самая страшная из всех мнимостей, но старались об этом не думать, чтобы сохранить благодетельную иллюзию. Вместо того чтобы впасть в уныние, трезво обсудив положение и придя к ужасным выводам, мы свалили среди комнаты вещи и сразу пошли к «французам», в маленький музей на улице Кропоткина.

«Если мне суждено вернуться, – часто повторял в Воронеже О. М., – я сразу пойду к “французам”». Марья Веньяминовна Юдина заметила, как О. М. скучает по французской живописи: когда она

приезжала в Воронеж, он не забывал о них, даже когда она ему играла. Чтобы утешить его, она прислала ему только что выпущенный музеем альбом. Все же репродукции, да еще довольно дрянные, это не подлинники, и они только раздразнили О. М. Не переодеваясь с дороги, едва выпив вечного чаю, он побежал в музей к самому открытию. Собирался О. М. сходить и к Тышлеру: «Надо насмотреться, пока еще чего-нибудь не случилось…» Тышлера он оценил очень рано, увидав на первой выставке ОСТа серию рисунков «Директор погоды»… «Ты не знаешь, какой твой Тышлер», – сказал он мне, приехав в Ялту. В последний раз он был у Тышлера и смотрел его вещи перед самым концом – в марте 38 года.

# Бессарабская линейка

Первым гостем у нас была Анна Андреевна. Она пришла в первый день нашего приезда утром. Свой приезд в Москву она приурочила к нашему возвращению. Я лежала на кухне на матраце с дикой головной болью, а О. М. бегал взад и вперед по этой крошечной комнатушке – ведь она у нас называлась «капище» – и читал стихи. Он отчитывался во второй и третьей «Воронежских тетрадях». Обычай отчитываться друг перед другом в каждой написанной строчке установился у них с ранней юности. В тот день Анна Андреевна прочла впервые обращенные к О. М. стихи про Воронеж. Они кончаются строчками: «А в комнате опального поэта Дежурят страх и муза в свой черед»… Действительно, когда Анна Андреевна гостила в Воронеже, у нас у всех случился припадок отчаянного и бессмысленного страха. Произошло это вечером, в комнате у «агента», который жарил мышей. Мы сидели при коптилке – свет выключили, как это часто бывало в провинции. Вдруг дверь открылась, и в комнату вошел без всякого предупреждения ташкентский биолог Леонов с каким-то спутником. Пугаться не было никаких оснований: мы знали, что у Леонова в Воронеже живет отец и он часто к нему приезжает. Сам Леонов – анахорет или российский дервиш, домашний философ, всегда немного под хмельком – был абсолютно свой человек. Его привел к нам Кузин, и с тех пор он иногда у нас появлялся, а потом снова исчезал в свой ташкентский университет, где он когда-то работал вместе с Поливановым и приобрел вкус ко всякой филологии и поэзии. Откуда же испуг? Встречаясь с Анной Андреевной, мы всегда чувствовали себя по крайней мере заговорщиками и могли испугаться чего угодно. Впрочем, все советские граждане пугались неожиданных посетителей, машин, если они останавливались у дома, и поднимающегося ночью лифта… К приезду Анны Андреевны в Воронеж страх еще не дежурил у нас, а только иногда хватал нас за горло. Зато в Москве, в дни, когда нами овладела иллюзия, мы не боялись ничего. Мы впали в ничем не объяснимое спокойствие и почему-то поверили в прочность нашей жизни. Это невероятно, но факт.

От этих дней в Москве у меня сохранились очень странные отрывочные воспоминания, как будто очень яркие отдельные кадры, а между ними невосстановимые провалы. Следующий кадр, в котором участвует Анна Андреевна, – это несносное ожидание Харджиева: он обещал приехать и привезти вина, но непростительно опоздал, как умели опаздывать только москвичи,

когда ни у кого не было часов, а трамваи и автобусы ходили как попало. Анна Андреевна не дождалась Харджиева и ушла к себе – в тот приезд она остановилась у Толстой на Пречистенке. Харджиев все же явился. «Надо водворить ее обратно», – сказал О. М. и позвонил Толстой. Был час пик, Анна Андреевна не попала на трамвай, прошла всю дорогу пешком и едва вошла в переднюю, как ее позвали к телефону. «Возвращайтесь», – сказал О. М., и она тотчас двинулась в обратный путь, как Феб из «антологии античной глупости», шуточных стихов, которые сочиняли в дни беспечной юности Гумилев, Георгий Иванов, Лозинский и О. М.: «Катится по небу Феб в своей золотой колеснице, Завтра тем же путем он возвратится назад»…

Мы сидели в большой комнате – сейчас мы называли ее «костыревской», – а когда пришла Анна Андреевна, вернулись в нашу – проходную, перегороженную шкафом, очень узкую и маленькую. За шкафом стояли только столик и матрац на ножках: однокомнатные люди быстро научились обходиться без кроватей. Матрац стоял обычно возле стены, но сейчас мы поставили его поперек комнаты, испугавшись клопов, – изголовьем к стене. Он занимал почти всю ширину комнаты – оставался только узкий проход к окну, широкому и распахнутому. Я возилась на кухне, а они трое сидели на матраце.

– Бессарабская линейка, – заявил О. М., когда я вошла. – Обнищавшая помещица со своим управляющим, а я – жид…

В отношениях О. М. и Анны Андреевны всегда чувствовалось, что их дружба завязалась в дурашливой юности. Встречаясь, они молодели и наперебой смешили друг друга. У них были свои словечки, свой домашний язык. Припадки озорного хохота, который овладевал ими при встречах, назывались «большой смиезь» – посмотреть, скажешь: не двое измученных, обреченных людей, а дрянная девчонка, подружившаяся по секрету от старших с каким-то голодранцем… Выражение «большой смиезь» пошло с тех пор, как Анна Андреевна позировала Альтману, а О. М. прибегал на сеансы. Они рассказывали, будто вошел сосед Альтмана, тоже художник, итальянец по национальности, и услыхав, как они хохочут, сказал: «А здесь, оказывается, большой смиезь»… Были и другие традиционные слова. Услыхав о какой-нибудь нелепой сцене, О. М. всегда говорил: «И никакой неловкости не произошло»… Эта фраза тоже имела свою историю. Как-то Анну Андреевну попросили зайти с поручением к старому, парализованному актеру Г-ну… Ее привели к старику и сказали, кто она. Он посмотрел на нее мутным взглядом и произнес: «Совершенно неинтересное знакомство»… О. М. в незапамятные времена выслушал про этот визит и резюмировал:

«И никакой неловкости не произошло»… Так эти две фразы и остались жить… Жизнь делала все, чтобы отучить их смеяться, но они оба туго поддавались воспитанию.

В день, когда грохотала бессарабская линейка, появилось еще одно словечко. Я зажарила яичницу из принесенных Харджиевым яиц и вошла с подносом в комнату. Все трое протянули ко мне руки и закричали: «Она наша мама!», а О. М. тут же переиначил: «Она мама нас!» Я рассердилась: «Старые, противные, почему я вам мама?» – но ничего не помогло, и я так и осталась «маманасом»… Образумить стариков – Николай Иванович был, впрочем, моложе меня – мне не удалось – они ведь были трудновоспитуемые…

Сцена на линейке – последний кадр с Анной Андреевной… Она, вероятно, уехала в Ленинград объясняться с Пуниным. У них уже давно не ладилось – я даже не вспомню, когда она мне в первый раз сказала: «Мне здесь плохо…» В Москве же у нее было объяснение с Гаршиным, которое подтолкнуло окончательный разрыв с Пуниным. После ее отъезда на линейке появились Яхонтов с Лилей. По наружности Лилю вполне можно было бы принять за бессарабскую дамочку, но она не смеялась, а тщательно перевоспитывала О. М. в духе чувствительного и сентиментального сталинизма – такой тоже был… По ее мнению, писатель, который забыл посвятить себя служению Сталину, – погибший человек: ему закрыты все пути в литературу – кто же станет такого читать? – и он навеки будет предан забвению. Что Сталин – спаситель человечества, Лиля не сомневалась. Между прочим, она собиралась написать Сталину, что нужно помочь О. М. стать на правильный путь и для этого скорее напечатать все его стихи. Впоследствии такие настроения стали называться «гапоновщиной». Лиля была начитана в партийной литературе, потому что составляла монтажи для Яхонтова. Каждый день у нее появлялся дежурный рассказ о чудесах, творимых вождем. Яхонтов ее настроений не разделял – он больше пошучивал и разыгрывал забавные сценки. Одной из коронных было изображение собственного отца, большого, тучного, потного чиновника, дрожавшего перед начальством. Лилин комментарий: «При царизме все чиновники трусили»… Иногда Яхонтов читал лермонтовского «Пророка», играя палкой, как марионеткой. Палка пробиралась сквозь толпу, пугливо шарахалась, смиренно кланялась Лиле: «Он наг и беден», – говорил Яхонтов, показывая на О. М., а О. М. показывал на Яхонтова, который тогда тоже был нищим. Но деньги в те дни нам, вероятно, давал он, и никаких затруднений не было.

Когда мы уезжали, Лиля сняла с полки какие-то

марксистские книжки и хотела дать их О. М. для просвещения, но Яхонтов сказал: «Незачем, совершенно бесполезно», – и подарил О. М. собственную Библию. Он тоже был трудновоспитуемым. Библия и сейчас у меня.

Анна Андреевна хорошо знает и любит Ветхий Завет и охотно обсуждает всякие тонкости с Амусиным, великим знатоком, которого я к ней привела. А О. М. побаивался ветхозаветного Бога и его тоталитарной грозной власти. Он говорил – и эту мысль я впоследствии нашла у Бердяева, – что учением о троичности христианство преодолело единовластие иудейского Бога. Естественно, что мы страшились единовластия…

# Земля и земное

Женщина, вернувшаяся после многолетних скитаний по лагерям, рассказывала, что она со своими товарками по беде искала утешения в стихах, которые, на свое счастье, помнила наизусть, и особенно в юношеских строчках О. М.: «Но люблю эту бедную землю, Оттого, что другой не видал»…

Наша жизнь не располагала к отрыву от земли и к поискам трансцендентных истин. «Всегда успеешь, – говорил мне О. М. на мои разговоры о самоубийстве, – всюду один конец, а у нас еще помогут»… Смерть была настолько реальнее и проще жизни, что каждый невольно стремился хоть на миг продлить свое существование – а вдруг завтрашний день принесет облегчение! На войне, в лагерях и в периоды террора люди гораздо меньше думают о смерти, а тем более о самоубийстве, чем в мирной жизни. Когда на земле образуются сгустки смертельного страха и груды абсолютно неразрешимых проблем, общие вопросы бытия отступают на задний план. Стоило ли нам бояться сил природы и вечных законов естества, если страх принимал у нас вполне осязаемую социальную форму? Как это ни странно, но в этом – не только ужас, но и богатство нашей жизни. Кто знает, что такое счастье? Полнота и насыщенность жизни, пожалуй, более конкретное понятие, чем пресловутое счастье. Может, в том, как мы цеплялись за жизнь, было нечто более глубокое, чем в том, к чему обычно стремятся люди… Я не знаю, как это назвать – жизненной силой, что ли… Но я всегда вспоминаю свой разговор с Сонькой Вишневецкой, вдовой Вишневского. Мы как бы подытожили с ней все, что с нами произошло: «Вот мы и прожили жизнь, – сказала Соня, – я – счастливую, ты – несчастную»… Бедная, глупая Сонька! Не глупая, впрочем, а просто идиотка… У ее мужа был призрак власти в руках – к нему ходили на поклон писатели, потому что он распоряжался какими-то деньгами и сообщал своим «приверженцам» новые приказы правительства. Его пускали в ЦК, и несколько раз ему случалось быть на приеме у Сталина. Он пил не меньше Фадеева, жадно втягивал ноздрями государственный воздух и позволял себе фронду-минимум: требовал, чтобы напечатали Джойса, и посылал деньги сначала какому-то ссыльному морскому офицеру в Ташкент, а потом – через моего брата – в Воронеж. У него были машина, квартира и дача, которую подло отобрали у Соньки после его смерти. Соня до смерти осталась верна тому, что дало ей эту роскошь, и гневалась на Хрущева за то, что наследникам стали платить половину гонорара, который весь, по ее мнению, принадлежал ей.

Про Соню рассказывали груду анекдотов, но она все же была славная баба, и никто не сердился, когда она во весь голос кричала, что вредители убили ее мужа в Кремлевской больнице. А на самом деле ей очень повезло, что он вовремя умер, не успев передать свое наследство какой-нибудь Сониной конкурентке. Соне многие завидовали и пытались выбить кусок из ее рук Это действительно называлось удачей и счастьем, в этом она была права.

Мне тоже хотелось, если не «счастья», то хоть благополучия: «О, сколько раз ей милее уключин скрип, Лоном широкая палуба, гурт овец», мирная жизнь с ее простым отчаянием, мыслями о неизбежности смерти и тщете всего земного… Нам это было не дано, и, может, именно это имел в виду О. М., когда сказал следователю, что потерял с революцией страх…

Акмеизм для О. М. был не только «тоской по мировой культуре», но и утверждением земного и общественного начала. Как у всякого человека целостного мировоззрения, в каждом его суждении видна связь с общим пониманием вещей. Разумеется, это не продуманная и разработанная система взглядов, а, скорее, то, что он назвал в одной из своих статей «мироощущением художника». «Я понял, – сказал мне Тышлер, прекрасный художник, – сидит себе человек и режет ножиком кусок дерева, а вышел Бог…» И он же про Пастернака: «Зачем ему нужно было менять религию? Зачем ему посредники? Ведь у него было свое искусство». Подобно тому, как мистический опыт определяет религиозное мировоззрение, так и рабочий опыт художника открывает ему мир вещей и духа. Не этим ли опытом художника объясняется то, что взгляды О. М. на поэзию, на роль поэта в обществе и на «слияние умственного и нравственного начала» в целостной культуре и у отдельного человека не претерпели за всю жизнь существенных изменений и ему не пришлось отказываться от своих ранних, печатавшихся в «Аполлоне» статей? В основном он пронес через жизнь единство взглядов и мироощущения. В стихах, несмотря на отчетливое деление на периоды, сохраняется то же единство, и они нередко перекликаются с прозой даже более ранних периодов. Поэтому-то проза и может служить комментарием к стихам.

Верность земле и земному сохранилась у О. М. до последних дней, и воздаяния он ждал «только здесь на земле, а не на небе», хотя и боялся не дожить до этого. «Хорошо, если мы доживем», – сказал он мне. В одном из последних стихотворений, уже готовясь к смерти, он вспомнил, что «Под временным небом чистилища Забываем мы часто о том, Что счастливое небохранилище – Раздвижной и прижизненный дом».

Читая «Самопознание» Бердяева, одного из лучших наших современников, я не могла не обратить внимания, насколько разно относились эти два человека к жизни и к земному. Быть может, это происходило потому, что один – художник, а другой жил отвлеченной мыслью; кроме того, Бердяев внутренне связан с символистами, и, хотя у него уже намечаются разногласия с ними и некоторое в них разочарование, он все же не порвал с их «родовым лоном», а для О. М. бунт против символизма определял всю сущность его жизни и искусства.

Для Бердяева «жизнь – это обыденность, состоящая из забот», он «был устремлен к поэзии жизни и красоте, но в жизни преобладали проза и уродство». Понятие красоты Бердяева прямо противоположно тому, которое я видела у всех художников и поэтов, оторвавшихся от символизма. Ни для живописца, ни для поэта нет презренной обыденности; именно в ней он видит красоту – впрочем, это слово почти не употреблялось в моем поколении. Символисты – Вячеслав Иванов, Брюсов – в значительной степени присвоили себе жреческое отношение к жизни, и потому обыденность не совпадала у них с красотой. Возвращение на землю следующих поколений значительно расширило их мир, и он уже больше не делился на уродливую прозу и возвышенную поэзию. Я вспоминаю Ахматову, которая знает, «из какого сора растут стихи, не ведая стыда», и Пастернака с его горячей защитой обыденного в романе. Мандельштаму вся эта дилемма была бесконечно чужда. Он не искал выхода из земного, обычного, пространственного и временного в сферу чистого духа, как Бердяев и символисты, и постарался в своей первой попытке дать нечто вроде поэтики, обосновать привязанность к земле с ее тремя измерениями. Он говорит, что земля для него «не обуза, отнюдь не несчастная случайность, а Богом данный дворец». Далее следует полемический выпад против тех, кто, подобно Бердяеву, рвался отсюда в лучший мир и считал жизнь на земле признаком богооставленности. В том же «манифесте» – «Утро акмеизма» – О. М. пишет: «… что вы скажете о несчастном госте, который живет за счет хозяина, пользуется его гостеприимством, а между тем в душе презирает его и только и думает, как бы его перехитрить»… «Перехитрить» значит здесь – уйти из времени и трехмерного пространства. Мандельштаму, или, как он себя называет, акмеисту, трехмерное пространство жизненно нужно, потому что он чувствует свой долг перед хозяином – он здесь, чтобы строить, а строят только в трехмерности. Отсюда его отношение и к миру вещей. Этот мир не враждебен художнику, или, как он говорит, строителю, потому что вещи даны для того, чтобы из них строить.

Строительный материал – камень. Он «как бы возжаждал иного бытия» и просится в «крестовый свод» – участвовать в радостном взаимодействии себе подобных. О. М. слово «творчество» не употреблял, такого понятия у него не было. Он с юности ощущал себя «строителем» – «из тяжести недоброй и я когда-нибудь прекрасное создам». Отсюда не отталкивание от материи, а ощущение ее тяжести, ее предназначенности участвовать в строительстве. Бердяев неоднократно говорит о высшем назначении человека на этой земле – о его творчестве, но не раскрывает, в чем творчество заключается. Это, вероятно, потому, что у него нет опыта художника: ощущения тяжести вещей и слова. Его опыт мистический, который уводит его к концу вещного мира. Близкий к мистическому опыт художника раскрывает ему Творца через его творение, Бога – через человека. Мне кажется, этот путь оправдан учением В. Соловьева и Бердяева о Богочеловечестве. И не потому ли всякому подлинному художнику свойственно то чувство правоты, о котором говорил О. М.?

У Бердяева, как он с этим ни борется, есть презрение к «массовому человеку». Это тоже сближает его с символистами. Уж не идет ли это от Ницше, который на символистов имел такое огромное влияние? Бердяев жалуется, что «мы живем в век мещанства, и он неблагоприятен появлению сильных личностей». Бердяев «любил стушевываться». Ему было «противно давать понять о своей значительности и умственном превосходстве». Читая это, я вспомнила пушкинские слова – «и меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он», которые были совершенно неправильно поняты всей вересаевской сволочью. Ведь в них выражено простейшее чувство единения с людьми – такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости, разве что не такой ладный, как другие… Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними и, пожалуй, даже некоторой зависти к тому, что все они очень уж складные, – неотъемлемый признак поэта. В юношеской статье «О собеседнике» О. М. говорит о разнице между литературой и поэзией: «… литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи… Содержание литературы переливается в современника на основании физического закона о неравных уровнях. Следовательно, литератор обязан быть «выше», «превосходнее» общества. Поучение – нерв литературы… Другое дело поэзия. Поэт связан только с провиденциальным собеседником. Быть лучше своей эпохи, лучше своего общества для него не обязательно»… И О. М. искренне чувствовал себя равным людям, таким же, как все люди,

а может, и хуже других людей: «Я с мужиками бородатыми Иду, прохожий человек»… Позиция символистов была учительской – и в этом их культурная миссия. Отсюда их стояние над толпой, их тяга к сильным личностям. Даже Блок не избежал сознания своей исключительности, которое перемежалось, правда, у него с естественным для поэта ощущением связи с улицей, толпой, людьми. Для Бердяева, как для философа, а не художника, естественно сознание своего превосходства, но тяга к аристократизму и сильной личности – дань времени.

О. М. не любил и не позволял себе никаких выпадов против «мещанства». Мещан-бюргеров он, скорее, уважал и не случайно назвал Герцена, клеймившего их, барином. Но особенно его удивляли наши нападения на мещан и мещанство… «Чего они хотят от мещан, – сказал он как-то. – Ведь это самый устойчивый слой – на нем все держится». В сущности, у него было прямое отталкивание только от одной категории людей – это от литературных дам, державших салоны, и от их итээровских сестер. Этих он не переносил за их претенциозность, и они ему отвечали тем же… В «Путешествии в Армению» есть место, которое могло бы показаться выпадом против мещанства. Речь идет о соседях по Замоскворечью… Но это не мещанство с его устойчивым бытом и привычками, а косная мрачная толпа безрадостных людей, которая добровольно и охотно пошла в новое рабство. Здесь он солидарен с Бердяевым, который заметил, что «после первой мировой войны народилось поколение, которое возненавидело свободу и возлюбило авторитет и насилие». Но Бердяев считает, что это результат «демократического века», и в этом он неправ. Вся наша история последних десятилетий была предельно антидемократична, и эти процессы особенно четко выразились именно у нас.

Ведь весь «вождизм», которым болела первая половина двадцатого века, – это отказ от демократии. Издали он не заметил, как затоптали простого человека, и не видел развития того, что мы называли «гэпэушным презрением к людям». Ведь вождь был не один, а всякий, у кого в руках была хоть какая-нибудь власть: любой следователь и любой управдом… Мы не понимали, что такое искушение властью. Кто захочет быть Наполеоном, скажем? Но в том-то и дело, что какой-нибудь директор института стремится вовсе не наверх, а дико цепляется за свое директорство и из него извлекает все наслаждение властью. Крошечные диктаторы развелись повсюду. Ими кишела и еще кишит наша земля, но они все же исчезают, потому что люди уже насладились этой игрой, ее время прошло.

Бердяев, подобно символистам, не признает «групповой

морали» и «родового начала», потому что оно противоположно свободе. Здесь его свобода приближается к тому своеволию, которое расшатывало дореволюционную интеллигенцию. Ведь культура – это не только верхний слой общества, но и то, что передается из поколения в поколение, та самая преемственность, без которой рушится жизнь. «Родовое» часто невыносимо и приобретает застывшую форму, но, видно, в целом оно не так уж страшно, раз род человеческий все-таки устоял и существует. А угроза этому человеческому роду намечается не от родовой морали, а от чрезмерной изобретательности его подвижных слоев. О. М. называет поэта «колебателем смысла», но это не бунт против устоев и преемственности, а, скорее, отказ от застывшего образа, от омертвевшей фразы, которая, застыв, искажает смысл. Это тот же призыв к жизни, к живому наблюдению, к регистрации событий – против омертвения. Не в этом ли смысле он говорит о «культуре-приличии»? В искусстве это, очевидно, повторение того, что уже было и кончилось, но что с радостью принимается людьми, потому что они предпочитают быть подальше от «колебателей смысла».

Главная проблема Бердяева – свобода, за которую он боролся всю жизнь, но этот вопрос для О. М. не существовал. Вероятно, как всякий художник, он не представлял себе, что есть люди, лишенные внутренней свободы; вероятно, он считал свободу неотделимой от человека как такового. А в социальной области Бердяев стремился к примату личности над обществом; для О. М., вероятно, вопрос стоял о личности в обществе, подобно тому, как он боролся за положение в обществе поэзии и поэта. Это значит, что общество он признавал данностью и высшей организационной формой.

Смешно сказать, но и в таких мелочах, как отношение к женщине или, вернее, отношения с женщинами, Бердяев и О. М. соотносятся как символист и акмеист. У символистов были «Прекрасные дамы» в поэзии, жрицы и то, что мы с Анной Андреевной называли «мироносицами». Они еще во множестве водились в моей юности и были невероятно претенциозны, потому что сознавали величие своего «служения». Чепуху они несли неслыханную, вроде примечаний Е. Рапп к «Автобиографии», где у змеи почему-то появляются когти, у женщин змеиные лица, а у мужчин чудятся плащи и мечи… Все эти женщины необыкновенные, и отношения с ними тоже необыкновенные. У нас дело было попроще.

Бердяеву чужды радости. Хотя Мандельштам не искал счастья, все ценное в своей жизни он называл весельем, игрой: «Вся наша двухтысячелетняя культура, благодаря чудесной

милости христианства – есть отпущение мира на свободу для игры, для духовного веселья, для свободного подражания Христу». И еще: «Слово – чистое веселье, исцеленье от тоски».

Я хотела бы сказать, как понимал О. М. слово, но мне это не по силам. Думаю только, что он знал, что такое «внутренняя форма слова», и разницу между словом-знаком и символом. Он холодно отнесся к знаменитым стихам Гумилева о слове, но не объяснил почему. И число понимал, вероятно, иначе, чем Гумилев. Между прочим, О. М. всегда учитывал число строк и строф в стихотворении и число глав в прозе. «Разве это важно?» – удивлялась я. Он сердился – для него мое непонимание было нигилизмом и невежеством: ведь не случайно же у людей есть священные числа – три, например, или семь… Число тоже было культурой, и получено, как преемственный дар, от людей.

В Воронеже у О. М. начали появляться стихи в девять, семь, десять и одиннадцать строк. Семи– и девятистрочья часто входили целым элементом в более длинное стихотворение. У него появилось чувство, что к нему приходит какая-то новая форма: «Ты ведь понимаешь, что значит четырнадцать строк… Что-то должны означать и эти семь и девять… Они все время выскакивают»… Но в этом не было мистики числа, а скорее, испытанный способ проверки гармонии.

Все, что я говорила о противопоставленности Бердяева и О. М., относится только к тем особенностям Бердяева, которые он разделял с символистами. Но он совсем не сливается с ними – только наряду с философской мыслью встречаются чисто вкусовые высказывания, напоминающие родимые пятна эпохи. Очевидно, все подвластны своему времени, и хотя Бердяев, как и О. М., говорил, что никогда не был ничьим современником, все же он жил во времени и с ними. Но именно он сказал самое главное о символистах: для них не существовало ни этических, ни социальных проблем. От этого они отказались, и О. М. именно поэтому бунтовал против «всеядности» Брюсова, против зыбкости и случайности ценностей. Бердяев во всем, кроме вкусовых элементов, преодолел символистов, но все же остался под обаянием этих великих душеловцев.

Обидно, что О. М. не достал книг Бердяева, хотя искал их. Он не прочел своего современника, и я не знаю, как он принял бы его учение. К несчастью, в нашей изоляции мы были отрезаны от всякой мысли. Это одно из величайших несчастий, которое может выпасть на долю человека.

# Архив и голос

«Мироощущение для художника – орудие и средство, как молоток в руках каменщика, и единственное реальное – это само произведение» («Утро акмеизма»).

Кое-что из стихов и прозы О. М. пропало, но большая часть сохранилась. Это – история моей борьбы со стихией, с тем, что пробовало слизнуть и меня, и бедные клочки, которые я берегла.

В молодости люди не берегут своих бумаг. Разве может мальчишка представить себе, что те листки, которые он замарал, когда-нибудь понадобятся? А может, и хорошо, что пропадают молодые стихи – это своеобразный отбор, и его необходимо делать всякому художнику. В Киев О. М. приехал с ручной корзинкой. В ней его мать держала нитки и шитье, и он таскал ее с собой как единственную вещь, уцелевшую от матери. На корзинке висел большой замок. О. М. сказал мне, что в ней письма матери и кое-какие бумаги. Он сам не знал, что он туда сунул. Из Киева О. М. попал со своим братом в Крым. Шура играл в карты с солдатами, проигрывая одну за другой рубашки брата. Солдаты в отсутствие О. М. добрались до корзинки, стащили замок, а потом раскурили бумаги. О. М. дорожил письмами матери и сердился на брата. О своих бумагах он не думал – все было в памяти.

В первые годы нашей совместной жизни у О. М. не было ни клочка исписанной бумаги. «Вторую книгу» он собирал по памяти: вспоминал стихотворение, диктовал или записывал, смотрел, некоторые сохранял, другие выбрасывал. До этого он отдал кучку черновиков в «Петрополис», их увезли за границу и напечатали «Тристии». Нам не приходило в голову, что человек может умереть, а с ним вместе его память. Кроме того, отдавая стихи в редакции, О. М. верил, что им обеспечено вечное хранение. Он не представлял себе всей халтурности и распущенности наших редакций.

Мать подарила мне очень милые чемоданы и сундучок с наклейками европейских отелей. Чемоданы ушли к сапожникам, которые шили нам сапоги из жесткой чемоданной кожи. По тем временам это было роскошью, и мы одно время щеголяли в светло-желтых чемоданных обувках. А сундук, небольшой и изящный, ни для чего не пригодился: откуда взять вещи, чтобы положить в него? И я начала кидать в него разные бумажки, даже не зная, что это называется писательским архивом.

Заболел отец О. М., и нам пришлось ехать в Ленинград. Из больницы старик не мог вернуться в свою чудовищно запущенную

комнату. Мы перевезли его к младшему брату О. М. – Евгению Эмильевичу. Собирая вещи, я наткнулась на такой же сундук, как мой, только чуть побольше, и тоже с наклейками и ярлыками. Оказалось, что О. М. купил его где-то в Мюнхене, когда ему захотелось выглядеть элегантным туристом. Эти сундучки были в моде до первой войны. В этот сундук дед свалил свои гроссбухи вперемешку с обесцененными царскими деньгами и керенками. На дне я обнаружила кучку рукописей: клочки ранних стихов и листочки скрябинского доклада… Мы увезли рукописи вместе с сундучком в Москву. Так начался архив. В сундук летели ненужные бумажки: черновики стихов, письма, статьи. О. М. не возражал, и груда росла. В сундук не попадала черная повседневная работа: переводы стихов и прозы, журнальные статьи, рецензии для издательств на получаемые книги и рукописи – преимущественно иностранные. Рецензии все погибли в Ленгизе – О. М. верил, что они там сохранятся. Две или три случайно сохранились в сундуке, по недосмотру, так сказать. Журнальные и газетные статьи понадобились, когда О. М. собирал книгу статей. Тогда я и брат мой Женя переписывали их в библиотеке, вероятно, с цензурными искажениями. Почему-то не удостоился архива и «Шум времени». Должно быть, сундук появился позже.

Перелом в отношении к бумагам произошел после «Четвертой прозы», вернее, это был первый сигнал, напомнивший о необходимости что-то делать с бумагами. Второй сигнал – арест 34 года.

Мы уезжали в Армению, и мне не захотелось везти с собой единственный экземпляр «Четвертой». Время хоть и было нежнейшим, но за эту прозу О. М. бы по головке не погладили. Пришлось искать верного человека, чтобы ее оставить. Это была наша первая проба хранения не дома. Впрочем, не совсем первая. В Крыму в девятнадцатом году О. М. написал два стихотворения, которые не захотел хранить, и они погибли у его друга Лени Ландсберга. Этого человека я один раз видела в Москве, и он сказал, что стихи целы. Случилось это году в двадцать втором. А потом и стихи и Леня пропали. Я помню только строчку или две из этих стихов. Но, видно, они никогда не выплывут. Вот это и научило меня присматривать за всеми местами, где лежат рукописи, и хранить их в множестве копий. «Четвертую прозу» мы никогда не держали дома, а в нескольких местах – и я переписывала ее от руки столько раз, что запомнила наизусть.

Мы вернулись из Армении, стихи пошли густо, и О. М. сразу ощутил свое изгойское положение. Мне запомнился разговор в Ленинграде. На Невском, в конторе «Известий», представитель

этой газеты, человек как будто дружественный, прочел: «Я вернулся в мой город» и сказал О. М.: «А знаете, что бывает после таких стихов? Трое приходят… в форме»… Мы это знали, но терпеливая советская власть пока не спешила… Стихи распространялись с невероятной быстротой в довольно узком, правда, кругу. О. М. считал, что это и есть способ хранения: «Люди сохранят». Меня это не удовлетворяло, и время показало, что я была права. Уже тогда я начала делать списки и прятать их. В основном я их рассовывала у себя во всякие щели, но несколько экземпляров всегда отдавала на хранение. Во время обыска 34 года мы увидели, где ищут, а стихи уже были зашиты в подушку, упрятаны в кастрюлю и в ботики. Туда не заглянули. К несчастью, во всех этих местах были копии и притом не полные: не расшивать же подушку ради каждого нового стихотворения… Из подушки, приехав в Воронеж, я вынула стихи об Ариосто.

Воронеж – это новый этап жизни и новое отношение к хранению. Эра идиллических подушек кончилась, а я ведь еще помнила, как летел пух из еврейских подушек во время деникинских погромов в Киеве… Память О. М. с возрастом ослабела, и мы уже знали, что она погибает вместе с человеком, а цена жизни на нашей таинственной бирже падает с каждым днем. Надо было искать людей, готовых хранить рукописи, но их становилось все меньше. У меня появилась профессия: все воронежские три года я переписывала стихи и раздавала их, но серьезного места хранения у меня не было, кроме моего брата Жени, да и то он их дома не держал. Вот тут-то и подвернулся Рудаков.

Сергей Борисович Рудаков, генеральский сын, был выслан из Ленинграда с дворянами. В начале революции у него расстреляли отца и старших братьев. Вырастили его сестры, и он провел обычное советско-пионерское детство, был передовиком школы, кончил даже вуз и готовился к вполне пристойной деятельности, когда на него свалилась высылка. Подобно многим детям, оставшимся без родителей, он очень хотел ужиться с временем, и у него даже была своеобразная литературная теория: надо писать только то, что печатают. Сам он писал модные по тому времени, изысканные стихи не без влияния Марины и выбрал Воронеж, чтобы быть поближе к О. М. Он появился без меня, когда я торчала в Москве, добывая перевод, и около месяца пробыл без меня с О. М. Когда мы ехали с вокзала с О. М., он мне сказал, что появился новый приятель, не Борис Сергеевич, а Сергей Борисович, который собирается писать книгу о поэзии и вообще славный мальчик После болезни О. М., вероятно, не верил в свои силы и нуждался в дружественном слушателе вновь появившихся

стихов. Впрочем, он никогда не мог работать в полной пустоте, и я не думаю, что кто-нибудь способен на это.

В Воронеже Сергей Борисович даже не пытался устраиваться – он не терял надежду, что жена вытащит его через кого-то из крупных генералов, впоследствии в 37 году погибших. Он снял койку в одной комнате со славным рабочим парнем Трошей, а ел и пил у нас. Для нас это был сравнительно благополучный период с переводом, театром и радио, и нам ничего не стоило прокормить бедного мальчишку. Без меня Рудаков тщательно собирал все варианты писавшегося при нем «Чернозема». Когда я приехала, мы с О. М. начали восстанавливать пропавшие во время обыска стихи, а Рудаков все списывал себе в тетрадку. Наутро он приносил стишки, написанные смешным каллиграфическим почерком с завитушками на кусочке псевдоватмана. Он презирал мой куриный почерк и полное отсутствие эстетики рукописи. Писать чернилами, например, Рудаков считал зазорным – только тушью… Он еще рисовал тушью силуэты, не хуже пропойц, промышлявших этим на бульварах, и с гордостью демонстрировал нам свои шедевры. А мне, показывая красиво выполненную рукопись стихотворения О. М., говорил: «Вот это будут хранить в архивах, а не ваши с О. М. каракули»… Мы только посмеивались и мальчишку не обижали.

Нередко мы предупреждали Рудакова, что ему может повредить знакомство с нами, но он отвечал таким набором благородных фраз, что мы только ахали и, может, именно из-за этого относились мягче, чем следовало, к некоторым неприятным его чертам. Уж слишком, например, он был высокомерен и вечно хамил с вторым нашим постоянным посетителем – Калецким, тоже ленинградцем и учеником всех наших знакомых – Эйхенбаума, Тынянова и других… Скромный, застенчивый юнец, Калецкий говорил иногда вещи, которые другие тогда не решались произнести. Однажды он с ужасом сказал О. М.: «Все учреждения, которые мы знаем, никуда не годятся, они не способны выдержать ни малейшего испытания – мертвый, разлагающийся советский бюрократизм… А что если армия тоже такая, как и все остальное? И вдруг война»… Рудаков вспомнил, чему его учили в школе, и заявил: «Я верю в партию». Калецкий смутился и покраснел. «Я верю в народ», – тихо сказал он. Он выглядел совсем невзрачно рядом с рослым и красивым Рудаковым, но внутренняя сила была на его стороне, а Рудаков, издеваясь, называл его «квантом» и пояснял: «Это самая маленькая сила, способная выполнять работу»…

Вторая тяжелая черта Рудакова – вечное нытье. В России, по его мнению, среда «всегда заедала талантливых людей», и он,

Рудаков, не выполнит своего назначения, не напишет книги о поэзии, не раскроет людям глаза… О. М. таких разговоров не терпел: «А почему вы сейчас не пишете? Если человеку есть что сказать, он всегда скажет…» На этом всегда вспыхивали споры. Рудаков жаловался на условия – комната, деньги, настроение, – сердился и уходил, хлопнув дверью… Через часок-другой он все же являлся как ни в чем не бывало…

У Рудакова оказался резко выраженный учительский темперамент. Он учил всех и всему: меня – переписывать рукописи, О. М. – писать стихи, Калецкого – думать… Всякое новое стихотворение он встречал буйной теорией из своей ненаписанной книги, в которой звучало: «Почему вы меня раньше не спросили?» Я видела, что он часто мешает О. М., и мне часто хотелось его выставить. О. М. не позволял: «А что он будет есть?» – спрашивал он, и все продолжалось дальше. И все-таки и Рудаков и Калецкий были большим утешением. Если б не они, мы бы почувствовали изоляцию гораздо раньше. Оба вернулись в Ленинград в начале 36 года, и мы остались одни. Тогда-то и пришла к нам Наташа. В Воронеже, когда мы жили у «агента», жарившего мышей, Рудаков заболел скарлатиной и в больнице познакомился с «барышнями», которых отчаянно от нас скрывал. С Наташи, одной из этих «барышень», он даже, уезжая, взял слово, что она к нам не придет, но она слово не сдержала и хорошо сделала… Словом, мальчишка был чудак, но в наше время знакомства с чудаками кончаются плохо. Это ему я отдала на хранение все самое ценное из автографов, а Ахматова свезла на саночках архив Гумилева.

Рудаков после первого ранения стал в Москве воинским начальником. К нему явился кто-то из его родственников, сказал, что он по убеждениям толстовец и не может воевать. Рудаков своею властью освободил его от повинности, был разоблачен и послан в штрафной батальон, где тут же погиб. Рукописи остались у вдовы, и она их не вернула. В 53 году, встретив Анну Андреевну на концерте, она сказала, что все цело, а через полгода объявила Эмме Герштейн, что ее под занавес арестовали и все забрали. Потом версия изменилась – ее забрали, а «мама все сожгла»… Как все произошло на самом деле, установить нельзя. Мы знаем только, что кое-какие рукописи Гумилева она продавала, но не сама, а через подставных лиц.

Анна Андреевна рвет и мечет, но ничего поделать нельзя. Однажды мы зазвали вдовушку – Рудакову-Финкельштейн – к Ахматовой под предлогом статьи Рудакова: нельзя ли ее, мол, напечатать, но добиться от нее толку было невозможно. Больше всего повезло Харджиеву – он проник к ней, она дала ему письма

Рудакова и разрешила переписывать все, что ему нужно. Харджиев ведь великий обольститель, Цирцея, красивый и очаровательный, когда захочет, человек. Но в письмах Рудакова, которые он писал ежедневно, как дневник, и тщательно нумеровал для потомства, ничего существенного для нас не оказалось. Несчастный мальчишка был, очевидно, тяжелым психопатом. Письма полны безумных речей вроде в комнате О. М. сошлась вся поэзия – не помню, мировая или русская: он, О. М. и книжка Вагинова – тоже великого поэта… Он учит О. М. писать стихи, объясняет ему все, и в ужасе, что все похвалы достанутся не ему, а Мандельштаму… Сам Мандельштам ведет себя по-державински: он то кричит, что он царь, то жалуется, что он червь… В одном из писем Рудаков объявляет себя наследником Мандельштама: будто О. М. ему сказал: «Вы мой наследник и делайте с моими стихами все, что сочтете нужным»… Я цитирую эти письма по памяти, копии находятся у Харджиева. Прочтя их, мы поняли, что украденные архивы – не случайность: так было задумано Рудаковым и вдова только выполняет его волю. То, что мы принимали за чистую коммерцию – выгодно продавать автографы, – оказалось результатом бредовых идей самого Рудакова. Трудно сказать, что бы случилось, если б я умерла. Возможно, что Рудаков восстановил бы справедливость и выдал стихи за свои. Но ему пришлось бы нелегко, потому что большинство стихотворений все же ходили в списках. Такая попытка начисто сорвалась у Севы Багрицкого и кончилась скандалом, когда мать опубликовала «Щегла» как стихотворение Севы. Хуже было бы, если б я послушалась в свое время Рудакова – он действовал на меня через Эмму Герштейн, с которой подружился, – и отдала ему все без исключения бумаги О. М. Он мотивировал это тем, что все бумаги должны быть в одном месте, но мы с Харджиевым рассудили, что лучше не концентрировать их – одно место провалится, сохранятся списки в другом… У Рудакова погибло несколько стихотворений, почти все воронежские черновики и множество автографов «Тристий». О. М., видно, предчувствовал, какая судьба ждет его архив, когда писал в «Разговоре о Данте»: «Итак, сохранность черновиков – закон энергетики произведения. Для того, чтобы прийти к цели, нужно принять и учесть ветер, дующий в иную сторону»…

В истории с Рудаковым я виню не глупого мальчишку, каковы бы ни были его цели. Виноваты те, кто создал нам такую «счастливую жизнь». Если б мы жили, как люди, а не как загнанные звери, Рудаков был бы одним из многих бывающих у нас в доме, и вряд ли ему пришло в голову похищать архив Мандельштама и объявлять себя его наследником, а вдове –

торговать гумилевскими письмами к Ахматовой.

Рудаков – один из важнейших моментов хранения архива, но, кроме него, было еще много и удач, и бед. Мелькнули эпизоды, годные для сценария: Наташа, уносившая письма О. М. ко мне в жестяной коробочке из-под чая, когда наступали немцы и уже горел Воронеж. Нина, уничтожившая список стихов О. М. в дни, когда она ждала вторичного ареста своей свекрови, и ее друг Эдик, хваставшийся, что сохранил те листочки, которые я ему дала, хотя хвастаться было нечем, потому что он жил у своего тестя – ташкентского самоубийцы… А я раздавала списки и гадала, который из них сохранится. Моим единственным помощником в этом деле был мой брат, и мы все ходили и перекладывали с места на место основной фонд… Я таскала за собой в чемодане кучку черновиков прозы, перекладывая ее грудами языковедческих записок к диссертации, чтобы неграмотные стукачи, если они залезут без меня, не поняли, что к чему, и стащили не то, что требуется. Изредка у меня пропадали бумаги, и это продолжается и сейчас, но, вероятно, по какой-то другой причине. Запомнить все бумаги я не могу, но мне бросилось в глаза, что у меня недавно исчезла целая папка с наклейкой «Материалы к биографии». Они сохранились в копии, но куда девались подлинники, понять нельзя. В книге, купленной мной за двести рублей, было четыре автографа, а остались два: это издание «Камня» с вписанными Каблуковым вариантами и вложенными автографами. Еще исчезло письмо ко мне Пастернака, где он писал, что в современной литературе – дело было сразу после войны – он интересуется только Симоновым и Твардовским, потому что ему хочется понять механизм славы. Мне сдается, что это письмо и автографы просто стащены любителями и не пропадут. Во всяком случае, после этих пропаж я перестала держать дома – а дома-то у меня нет! – что бы то ни было, и опять меня мучит мысль: где уцелеет, а где пропадет…

Так или иначе, я дошла бы до финиша с небольшими потерями, но финиша все еще не видно. Только от одного способа хранения мне пришлось отказаться просто по возрасту: до 56 года я все помнила наизусть – и прозу, и стихи… Для того, чтобы не забывать, надо твердить каждый день какие-нибудь куски, и я это делала, пока верила в свою жизнеспособность. Теперь поздно… И в заключение я расскажу новеллу уже не про себя.

Женщина, про которую я рассказываю, жива, и поэтому я не называю ее имени. В 37 году в газетах каждый день появлялись статьи против ее мужа, видного сановника. Он ждал ареста и сидел у себя дома, не смея выйти, потому что дом был окружен шпиками. По ночам он сочинял послание в ЦК, и ночью жена

заучивала его кусками наизусть. Его расстреляли, а она добрых два десятка лет скиталась по лагерям и тюрьмам. Вернувшись, она записала послание мужа и отнесла его туда, куда оно было адресовано, и там оно кануло, надеюсь, не в вечность… Сколько нас таких – твердивших по ночам слова погибших мужей?

И еще о голосе… Фонотеку Сергея Игнатьевича Берн-штейна уничтожили, а его выгнали из Зубовского института за формализм. Там были записи Гумилева и Мандельштама. Это было в период, когда рассеивали по ветру прах погибших. Фотографии – их очень мало – я хранила наравне и теми же методами, что и рукописи, а записи голоса были не в моем распоряжении. Я хорошо помню чтение О. М. и его голос, но он неповторим, и только звучит у меня в ушах. Если бы его услышать, стало бы ясно, что он называл «понимающим исполнением» или «дирижированьем». Фонетическим письмом и тонированием можно передать лишь самую грубую схему пауз, повышений и понижений голоса. За бортом остается долгота гласных, обертона и тембр. Но какая память сохранит все движения голоса, отзвучавшего четверть века назад!

Впрочем, голос сохранился в самом строении стихов, и сейчас, когда немота и безгласие кончаются, тысячи мальчишек уловили звучание стихов, услышали их тональность и невольно повторяют авторские интонации. Ничего развеять по ветру нельзя.

К счастью, этими стихами еще не завладели актеры, дикторы и школьные учителя. Один раз до меня донесся наглый голос дикторши станции «Свобода». Она читала «Я пью за военные астры». Этот милый шуточный стишок всегда был предметом спекуляции у нас для всяких Никулиных и присных, а теперь его использовала зарубежная дикторша и читала с такими подлыми «выразительными» интонациями – она их переняла у наших дикторов, – что я с отвращением и тоской выключила радио.

# Старое и новое

В один из первых дней после нашего приезда из Воронежа нас возил по Москве в своей новенькой, привезенной из Америки машине Валентин Катаев. Он влюбленными глазами смотрел на О. М. и говорил: «Я знаю, чего вам не хватает, – принудительного местожительства»… Вечером мы сидели в новом писательском доме с парадным из мрамора-лабрадора, поразившим воображение писателей, еще помнивших бедствия революции и гражданской войны. В новой квартире у Катаева все было новое – новая жена, новый ребенок, новые деньги и новая мебель. «Я люблю модерн», – зажмурившись говорил Катаев, а этажом ниже Федин любил красное дерево целыми гарнитурами. Писатели обезумели от денег, потому что они были не только новые, но и внове. Вселившись в дом, Катаев поднялся на три этажа посмотреть, как устроился в новой квартире Шкловский. Этажи в доме указывали на писательский ранг. Вишневский, например, настоял, чтобы ему отдали квартиру находившегося в отъезде Эренбурга – он считал, что при его положении в Союзе писателей неудобно забираться под самую крышу. Мотивировка официальная: Вишневский страдает боязнью высоты. Походив по квартире Шкловского, Катаев удивленно спросил: «А где же вы держите свои костюмы?» А у Шкловского еще была старая жена, старые маленькие дети и одна, в лучшем случае две пары брюк. Но он уже заказывал себе первый в жизни костюм… ведь уже не полагалось ходить в ободранном виде и надо было иметь вполне господский вид, чтобы зайти в редакцию или в кинокомитет. Куртка и толстовка комсомольцев двадцатых годов окончательно вышли из моды – «все должно выглядеть, как прежде»… А в конце войны обещали премии тем преподавателям, которые умудрятся завести себе хорошие платья…

Катаев угощал нас новым для Москвы испанским вином и новыми апельсинами – они появились в продаже впервые после революции. Все, «как прежде», даже апельсины! Но наши родители не имели электрических холодильников, они держали продукты в комнатных ледничках, и им по утрам привозили бруски донного льда. А Катаев привез из Америки первый писательский холодильник, и в вине плавали льдинки, замороженные по последнему слову техники и комфорта. Пришел Никулин с молодой женой, только что родившей ему близнецов, и Катаев ахал, что у таких похабников тоже бывают дети. А я вспоминала старое изречение Никулина, которое уже перестало смешить меня: «Мы не Достоевские – нам лишь бы деньги»…

Никулин пил испанское вино и говорил об испанских диалектах. Он только что съездил посмотреть на испанскую революцию.

Когда мы покидали Москву, писатели еще не были привилегированным сословием, а сейчас они пускали корни и обдумывали, как бы им сохранить свои привилегии. Катаев поделился с нами своим планом: «Сейчас надо писать Вальтер-Скотта»… Это был не самый легкий путь – для него требовались и трудоспособность, и талант.

Жители нового дома с мраморным, из Лабрадора, подъездом понимали значение 37 года лучше, чем мы, потому что видели обе стороны процесса. Происходило нечто похожее на Страшный суд, когда одних топчут черти, а другим поют хвалу. Вкусивший райского питья не захочет в преисподнюю. Да и кому туда хочется?.. Поэтому они постановили на семейных и дружественных собраниях, что к 37-му надо приспосабливаться. «Валя – настоящий сталинский человек», – говорила новая жена Катаева, Эстер, которая в родительском доме успела испробовать, как живется отверженным. И сам Катаев, тоже умудренный ранним опытом, уже давно повторял: «Не хочу неприятностей… Лишь бы не рассердить начальство»…

«Кто сейчас помнит Мандельштама? – сокрушенно сказал нам Катаев. – Разве только я или Женя Петров назовем его в разговоре с молодыми – вот и всё»… О. М. на такие вещи не обижался, да к тому же это была истинная правда, за исключением того, что братья Катаевы решались упоминать его имя в разговорах с посторонними. Новая Москва обстраивалась, выходила в люди, брала первые рекорды и открывала первые счета в банках, покупала мебель и писала романы… Все были потенциальными выдвиженцами, потому что каждый день кто-нибудь выбывал из жизни и на его место выдвигался другой. Каждый был, конечно, кандидатом и на гибель, но днем об этом не думали – для подобных страхов достаточно ночи. О выбывших забывали сразу, а перед их женами, если им удавалось закрепиться на части жилплощади, сразу захлопывались все благополучные двери. Впрочем, жен оставалось все меньше – в 37-м уже начали не только рубить под корень, но и выкорчевывать.

О. М. хорошо относился к Катаеву: «В нем есть настоящий бандитский шик», – говорил он. Мы впервые познакомились с Катаевым в Харькове в 22 году. Это был оборванец с умными живыми глазами, уже успевший «влипнуть» и выкрутиться из очень серьезных неприятностей. Из Харькова он ехал в Москву, чтобы ее завоевать. Он приходил к нам в Москве с кучей шуток – фольклором Мыльникова переулка, ранней богемной квартиры одесситов. Многие из этих шуток мы прочли потом в «Двенадцати

стульях» – Валентин подарил их младшему брату, который приехал из Одессы устраиваться в уголовный розыск, но, по совету старшего брата, стал писателем.

К концу двадцатых годов – с первыми успехами – у всех прозаиков моей юности, кроме Тынянова и Зощенко, начало прорываться нечто грязно-беллетристическое, кондовое… У Катаева эта метаморфоза, благодаря его талантливости и цинизму, приняла особо яркую форму. Под самые тридцатые годы мы ехали с Катаевым в такси. До этого мы не виделись целый век, потому что подолгу жили в Ленинграде или в Крыму. Встреча после разлуки была самой дружественной, и Катаев даже вызвался нас куда-то проводить. Он сидел на третьем откидном сиденье и непрерывно говорил – таких речей я еще не слышала. Он упрекал О. М. в малолистности и малотиражности: «Вот умрете, а где собрание сочинений? Сколько в нем будет листов? Даже переплести нечего! Нет, у писателя должно быть двенадцать томов – с золотыми обрезами!..» Катаевское «новое» возвращалось к старому: все написанное – это приложение к «Ниве»; жена «ходит за покупками», а сам он, кормилец и деспот, топает ногами, если кухарка пережарила жаркое. Мальчиком он вырвался из смертельного страха и голода и поэтому пожелал прочности и покоя: денег, девочек, доверия начальства. Я долго не понимала, где кончается шутка и начинается харя. «Они все такие, – сказал О. М., – только этот умен».

Это в ту поездку на такси Катаев сказал, что не надо искать правду: «правда по-гречески называется мрия»…

В Ташкенте во время эвакуации я встретила счастливого Катаева. Подъезжая к Аральску, он увидел верблюда и сразу вспомнил Мандельштама: «Как он держал голову – совсем, как О. Э. «… От этого зрелища Катаев помолодел и начал писать стихи. Вот в этом разница между Катаевым и прочими писателями: у них никаких неразумных ассоциаций не бывает. Какое, например, дело Федину до верблюдов или стихов? Из тех, кто был отобран для благополучия, быть может, один Катаев не утратил любви к стихам и чувства литературы. Вот почему О. М. ездил с ним по Москве и пил испанское вино в июне 37 года. А провожая нас в переднюю, Катаев сказал: «О. Э., может, вам дадут наконец остепениться… Пора…»

В эпоху реабилитации Катаев все порывался напечатать стихи О. М. в «Юности», но так и не посмел рассердить начальство. Но другие ведь даже не порывались.

Что было бы с Катаевым, если б ему не пришлось писать «Вальтер-Скотта»? Это был очень талантливый человек, остроумный и острый, из тех, кто составляет самое просвещенное

крыло текущей многотиражной литературы.

А в то лето мы действительно были бы не прочь «остепениться». Строились планы на будущее: хорошо бы обменять квартиру, чтобы не жить на пятом этаже без лифта… С обменом спешить не надо – пусть Ставский раньше исполнит свое обещание и переселит Костырева… О. М. отчаянно поспорил с Евгением Яковлевичем по вопросу, который всем нам казался весьма актуальным: стоит ли брать переводы? Е. Я. говорил, что на первое время это совершенно необходимо, а если «вам противно, пусть переводит Наденька». О. М. утверждал, что не переносит этого занятия и не находит себе места, когда «переводит Наденька». Разрешил спор Луппол, главный редактор Гослита. Он сказал, что пока сидит за редакторским столом, Мандельштам не получит ни строчки переводов и вообще никакой работы. Вскоре Луппола забрали, и он погиб, а за его стол сел кто-то другой, но это ничего не изменило: люди уходят, а «принципиальные установки» сохраняют силу – они прочнее людей. «Принципиальная установка» – это стена, и пробить ее нельзя по сегодняшний день.

Ответ Луппола нас не отрезвил – мы по-прежнему надеялись, что все образуется. Нарбута уже не было. Маргулиса уже не было. Клычкова уже не было. Многих уже не было. О. М. бормотал гумилевские строчки – «горе, горе, страх, петля и яма», но потом снова радовался жизни и утешал меня, что все образуется. «Чего ты ноешь? – говорил он. – Живи, пока можно, а там видно будет… Ведь не может же так продолжаться!» Который уж год эта фраза: «ведь не может же так продолжаться» – единственный источник нашего оптимизма. Об этом знал уже Лев Толстой и, услышав эти слова от Безухова, презрительно сказал, что «они» всегда себя так утешают.

«Один добавочный день» длился немногим больше недели.

Анна Андреевна, читая Библию, узнала, что «горе, горе, страх, петля и яма» буквальная цитата из пророка Исайи: «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли»…

# Милицейская Венера

«Разве пожарные умирают?» – спросила Татька, племянница О. М. «Разве богатые умирают?» – перефразировал О. М., сообразив в Воронеже, что деньги и благополучие все-таки способствуют долголетию. «Разве в Москве тоже прописывают?» – спрашивал О. М., когда я напомнила ему, что пора подумать о прописке. А тут приехал на денек-другой Костырев, и О. М. сообразил, что тянуть больше нельзя. Он спустился в домоуправление и тотчас прибежал обратно. «Дай свой паспорт!» – сказал он. «А мой зачем?» Оказалось, что после моего отъезда в мае в Воронеж Костырев навел порядок и приготовился к встрече: он выписал меня. До этого я числилась жительницей Москвы, а в Воронеж только «наезжала». Домоуправление даже не знало, что паспорт я обменяла в Воронеже. Как-то это сошло мне с рук… Сам же Костырев успел получить постоянную прописку вместо временной. Для «постоянной» ему полагалось прожить какой-то солидный срок, но он сумел опередить время. «Для Костырева, – сказал управдом, – нам велели сделать исключение»… Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги. По закону мы стали собственниками, и без нашего разрешения у нас никого прописывать не разрешалось. Вот с этими кооперативными квартирами начались осложнения, то есть семьи исчезнувших пробовали удержаться в них и противиться вселению новых жильцов – поэтому уже подготовлялся новый закон, отменявший все права кооперативных застройщиков. Закон еще не был издан, о нем заговорили где-то на самом верху, и появился он едва ли не в конце 38 года, но у нас даже не изданный закон имеет обратную силу. Да при чем тут законы! Костыревская прописка указывала, что ему помогают захватить квартиру, и это было плохим предзнаменованием, но О. М. почему-то ничуть не огорчился. Он стал фаталистом советского толка: «Захотят – все образуется, не захотят – ничего не поделаешь!» Его фатализм распространялся и на меня – вот тогда-то и была произнесена фраза: «Ты вернешься в Москву, если вернут меня. Одну тебя не пустят»… Через четверть века после смерти О. М. мне все же разрешили поселиться в Москве, хотя его еще как будто не пускают, если не считать щелку, куда ему разрешили заглянуть и которая называется журналом «Москва».

Костырев – деталь, один из винтиков сложного механизма. Это был человек без лица, один из тех, кого нельзя узнать на улице или в автобусе, но чье лицо просвечивает во многих лицах. При любой исторической конъюнктуре для него бы нашлось

гороховое пальто, но наше время благоприятствовало этому роду людей, и он стал и писателем, и генералом одновременно. Поселившись в комнате О. М., он непрерывно выстукивал на машинке свои дальневосточные рассказы и на той же машинке переписывал стихи. Однажды, печатая «Разрывы круглых бухт», он сказал мне: «О. Э. любит Крым только потому, что не побывал на Дальнем Востоке». По его мнению, каждому писателю следовало побывать на Дальнем Востоке. А в это время уже потянулись эшелоны с заключенными к Второй Речке во Владивостоке – начала осваиваться Колыма, и мы это знали. У человека, к которому приставили такого крупного работника, как Костырев, были большие шансы попасть на Дальний Восток, но пока речь шла не о Колыме, а только о прописке в Москве.

Районная милиция отказала с необычайной быстротой. Нам объяснили, что еще остается центральная на Петровке. «Если откажут, – сказал О. М., – вернемся в Воронеж». Мы даже созвонились с нашей бывшей хозяйкой, чтобы она придержала для нас на всякий случай комнату. На Петровке нам вручили отказ и объяснили, почему О. М. не пускают в Москву: судимость. Не надо путать «судимость», чисто советское понятие, сейчас как будто отмененное, если приговор не превышает пяти лет, с поражением в правах по постановлению суда. Судимость – это клеймо на всю жизнь, и не только на том, кого судили, но и на членах семьи. Я десятки раз заполняла анкеты с вопросом, есть ли судимость у меня или у ближайших родственников. Чтобы скрыть «судимость» родственников, выдумывали себе ложные биографии. Сказать или не сказать про погибшего отца – одна из основных тем семейных разговоров, когда дети в случайно уцелевших семьях кончали школу. Несколько лет я живу без клейма отраженной судимости, но на мне есть еще клеймо литературное.

На Петровке мы впервые узнали, какие последствия влечет за собой судимость. «Куда вы едете?» – спросил милицейский чин, вручивший О. М. отказ: он должен был отметить на «деле», куда мы отправляемся. «Обратно в Воронеж», – ответил О. М. «Поезжайте, – сказал милицейский чин, но тут же прибавил: – Только вас там не пропишут». Оказалось, что по приговору «минус двенадцать» перед О. М. закрывалось двенадцать городов, но, отбыв три года, он лишался права жить в семидесяти с лишним городах – и при этом на всю жизнь.

«А если б я остался в Воронеже?» – спросил О. М. Милицейский объяснил, что «у нас еще имеются недочеты в работе», поэтому про О. М. могли забыть, но только на время, а потом все равно выселили бы из запрещенного города. Сейчас нас

это уже не удивляет: мы привыкли к тому, что прописка – это высокий барьер, через который могут перескочить только призовые скакуны. Никто, кроме вызванных на работу, не может прописаться ни в одном городе, и для прописки нужен паспорт, а есть много категорий людей, лишенных этого документа. Такие вообще не могут двинуться с места. Многие среди нас и сейчас не понимают, что паспорт в нашей стране – тоже настоящая привилегия. Но в 37 году это было новшество, и О. М. серьезно сказал: «Прогресс».

«Попробуй еще раз подать без меня, – посоветовал мне О. М., когда мы вернулись домой. – Ведь у тебя никакой судимости нет»…

Это был первый и единственный случай, когда он попробовал отделить мою судьбу от своей. И я решила попытать счастья: это тоже был первый и единственный случай, когда мне захотелось спасти квартиру.

За столиком в большом зале сидели главные милиционеры города. Получив отказ, я захотела узнать причину. «Судимость», – сказал милицейский. «У меня нет судимости», – возмутилась я. «Как нет? – удивился чин и порылся в бумагах. – Вот, Осип, судимость»… «Это мужчина – Осип, – упорствовала я, – а я женщина – Надежда»… Чин признал мою правоту. «В самом деле, – сказал он, но тут же пришел в ярость: – а при чем здесь, что он мужчина? Он вам кто? Муж?»

Милицейский встал и хлопнул кулаком по столу: «А вы знаете, что такое пятьдесят восьмая статья?» Он что-то еще кричал, а я в страхе убежала, хотя прекрасно понимала, что ярость у него напускная и он, отказывая мне, просто выполняет инструкцию и не знает, что мне ответить на мои домогательства. Мы все и всегда выполняли инструкции и, если нам перечили, внезапно меняли тон. Кое-кому повезло, и инструкции, которые они выполняли, были вполне невинного свойства, вроде отказа в медицинской справке, снятия студента со стипендии или отправки кончившего вуз в неугодное ему место. Другие по приказу начальства били наотмашь кулаком, выселяли и арестовывали. Вопрос решался только профессией выполнявшего приказы. Я бы не испугалась, если б на меня накричал желчный милиционер, но устами этого говорило государство, и с тех пор я не могу без дрожи войти в милицию, тем более что наши нелады продолжаются и я всегда живу не там, где меня сочли бы полномочной гражданкой. От Мандельштама я унаследовала бездомность и полное отсутствие корней. Именно поэтому меня забыли выкорчевать.

Мандельштам ждал меня на улице. Что нам оставалось

делать, как не вспомнить гумилевскую пародию на стихи о Венеции, которая называлась «Милицейская Венера»: «человек родится, он же умирает, а милиция всегда нужна»… И мы пошли домой – в дом, который уже не был нашим домом.

Сдаваться еще рано», – сказал наутро О. М. и пошел в Союз писателей к Ставскому, но тот его не принял: раньше чем через неделю, передал он через секретаря, он принять О. М. не сможет, потому что занят по горло. Из Союза О. М. бросился в Литфонд, и там на лестнице с ним случился припадок стенокардии. Вызвали скорую помощь и доставили О. М. домой, приказав лежать. О. М. только этого и хотел: он надеялся дождаться приема у Ставского и через него добиться прописки. Ему было невдомек, что, умывая руки, все эти ставские, которые служат посредниками между нами и нашими хозяевами, всегда говорят, что они заняты: минутки не могут уделить… Точно так Сурков в 59 году, когда меня выгнали в последний раз из Москвы, объяснил, что никак не может вырвать минутку, чтобы поговорить о моем деле с товарищами. Мне это, впрочем, грозило только бездомностью, а в сталинское время речь шла о жизни и смерти.

В довольно хорошем настроении О. М. полеживал на «бессарабской линейке», и каждый день к нему приходил врач из Литфонда. Дней через десять его отправили к консультанту Литфонда, профессору Разумовой, женщине с умным лицом, в комнате которой висели этюды Нестерова. Нас удивило, с какой легкостью она дала справку о том, что О. М. нуждается в постельном режиме и общем обследовании. Конечно, она не обязана была знать юридическое положение О. М., но после воронежских и чердынских мытарств отношение Разумовой, да и других врачей Литфонда показалось нам удивительным – словно снова возникла в России интеллигенция с ее отношением к ссыльным.

Тут-то О. М. и завладела безумная мысль – перехитрить судьбу и любым способом зацепиться за Москву, единственный город, где у нас все-таки была крыша над головой и мы могли как-то существовать. Его спутало то, что и сам Литфонд шел ему навстречу: посылал врачей и справлялся о здоровье. Как это объяснить? Быть может, кто-нибудь из работников сочувствовал О. М., а может, они просто испугались, увидев, как протекает припадок – как бы их потом не обвинили, что они не оказали вовремя помощь… И то, и другое было вполне реально. Так или иначе, Литфонд старался чем-то помочь, а в наших условиях – это вещь удивительная: уравниловки ведь у нас не было и нет, и каждому положено лишь то, чего он заслужил.

Приехал Костырев, покрутился, стуча дверями, и ушел, сообщив моей матери, что пробудет несколько дней в Москве.

Вскоре он вернулся и оставил свою дверь к нам в комнату открытой. Мы – у нас еще сидел Рудаков, находившийся в Москве проездом из Ленинграда в Крым, – решили, что Костырев просто подслушивает, но оказалось, что он ждет посетителя. Этого посетителя он к себе в комнату не провел, но остановился с ним в нашей комнате, где мы сидели за шкафом. Разговаривал он с пришедшим о проводке. Посетитель, очевидно, монтер, советовал проводку менять, и у меня даже мелькнула мысль, что Костырев становится чересчур хозяйственным. «Что-то не то», – вдруг сказал О. М., насторожившись. Я не успела остановить его: мне показалось, что у него снова начались галлюцинации, потому что он выскочил из-за шкафа и подошел прямо к монтеру: «Нечего притворяться, – сказал он, – говорите прямо, что вам нужно – не меня ли?»

«Что он делает», – в отчаянии шепнула я Рудакову, в полной уверенности, что О. М. бредит. Но, к моему удивлению, монтер принял это как должное. Еще две-три реплики, и они показали друг другу документы. Тот, кто минуту назад изображал монтера, потребовал, чтобы О. М. шел за ним в милицию. У меня было смешанное чувство ужаса и радости. Мелькнули две мысли: «Уж не вышлют ли его этапом?» и «Слава Богу, это не галлюцинации»…

О. М. увели в милицию. Рудаков побежал за ним. Но доставить преступника в участок не удалось: по дороге его опять хватил припадок. Вызвали скорую помощь, и наверх его внесли на кресле, которое раздобыли в нижней квартире у Колычева. Пока врач возился с О. М., сыщик-монтер сидел в комнате. Когда О. М. отлежался, он показал странному гостю все свои медицинские справки. «Дайте ту, с треугольной печатью», – сказал сыщик и, забрав справку Разумовой, пошел к Костыреву звонить по телефону. Получив инструкцию, он вернулся к нам: «Пока лежите», – и ушел.

Несколько дней О. М. пролежал. Каждый день, утром и вечером, приходили наш монтер или его сменщики – все в штатском. Кроме них приезжали врачи. Днем О. М. развлекался: «Сколько у них со мной хлопот!» и рассуждал о том, что к нам пришли бы ночью, если б он вовремя не сообразил, что за птица этот монтер… Ночью настроение портилось. Однажды, проснувшись, я увидела, что он стоит, закинув голову и растопырив руки, у стены, в ногах у кровати. «Чего ты?» – спросила я. Он показал на распахнутое окно: «Не пора ли?.. Давай… Пока мы вместе»… Я ответила: «Подождем», – и он не стал спорить. Хорошо ли я сделала? От скольких мучений я бы избавила и его, и себя…

Утром мы выдержали визит монтера, который обещал прислать «своего врача». Вечернего сыщика мы дожидаться не стали и ушли из дому. Ночевали мы у Яхонтова, развлекаясь, как могли. Днем я пришла домой, чтобы приготовить вещи к отъезду, но Костырев сбегал в милицию и на этот раз туда потащили меня. «Где Мандельштам?» «Уехал». «Куда?» «Не знаю»… Мне приказали покинуть Москву в двадцать четыре часа. За свою работу Костырев получил комнату О. М. размером в 16 метров. Там и сейчас живут его вдова и дочь. Хотелось бы, чтобы дочка прочла про своего отца, но у таких родителей дети книг не читают, разве что «по долгу службы», если они тоже попали в «Литературный отдел» Лубянки. В этом случае лучше, чтобы эта рукопись ей не попадалась.

Три дня мы просидели у Яхонтова, обложившись картами Московской области. Выбрали мы Кимры. Соблазнила нас близость Савеловского вокзала от Марьиной Рощи, где жили Яхонтовы, а еще то, что Кимры стоят на Волге. Уездный городок на реке лучше, чем такой же городок без реки. В квартире на Фурмановом мы больше не показывались. Вещи на вокзал обещали привезти братья – Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич. Чтобы проститься с моей матерью, мы вызвали ее на бульвар. Увидев маму, О. М. встал и пошел с протянутой рукой ей навстречу. «Здравствуйте, моя нелегальная теща», – сказал он. Мама только ахнула.

В начале июля мы покинули Москву.

В сущности, милиция проявила необычайную гуманность и мягкость: больному, незаконно проживавшему в Москве, дали отлежаться, а потом предложили уехать. Обычно так не церемонятся, да и больные не решаются задерживаться в запрещенных городах. Кроме того, в нашем случае милиция поступила совершенно законно – ведь людям с судимостью запрещено жить в больших городах. Я же потеряла «связь с Москвой», потому что ездила в провинцию к человеку с судимостью. «Должно же защищаться государство», – сказал мне как-то Нарбут. Но в том-то и дело, что, защищаясь, оно создало слишком много законов, чтобы оградить себя от человека.

Еще вопрос: преувеличивал ли О. М. свои болезни, пытаясь обмануть государство? Несомненно. Ведь понадобились еще целый год бродяжничества и восемь месяцев тюрьмы и лагеря, чтобы отправить его на тот свет. У нас имеют право жаловаться на несмертельные недуги только те, кто полезен государству. Политические преступники должны умирать на ногах. О. М. слег в постель, когда он мог еще держаться на ногах, и вел себя так, будто он нужный человек, которого государство лечит, пестует и

холит. Следовательно, он свои болезни преувеличивал и старался обмануть государство. А оно имело не только законное, но и моральное право защищаться от такого недисциплинированного гражданина.

Наше государство опекает двести миллионов граждан и не собирается потакать тем, кто ему не служит верой и правдой. Государство – это самодовлеющая сила, которая лучше нас знает, что нам нужно. Когда все народы пойдут по нашему пути, они узнают, что «случайность – это неосознанная необходимость».

# Дачники

«Рано что-то мы на дачу выехали в этом году», – сказал О. М., укрывшись от московской милиции в Савелове, маленьком поселке на высоком берегу Волги, против Кимр. Лес там чахлый. На пристанционном базаре торговали ягодами, молоком и крупой, а мера была одна – стакан. Мы ходили в чайную на базарной площади и просматривали там газету. Называлась чайная «Эхо инвалидов» – нас так развеселило это название, что я запомнила его на всю жизнь. Чайная освещалась коптящей керосиновой лампой, а дома мы жгли свечу, но О. М. при таком освещении читать не мог из-за глаз. Все мы достаточно в нашей жизни насиделись при коптилках, так что со зрением у нас не очень хорошо… Да и книг мы с собой почти не взяли, потому что не собирались пускать корней и жили как настоящие дачники. Это была временная стоянка – она нам понадобилась, чтобы передохнуть и оглядеться.

Савелово – поселок с двумя или тремя улицами. Все дома в нем казались добротными – деревянные, со старинными наличниками и воротами. Чувствовалась близость Калягина, который в те дни затоплялся. То и дело оттуда привозили отличные срубы, и нам тоже хотелось завести свою избу. Но как ее заведешь, когда нет денег на текущий день? Жители Савелова работали на заводе, а кормились рекой – рыбачили и из-под полы продавали рыбу. Обогревала их зимой тоже река – по ночам они баграми вылавливали сплавляемый с верховьев лес. Волга еще оставалась общей кормилицей, но сейчас уже навели порядок и реки нас не кормят…

Мы предпочли остаться в Савелове – конечной станции Савеловской дороги, а не забираться в Кимры, облупленный городок на противоположном берегу, потому что переправа осложняла бы поездки в Москву. Железная дорога была как бы последней нитью, связывавшей нас с жизнью. «Селитесь в любой дыре, – посоветовала Г. Мекк, испытавшая все, что у нас полагается, то есть лагерь и последующую «судимость», – но не отрывайтесь от железной дороги: лишь бы слышать гудки»…

Запрещенный город притягивает, как магнит. Прописка разрешалась начиная со сто пятой версты от режимных городов, и все железнодорожные пункты в этой зоне забивались до отказа бывшими лагерниками и ссыльными. Местные жители называли их «стоверстниками», а женщин более точно: «стопятницами». Это слово напоминало им о мученице Параскеве Пятнице, о сто пятой версте. Я сообщила это слово Анне Андреевне, и оно попало в

поэму. Но узнала я его не в Савелове, а в Струнине, где поселилась после ареста О. М. Так называли меня там рабочие на текстильной фабрике, где я обслуживала двенадцать банкаброшных машин и, меняя с кем-нибудь дневную смену на ночную, – ведь все предпочитали работать днем, а не ночью, – ездила в Москву с передачами или за справками, которых нигде не давали.

Среди московских стоверстников и стопятниц особой популярностью пользовался Александров – «юродивая слобода» из стихов О. М., – потому что они пересаживались в Загорске на электричку и успевали за один день съездить в Москву, чтобы раздобыть денег или «похлопотать», а вечером вернуться с последним поездом на свое законное место жительства: ведь человеку полагается ночевать там, где он прописан. Поездка из Александрова, благодаря электричке, занимала не больше трех часов, вместо четырех или четырех с половиной по другим дорогам. Когда в 37 году начались повторные аресты, скопления людей с судимостью в определенных местах оказались на руку органам: вместо того, чтобы вылавливать их поодиночке, они сразу подвергали разгрому целые города. Так как такие мероприятия производились по плану и контролировались цифрами, чекисты, наверное, получили немало наград за самоотверженный труд и выполнение плана. А опустошенные городки опять заполнялись потоками стоверстников, которых, в свою очередь, ожидал разгром. Кто мог поверить, что городки вроде Александрова были просто западней? Ни у кого из нас не вмещалось в голову, что происходит систематическое уничтожение определенных категорий людей, то есть тех, кто однажды подвергся репрессиям. Ведь каждый верил, что у него индивидуальное дело, и считал рассказы про «заколдованное место» обывательской болтовней. В Москве нас успели предупредить о побоище, происходящем в Александрове, и мы, конечно, не поверили. Мы не поехали туда, потому что О. М. не захотелось в «юродивую слободу». «Хуже места не найти», – сказал он. Кроме того, мы выяснили, что в Александрове чудовищные цены на комнаты, и не пошли по проторенной дорожке.

В Савелове ни дачников, ни стоверстников кроме нас не было, если не считать нескольких уголовников, пережидавших там грозу: охотились не на них, но в случае недохватки могли захватить и их, чтобы не срывать плана. С одним из них мы разговорились в чайной, и он очень толково объяснил нам, какие у Савелова преимущества по сравнению с Александровом или с Коломной, например: «Если шпана вся в одном месте соберется,

ее сразу, как пенку, снимут»… Он оказался сообразительней наивной «пятьдесят восьмой» статьи, среди которой было много людей со старыми университетскими значками, а они твердо помнили, что каждый индивидуально несет ответственность за свои преступления и что за одно преступление никто дважды не отвечает. А поскольку они вообще никаких преступлений за собой не знали, им все мерещилось, что они добьются справедливости – ведь так вечно продолжаться не может! – а вместо этого попадали в фургон, именовавшийся «Черной Марусей» или «Черным вороном».

В 1948–53 годах я снова наблюдала «стоверстную драму», крохотную драму без содранной кожи, общего рва, без свинца и пыток, которыми так избаловала нас наша эпоха. Я жила в Ульяновске и видела, как его аккуратно очищают от всех, кто получил «судимость». Часть из них забрали сразу, остальных лишили прописки, и они хлынули в стоверстную зону. Там пользовался популярностью город Мелекесс. Туда отправился и мой знакомый скрипач, бывший рапмовец и бывший партиец, человек возраста О. М, делавший когда-то музыкальную политику с сестрой Брюсова. В 37 году он попал в лагерь и, отсидев восемь или десять лет, попал в конце сороковых годов в Ульяновск. Обезумев от счастья и думая, что все плохое уже позади, – сколько раз все мы попадались на эту удочку! – скрипач решил начать новую жизнь, женился – прежняя жена и дети успели от него «отмежеваться» – на моей сослуживице, хорошей женщине, и пристроился в музыкальной школе. Новый сын – лобастый мальчишка – уже тянулся к скрипке, и счастливый отец мечтал сделать из него скрипача. Он убеждал меня, что нет большего счастья, чем жить искусством и ради искусства, и цитировал по этому поводу классиков марксизма. Сыну было года три, когда отца вызвали в милицию, лишили прописки и предложили покинуть город в двадцать четыре часа. Я случайно зашла к ним в этот день, сразу все поняла по их лицам и так и осталась их конфиденткой: подобные истории всегда хранились в тайне, иначе могла пострадать вся семья.

В ту же ночь скрипач выехал в Мелекесс. Там он снял угол и даже достал несколько уроков скрипки и рояля. Вскоре среди хлынувшей в Мелекесс толпы бывших лагерников начались аресты. В маленьких городках такие вести распространяются мгновенно: квартирная хозяйка не преминет сказать соседке, что у нее ночью увели квартиранта. Аресты означали, что в Мелекессе образовалось скопление подозрительных элементов и местным органам спущен план очистки города. Все бросились в милицию выписываться, и вокзал переполнился беженцами. Скрипач тоже

умудрился вовремя убежать из опасного города. С тех пор, до самой смерти Сталина, то есть два с лишним года, он метался вниз и вверх по Волге – вплоть до Сызрани и по всем железнодорожным веткам, кочуя из города в город. В иных местах ему не удавалось даже найти угла, так как все было забито беглецами; в других не прописывали. Иногда он устраивался и даже доставал уроки в местной музыкальной школе, но тут до него доходила весть о том, что и здесь начались аресты, и он снимался и убегал. Во время своих странствий он иногда проезжал через Ульяновск и ночью пробирался к жене. Днем высунуться на улицу или постучаться к жене он не смел – соседи бы тотчас донесли. Он дрожал от страха, худел, кашлял и снова пускался в путь вместе со своей скрипочкой. И в каждом новом городе все начиналось сначала. Он даже съездил в Москву жаловаться в Комитет искусств, где его еще помнили, что в музыкальные школы принимают людей без всякого образования, а он, с его квалификацией, остается без работы… Ему обещали посодействовать, но в том городке, где он хотел осесть, начались аресты, и он убежал. Ему даже не довелось узнать, исполнили ли московские чиновники свое обещание.

После смерти Сталина ему разрешили, как инвалиду, вернуться к жене в Ульяновск. Умер он дома, но сына скрипичному искусству не научил. Он даже не смел приблизиться к мальчику – боялся заразить его туберкулезом, полученным во время странствий по уездным городам, предпринятых для спасения жизни.

Скрипачу благоприятствовало все: оседлая жена, которую не сняли с работы, потому что она сумела скрыть свой брак, к тому же и не зарегистрированный, опытность – всегда вовремя узнавал про опасность, даже национальность: тогда первый удар направлялся на евреев. Скрипка давала ему кусок хлеба – именно кусок хлеба, а не что другое, но и это очень важно. Музыканты и вообще пострадали меньше людей других профессий. Но спасся он только благодаря своей неукротимой энергии. Многие на его месте так бы и остались ждать ареста в Мелекессе: «разве от «них» спрячешься!» А спасся он только для того, чтобы приехать умирать домой. Ведь это тоже огромное счастье.

Глядя на удачливого скрипача, я всегда думала о том, что бы ожидало О. М., если б он выжил и вернулся из лагеря. Если б мы могли предвидеть все возможные варианты судьбы, мы не упустили бы последнего шанса нормальной смерти – открытого окна нашей квартиры на пятом этаже писательского дома на Фурмановом переулке в городе Москве.

Воронеж был чудом, чудо нас туда привело, а чудеса не

повторяются.

# Старый товарищ

Неудача с вечером не подкосила О. М. «Надо все отложить до осени», – сказал он. Москва, как всегда, к июлю опустела, поэтому никаких планов спасения мы не строили, а просто думали, как бы продержаться до осени. Это тогда О. М. заявил: «Надо менять профессию – теперь мы нищие»…

И он предложил ехать в Ленинград.

Раньше мы всегда разговаривали с О. М. Мне запомнились какие-то слова его и мысли. Но последний год были не членораздельные слова, а одни междометия. О чем мы говорили? Просто ни о чем: «устала, дай полежать… не могу идти… надо что-то предпринять… ничего, образуется… теперь всегда так будет… Господи!.. кого взяли?.. опять…»

Когда жизнь становится абсолютно невыносимой, кажется, что весь этот ужас никогда не кончится. В Киеве во время бомбардировки я поняла, что невыносимое все-таки кончается, но я тогда еще не вполне сознавала, что часто оно кончается вместе с человеческой жизнью. Что же касается до сталинского террора, то мы всегда понимали, что он может ослабеть или усилиться, но кончиться не может. Зачем ему было кончаться? С какой стати? Все люди заняты, все делают свое дело, все улыбаются, все беспрекословно исполняют приказания и снова улыбаются. Отсутствие улыбки означает страх или неудовольствие, а в этом никто не смел признаться: если человек боится, значит, за ним что-то есть – совесть нечиста… Каждый, находившийся на государственной службе – а у нас каждый ларешник – чиновник, да еще ответственный, – ходит веселым добрячком: то, что происходит, меня не касается – у меня ответственная работа, и я занят по горло… я приношу пользу государству – не беспокойте меня… я чист, как стеклышко… если соседа взяли, значит, было за что… Маска снималась только дома, да и то не всегда: ведь и от детей надо было скрывать свой ужас – не дай Бог, в школе проболтаются… Многие так приспособились к террору, что научились извлекать из него выгоду: спихнуть соседа и занять его площадь или служебный стол – дело вполне естественное. Но маска предполагает только улыбку, а не смех: веселье тоже казалось подозрительным и вызывало повышенный интерес соседей: чего они там смеются? может, издеваются!.. Простая веселость ушла, и ее уже не вернуть.

Приехав в Ленинград, мы нашли Лозинского на уединенной даче под Лугой. Он немедленно вынул 500 рублей, на которые мы могли вернуться в Савелово и оплатить дачу до конца лета. Чем

были эти пятьсот рублей? У нас никогда не было устойчивых цен – они менялись непрерывно, и никакой логики в этой скачке уловить мы не могли. В колебании цен на частном рынке есть закономерность, как в повышении или падении стоимости денег, но в таинственных вибрациях планового хозяйства сам черт ногу сломит: захотели – повысили цены, захотели – снизили… Зато в названиях сотен и тысяч, которыми мы ворочали, была настоящая магическая сила и, получив пятьсот рублей от Лозинского, мы почувствовали себя не простыми нищими, а какими-то особенными, чудесными, собирающими милостыню оптом. И действительно, так и было, потому что простым нищим давали копейки, которые равнялись на хлеб четвертушками, а на все остальное сотыми долями мельчайшей денежной единицы.

Обедали мы у Лозинского. Под серьезными взглядами младшего поколения Лозинский балагурил, О. М. сыпал шутками, и оба хохотали, как в дни Цеха поэтов. После обеда О. М. и Лозинский ушли в комнаты, и О. М. долго читал стихи. Оживившийся Лозинский пошел провожать нас на станцию. Дорога вела лесом, но по людным улицам мы не решились идти вместе: вдруг кто-нибудь увидит Лозинского с подозрительным незнакомцем! А еще хуже, если нас встретил бы кто-нибудь из Союза писателей, кто знал О. М. в лицо.

Компрометировать Лозинского мы не хотели, и потому расстались на опушке.

Случилось так, что родившиеся в девяностых годах Ахматова, Лозинский и О. М. оказались в тридцатых годах старшим поколением интеллигенции, потому что старшие уже успели погибнуть, уехать или сойти на нет. Для окружающих эти трое очень рано стали стариками, в то время как «попутчики» – Каверин, Федин, Тихонов и другие им подобные – очень долго ходили в мальчиках, хотя были моложе лишь несколькими годами. Бабель не примыкал ни к юношам, ни к старикам – он был сам по себе, – отдельным человеком. О. М. и Лозинский, как бы идя навстречу общественному мнению, очень рано состарились. В 1929 году, когда О. М. служил в газете «Московский комсомолец», которая помещалась на Тверской в старом пассаже с театром-варьете в центре, капельдинер, заметив, что я кого-то ищу, сказал: «Ваш старичок прошел в буфет». Старичку еще не было сорока лет, но у него уже сдавало сердце.

Эренбург, кстати, выдумал, что О. М. был маленького роста. Я ходила на высоких каблуках и едва достигала ему до уха, а я нормального среднего роста. Эренбург, во всяком случае, был ниже О. М. И щуплым О. М. не был – плечи у него были широкие. Вероятно, И. Г. запомнил крымского О. М., истощенного тяжким

голодом, а для концепции с журналистским противопоставлением – такой слабый и безвредный, а что с ним сделали! – понадобился облик тщедушного человечка утонченно-еврейского типа, вроде пианиста Ашкенази. Но О. М. совсем не Ашкенази – он гораздо грубее.

О. М. болел сердцем, которое не выдержало дикой нагрузки нашей жизни и еще неистового темперамента его владельца. Лозинского же поразила таинственная слоновая болезнь, которой место в Библии, а не в ленинградском быту. Пальцы, язык, губы Лозинского – все это удвоилось на наших глазах. В середине двадцатых годов, когда я впервые увидела Лозинского – он пришел к нам на Морскую, – он словно предчувствовал приближение болезни и говорил, что после революции все стало трудно, все устают от малейшего напряжения – разговора, встречи, прогулки… Лозинский, как и О. М., к тому времени уже побывал в тюрьмах, и он был одним из тех, у кого всегда стоял дома заранее заготовленный мешок с вещами. Брали его несколько раз, и однажды за то, что его ученики – он вел где-то семинар по переводу – дали друг другу клички. Кличек у нас не любили – это наводило на мысль о конспирации. Всех шутников посадили. К счастью, жена Лозинского знала кого-то в Москве и, когда мужа сажали, сразу мчалась к своему покровителю. То же проделывала жена Жирмунского. Если б не эта случайность – наличие высокой руки, – они бы так легко не отделались. В сущности, эти с самого начала казались обреченными, и все обрадовались, прочтя фамилию Лозинского в списке первых писателей, награжденных орденами. В этом списке он был белой вороной, но и белой разрешили жить среди других, чуждых ей птиц. Потом выяснилось, что ордена тоже ни от чего не спасают – их просто отбирали при аресте, но Лозинскому повезло, и ему удалось умереть от собственной страшной и неправдоподобной болезни.

Все мы вышли потрясенными и больными из первых лет революции. Сначала это сказалось на женщинах, но все же они оказались живучими и, проболев полжизни, уцелели. Мужчины были вроде покрепче и устояли после первых ударов, но загубили сердца, и редко кто доживает хотя бы до семидесяти лет. Тех, кого пощадила тюрьма и война, унесли инфаркты или неправдоподобные болезни, как Лозинского и Тынянова. И среди нас никто не поверит, что рак не связан с потрясением. Слишком уж часто мы видели, как над человеком разражается гроза, над ним публично издеваются, его запугивают и грозят ему черт знает чем, а через год разносится слух, что у него вовсе не сердце, а самый обыкновенный рак. Нечего и говорить, нас потрепали как

следует. Только беспристрастная статистика все время твердит о неустанном повышении среднего срока жизни. Наверное, за счет женщин и детей, потому что моя женская раса действительно оказалась двужильной.

# Стихолюбы

Мы провели в Ленинграде два дня. Ночевали у Пуниных, где все старались развеселить О. М. Вызвали даже Андроникова, тогда еще славного юнца, охотно разыгравшего перед О. М. все свои штучки. Вечером сидели за столом, чокались и разговаривали. Все понимали, перед чем мы стоим, но не хотелось губить последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой; Николай Николаевич шумел и смеялся… Но я заметила, что у него участился тик левой щеки и века.

Днем мы пошли к Стеничу. Блок назвал Стенича русским денди. Среди советских писателей он прослыл циником. Не потому ли, что все боялись его острого языка? Стенич тоже разыгрывал сценки, но совсем другого рода, чем Андроников. Еще в середине двадцатых годов у него был коронный номер: Стенич рассказывал, как он боится начальства и как он его любит – так любит, что готов подать шубу директору Госиздата… Этот рассказ он подносил всем писателям, а они принимали его довольно холодно. Легче было счесть Стенича циником, хвастающим собственным подхалимством, чем узнать в изображаемом лице самого себя. Кем же был Стенич – сатириком или циником?

Стенич начинал со стихов. В Киеве в 19 году, в литературном подвале «Хлам», он читал острые стихи, из которых многие запомнили «Заседание Совнаркома», где звучала не заказная, а подлинная современность. Стихи писать он бросил, но остался одним из самых глубоких стихолюбов. Вероятно, он мог бы стать прозаиком, эссеистом, критиком, как сейчас называют эту странную профессию, словом, он бы что-нибудь сделал, но время не благоприятствовало таким, как он. Пока что Стенич жил, вращался среди людей, болтал, шумел и немножко переводил, и его переводы стали образцом для всех переводчиков прозы. Как говорится, он был «стилистом» и нашел современное звучание в переводах американцев. На самом деле он таким способом использовал свои потенции, свое острое чувство времени, современного человека, языка и литературы.

Стенич встретил О. М. объятиями. О. М. рассказал, зачем мы приехали. Стенич вздохнул, что большинство писателей в разъезде, но кое-кто живет на даче. Это, естественно, затрудняло сбор денег. Его успокоила жена – Люба. Она обещала поехать в Сестрорецк и сразу после обеда, надев кокетливую шляпку, отправилась в путь. Стенич никуда нас не отпустил, и мы у него дождались возвращения Любы. К нему приходили люди повидать

нас, среди них Анна Андреевна и Вольпе, тот самый, которого выгнали из редакции «Звезды» за то, что он напечатал «Путешествие в Армению», да еще с концовкой про царя Шапуха, не получившего от ассирийца «один добавочный день». Эта концовка была запрещена цензурой. День, проведенный у Стенича, тоже был «одним добавочным днем»…

Люба вернулась с добычей – немного денег и куча одежды. Среди прочего барахла оказались две пары брюк – одни огромные и широкие, другие точно по мерке. Огромные брюки доехали до Савелова, а там перешли во владение нашего знакомца, уголовника, объяснившего нам, почему стоверстникам нельзя селиться в таких местах, как Александров, – «снимут, как пенку». Лишняя пара брюк никогда не заживалась у О. М. Всегда находился кто-нибудь, у кого нет и одной. Шкловский тогда тоже принадлежал к однобрючным людям, а его сын Никита уже готовился к такой же судьбе. Однажды мать спросила его, чего бы он пожелал, если б крестная фея, как в сказке, взялась выполнить его желание. Никита ответил без малейшего раздумья: «Чтоб у всех моих товарищей были брюки»… В наших условиях отказ от вторых брюк и забота о бесштанных товарищах характеризовали человека больше, чем его слова, а тем более повести, романы, рассказы, очерки и статьи… Советские писатели вообще, по моим наблюдениям, народ крепкий, но при Любе, жене Стенича, было бы непросто отказаться помочь ссыльному…

День, проведенный у Стенича, казался мирным и тихим, но и в него врывалась современность. Стенич дружил с женой Дикого. Она уже сидела, забрали и Дикого. Стенич ждал судьбы. Он боялся за Любу: что с ней будет, если она останется одна? Вечером зазвонил телефон. Люба сняла трубку. Никто не отозвался, и она заплакала. Все мы знали, что иногда таким образом проверяют, прежде чем ехать с ордером, дома ли хозяин. В тот вечер Стенича не взяли. Ему пришлось ждать судьбы до зимы. Когда мы прощались на лестничной площадке, куда выходило несколько квартир, Стенич, указывая на одну дверь за другой, рассказал, когда и при каких обстоятельствах забрали хозяина. На двух этажах он остался едва ли не единственный на воле, если это можно назвать волей. «Теперь мой черед», – сказал он… В следующий наш приезд в Ленинград Стенича уже не было, и Лозинский, когда мы к нему зашли, испугался: «Знаете ли вы, что сталось с вашим амфитрионом?» Лозинский думал, что Стенича забрали, потому что мы провели у него день. И нам пришлось сразу уйти, даже не попросив у Лозинского денег. Мне кажется, что Лозинский переоценивал детективные методы наших карающих органов. Меньше всего дела им было до реальности;

опираясь на сеть постоянных стукачей и на доносы добровольцев, они составляли списки, по которым производились аресты. Им нужны были не факты, а имена, чтобы выполнить план. Во время следствия они впрок запасались показаниями арестованных против любого лица, даже против тех, кого они не собирались арестовывать. Я слышала про женщину, которая героически выдержала все пытки и не дала показаний против Молотова. От Спасского требовали показаний против Любы Эренбург, которую он никогда в глаза не видел. Ему удалось передать об этом из лагеря, и Любу поспешили предупредить. Кажется, ей сказала об этом Анна Андреевна. Люба не поверила: «Что за Спасский? Я его не знаю»… Она еще была наивной, но потом все поняла.

В застенках росло и пухло дело Эренбурга, Шолохова, Алексея Толстого, которых и не думали трогать. Десятки, если не сотни, людей попали в лагеря по обвинению в заговоре, во главе которого стояли Тихонов и Фадеев. Среди них и уже упомянутый Спасский. Дикие изобретения, чудовищные обвинения – все это становилось самоцелью, и работники органов изощрялись в них, словно наслаждаясь своим самовластием. Основным же принципом следствия оставалось то, что нам поведал в конце двадцатых годов брат Фурманова: «Был бы человек, дело найдется»… В тот день, когда мы сидели у Стенича, его имя уже наверное находилось в списках подлежащих аресту, потому что его телефон был записан у Дикого. Дополнительных сведений не требовалось. Принципы и цели массового террора коренным образом отличаются от обычных задач охранительных органов. Террор – это устрашение. Чтобы погрузить страну в состояние непрерывного страха, нужно довести количество жертв до астрономической цифры и на каждой лестнице очистить несколько квартир. Остальные жильцы дома, улицы, города, где прошла метла, будут до конца жизни образцовыми гражданами. Не следует только забывать новых поколений, которые не верят своим отцам, и планомерно возобновлять чистки. Сталин прожил долгую жизнь и следил, чтобы волны террора время от времени увеличивали силу и размах. Но у сторонников террора всегда остается один просчет: всех убить нельзя и среди притаившейся, полубезумной толпы отыщется свидетель.

В первый приезд в Ленинград мы еще ездили к Зощенко в Сестрорецк или Разлив. У Зощенко были больное сердце и прекрасные глаза. «Правда» заказала ему рассказ, и он написал про жену поэта Корнилова, как она ищет работу и ее отовсюду гонят как жену арестованного. Рассказа, разумеется, не напечатали, но в те годы один Зощенко мог решиться на такую демонстрацию. Удивительно, как ему тогда сошло, но в счет

записано, несомненно, было, и он сразу заплатил по всем счетам.

На вокзал мы уезжали от Пуниных. Ехали мы последним поездом и поэтому из дому вышли после двенадцати, и этой «полночью голубой» город показался Анне Андреевне «Не столицею европейской С первым призом за красоту – Душной ссылкою енисейской, Пересадкою на Читу, На Ишим, на Иргиз безводный, На прославленный Акбасар, Пересылкою в лагерь Свободный, В трупный запах прогнивших нар, – Показался мне город этот Этой полночью голубой, Он, воспетый первым поэтом, Нами грешными – и тобой». Что ж тут удивительного, что ей так показалось? Нам это всем казалось. Да так и было, только ссылку в эти сравнительно обжитые места уже почти прекратили.

Люба Стенич рассказала забытый мной эпизод: О. М. на вокзале подошел к вокзальной пальме в кадке, что-то на нее повесил и сказал: «Араб-кочевник в пустыне»…

Первый приезд в Ленинград дал нам три месяца передышки. К весне перед отъездом в Саматиху мы снова решили смотаться в Ленинград, но на этот раз безуспешно. Утром мы зашли к Анне Андреевне, и она прочла О. М. обращенные к нему стихи про поэтов, воспевающих европейскую столицу. Это была последняя встреча Анны Андреевны и О. М. Больше они не виделись: мы условились встретиться у Лозинского, но нам пришлось сразу от него уйти. Она уже нас не застала, а потом мы уехали, не ночуя, успев в последнюю минуту проститься с ней по телефону.

После Лозинского мы долго стояли на улице, не зная, куда пойти. К Маршаку, что ли?

Самуил Яковлевич встретил нас таким певучим приветствием, что О. М. даже не заговорил про деньги. Завязался литературный разговор. О. М. прочел несколько воронежских стихотворений. Маршак вздохнул; стихи ему не понравились: «Не видно, с кем вы встречаетесь, о чем разговариваете… В пушкинскую эпоху…» «Ишь, чего захотел», – шепнул мне О. М., и мы распростились… Потом не застали дома одного писателя, долго ждали его и встретили уже на улице. О. М. попросил денег, но у писателя их не оказалось: истратился – строит дачу[28]… За все время это был второй отказ, первый – Сельвинского. Второго писателя я не хочу называть, мне кажется, что его отказ – случайность, просто недоразумение. Это был вполне приличный человек – мы всегда обращались за помощью к последним тайным интеллигентам, ленинградский же писатель был и интеллигентом, и стихолюбом, а в ту минуту у него замутилось в голове и он обернулся членом Союза писателей…

В самые последние дни перед отъездом в Саматиху О. М. сказал мне: «Надо пойти попросить денег у Паустовского». Мы не

были даже знакомы, и я удивилась. «Он даст», – успокоил меня О. М. Недавно я рассказала об этом старику. «Почему ж вы не пришли?» – огорчился он. «Не успели – О. М. арестовали», – объяснила я Константину Георгиевичу. Он успокоился. «Если б О. М. пришел, я бы все карманы вывернул», – сказал он и рассмеялся своим мелким смешком. Не сомневаюсь, что он бы дал: он ведь был типичным тайным интеллигентом, а сейчас стал явным: больше скрывать не нужно.

До меня недавно дошла сплетня: один крупный чиновник от литературы» удивлялся, что за человек такой был Мандельштам – занимал деньги и не возвращал… Мандельштам ему явно не нравится… В легкомысленной молодости О. М., может, действительно не возвращал долгов, но чиновник тогда еще не родился. А то, что было в сталинские годы, не называется «занимал». Это неприкрытое нищенство, к которому он был принужден государством, иначе говоря, той жизнью, что в печати называлась счастливой. Нищенство – еще не худшая сторона этой жизни.

# Затмение

«Кому нужен этот проклятый режим!» – сказал Лева Бруни, сунув О. М. деньги на поездку в Малый Ярославец. Осенью стал вопрос о переезде из Савелова, и мы снова изучали карту Подмосковья. Лева посоветовал Малый Ярославец – там он поставил избу для жены и детей своего брата Николая, священника, потом авиаконструктора, а в 37 году – лагерника, кончившего первый срок и уже получившего второй «за преступление, совершенное в лагере», как это тогда называлось. Иначе говоря, он стал «повторником», не успев выйти на свободу даже на один миг. Высланная из Москвы Надя Бруни и ее дети жили уже несколько лет в Малом Ярославце. Они кормились огородом, потому что на корову у Левы не хватило – Лева кормил свою большую семью и всех детей брата. Самому ему, вероятно, и в мирное время перепадало не слишком много еды – это была картофельная жизнь, а после войны он умер от истощения. Это случалось с тайными интеллигентами. Леву все любили. Он продолжал жить и быть человеком, несмотря на все испытания, которые ему послала судьба. Ведь и до смерти большинство из нас не живет, а только, притаившись, чего-то ждет и существует от дня к ночи.

Осенью рано темнеет. Освещен в Малом Ярославце был только вокзал. Мы шли вверх по скользким от грязи улицам и по дороге не заметили ни одного фонаря, ни одного освещенного окна, ни одного прохожего. Нам пришлось постучаться раза два в чужие окна, чтобы узнать дорогу. На наш стук в окне появлялось искаженное страхом лицо. «Как пройти?» – спрашивали мы, и с человеком у окна происходила метаморфоза: черты разглаживались, появлялась улыбка и с необычайной охотой нам подробно объясняли дорогу. Когда мы наконец добрались до своей цели, Надя Бруни, выслушав рассказ о том, что происходило с местными жителями при нашем стуке, сказала, что в последние недели в Малом Ярославце участились аресты и местных людей и ссыльных, поэтому народ напуган и сидит притаившись. Во время гражданской войны в домах старались не зажигать света, чтобы не привлечь внимания бродячих кондотьеров: вдруг вздумают и заявятся на огонек… В оккупированных немцами городах тоже сидели в темноте. В тридцать седьмом году освещенное окно не играло никакой роли: аресты производились не самочинно, а по ордерам. И все же люди пораньше заваливались спать, лишь бы не зажигать лампу. Должно быть, действовал первобытный инстинкт: в темной норе

безопаснее, чем на свету. И я сама знаю это чувство: услыхав машину, останавливающуюся у дома, невольно тушишь свет…

Ночной городок привел нас в такой ужас, что, переночевав у Нади Бруни, мы наутро сбежали в Москву. Левиного совета мы не приняли: нужна была сила духа скромной и нежной Нади Бруни, чтобы вынести этот страх, как платком покрывший весь город. Правильнее было бы сказать – всю страну, но в деревнях и больших городах это ощущалось не так сильно.

Следующим консультантом оказался Бабель. Он, кажется, никогда не жил в писательских домах, а всегда как-то неожиданно, не так, как другие. Мы с трудом отыскали его в каком-то непонятном особняке. Мне смутно помнится, будто в этом особняке жили иностранцы, а Бабель снимал у них комнаты на втором этаже. А может, он так нам сказал, чтобы мы удивились. Он очень любил удивлять людей… Ведь иностранцев боялись как огня: за самое поверхностное знакомство с ними летели головы. Кто бы решился поселиться у иностранцев? Я до сих пор не могу опомниться от удивления и не знаю, в чем там было дело. Бабель всегда нас чем-нибудь поражал, когда мы встречались.

Мы рассказали Бабелю о наших бедах. Разговор был долгий, а он слушал нас с необычайным любопытством.

Весь поворот головы, рот, подбородок и особенно глаза Бабеля всегда выражали любопытство. У взрослых редко бывает такой взгляд, полный неприкрытого любопытства. У меня создалось впечатление, что основной движущей силой Бабеля было неистовое любопытство, с которым он всматривался в жизнь и в людей.

Судьбу нашу Бабель решил быстро – он умел хватать быка за рога. «Поезжайте в Калинин, – сказал он, – там Эрдман – его любят старушки…» Бабель, конечно, говорил о молодых старушках, и его слова означали: Эрдман в плохом месте не поселится – его поклонницы бы этого не допустили. Эрдмановских «старушек» Бабель считал возможным использовать в случае нужды и для нас – комнату, например, найти… Для этого достаточно и местных «бабушек»… Бабель все же переоценивал власть Эрдмана над «старушками» – в Калинине мы их не обнаружили: видно, Эрдман все же ездил к ним, а не они к нему. Впрочем, кто знает женские сердца…

Деньги на переезд Бабель вызвался достать сам на следующий день, и разговор перешел на другие рельсы.

Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Накануне он пил с одним из главных милиционеров Москвы, и тот спьяну объяснил, что поднявший

меч от меча и погибнет. Руководители милиции действительно гибли один за другим… Вчера взяли этого, неделю назад того… «Сегодня жив, а завтра черт его знает, куда попадешь…»

Слово «милиционер» было, разумеется, эвфемизмом. Мы знали, что Бабель говорит о чекистах, но среди его собутыльников были, кажется, и настоящие милицейские чины.

О. М. заинтересовался, почему Бабеля тянет к «милиционерам». Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты? «Нет, – ответил Бабель, – пальцами трогать не буду, а так потяну носом: чем пахнет?»…

Известно, что среди «милиционеров», которых посещал Бабель, был и Ежов. После ареста Бабеля Катаев и Шкловский ахали, что Бабель, мол, так трусил, что даже к Ежову ходил, но не помогло и Берия его именно за это взял… Я уверена, что Бабель ходил к нему не из трусости, а из любопытства – чтобы потянуть носом: чем пахнет? Тема: «что будет завтра с нами» – была основной во всех наших разговорах. Бабель – прозаик – вкладывал ее в уста третьих лиц – «милиционеров». О. М. обходил ее молчанием: его завтрашний день уже наступил. Только раз его прорвало: встретив случайно на улице совершенно чужого нам человека – Шервинского, О. М. вдруг объяснил ему, что с ним «так продолжаться не может»… «Я у них все время на глазах. Они совершенно не знают, что со мной делать. Значит, они меня скоро посадят…» Это был горячий и короткий разговор. Шервинский слушал молча. После смерти О. М. мне иногда случалось с ним встречаться, но он мне никогда об этом разговоре не напоминал. Я бы не удивилась, если б он забыл: приходилось забывать о неприятном – его было слишком много.

# Последняя идиллия

Москва затягивала – разговоры, новости, добывание денег… Опомнившись, мы мчались к последнему поезду, чтобы не ночевать лишний раз в запрещенном городе. Случалось, мне уступали место в переполненном вагоне и разговаривали со мной со странным сочувствием. О. М. как-то рассказал об этом Пясту. Пяст фыркнул – у него был такой смешок, похожий на фырканье: «Это потому, что она так одета – они думают, что это она, а не вы»… Ходила я тогда в кожухе, и Пяст хотел сказать, что мне сочувствуют, потому что меня принимают за ссыльную. В Москве столько народу от нас шарахалось именно за это, что сочувствие чужих людей в смазных сапогах показалось неожиданным подарком. Кожух, кстати, играл только добавочную роль, потому что это продолжалось и в других обстоятельствах.

Еще в вагоне у нас с О. М. начинался спор, брать ли в Калинине извозчика. Мне думалось, что лучше пойти пешком и сохранить деньги на лишний день калининской передышки. О. М. держался противоположного мнения: один день ничего не меняет и все равно придется ехать в Москву «устраивать дела». Это были вариации обычной в последние годы его жизни темы: «Так больше продолжаться не может». В Калинине мы только об этом и говорили, но никаких дел не было и ничего устроить мы не могли.

Спор разрешался просто: у вокзала торчали два-три извозчика. Этих частников уже успели разорить налогами и уничтожить как класс. На них набрасывалась целая толпа, и они исчезали с более удачливыми и быстрыми седоками, а нам оставалось только идти пешком.

На мостах через Волгу и Тьмаку дул пронзительный ветер – тот ветер ссылок и правительственных гонений, о котором я уже говорила. В предместье, где мы снимали комнату, осенью стояла непролазная грязь, а зимой мы тонули в снегу. Люди там могут жить только потому, что они никуда не выходят: на службу и обратно… О. М. задыхался и твердил, что мы напрасно поскупились на извозчика, а я плелась за ним.

На стук нам открывала хозяйка, сухощавая женщина лет под шестьдесят. Хмуро оглядев нас, она спрашивала, не голодны ли мы. Хозяйка хмурилась не потому, что мы ее разбудили среди ночи. Ей было свойственно хмуриться, и она никогда не улыбалась. Быть может, ей казалось, что матери семейства, жене и хозяйке большого пятистенного дома не к лицу улыбка. Мы заверяли ее, что не голодны – закусили в Москве перед

отъездом… Она молча исчезала на своей половине, но через секунду появлялась у нас в комнате с кружкой молока и остатками собственного обеда – оладьями, картошкой, капустой… Зимой зарезали свинью, и она приносила еще кусок мяса: «Ешьте – свое, не купленное»… Наши женщины своего труда никогда не считают, все, что выросло на огороде или в хлеву, это «свое», денег не стоит, Богом данное… Пока мы ели, она стояла рядом и расспрашивала, чего мы добились в Москве – возвращения или хоть работы… Говорили мы тихо, чтобы не разбудить других жильцов, мужа и жену, тоже стоверстников, спавших за дощатой, не доходившей до потолка перегородкой. Сосед наш, ленинградец, бывший секретарь Щёголева, отсиживался в Калинине после лагеря или ссылки. Когда, по совету прохожих, мы постучались к Татьяне Васильевне – так звали нашу хозяйку, – ленинградец вышел на голос и узнал О. М. Хозяйка, узнав, что мы не проходимцы, сдала нам комнату, и это было большой удачей. Это у нас всегда так трудно, как, я думаю, было в послевоенной Европе, когда города стояли после бомбежек в развалинах. А может, еще труднее.

Татьяна Васильевна жила с мужем, рабочим-металлургом. Властвовала она в доме безраздельно, и ее муж, добрый и мягкий человек, охотно ей подчинялся. Они только всегда сохраняли декорум: Татьяна Васильевна не решала ничего, пока не спросит хозяина, – нас пригласили выпить чаю, а придет хозяин, решит, сдавать ли комнату; а хозяин на все отвечал – «как мать». И против новых жильцов он не возражал, а с О. М. вскоре подружился – их объединяла общая страсть к музыке. К серебряной свадьбе сыновья – они вышли «в большие летчики», и один из них даже представлялся Сталину – подарили отцу патефон и кучку пластинок. То были все больше песни, модные тогда среди комсомольцев и военных. Старик предпочел сыновьему «горлодранству» несколько пластинок, раздобытых О. М.: Бранденбургский концерт, какую-то церковную вещь Дворжака, старых итальянцев и Мусоргского. Пластинки добывались тогда с большим трудом, и набор их был совершенно случайный, но мужчинам они доставляли массу радости. По вечерам, когда мы бывали в Калинине, они устраивали концерты, а Татьяна Васильевна ставила самовар и поила чаем с домашним вареньем. О. М. только все норовил заварить по-своему и рассказывал, что первое, на что тратил, получив деньги, Шевченко, был фунт чаю… За чаем О. М. обычно просматривал газету; хозяину, как кадровому рабочему, удалось выписать «Правду».

Как я заметила, в рабочих семьях в то суровое время

разговаривали гораздо более прямо и открыто, чем в интеллигентских. После московских недомолвок и судорожных оправданий террора мы терялись, слыша беспощадные слова наших хозяев. Нас ведь научили молчать, и Татьяна Васильевна на какую-нибудь уклончивую реплику О. М. говорила, с жалостью глядя на него: «Ничего не поделаешь – все вы пуганые»…

Уже отцы и деды наших хозяев работали на заводах. Татьяна Васильевна не без гордости объясняла: «Мы потомственные пролетарии». Она помнила политических агитаторов, которых ей приходилось в царские времена прятать у себя в доме: «Говорили одно, а что вышло!» К процессам оба относились с полным осуждением. «Нашим именем какие дела творятся», – говорил хозяин, с отвращением отбрасывая газету. «Их борьба за власть» – вот как он понимал происходящее. Что все это называлось диктатурой рабочего класса, приводило обоих в ярость: «Заморочили вам голову нашим классом», или «Власть, говорят, за нашим классом, а пойди сунься, – покажут тебе твой класс»… Я изложила старикам теорию о том, что классами руководят партии, а партиями вожди. «Удобно», – сказал старик… У обоих было понятие пролетарской совести, от которого они не желали отказываться.

В этой семье остро стоял вечный в России вопрос отцов и детей. Успеху сыновей наши хозяева не радовались и в его прочность не верили. «Внизу нас много – уцелеть легче, а наверх заберешься, того и гляди полетишь», – повторяла Татьяна Васильевна. Отец же смотрел в корень вещей – он не доверял детям. При них он не решался ни о чем говорить: «Враз донесут – известно, какие теперь дети»… Но до самого больного места мы добрались не сразу – чтобы узнать, что больше всего мучило родителей, надо было раньше вместе съесть пресловутый пуд соли.

Татьяна Васильевна держала корову – «с одной рабочей зарплаты сынов не вырастишь, только корова и спасла». Корова была единственной точкой соприкосновения этой семьи с деревней, потому что вся семья уже давно перекочевала в город – «в пролетарский класс». А сено для коровы покупалось у колхозников, и сделка совершалась за столом – вокруг самовара. Татьяна Васильевна за этими чаепитиями наслушалась разговоров о коллективизации, планах и трудоднях… Однажды, разгоряченная очередным разговором, она, проводив гостей, пришла к нам в комнату и рассказала О. М., как ее старшего сына еще комсомольцем послали на раскулачивание. Он пробыл в деревне довольно долго и, вернувшись, ничего не сказал родителям, ни на один их вопрос не ответил, а вскоре совсем

покинул отчий дом. «Что он там творил? И не узнаешь! Зачем только растила…» Разговаривая с колхозниками, Татьяна Васильевна всегда прикидывала в уме, что там мог наделать в деревне ее первенец, а муж успокаивал ее: «Брось, мать, все они теперь такие»…

Мы вскоре заметили своеобразную черту наших хозяев – эти трезвые люди, так правильно судившие о нашей жизни, не одобряли никаких форм политической борьбы, никакой активности вообще. Читая отчеты о процессах, хозяин говорил: «Зачем лезли? Ведь зарплату хорошую получали». Он все-таки подозревал, что какая-то активность жертвами процессов проявлена была, а нас приводила в ужас мысль, что никто даже пальцем не шевельнул, чтобы помешать захвату власти Сталиным. Наоборот, все порознь помогали ему загонять в угол его очередную жертву. Но хозяин помнил, какими «они были раньше», и поэтому подозревал, что «все-таки мельтешились». А к О. М. оба относились хорошо, потому что считали его пассивной жертвой режима – «ему-то до власти никакого дела нет, он ведь просто свое сочинял»… Они были бы довольны сыновьями, если б те держались подальше от всякой политики, с власть имущими не знались и «из своего класса не уходили». Любые виды сопротивления казались им бесполезными и просто ложными. Это и называлось у них «мельтешиться». В Калинине нам пришлось впервые участвовать в выборах. Пораженный их организацией, О. М. не знал, что ему делать. Он пробовал утешать себя: «Это только для начала, потом народ привыкнет и все будет нормально», но затем говорил, что ни за что не станет участвовать в этой комедии. Хозяева спорили с ним. Первый их довод: «Против рожна не попрешь», второй: «Чем мы лучше других – все пойдут, и мы пойдем», а последний и самый убедительный: «Не заводись с ними, не отвяжутся». С этим нельзя было не согласиться, особенно в нашем положении. И мы все пошли голосовать – хозяева в шесть утра, как им велели на заводе, а мы попозже – после завтрака.

В сущности, Татьяна Васильевна была законопослушницей, но не потому, что она уважала законы – к нашим, например, она относилась резко отрицательно, – а из-за общей жизненной установки. Она считала первой своей обязанностью – жить, и ради этой цели следовало, по ее мнению, уклоняться от всяких лишних действий. Идея жертвенности или гибели ради идеи показалась бы ей высшей нелепостью. Она стояла на том, что «мы люди маленькие», которым высовываться не с руки. И мы чувствовали некоторую надменность в этой позиции: наверху – борьба, злодейство, спекуляция на имени рабочего класса,

принадлежность к которому она так остро ощущала, а она здесь ни при чем, у нее руки чистые, рабочие… Ее дело – жизнь и труд, а те пускай душу губят… При этом религиозности мы в ней не замечали, и в церковь она не ходила, хотя лампадку перед иконами жгла – по обычаю, как отцы.

Минутами даже мы казались Татьяне Васильевне частицей суетных верхов. Это бывало, когда она нас подозревала в отсутствии жизненной стойкости, воли к жизни. Читая какие-нибудь циничные, страшные или дикие высказывания, О. М. часто говорил: «Мы погибли»… Впервые он это произнес, показывая мне отзыв Сталина на сказку Горького: «Эта штука сильнее «Фауста» Гёте. Любовь побеждает смерть»… Он сказал еще «мы погибли», увидав на обложке какого-то иллюстрированного журнала, как Сталин протягивает руку Ежову. «Где это видано, – удивлялся О. М., – чтобы глава государства снимался с министром тайной полиции…» Но дело было не только в том, кто был снят, но в выражении лица Ежова: «Посмотри, он способен на все ради Сталина»… Однажды за столом у Татьяны Васильевны О. М. прочел речь Сталина курсантам-выпускникам. Сталин пил за ту науку, которая нам нужна, а не за ту науку, которая нам не нужна… Слова эти звучали зловеще: раз есть наука, которая нам не нужна и чужда, мы ее уничтожим, вырвем с корнем… И О. М. сказал привычное: «Мы погибли»… Вот тут-то Татьяна Васильевна и ее муж разъярились: «Вам только бы гибнуть… еще накликаете… вы бы как жить подумали… вот учитесь, смотрите на нас – мы же живем… никуда не лезьте и живы будете…» «Первая обязанность человека – жить», – резюмировал О. М.

После ареста О. М. я приехала в пятистенный дом на окраине Калинина за оставленной там корзинкой с рукописями. Хозяева, узнав об аресте О. М., так расстроились, что я не выдержала и заплакала. Неулыбчивая Татьяна Васильевна обняла меня и сказала: «Не плачь – как святые будут», а хозяин добавил: «Твой муж никому зла сделать не мог – последнее дело, если таких берут»… И оба они решили рассказать про это своим сыновьям, чтобы те знали, кому служат и чему поклоняются. «Только слушать они нас не станут», – вдруг вздохнул хозяин. Сыновья Татьяны Васильевны были «сталинскими соколами», добродетельными «Зотовыми», которых так точно описал Солженицын. Им действительно ничего рассказывать не стоило – в них изживались идеи, которые правят миром. Сейчас, в середине шестидесятых годов, это те отцы, которые направо и налево жалуются на своих детей – внуков Татьяны Васильевны. Внуки смыкаются с дедами, отказываясь от отцов. И я вспоминаю еще одну железнодорожную встречу с другим «обломком

империи». Этот всецело стоял за Двадцатый съезд, потому что при Сталине испытал кое-какие неприятности: его не арестовывали, но арестом крепко запахло… Теперь он радуется жизни и живет на хорошей пенсии – как ответственный партийный работник… Сидеть сложа руки ему, партийцу, не хочется, и он взялся за воспитание молодежи: стал агитатором в каком-то техникуме в Ленинграде. Вот он и поведал мне как педагогу свои трудности. Пришел поторопить своих подопечных в день выборов – никто идти не хочет. Он говорит: «Вам надо с нас пример брать – мы революцию делали» и сообщает, что сам с раннего утра уже отголосовал… А ему отвечают: «А кто вас просил революцию делать? Раньше лучше жилось»… Вся его революционная фразеология повисла в воздухе: «Подумайте, какая молодежь пошла! А как вы с ними справляетесь?» Я искренне ответила, что никак… Это внуки Татьяны Васильевны, но есть ли у них за душой что-нибудь, кроме отрицательных реакций?

К Татьяне Васильевне приходили с ордером на мой арест, но меня уже там не было. Перерыли весь дом – включая чердак, сараи и погреб, но вещей не нашли, потому что я успела их увезти. Принесли женскую фотографию и внимательно вглядывались в обеих женщин – хозяйку и жиличку… Я узнала об этом через год на вокзале, когда ехала в Калинин устраиваться и жить. Эту весть о том, что за мной приходили, сообщили из Ленинграда, куда ее привез бывший секретарь Щёголева. Пожалуй, знай я об этом заранее, я бы в Калинин не поехала, но вещи мои уже лежали в вагоне, и я махнула рукой: «Будь что будет»… Да и страх уже поослабел: Ежов пал и массовые аресты прекратились. В Калинине я прожила до самой эвакуации, почти два года, и никто меня не тронул, хотя в моем деле лежал неиспользованный ордер на мой арест. Случай как будто легендарный, но таких было немало: изменились контрольные цифры на уничтожение людей, и тот, кого не успели взять, уцелел… Террор тоже проводился как плановое хозяйство, регулирующее жизнь и смерть.

Обыск произвел на Татьяну Васильевну огромное впечатление: три толстомордых парня перевернули у нее весь дом. Татьяна Васильевна поносила толстомордых и меня за то, что я скрываю, что сидела в тюрьме, а может, она даже заподозрила меня в чем-то другом: «Почему тебя выпустили – теперь никого не выпускают!»… В ее голове не могло уложиться, что «они» хотели кого-то взять и не взяли, потому что не нашли… А в чьей голове это уложится? Но под конец она смягчилась и спросила, есть ли у меня где жить. «Если негде, живи, Бог с

тобой, – сказала она, – береженого, говорят, Бог бережет, да теперь все равно не убережешься»… В сущности, этим она изменила своему принципу невмешательства в беспокойную жизнь нашей страны, но я у нее не осталась, потому что мысль о толстомордых мешала бы мне спать в ее доме еще больше, чем в других.

# Текстильщики

В своих странствиях я сталкивалась с разным народом, и всюду мне было легче, чем среди тех, кто считался цветом советской интеллигенции. Впрочем, они тоже не жаждали моего общества…

После ареста О. М. я поселилась в Струнине, текстильном поселке за Загорском. Об этом поселке я узнала случайно, возвращаясь из Ростова Великого, где хотела сначала устроиться. В первый же день я встретила там Эфроса. Он побледнел, узнав про арест О. М., – ему только что пришлось отсидеть много месяцев во внутренней тюрьме. Он был едва ли не единственным человеком, который отделался при Ежове простой высылкой. О. М., услыхав за несколько недель до своего ареста, что Эфрос вышел и поселился в Ростове, ахнул и сказал: «Это Эфрос великий, а не Ростов»… И я поверила мудрости великого Эфроса, когда он посоветовал мне не селиться в Ростове: «Уезжайте, нас здесь слишком много»… В поезде, на обратном пути, я разговорилась с пожилой женщиной: ищу, мол, комнату, в Ростове не нашла… Она посоветовала выйти в Струнине и дала адрес хороших людей: сам не пьет и матом не ругается… И тут же прибавила: «А у нее мать сидела – она тебя пожалеет»… Поезда были добрее людей Москвы, и в них всегда догадывались, что я за птица, хотя была весна и кожух я успела продать.

Струнино находилось на Ярославской дороге, по которой шли этапы. У меня была безумная мысль, что я когда-нибудь увижу в окне – то есть в щели – теплушечного поезда лицо О. М., и я сошла в Струнине и отправилась к хорошим людям. С ними у меня быстро наладились дружеские отношения, и я рассказала им, почему мне понадобилась «дача» в стоверстной зоне. Впрочем, это они и так поняли. А снимала я у них крылечко, через которое никто не ходил. Когда начались холода, они силком перетащили меня в свою комнату, загородив мне угол шкафами и простынями: «Чтобы вроде своей комнатки было, а то в общей ты не привыкла…» Насчет юдофобства я могу по своему опыту сказать, что в народе его нет. Оно всегда идет сверху. Я никогда не скрывала, что я еврейка, а во всех этих семьях – рабочих, колхозников, мельчайших служащих – ко мне относились как к родной, и я не слышала ничего, похожего на то, чем запахло в высших учебных заведениях в послевоенный период и, кстати, пахнет и сейчас. Самое страшное – это полуобразование, и в полуобразованной среде всегда найдется почва для фашизации, для низших форм национализма, и вообще

для ненависти ко всякой интеллигенции. Антиинтеллигентские настроения страшнее и шире, чем примитивное юдофобство, и они все время дают себя знать во всех переполненных людьми учреждениях, где люди так яростно отстаивают свое право на невежество. Мы давали им сталинское образование, и они получили сталинские дипломы. Естественно, что они держатся за те привилегии, которые дает диплом. Иначе им будет некуда деться.

Из Струнина я ездила делать передачи в Москву, и скудное добро мое – я продавала книги О. М. – быстро иссякло. Хозяева заметили, что мне нечего есть, и делились со мной своей тюрей и мурцовкой. Редьку там называли «сталинским салом». Хозяйка наливала мне парного молока и говорила: «Ешь, не то совсем ослабеешь». Большую часть удоя им приходилось продавать на сено, и сами они не очень-то баловались молоком. А я носила им из лесу малину и другие ягоды. В лесу я проводила почти весь день, а возвращаясь домой, замедляла шаги: мне все казалось, что сейчас мне навстречу выйдет выпущенный из тюрьмы Мандельштам. Можно ли поверить, что человека забирают из дома и просто уничтожают… Этому поверить нельзя, хотя это можно знать умом. Мы это знали, но поверить в это не могли.

Осенью ресурсы мои исчерпались, и пришлось думать о работе. Хозяин мой был текстильщиком, хозяйка – дочь ткачихи и красильщика тканей. Они очень огорчались, что я тоже впрягусь в эту лямку, но выхода не было, и когда на воротах появилось объявление о наборе, я нанялась в прядильное отделение. Работала я на банкаброшальных машинах, которые выделывают «ленту» из «сукна». По ночам я, бессонная, бегала по огромному цеху и, заправляя машины, бормотала стихи. Мне нужно было помнить все наизусть – ведь бумаги могли отобрать, а мои хранители в минуту страха возьмут да бросят все в печку – такое у меня случалось с самыми хорошими и литературными людьми… Память была добавочным способом хранения и, надо сказать, очень мне пригодилась в моем трудном деле. Восемь ночных часов отдавались не только ленте и сукну, но и стихам.

Чтобы отдохнуть, бабы убегали от машин в уборную. Там собирался настоящий клуб. Они умолкали и рассеивались, когда туда деловой походкой врывалась какая-нибудь делающая карьеру комсомолка. «Этой берегись», – предупреждали меня работницы. А в тихие минуты, когда были только свои, они довольно энергично вправляли мне мозги, объясняя, как им живется, что они потеряли и что выиграли – «Раньше день был долгий, но прядильщица чаек попивала – на скольких машинах она работала, знаешь?» Здесь я убедилась, как громадна

популярность Есенина, потому что при мне постоянно поминали его имя. У этого поэта была настоящая народная легенда, они считали его своим парнем и любили…

По утрам, выйдя из ворот, они сразу становились в очередь к магазину за мануфактурой или за хлебом. До войны ситец был совершенно дефицитным товаром, хлеба не хватало, и жизнь они вели нищенскую. Об этом сейчас совершенно забыли, и мои псковские сталинисты упорно твердили, что до войны нужды не знали – только сейчас, мол, с ней познакомились… У людей поразительно короткая память, когда им этого хочется.

Именно здесь, в Струнине, я узнала слово «стопятница» – все они так меня называли. Относились ко мне хорошо, особенно пожилые мужчины. Иногда кто-нибудь заходил ко мне в цех и протягивал яблоко или кусок пирога: «Ешь, жена вчера спекла». В столовой во время перерыва они придерживали для меня место и учили: «Бери хлёбово. Без хлёбова не наешься». На каждом шагу я замечала дружеское участие – не ко мне, а к «стопятнице», и здесь антиинтеллигентскими настроениями не пахло.

Однажды ночью в мой цех вошли двое чистеньких молодых людей и, выключив машины, приказали мне следовать за ними в отдел кадров. Путь к выходу – отдел кадров помещался во дворе, в отдельном здании – лежал через несколько цехов. По мере того, как меня вели по цехам, рабочие выключали машины и шли следом. Спускаясь по лестнице, я боялась обернуться, потому что чувствовала, что мне устроили проводы: рабочие знали, что из отдела кадров нередко увозят прямо в ГПУ.

В отделе кадров произошел идиотский разговор. У меня спросили, почему я работаю не по специальности. Я ответила, что у меня никакой специальности нет. Почему я поселилась в Струнине? Потому что мне негде жить… «Образованная, а пошла к станкам…» У меня тогда не было никакого образования, кроме гимназии, и образованной я оказалась не по диплому, а по принадлежности к интеллигенции, и это они чуяли носом. «Почему в школу не пошли работать?» «Не возьмут без диплома…» «Что-то тут не то – говорите прямо…» Чего от меня хотели, я так и не поняла, но в ту ночь меня отпустили, быть может, потому, что во дворе толпились рабочие. Отпуская, меня спросили, работаю ли я завтра в ночную смену, и приказали явиться до начала работы в отдел кадров. Я даже подписала такую бумажку…

К станкам в ту ночь я не вернулась, а пошла прямо домой. Хозяева не спали – к ним прибежал кто-то с фабрики рассказать, что меня потащили «в кадры». Хозяин вынул четвертинку и налил три стакана: «Выпьем, а потом рассудим, что делать».

Когда кончилась ночная смена, один за другим к нашему окну стали приходить рабочие. Они говорили: «Уезжай» и клали на подоконник деньги. Хозяйка уложила мои вещи, а хозяин с двумя соседями погрузили меня на один из первых поездов. Так я ускользнула от катастрофы благодаря людям, которые еще не научились быть равнодушными. Если отдел кадров первоначально не собирался меня арестовывать, то после «проводов», которые мне устроили, мне, конечно бы, не уцелеть…

Струнино было чувствительно к нашим бедам и стопятницкой жизни. Поезда с арестованными проходили чаще всего по ночам, а утром рабочие с текстильной фабрики, переходя железнодорожные пути, внимательно смотрели под ноги – они искали записки. Иногда арестованным удавалось выбросить в окно записку. Нашедший клал ее в конверт, переписывал адрес и отсылал. Тогда родные получали весточку от своего каторжника. А если поезд останавливался днем, то каждый старался бросить что-нибудь из еды или курева в вагон, за спиной у расхаживающих часовых. Так моя хозяйка кинула детскую шоколадку… В Струнине и своих тоже много забирали, и народ жил мрачный и насупленный. Здесь я впервые услышала, что Сталина в народе называют «рябым». Если спросить почему, отвечали: «А ты разве не знаешь, что у него оспа была… У них на Кавказе на этот счет беда»… Пожалуй, за кавказскую оспу им бы тоже не поздоровилось, но такие слова произносились только со «своими», а стукачей они знали наперечет. В этом преимущество маленького поселка. Мы своих стукачей знали далеко не всегда.

В Савелове тоже жили законопослушники, но природная доброта мешала им покоряться безмолвно. «Русская революция не жестокая, – сказал мне раз Якулов. – Всю жестокость отсосало государство – она ушла в ЧК».

В России, видно, все всегда происходит наверху. Народ безмолвствует, покорно сопротивляясь или строптиво покоряясь. Он осуждает жестокость, но уж во всяком случае никогда не одобрит никакой активности. Как эти свойства сочетаются с грозными бунтами и революциями, я не знаю. Разве это можно понять?

# Шкловские

В Москве был только один дом, открытый для отверженных. Когда мы не заставали Виктора и Василису, к нам выбегали дети: маленькая Варя, девочка с шоколадкой в руке, долговязая Вася, дочь сестры Василисы Тали, и Никита, мальчик с размашистыми движениями, птицелов и правдолюбец. Им никто ничего не объяснял, но они сами знали, что надо делать: дети всегда отражают нравственный облик дома. Нас вели на кухню – там у Шкловских была столовая – кормили, поили, утешали ребячьими разговорами. Вася – альтистка – любила поговорить про очередной концерт – в те дни шумела симфония Шостаковича, и Шкловский выслушивал все рассказы подряд, а потом радостно заявил: «Шостакович всех переплюнул»… Эпоха жаждала точного распределения мест: кому первое, кому последнее – кто кого переплюнет… Государство использовало старинную систему местничества и само стало назначать на первые места. Вот тогда-то Лебедев-Кумач, человек, говорят, скромнейший, был назначен первым поэтом. Шкловский же занимался тем же, но жаждал «гамбургского счета». Вася тоже отдавала пальму первенства Шостаковичу. И О. М. рвался послушать симфонию, но не знал, как поспеть на последний поезд.

С Варей шел другой разговор. Она показывала учебник, где один за другим толстой бумажкой заклеивались по приказу учительницы портреты вождей. Ей очень хотелось заклеить Семашку – «Все равно ведь заклеим – лучше бы сразу»… Редакция энциклопедии присылала списки статей, которые полагалось заклеить или вырезать. Этим занимался Виктор. При каждом очередном аресте везде пересматривались книги и в печку летели опусы опальных вождей. А в новых домах не было ни печек, ни плит, ни даже отдушин, и запретные книги, писательские дневники, письма и прочая крамольная литература резалась ножницами и спускалась в уборные. Люди были при деле…

Никита, самый молчаливый из детей, иногда умел огорошить взрослых. Виктор однажды рассказал, как он с Паустовским ходил к знаменитому птичнику, дрессировавшему канареек. По его знаку канарейка вылетала из ящика, садилась на жердочку и давала концерт. Хозяин снова делал знак, и певунья покорно убиралась в свой ящик. «Как член Союза писателей», – прокомментировал Никита и вышел из комнаты. Огорошив, он всегда исчезал к себе. В его комнате жили приманенные им птицы, но он дружил с ними и дрессировкой не увлекался. Мы знали уже, что птицы учатся петь у мастеров своей породы. В

Курске выловили знаменитых соловьев, и молодняку не у кого учиться. Так пала курская школа соловьиных певцов из-за прихоти людей, посадивших лучших мастеров в клетки.

Приходила Василиса, улыбалась светло-голубыми глазами и начинала действовать. Она зажигала ванну и вынимала для нас белье. Мне она давала свое, а О. М. – рубашки Виктора. Затем нас укладывали отдыхать. Виктор ломал голову, что бы ему сделать для О. М., шумел, рассказывал новости… Поздней осенью он раздобыл для О. М. шубу. У него был старый меховой – из собачки – полушубок, который в прошлую зиму таскал по нищете Андроников, человек-оркестр. Но он успел выйти в люди и обзавестись писательским пальто, и Виктор вызвал его к себе вместе с полушубком. Обряжали О. М. торжественно, под Бетховена, которого высвистывал Андроников. Шкловский даже произнес речь: «Пусть все видят, что вы приехали на поезде, а не под буферами»… До этого О. М. ходил в желтом кожаном пальто, тоже с чужого плеча. В этом желтом он попал в лагерь.

Когда раздавался звонок, то прежде, чем открыть дверь, нас прятали на кухню или в детскую. Если приходили свои, нас немедленно с радостными криками освобождали из плена, а если Павленко или соседка-стукачка, Леля Поволоцкая – та самая, которую потом от реабилитации хватил паралич, – мы отсиживались в тайнике. Они ни разу не застали нас врасплох, и мы этим очень гордились.

Дом Шкловских был единственным местом, где мы чувствовали себя людьми. В этой семье знали, как обращаться с обреченными. На кухне устраивались дискуссии, где ночевать, как пойти на концерт, где достать денег и что вообще делать. У Шкловских мы ночевать избегали, потому что в доме были швейцарихи, лифтерши и дворничихи. Эти добродушные и убогие женщины спокон веку служили в охранке. Денег они за это не получали – это была их добавочная функция. Не помню уж, как мы устроились на ночь, но на концерт в конце концов пошли… А швейцарихи, когда я появилась одна, без О. М, уже после его смерти, спросили меня, где он. Я сказала: умер. Они вздохнули: «А мы думали, что вы будете первая»… Я из этого сделала два вывода: обреченность была написана на наших лицах – это первый, а второй – нечего бояться этих несчастных баб, они ведь сердобольные. Тех, которые меня тогда пожалели, быстро свезли на кладбище: они мрут как мухи на своем голодном пайке, но я с тех пор всегда дружу с их преемницами, и они никогда не сообщали милиционерам, что я ночую без прописки в квартире Шкловских. Возвращаясь после двенадцати, когда им приходилось вставать, чтобы открыть мне парадное, я всегда

совала им в руку двадцать, тридцать копеек, как полагалось. Только после денежной реформы шестидесятых годов мы сообразили, что давали на чай не гривенники, а две-три копейки. Вот сила названия – ведь слово «рубль» все-таки сохранило какое-то обаяние и мы с бо´льшим трудом тратили, скажем, пятерку, чем сейчас полтинник. Таксисту тоже не дашь на чай гривенник, а недавно рубль считался роскошной приплатой к счетчику… А в тридцать седьмом году чаевых мы не давали, от швейцарок шарахались, задержаться у Шкловских боялись, чтобы не подвести хозяев, падали с ног, задыхались и вечно куда-то спешили.

Иногда другого выхода не было и мы все же оставались на ночь у Шкловских. Нам клали в спальне на пол тюфяк и меховую шкуру-овчину. С седьмого этажа, разумеется, не слышно, как к дому подъезжают машины, но когда ночью поднимался лифт, мы – все четверо – выбегали в переднюю и прислушивались: «Слава Богу, этажом ниже», или «Слава Богу, мимо»… Это прислушивание к лифту происходило каждую ночь, вне зависимости от наших ночевок. К счастью, лифт поднимался редко: обитатели дома жили обычно в Переделкине и вели солидный образ жизни, а их дети еще не успели подрасти. В годы террора не было дома в стране, где бы люди не дрожали, прислушиваясь к шелесту проходящих машин и к гулу поднимающегося лифта. До сих пор, ночуя у Шкловских, я вздрагиваю, когда слышу ночной лифт. И эта картина – полуодетые люди замерли, нагнувшись, у входной двери, чтобы услышать, где остановился лифт, – незабываема.

Недавно мне приснился сон, потому что у дома остановилась машина: меня будит О. М.: «Одевайся… На этот раз за тобой»… Но я не поддалась и ответила: «Хватит. Не стану вставать им навстречу. Плевать»… И, повернувшись, я снова заснула без снов. Это был психологический бунт. Это ведь тоже какая-то форма сотрудничества: за тобой приходят, чтобы утащить тебя в тюрьму, а ты добровольно поднимаешься с кровати и дрожащими руками натягиваешь платье. Хватит. Надоело. Ни одного шага навстречу. Пусть тащат на носилках, пусть убивают тут же, дома… Не хочу!

Однажды среди зимы мы решили, что нельзя больше злоупотреблять добротой Шкловских. Боялись их подвести: вдруг кто донесет, а там и «загрохотать» недолго… Одна мысль, что мы можем загубить Шкловского, а с ним и всю семью, приводила нас в отчаяние. Мы торжественно сообщили о своем решении и, не слушая уговоров, несколько дней не приходили. Чувство бесприютности и одиночества обострялось в геометрической прогрессии. Как-то, сидя у Бруни, О. М. не выдержал и позвонил

Шкловским. «Приезжайте скорее, – сказал Виктор. – Василиса тоскует, места себе не находит…» Через четверть часа мы позвонили, и Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете – голубые глаза этой женщины. Так я думаю и сейчас.

Хочу оговориться: Анну Андреевну я никогда не отделяла от себя, но в те дни она была далеко – Ленинград был недостижим.

# Марьина роща

Раз, когда мы сидели у Шкловских, пришел Саня Бернштейн (Ивич) и позвал нас ночевать к себе. Там прыгала крошечная девочка-«заяц»; уютная Нюра, жена Сани, угощала нас чаем и болтала. Худой, хрупкий, балованный Саня с виду никак не казался храбрым человеком, но он шел по улице, посвистывая, как ни в чем не бывало, и нес всякую чепуху о литературе, словно ничего не случилось и он не собирался спрятать у себя в квартире страшных государственных преступников – меня и О. М. Так же спокойно он взял в 1948 году у Евгения Яковлевича рукописи О. М. и сохранил их. А его брат, Сергей Игнатьевич Бернштейн, прятал в 37–38 году другого преступника – Виктора Владимировича Виноградова, которому была запрещена из-за судимости Москва. Когда у Виноградова все пришло в норму и ему, уже академику, поручили возглавлять сталинское языкознание, он почему-то забыл этот бедный дом и даже не пришел на похороны жены Сергея Игнатьевича, гостеприимной хозяйки тридцать седьмого года.

А чаще всего мы уходили от Шкловских с сестрой Василисы, Натальей Георгиевной, или попросту Талей, которая все время читает и, между прочим, до сих пор помнит наизусть сотни стихотворений девятнадцатого века.

Таля получила комнату в старой квартире Шкловских в Марьиной Роще, где жила со своей дочерью Васей, маленькой альтисткой. В те дни, когда мы шли к Тале, Вася оставалась у Василисы, а мы спали в комнате с ее матерью. В той же квартире одну из комнат занимал Николай Иванович Харджиев, и мужчины по вечерам много разговаривали и сидели допоздна. У Николая Ивановича я провела и первые дни после ареста О. М., а потом после известия о его смерти. Я лежала пластом и не видела света Божьего, а Николай Иванович варил сосиски и заставлял меня есть: «Ешьте, Надя, это горячее» или «Ешьте, Надя, это дорогое»… Нищий Николай Иванович пытался пробудить меня к жизни милыми шутками, горячими сосисками и дорогими леденцами. Он единственный оставался верен и мне и Анне Андреевне в самые тяжелые периоды нашей жизни. Однажды я у него увидела карандашный портрет Хлебникова, сделанный Татлиным. Татлин рисовал его через много лет после смерти Хлебникова, а он был, как живой, точно такой, каким я его запомнила, когда он приходил есть с нами гречневую кашу в Дом Герцена и молча сидел, непрерывно шевеля губами. Меня вдруг осенило, что и О. М. когда-нибудь воскреснет на чьем-нибудь рисунке, и мне стало

легче. Но мне не пришло в голову, что все художники, которые его знали, успеют умереть прежде, чем решатся написать его портрет. А бедный рисунок Милашевского в журнале «Москва» ни на одну сотую долю на Мандельштама не похож. Как-то поразительно плохо он давался художникам, а вот на фотографиях выходил удивительно.

О. М. говорил, что у Николая Ивановича абсолютный слух на стихи, и поэтому я настояла, чтобы его назначили редактором книги, которая уж почти десять лет не может выйти в «Библиотеке поэта».

Полуразрушенный деревянный домишко в Марьиной Роще казался мне крепостью, но до этой крепости надо еще было добраться. Мы выходили от Шкловских вместе с Талей, но мимо швейцарих дефилировали поодиночке. Таля и дальше шла впереди, вскакивала на трамвай, ждала на остановках, пересаживалась. Мы шли поодаль, не выпуская из виду ее широкую спину. Ведь мы были конспираторами, и поэтому нам не полагалось идти рядом. В случае, если бы О. М. забрали на улице – а о таких арестах мы слышали, – Наталья Георгиевна, случайная прохожая, оказалась бы ни при чем. У нее даже не проверили бы документов. Она могла бы спокойно – спокойно ли? – продолжать свой путь, и мы бы не навели ищеек на дом Шкловских. Наша конспирация смешна, но все это приходилось делать, потому что мы соблаговолили родиться в двадцатом веке. И не рядом, а вслед за Талей мы шли, как будто загипнотизированные ее качающейся походкой.

Она всегда выглядела невозмутимой, и, если мы не попадали в тот трамвай, куда она вскакивала первая, мы знали, что она дождется нас на остановке, где мы делали пересадку, или на конечной. Увидев нас, она опять пускалась в путь, а мы вдвоем, падая от усталости, за ней… В ее захолустном доме мы никогда никого не встречали, хотя там были еще жильцы, но мы проскальзывали так, что они о нас не подозревали. Именно для этого Тале нужно было самой открыть дверь своим ключом и осмотреться прежде, чем впустить нас. Но все же сосед, член Союза писателей, некий Вакс, не мог не знать, что у Тали ночуют посторонние. Видно, он был порядочным человеком, что не донес на нас. А утром Вакс говорил по телефону в коридоре – он требовал у Союза писателей материалов и средств, чтобы отремонтировать свою трущобу, которую мы считали крепостью или раем. О. М. сочинял по этому поводу шуточные стишки, где фигурировал «Вакс – ремонтнодышащий…» Стихи оборвались – в такой жизни стихи не сочиняются, а вот шуточные иногда возникали. Их почему-то ненавидел Шкловский. Ему казалось,

что шуточные стихи – признак, по крайней мере, расслабления мозгов. И не потому, что время было не подходящим для шуток, а вообще: рифмы не те, и вообще не то… Шуточные стихи – это петербургская традиция, Москва признавала только пародии, а Шкловский забыл про свою петербургскую юность.

По ночам я кричала. В ту зиму я начала кричать страшным нечеловеческим криком, словно животное или птица, которую душат. Шкловский дразнил меня, что все люди кричат во сне «мама!», а я кричу «Ося!» До сих пор я пугаю этим криком соседей, да еще цветом ладоней: с того же года они в минуты тревоги вдруг становятся ярко-красными. А О. М. упорно не терял присутствия духа и продолжал шутить.

Иногда нам приходилось сидеть лишние дни в Москве, потому что не удавалось достать денег. Круг дающих все время сужался. Мы дожидались очередной получки Шкловского. Он приходил домой с деньгами, рассованными по всем карманам, и отделял нам кусок добычи. Тогда мы отправлялись проживать деньги к Татьяне Васильевне, на окраину чужого нам города Калинина.

# Сопричастный

Осенью 37 года Катаев и Шкловский решили свести О. М. с Фадеевым, который у власти еще не был, но пользовался большим влиянием. Вернее, он был почти у власти. Встреча произошла, кажется, у Катаева. О. М. читал стихи. Фадеева проняло – он отличался чувствительностью… С трезвыми как будто слезами он обнимал О. М. и говорил все, что полагается чувствительному человеку. Меня при этой встрече не было – я отсиживалась несколькими этажами выше, у Шкловских. О. М. и Виктор пришли довольные. Они улизнули пораньше, чтобы дать возможность Катаеву с глазу на глаз обработать Фадеева. Фадеев не забыл стихов – вскоре ему пришлось ехать в Тифлис с Эренбургом – на юбилей Руставели, что ли? – и он уверял, будто попытается напечатать подборку стихов О. М. Этого не случилось. Быть может, ему «не посоветовали» – у нас была такая милая формула: лицо, у которого просят разрешения что-нибудь сделать, хмурится: «На ваше усмотрение, пожалуйста»… Нахмуренное лицо равносильно отказу, но «невинность соблюдена», роковое «нет» не сказано и отказ от действия является «инициативой снизу», вполне демократическим…

Этих тончайших оттенков бюрократического управления не знала никакая власть, кроме нашей, потому что, ко всем своим достоинствам, она отличалась еще и неслыханным лицемерием. Итак, мы решили, что Фадееву «не посоветовали», но скорее всего он просто никого не спрашивал, чтобы «не ввязываться». Это более вероятно. Все же в самом конце зимы 37–38 года, встретив О. М. в Союзе, он вдруг вызвался поговорить «наверху» и узнать, «что там думают». За ответом, или, вернее, информацией, мы должны были прийти в Союз через несколько дней.

К нашему удивлению, Фадеев не обманул и явился в назначенный день и час. Мы вышли из дому вместе и сели в его машину. Он предложил отвезти нас куда нам надо, чтобы по дороге поговорить. Он сел рядом с шофером, а мы позади.

Повернувшись к нам, он рассказал, что разговаривал с Андреевым, но ничего у него не вышло: тот решительно заявил, что ни о какой работе для О. М. не может быть и речи. «Наотрез», – сказал Фадеев. Он был смущен и огорчен. О. М. даже пробовал утешать его: «Ничего, как-нибудь образуется»… В кармане у нас уже лежали путевки в Саматиху – дом отдыха, куда нас вдвоем на два месяца посылал Литфонд, по распоряжению Ставского. Он вдруг принял О. М. и предложил поехать в «здравницу», чтобы мы там отсиделись, пока не решится вопрос с

работой. Эта милость судьбы окрылила нас, и мы не очень огорчились неудаче Фадеева. А он принял эту новость довольно раздраженно: «Путевки?.. Куда?.. Кто дал?.. Где это?.. Почему не в писательский дом?» О. М. объяснил: у Союза нет домов отдыха в разрешенной зоне, то есть за сто километров от режимных городов. «А Малеевка?» – спросил Фадеев. Мы понятия не имели ни о какой Малеевке, и Фадеев вдруг пошел на попятный: «Так домишко отдали Союзу… там, верно, ремонт…» О. М. выразил предположение, что сочли неудобным посылать в писательский дом до общего разрешения вопроса. Фадеев охотно это объяснение принял. Он был явно озабочен и огорчен. Сейчас, задним числом, я понимаю, что он думал: события, которых он ждал, приблизились, и он понял технику их осуществления. Самый закаленный человек не может глядеть этим вещам в глаза. А Фадеев был чувствителен.

Машина остановилась в районе Китай-города. Что нам там понадобилось? Уж не там ли было управление санаториями, куда мы должны были сообщить о дне выезда, чтобы за нами выслали лошадей на станцию Черусти Муромской железной дороги. Оттуда до Саматихи было еще верст двадцать пять.

Фадеев вышел из машины и на прощание расцеловал О. М. По возвращении О. М. обещал обязательно разыскать Фадеева. «Да, да, обязательно», – сказал Фадеев, и мы расстались. Нас смутил торжественный обряд прощания и таинственная мрачность и многозначительность Фадеева. Что с ним? Мало ли что могло быть с человеком в те годы: на каждого хватало бед… Ослепленные первой удачей за всю московскую жизнь – путевкой: Союз начал о нас заботиться! – мы даже не подумали, что мрачность Фадеева как-то связана с судьбой О. М. и с ответом Андреева, означавшим страшный приговор. Фадеев, человек тертый, отлично разбиравшийся в партийных делах, не мог этого не понимать. Почему, кстати, он не побоялся разговаривать при шофере? Этого не делал никто. При нашей системе слежки все шоферы видных лиц несомненно докладывали куда следует о каждом их движении и слове. Случайно мне довелось узнать, как Сурков, придя к власти в писательском департаменте, уже после смерти Сталина, получил машину, которая была в распоряжении Фадеева, и его шофера. Первое, что он сделал, – это под каким-то дурацким предлогом отказался от машины – стара, плохой марки – и выгнал шофера. Видно, в новые времена ему захотелось избежать постоянного подслушивания…

Неужели Фадеев обладал такой демонической верой в свою неприкосновенность, что не считался с «ушами государевыми» в своей машине? Или он уже успел солидаризироваться с тем, что

судьба заготовила Мандельштаму, и поэтому мог ясными глазами смотреть на своего шофера, разговаривая с неприкасаемым человеком? Мне говорила Люба, что Фадеев был холодным и жестоким человеком, что вполне совместимо с чувствительностью и умением вовремя пустить слезу. Это, по ее словам, стало совершенно ясно в период расправы с еврейскими писателями. Там тоже были поцелуи, прощания со слезой и апробирование их арестов и уничтожения. При этом Мандельштам был чужим для Фадеева человеком, а те – друзьями… Но мы, чуждые чиновному миру нашей иррациональной страны, вообще не понимали двуликости – какого черта она нужна писателю, даже если он занимает какой-то пост в писательских организациях… Всей глубины перерождения мы еще не осознали. И мы не подозревали, что в процесс уничтожения людей втянуты как сообщники главы всех учреждений и что им надлежало ставить свою подпись под списками арестованных. Впрочем, в 38 году эта функция принадлежала как будто не Фадееву, а Ставскому. Так, во всяком случае, говорят. Наверняка мы ничего не знаем. Прошлое по-прежнему остается таинственным, и мы до сих пор не знаем, что с нами делали.

Не прошло и года, как Фадеев, празднуя в Лаврушинском переулке по поводу первых писательских орденов, узнал о смерти Мандельштама и выпил за его упокой: «Загубили большого поэта». В переводе на советский язык это значит «Лес рубят – щепки летят».

История наших отношений с Фадеевым этим не кончается. Незадолго до окончания войны я поднималась к Шкловским в лифте и случайно очутилась в нем вместе с Фадеевым. Он вошел вторым, когда я уже собиралась закрыть дверь и нажать кнопку, швейцариха крикнула мне, чтобы я подождала – кто-то идет… Войдя, Фадеев не поздоровался. К этому я привыкла и просто отвернулась, чтобы не смущать человека, который не хочет меня узнавать. Но едва лифт начал подниматься, как Фадеев нагнулся ко мне и шепнул, что приговор Мандельштаму подписал Андреев. Вернее, я так его поняла. Сказанная им фраза прозвучала приблизительно так: «Это поручили Андрееву – с Осипом Эмильевичем». Лифт остановился, и Фадеев вышел… Я не знала тогда состава тройки и думала, что приговоры выносятся только органами, и поэтому растерялась – при чем тут Андреев. Кроме того, я заметила, что Фадеев был пьяноват.

Зачем он со мной заговорил, и правда ли то, что он мне шепнул? Возможно, что в его пьяном мозгу возникла случайная ассоциация – ему вспомнился разговор в машине и мысль о Мандельштаме связалась с Андреевым. Но не исключена

возможность, что он сказал правду. Об Андрееве я знаю еще из письма ташкентского самоубийцы, что он был одним из прямых проводников сталинской террористической политики и приезжал в Ташкент инструктировать работников органов, «как действовать на новом этапе», то есть, что означает приказ об «упрощенных методах допроса».

А не все ли равно, кто подписал приговор? В те годы каждый готов был поставить свою подпись под чем угодно и не только потому, что отказавшегося бы немедленно отправили на тот свет. Такова была сила нашей организованности, что такие же люди, как мы, «с глазами, вдолбленными в череп», рушили, вытаптывали следы, убивали, уничтожали себе подобных, оправдывая все свои поступки «исторической необходимостью». Варфоломеевская ночь длилась ровно одну ночь, и, хотя молодчики, пролившие тогда человеческую кровь, может, до конца жизни хвастались своим геройством, все же она навсегда осталась в памяти человечества. Гуманистические принципы девятнадцатого столетия – несущественно, что они были плохо обоснованы и поэтому ввели людей в соблазн, – все же растворились в нашем сознании. Наемные убийцы всегда найдутся, но старые подпольщики – несомненные человеколюбы, воспитанные на гуманизме девятнадцатого века, ради блага людей отдавшие свою юность, – что чувствовали они, участвуя в этой «исторической необходимости»? И неужели люди не научатся на нашем примере, что нельзя преступать «законы человеческого»?

Я ни в чем не уверена и ничего не знаю, но все же, мне кажется, что тогда, в машине, Фадеев уже знал, какая участь заготовлена его собеседнику. Мало того, он сразу понял, что его неспроста отправляют не в писательский дом отдыха.

# Мамочка послала барышню отдыхать в Саматиху

Все шло как по маслу. Мы вышли на станции Черусти, и нас уже ждали розвальни с овчинами, чтобы не замерзнуть. Отсутствие неувязок – такая редкость в нашей жизни, что мы очень удивились: видно, здорово строго приказали, чтобы все было в порядке, раз не забыли выслать вовремя сани. Мы решили, что нас принимают как почетных гостей… Март стоял холодный, и мы слышали, как в лесу трещат сосны. Лежал глубокий снег, и первое время мы ходили на лыжах. Как все тенишевцы, О. М. вполне ловко ходил и на лыжах, и на коньках, и здесь в Саматихе оказалось, что прогулка на лыжах, не очень дальняя, конечно, требует меньше усилий, чем пешком. Нам сразу дали отдельную комнату в общем доме, но там стоял вечный шум, и по первой же просьбе нас перевели в избушку на курьих ножках, служившую обычно читальней. Главврач сказал, что его предупредили о приезде О. М. и предложили создать ему условия, и поэтому он решил временно закрыть для общего пользования читальню, чтобы дать нам пожить в тишине. А во время нашего пребывания в Саматихе врачу даже звонили несколько раз по телефону из Союза и спрашивали, как поживает О. М. Он докладывал нам об этих звонках с некоторым удивлением, считая, очевидно, что к нему попала важная птица. А мы решительно утверждались в своем впечатлении, что произошел какой-то сдвиг и о нас начали заботиться. Разве не чудеса: звонят, предупреждают, справляются, приказывают «создать условия», как настоящим людям… Такого с нами еще не бывало…

Народ в санатории собрался спокойный – все больше рабочие разных заводов. Как всегда в домах отдыха, они были поглощены своими временными любовными историями и на нас не обращали ни малейшего внимания. Приставал только «затейник»: ему все хотелось устроить вечер стихов О. М., но и его удалось отвадить, сказав, что стихи пока запрещены и для устройства вечера требуется санкция Союза. Это он сразу понял и отступился. Было, конечно, скучновато. О. М. привез с собой Данте, Хлебникова, однотомник Пушкина под редакцией Томашевского, да еще Шевченко, которого ему в последнюю минуту подарил Боря Лапин. Несколько раз О. М. порывался съездить в город, но врач говорил, что ни на розвальнях, ни на грузовике нет места. Достать частных лошадей было невозможно – кругом почти не было деревень, да и в деревнях лошади остались только

колхозные. «А мы часом не попались в ловушку?» – спросил как-то О. М. после одного из отказов врача довезти нас до станции, но тотчас об этом забыл. Все-таки в Саматихе жилось хорошо и спокойно, и мы считали, что все худшее осталось позади: ведь сам Союз купил нам путевки – обоим! – и приказал «создать нам условия».

В начале апреля – мы еще жили в главном доме, то есть в самые первые дни – в Саматиху приехала вполне интеллигентная барышня. Она подошла к О. М. и заговорила с ним. Оказалось, что барышня знакома с Кавериным, с Тыняновым и еще с кем-то из вполне приличных людей. У барышни тоже была судимость, и поэтому родители вынуждены были купить ей путевку в такое демократическое место, как Саматиха: сто пятая верста, ничего не поделаешь… Мы посочувствовали и удивились: такая молоденькая, а уже успела отбыть пять лет. Впрочем, все случается на этой земле… Барышня часто забегала к нам, особенно когда мы переселились в читальню – там было так уютно!.. Барышня все рассказывала про своих папочку и мамочку: как папочка, когда она заболела, сам внес ее на руках в палату – какого это папочку пускают в палату? – какие у них дома пушистые кошки, которые всегда сидят у папочки на коленях, и как у них в доме все благородно и нежно, и какие у самой барышни породистые узкие ножки и ручки… И вдруг среди всего этого вздора промелькнул рассказ о следователе: он требовал, чтобы барышня назвала автора стихов, но она наотрез отказалась и только упала в обморок. «Какие стихи? – спросил О. М. – При чем тут стихи?» На это наша знакомая пролепетала, что во время обыска у нее в ящике письменного стола нашли запрещенные стихи, но она не выдала их автора… В другой раз она пристала к О. М. с расспросами: кто же интересуется его поэзией? у кого лежат его стихи? кто их хранит?.. «Алексей Толстой», – ответил, разозлившись, О. М., но поумнел он не сразу, а в первые дни даже прочел ей какой-то стишок, кажется, «Разрывы круглых бухт», и барышня подняла вопль: «Как вы решились написать такое» и нельзя ли получить список… Я даже упрекнула О. М. в том, что он от скуки распускается. «Глупости, – ответил он. – Ведь она знакомая Каверина…» От санаторского благополучия и скуки он готов был даже слушать про папочку. А я потом наслушалась рассказов про папочку и мамочку и прочие семейные идиллии от Ларисы, дочери ташкентского самоубийцы, и от своих учениц такого же происхождения, и мне подумалось, что в их среде это считается интеллигентным разговором.

Барышня уехала за два-три дня до первого мая. Собиралась она жить в Саматихе месяца два, но неожиданно папочка

позвонил ей по телефону из Москвы и разрешил вернуться. Разрешил или предложил – этого мы не разобрали. На станцию ее отправили на грузовике, а с ней затейник и один из отдыхающих, которому поручили сделать к празднику покупки. Мы тоже заказали ему папирос, потому что в местном ларьке продавалась одна дрянь. О. М. очень хотелось сбежать на праздничные дни в Москву – мы предчувствовали пьянство и неисчислимое количество развлечений и хорового пения, но доктор воспротивился: обратно грузовик пойдет загруженным и мест не будет… Человек, которому мы поручили купить папиросы, задержался в Черусти и кое-как приехал обратно с попутными телегами. Барышня, оказывается, закутила в Черусти с шофером и затейником. Они напились пьяные и такое вытворяли, что рабочий, бывший нечаянным свидетелем их попойки, не знал, как удрать. Его удивило, что начальник станции не разгневался на дебош, но предоставил им для ночлега детскую комнату по первой просьбе барышни… Наутро кутеж продолжался, а наш знакомый решил не ждать шофера и пустился в путь на свой риск. После рассказов об интеллигентных и благородных папочке и мамочке выбор собутыльников показался нам довольно странным. «А что если она шпичка?» – сказала я О. М. «Не все ли равно, – ответил О. М. – Ведь я им теперь не нужен. Это уже все прошлое»… Ничто не могло выбить у нас из головы, что наши беды кончились. Сейчас я не сомневаюсь, что барышня находилась в служебной командировке, а врачу велели не отпускать О. М. из Саматихи. Тем временем в Москве решалась его судьба.

# Первое мая

Приближалось Первое мая, и весь санаторий чистился, мылся, готовился к празднику. Люди гадали, что будет на праздничный обед. Ходили слухи, что заказано мороженое. О. М. рвался удрать, а я его успокаивала, не идти же пешком на станцию. Потерпишь – каких-нибудь два дня, и все уляжется…

В один из последних дней апреля мы шли с О. М. в столовую, помещавшуюся в отдельном бараке, недалеко от главной усадьбы. Возле домика главврача стояли две машины, а легковые машины всегда вызывали у нас дрожь. Почти у самой столовой мы встретили врача с какими-то приезжими. Видом своим они резко отличались от отдыхающих – крупные, холеные, сытые… Один был в военном, другие в штатском. Явно – начальство, но неужели районное? На районных секретарей, которых нам приходилось встречать, они нисколько не походили. «Комиссия», – подумала я. «А вдруг они проверяют, здесь ли я, – вдруг сказал О. М. – Ты видела, как он на меня посмотрел?» Действительно, один из приезжих, одетый в штатское, оглянулся и внимательно на нас посмотрел, а потом что-то сказал врачу. Но мы тут же об этом позабыли. Гораздо естественнее было предположить, что это районная комиссия проверяет, как санаторий готовится к международному празднику Первое мая. В такой жизни, как наша, приходилось все время бороться с припадками страха, когда невольно у каждого накапливаются приметы приближающейся катастрофы, иногда реальные, иногда впустую, но самые поиски этих примет приводят человека на грань психического заболевания. Мы старались не поддаваться, но тщетно. И припадки холодного ужаса перемежались у нас с легкомыслием, и с собственными шпиками мы разговаривали как со знакомыми.

Весь день Первого мая шла гульба. Мы сидели у себя и выходили только в столовую, но к нам доносились крики, песни и отголоски драк. К нам спаслась одна отдыхающая, текстильщица с одной из подмосковных фабрик. Чего-то она болтала, а О. М. шутил с ней, а я дрожала, что он скажет что-нибудь лишнее, а она побежит и донесет. Разговор зашел об арестах в их поселке. Она рассказала про одного арестованного, что он хороший человек и к рабочим был всегда внимателен. О. М. стал ее расспрашивать… Когда она ушла, я долго его упрекала: «Что за невоздержанность… ну кто тебя за язык тянет!» Он уверял меня, что больше не будет – обязательно исправится и ни с кем из посторонних слова не скажет… И я навсегда запомнила, как я

сказала: «Жди, пока исправишься – великий сибирский путь»…

В ту ночь мне приснились иконы. Сон не к добру. Я проснулась в слезах и разбудила О. М. «Чего теперь бояться, – сказал он. – Все плохое уже позади…» И мы снова заснули… А мне никогда ни раньше, ни потом иконы не снились – они не входили в наш быт, а старинные, которые мы любили, были для нас живописью на загрунтованных досках.

Нас разбудили под утро – кто-то скромно постучал в дверь. О. М. вышел отворить. В комнату вошли трое – двое военных и главврач. О. М. одевался, я накинула халат и сидела на кровати. «Ты знаешь, когда подписан ордер?» – сказал О. М. Оказалось, что около недели назад. «Ничего не поделаешь, – объяснил военный. – Перегрузка»… Он пожаловался, что люди в праздник гуляют, а им приходится работать, и грузовик они в Черусти еле раздобыли – никого не найдешь… Очнувшись, я начала собирать вещи и услышала обычное: «Что даете так много вещей – думаете, он долго у нас пробудет? Спросят и выпустят»…

Никакого обыска не было: просто вывернули чемодан в заранее заготовленный мешок. Больше ничего… Я вдруг сказала: «Мой адрес: Москва, Нащокинский. Наши бумаги там». На Нащокинском уже ничего не было, и мне хотелось отвести их от комнаты в Калинине, где действительно находилась корзинка с бумагами. «На что нам ваши бумаги?» – миролюбиво ответил военный и предложил О. М. идти. «Проводи меня на грузовике до Черусти», – попросил О. М. «Нельзя», – сказал военный, и они ушли. Все это продолжалось минут двадцать, а то и меньше.

Главврач ушел с ними. Во дворе затарахтел грузовик. Я сидела на кровати не шевелясь. Даже дверь за ними не закрыла. Они уехали, и тут вернулся врач. «Время такое, – сказал он, – не отчаивайтесь, может, обойдется»… И он прибавил обычную фразу о том, что надо беречь силы: они пригодятся… Я спросила, что это за комиссия у него была. Оказалось, работники районного центра. Они затребовали, между прочим, списки отдыхающих. «Но я про вас даже не подумал», – сказал врач. У него уже арестовывали отдыхающих. Один раз тоже приезжали накануне, чтобы проверить списки отдыхающих, а в другой – просто запросили по телефону, кто из отдыхающих не находится на месте… Великое уничтожение людей тоже имеет свою технику: чтобы арестовать человека, надо застать его на месте. Главврач был старым коммунистом и славным человеком. Он спрятался подальше от шумной жизни в скромный рабочий дом отдыха и там один вел все хозяйство и лечил людей. А жизнь все же врывалась к нему в его обитель, и никуда от нее уйти он не мог…

Утром прибежала текстильщица, та самая, которой я

накануне вечером так испугалась. Она заплакала и последними словами крыла сукиных детей. Чтобы добраться до Москвы, мне пришлось распродать вещи. Те гроши, что у нас были, я отдала О. М. Текстильщица помогла мне распродаться и сложить чемодан. Пришлось мучительно долго ждать таратайку. Меня отправляли вместе с инженером, приехавшим на праздник в санаторий навестить отдыхавшего там отца. Врач простился со мной в комнате, а к таратайке вышла только текстильщица. Инженер рассказывал, когда мы тряслись в таратайке, что у него два брата и все трое работают в автомобильной промышленности, так что если рухнет один, загремят и оба другие: молоды были, не думали, что следует поосторожнее и подальше друг от друга… Вот будет горе отцу… А мне казалось, что он просто чекист и везет меня прямо на Лубянку. Но мне было все равно.

Мы сошлись с О. М. первого мая 19 года, и он рассказал мне, что на убийство Урицкого большевики ответили «гекатомбой трупов»… Мы расстались первого мая 38 года, когда его увели, подталкивая в спину, два солдата. Мы не успели ничего сказать друг другу – нас оборвали на полуслове и нам не дали проститься.

В Москве я вошла к брату и сказала: «Осю забрали». Он побежал к Шкловским, а я отправилась в Калинин, чтобы вывезти оттуда оставленную у Татьяны Васильевны корзинку с рукописями. Задержись я хоть на несколько дней, содержимое корзинки попало бы в мешок, а меня бы увезли в «черном вороне». В те дни я предпочла бы «черного ворона» своей так называемой свободной жизни. А что бы сталось со стихами? Когда я вижу книги разных арагонов, которые хотят помочь своей стране и научить их жить, как мы, я думаю, что мне следует рассказать и о своем опыте. Ради какой идеи, собственно, нужно было посылать нескончаемые поезда с каторжниками на Дальний Восток и среди них человека, который был мне близок? О. М. всегда говорил, что у нас берут «безошибочно»: уничтожался не только человек, но и мысль.

# Гуговна

Мне попалась раз книжечка о вымерших птицах, и я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые не что иное как вымирающие пернатые. Я показала О. М. парочку уже несуществующих попугаев, и он сразу догадался, что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, я потеряла, но эта аналогия успела открыть мне глаза на многое. Единственно, чего я тогда не знала, это то, что вымершие птицы необычайно живучи, а живое воронье ни на какую жизнь не способно.

Покойный Дмитрий Сергеевич Усов сказал мне, что считает породу О. М. не еврейской, а ассирийской. «Где? в чем?» – удивилась я. Усов показал ассирийский ракурс в строчках «Солнц подсолнечника грозных Прямо в очи оборот». «Поэтому он так легко раскусил ассирийца», – прибавил Усов.

Бородатый, задыхающийся и одичавший, как О. М., тоже ничего не боящийся и всем напутанный, Усов умирал в ташкентской больнице и звал меня проститься, а я опоздала прийти. Пусть он простит мне этот грех за то, что я скрасила стихами Мандельштама, любимого им беспредельно, его последние дни. Когда Мишенька Зенкевич ездил по каналу, каторжник Усов уже зарабатывал там свою грудную жабу. Он принадлежал к «словарникам» – делу, по которому ждали много расстрелов, но чей приговор был смягчен по ходатайству Ромена Роллана. Во время войны кое-кто из словарников вышел, отсидев пять лет в лагерях, и попал в Среднюю Азию, куда выслали их жен. Эти сорокапятилетние люди один за другим умирали от сердечных болезней, нажитых в лагерях. Среди них – мой приятель Усов. Каждое такое дело – эрмитажники, историки, словарники – это крупица народного мозга, это мысль и это духовная сила, которую планомерно уничтожали.

Алиса Гуговна Усова похоронила своего великана на ташкентском кладбище, приготовила себе рядом могилку и осталась доживать свои дни в смертельно опасном для нее среднеазиатском климате. Она еще умудрилась вытащить из глухой казахстанской ссылки какого-то бывшего ответственного работника с большой семьей за то, что он помог ей коротать ссыльные годы, колоть дрова и таскать воду. Все это семейство она прописала в своей комнате в доме педагогического института. Это было сделано затем, чтобы добро, то есть комната, полученная профессором Усовым, зря не пропало после ее смерти. Тогда она решила, что совершила на земле все земное, и спокойно легла в могилу, заранее заплатив кладбищенским

нищим, чтобы они над ней посадили такое же дерево, как над Дмитрием Сергеевичем, а также поливали, пока не забудут, цветы. На вселенных в ее комнату людей она не очень надеялась…

Постепенно сходя на нет, Алиса Гуговна продолжала живо реагировать на все причуды жизни и осыпала отборной бранью чиновников, болванов и псевдоученых. В академической жизни она плавала как рыба и твердо определяла, кто достоин и кто не достоин ученого звания, кто стукач и с кем можно распить бутылочку кислого винца. Это она придумала тост, произносимый в тех случаях, когда на наших скромных пирах вдруг появлялся кто-нибудь из аспирантов, которым доверять, разумеется, не приходилось. А на что можно донести, если профессорско-преподавательский состав сам добровольно поднимает первый тост за тех, кто дал нам такую счастливую жизнь! Стукачи и аспиранты оставались на бобах…

Хромая Гуговна бегала по комнате и разводила неслыханный уют из остатков щербатого фарфора, гарусных одеял, совершенно рваных, но помнивших крепостное право, и кучки усовских книг. Любимую кружку они вместе с Усовым прозвали «щеглом» и позволяли пить из нее только тем, кто знал наизусть мандельштамовские стихи. Тоненькими пальчиками Гуговна массировала лицо и говорила про Анну Андреевну: «Совершенно неухоженная женщина»… Она непрерывно заботилась о маникюре – а это особенно актуально, когда годами топишь времянку, скребешь кастрюли и полы, – и о своей длинной полуседой косе. Ее грызло тайное беспокойство, что, если она «не сохранит своего облика», Усов может не узнать ее на том свете. Точно так она беспокоилась о своем «облике» и в казахстанской ссылке, когда Усов отсиживал лагерный срок. Она тщательно готовилась встретить его такой же красоткой, как в ночь расставания. После смерти Усова она долго на него сердилась, что он так легкомысленно бросил ее одну, попросту дезертировал, и ей приходится самой разбираться во всех этих лексикологиях и стилистиках, чтобы заработать свой черствый вдовий кусок хлеба.

Она последняя владела прекрасной скрипучей музыкой московского барского говора, и Усов уверял, что ее при любых обстоятельствах назначат не простой, а почетной еврейкой. При этом учли бы ее московскую доссыльную профессию: она служила консультантом Ленинской библиотеки и определяла, кто изображен на портретах восемнадцатого и начала девятнадцатого века. Ей были известны все сплетни про дам этого периода, и не существовало лучшего знатока генеалогии тех семейств, из

которых вышли поэты.

Так кончали жизнь красотки моего поколения, вдовы страстотерпцев, утешавшихся в тюрьмах, лагерях и ссылках тайным запасом хранимых в памяти стихов. Читатель стихов – особая порода, тоже принадлежавшая в те дни к числу вымирающих птиц. Лучшие читатели были последними добряками, прямыми и смелыми людьми. Откуда бралась у них смелость, или, вернее, стойкость? Будет ли новое поколение читателей, тех, что появились сейчас, в шестидесятые годы, похоже на своих предшественников? Сумеют ли они выдержать испытания, которые им готовит судьба, как их выдержала Гуговна, всегда твердившая, что она – избалованная женщина, каприза и злюка… Судьба так баловала Гуговну, что она даже в ссылке сохранила длинную косу, отличную память на стихи и яростную нетерпимость ко всякому приспособленчеству и лжи.

Однажды Гуговну остановил в САГУ один молодой ученый и долго расспрашивал ее обо мне и о том, храню ли я бумаги Мандельштама. Гуговна отвечала уклончиво и тотчас прибежала ко мне, чтобы передать совет молодого ученого: немедленно бросить все бумаги в печку. Он настойчиво просил это передать мне, ссылаясь на какой-то таинственный источник, который он не смел назвать. «Ерунда, – сказала я, – и не подумаю. Если придут и заберут – это одно, но сама уничтожать ничего не буду»… «Правильно, – сказала Гуговна. – Но отдавать им тоже нельзя. Мы с вами приготовим для них копии, а подлинники спрячем». Мы просидели всю ночь и приготовили груду копий, а подлинники Гуговна унесла с собой и куда-то пристроила; мы придерживались такого правила: на случай ареста я не должна была знать, у кого спрятаны бумаги. Это означало, что я ни при каких обстоятельствах не смогу назвать место, где они лежат… Мы всегда готовились к худшему и, может, поэтому уцелели. Встречаясь со мной в САГУ, где мы обе служили, Гуговна оповещала меня о здоровье «щеглов» – все в порядке, поют – и даже успела прослыть любительницей птиц. Это произошло в тот период, когда ко мне ходила «частная ученица», про которую Лариса сообщила мне, что она «служит у папы». Похоже, что эта «ученица» работала не по приказу сверху, а по собственной инициативе, потому что отец Ларисы, когда она пришла к нему жаловаться, что Лариса ходит ко мне и мешает ей «работать», велел оставить меня в покое. Он сказал, что О. М. не политический, а уголовный преступник: «Был пойман в Москве, наскандалил там, а не имел права там находиться»… И еще он сказал, что я «числюсь за Москвой». Обо всем этом я узнала от Ларисы. Вероятно, так было сказано в моем досье, которое

путешествовало за мной из города в город. Когда «ученица» исчезла, Усова принесла мне мои бумаги. Она не дожила до смерти Сталина, но, как и я, была неисправимой оптимисткой и не сомневалась, что он когда-нибудь умрет. Я не перестаю в это верить и сейчас.

# Западня

Пока не пришло известие о смерти Мандельштама, я все видела один сон: я что-то покупаю на ужин, а он стоит сзади, мы сейчас пойдем домой… Когда я оборачиваюсь – его уже нет, он ушел и маячит где-то впереди… Я бегу, но не успеваю догнать его и спросить, что с ним «там» делают… Уже пошли слухи об истязаниях заключенных…

Днем меня мучило раскаяние: почему, увидев комиссию и почуяв недоброе, мы не поддались страху и не убежали пешком на станцию? Что за спартанство проклятое – не поддаваться панике! Выдержка еще нам нужна… Нам бы пришлось идти пешком – ведь лошадей нам не дали, мы бы бросили кучку барахла и, может, свалились в инфаркте на этом муромском двадцатипятиверстном тракте.

Зачем мы позволили заманить себя в ловушку ради того, чтобы несколько недель не думать о крове и хлебе, чтобы не надоедать знакомым и не просить у них милостыню? Что Ставский сознательно послал нас в западню, я не сомневаюсь. Где-то наверху, наверное, дожидались решения Сталина или кого-нибудь из его приближенных. Без санкции сверху Мандельштама нельзя было забрать, так как на деле 34 года стояла резолюция: «Изолировать, но сохранить». Ставскому, очевидно, предложили дать нам временную оседлость, чтобы потом нас не разыскивать. Чтобы избавить органы от сыщицкой работы, Ставский любезно заманил нас в дом отдыха. Работники органов изнемогали от перегрузки – такой сознательный коммунист, как Ставский, всегда готов был им помочь. И дом отдыха он выбрал внимательно: такой, из которого нельзя было за здорово живешь отлучиться – двадцать пять километров от станции сердечный больной не осилит.

Перед отправкой в Саматиху Ставский впервые принял О. М. Мы тоже сочли это добрым знаком. На самом же деле ему, наверное, понадобился добавочный материал для «рецензии» на Мандельштама, то есть для характеристики, предваряющей его арест. Иногда такие характеристики писались задним числом, когда человек уже находился в тюрьме, иногда перед арестом. Такова была одна из процедурных деталей уничтожения людей. В обычных случаях характеристики писались главой учреждения, но при аресте писателей часто требовались и дополнительные, для чего в органы могли вызвать любого члена Союза. По этике шестидесятых годов мы различаем прямые доносы и «характеристики», написанные под нажимом. Кто из

приглашенных в органы мог отказаться от дачи «характеристики» своему арестованному товарищу? Это означало бы немедленный арест, а что будет с детьми, с семьей? Люди, писавшие такие характеристики, оправдываются сейчас тем, что не сказали ничего такого, что бы не фигурировало уже в прессе. Ставский, наверное, изучил прессу – ему подобрали всё аккуратные секретарши – и прибавил несколько личных впечатлений – Мандельштам помог ему в этом, сообщил о своем отношении к расстрелам. Он заметил, что Ставский очень внимательно его слушал… Известно, что ничто так не объединяет правящие круги, как общее преступление, а этого у нас хватило на всех…

В 56 году, когда после двадцати лет я впервые зашла в Союз к Суркову, он встретил меня с бурной радостью – в те дни многим казалось, что пересмотр прошлого пойдет гораздо более круто, чем произошло на самом деле, оптимисты не учли отдачи пружины, заранее заготовленной сталинским режимом, то есть противодействия целых толп, замешанных в преступлениях прошлого режима. Как говорила ташкентская Лариса: «Нельзя было так резко менять – ведь это же травмирует старых работников»… Вероятно, именно на это она хотела жаловаться за границу…

С Сурковым речь сразу зашла о наследстве Мандельштама – где оно? И тут он долго и упорно повторял, что у него тоже были стихи Мандельштама, записанные рукой О. М., но Ставский почему-то их отобрал… Зачем ему нужны были стихи, ведь он никогда стихов не читал?.. Чтобы прекратить этот бессмысленный разговор, я прервала Суркова и сказала, что думаю о роли Ставского. Сурков не возражал.

То же самое мне пришлось повторить Симонову, к которому я однажды зашла в отсутствие Суркова. Симонов, великий дипломат, посоветовал подать заявление о посмертном приеме в Союз Мандельштама, сославшись на то, что Ставский собирался оформить членство О. М. между первым и вторым арестом. Я отказалась от такой тактики и сообщила Симонову, что я думаю о роли Ставского. Он тоже ничего не возразил. Опытный человек, он знал, что делают начальники в роковые годы. И Суркову, и Симонову, кажется, повезло: в эти годы они в начальниках не состояли и поэтому списков арестованных не подписывали и «характеристик» на уничтожаемых с них не требовали. Дай-то им Бог, чтобы это было так…

А разве дело в фамилии начальника? Любой бы сделал это, иначе за ним бы ночью пришла машина… Все мы были овцами, которые дают себя резать, или почтительными помощниками палачей, потому что не хотели переходить в отряд овец. И те и

другие проявляли чудеса покорности, убивая в себе все человеческие инстинкты. Почему мы, например, не выдавили стекла, не выпрыгнули в окно, не дали волю глупому страху, который погнал бы нас в лес, на окраину, под пули? Почему мы стояли смирно и смотрели, как роются в наших вещах? Почему О. М. покорно пошел за солдатами, а я не бросилась на них, как зверь? Что нам было терять? Неужели мы боялись добавочной статьи о сопротивлении при аресте? Ведь конец все равно один – чего уж там бояться? Нет, это не страх. Это совсем другое чувство: сковывающее силы и волю сознание собственной беспомощности, которое овладело всеми без исключения – не только теми, кого убивали, но и убийцами. Раздавленные системой, в построении которой так или иначе участвовал каждый из нас, мы оказались негодными даже на пассивное сопротивление. Наша покорность разнуздывала тех, кто активно служил этой системе, и получился порочный круг. Как из него выйти?

# Окошко на Софийке

Единственная связь с арестованными – передача. Раз в месяц, отстояв длинную очередь – аресты приуменьшались и мне не приходилось стоять больше трех-четырех часов, – я подходила к окошку и называла фамилию. Человек в окошке перелистывал списки на букву «М» – я приходила в дни, когда он перелистывал эту букву. «Имя, отчество?» Я говорила, и из окошка высовывалась рука. Я вкладывала в нее свой паспорт и деньги, затем, получив обратно паспорт с вложенной в него распиской, уходила. Мне все завидовали, потому что я знала, где находится мой арестованный и что он еще жив. Ведь то и дело из окошка раздавалось рявканье: «Нету… следующий…» Всякие расспросы были бесполезны. Вместо ответа человек в клетке захлопывал окошко, а к вопрошавшему приближался солдат из внешней охраны… Порядок мгновенно водворялся, и к окошку подходил следующий, чтобы назвать фамилию своего арестанта. Если бы кто-нибудь пожелал задержаться у окошка, очередь помогла бы солдату из внешней охраны выдворить его.

В очереди никаких разговоров обычно не происходило. Это была главная тюрьма в Советском Союзе, и публика здесь подбиралась отборная, дисциплинированная, солидная… Никаких недоразумений не случалось, разве что кто-нибудь задаст лишний вопрос, но тут же, смутившись, ретируется. Только однажды пришли две накрахмаленные девочки, у которых накануне ночью увели мать. Их пустили без очереди, не спросив, на какую букву начинается их фамилия. У всех женщин, наверное, сжалось сердце при мысли, что скоро точно так же к окошку подойдут их собственные дети. Кто-то приподнял старшую девочку, потому что она не доставала до окошка, и она закричала: «Где мама?» и «Мы не хотим в детдом… Мы не вернемся домой»… Окошко захлопнулось, а девочки успели еще сказать, что их папа военный. Это могло означать и настоящий военный, и чекист. Детей чекистов с детства учили говорить, что их папа военный, чтобы не насторожить школьных товарищей. «К нам ведь плохо относятся», – объясняли в таких случаях детям. А перед поездками за границу детей чекистов заставляли заучивать свою новую фамилию, под которой их родители работали за рубежом… Накрахмаленные девочки жили, вероятно, в ведомственном доме, и они рассказали людям в очереди, что за другими детьми в их доме уже приехали и увезли их в детдома, они же рвались к бабушке на Украину. Но тут открылась боковая дверь, из нее вышел военный, увел девочек, окошко снова

открылось, снова начали выдавать справки и воцарился полный порядок. Только, когда девочек уводили, кто-то сказал: «Попались дурочки», а другая женщина прибавила: «Надо своих отослать, пока не поздно»…

Накрахмаленные девочки представляли собой исключение: обычно приходившие в очередь дети были сдержанны и молчаливы, как взрослые. Обычно сначала уводили отца, особенно если он был военным любого сорта, а оставшаяся с детьми мать заранее обучала их, как им вести себя, когда они останутся одни. Многие из них избежали детдомов, но это зависело главным образом от положения, которое занимали в обществе, их родители: чем оно было выше, тем меньше шансов имели дети на частную жизнь. А самое удивительное, что жизнь продолжалась и люди обзаводились семьями и рожали детей. Как они могли на это решиться, зная о том, что происходило перед окошком на Софийке?

Женщины, стоявшие со мной в очереди, в разговоры старались не ввязываться. Все, как одна, утверждали, что их мужей взяли по ошибке и скоро выпустят, а глаза у них были красные от слез и бессонницы, но я никогда не видела, чтобы в очереди кто-нибудь заплакал. Выходя на улицу, женщины внутренним усилием как бы отглаживали свои черты и прихорашивались. Большинство возвращались на службу, откуда они отпрашивались под каким-нибудь предлогом, чтобы сделать передачу. На службе они не смели показать своего горя, и у них были не лица, а маски. В Ульяновске в конце сороковых годов со мной работала женщина, жившая в общежитии с двумя детьми. Она поступила лаборанткой и вскоре стала незаменимой. Ее даже повысили в чинах и дали ей разрешение заочно учиться. Жила она нищенски, дети буквально голодали, а муж бросил ее и не желал давать ей даже на детей. Ей советовали подать на алименты, но она плакала и говорила, что гордость ей этого не позволяет. Все трое – мать и дети – худели на глазах. Ее вызывали в местком, в парторганизацию и к директору, и все объясняли ей, что ради детей следует поступиться гордостью. А она стояла на своем: он ее предал, подло изменил ей с другой и денег она у него не возьмет и к детям приблизиться ему не позволит. На нее пробовали влиять через старшего мальчика, но он оказался таким же непреклонным, как мать. Прошло несколько лет, и вдруг к ней явился муж, и мы все видели, как она бросилась ему на шею. Тут же она подала на увольнение и стала складывать чемоданы. Вездесущие сторожихи узнали, что ему отказали в прописке, потому что он вернулся из лагеря. Все эти годы она врала про гордость и разбитое сердце, чтобы не потерять работу. Вероятно,

это было мельчайшее из мелких дел, иначе органы оповестили бы отдел кадров, что она жена репрессированного, а скорее всего, он привлекался не по знаменитой пятьдесят восьмой статье, а по какой-нибудь уголовной или бытовой. Освободили его перед самой смертью Сталина, так что повторным арестам он уже не подвергался, и я надеюсь, что все они сейчас благоденствуют. И я себе представляю, как эти трое заговорщиков – она и двое истощенных детей – шептались по ночам: что спрашивали про папу… я их отбрил… а они меня уговаривали, но я и виду не подала… держись, смотри… лишь бы вернулся… Отец когда-то читал политэкономию и был идеологической звездой. Несомненно, при такой выдержке он стал звездой первой величины. Это один из бесчисленных случаев, когда «по своим артиллерия бьет»…

Отстояв несколько месяцев на Софийке, я однажды узнала, что О. М. переведен в Бутырки. Там формировались эшелоны на высылку в лагеря. Я бросилась в Бутырки узнавать, когда дают справки людям с фамилией на «М». В Бутырках приняли только одну передачу, а во второй раз сказали, что О. М. отправлен в лагерь на пять лет по решению Особого совещания. Это мне подтвердили и в прокуратуре, где я тоже отстояла все положенные очереди. Существовали окошки, где подавали заявления, и я подавала заявления, как все. Ровно через месяц после подачи заявления нам всем сообщили, что получен отказ. Таков обычный путь жены арестованного, если она сама так удачлива, что не угодила в лагерь. В гладкой, несокрушимой стене, о которую мы бились, проделали специальные окошки для подачи заявлений и для получения справок и отказов. Из лагеря я получила письмо – одно-единственное – и это тоже считалось большой удачей: ведь я узнала, где находится О. М. Немедленно я выслала посылку, и она вернулась ко мне «за смертью адресата». Через несколько месяцев брату О. М. – Александру Эмильевичу – выдали справку о смерти О. М. Никто из моих знакомых женщин таких справок не получал. Не знаю, почему мне была оказана такая милость.

Незадолго до Двадцатого съезда, гуляя с Анной Андреевной по Ордынке, я заметила неслыханное скопление шпиков. Они торчали буквально из каждой подворотни. «На этот раз не бойтесь, – сказала Анна Андреевна. – Происходит что-то хорошее». До нее дошли смутные слухи о партийной конференции, на которой Хрущев зачитал свое знаменитое письмо. Именно по поводу этой конференции город охранялся толпами агентов, переодетых в штатское. Вот тут-то Анна Андреевна и посоветовала мне сходить в Союз позондировать

почву. Мы уже знали, что вдова Бабеля и дочь Мейерхольда подали на реабилитацию. Эренбург давно уже советовал мне последовать их примеру, но я не торопилась, а в Союз все же пошла. Ко мне выскочил Сурков, и по его обращению я поняла, что времена действительно переменились: так со мной еще никто никогда не разговаривал… Первая встреча с Сурковым произошла в приемной, при секретаршах. Принять меня он обещал через несколько дней и очень просил не уезжать из Москвы, не поговорив с ним. Две или три недели подряд я звонила в отдел кадров, и меня нежно уговаривали подождать еще. Это означало, что Сурков еще не получил инструкций, как со мной разговаривать, и я ждала, удивляясь, как страшное место, называвшееся «отдел кадров», внезапно переменило тон. Свидание наконец состоялось, и я увидела, как Сурков радуется тому, что может говорить, как человек. Он обещал помочь Леве Гумилеву и сделать все, что я просила, для меня. Благодаря Суркову я дослужила до пенсии, потому что к моменту нашего разговора я опять сидела без работы и он обратился к министру просвещения и рассказал, что со мной вытворяют… Будущее представлялось ему радужным; он обещал перетащить меня в Москву – комната, прописка – и заговаривал о печатании Мандельштама, о его наследстве… Для начала он просил, чтобы я подала на реабилитацию. Я допытывалась, что было бы, если б у Мандельштама не осталось вдовы, кто бы тогда подал эту бумажку, но упрямиться не стала… Вскоре я получила повестку о реабилитации по второму делу 38 года и прокурорша продиктовала мне заявление относительно реабилитации по делу 34 года: «подсудимый написал стихи, но распространением их не занимался»… Это дело рассматривалось во время венгерских событий, и в реабилитации мне отказали. Сурков решил с отказом не считаться и назначил комиссию по наследству. Мне выдали пять тысяч за голову погибшего. Я разделила их между теми, кто помогал нам в 37 году. Таков ритуал возвращения к жизни писателей, погибших в лагерях. Второй этап – печатание их книг.

Препятствий к изданию книг слишком много. Я не знаю, что такое конкуренция, которой нас пугают, но отлично видела борьбу за место в обществе, которая велась у нас всеми средствами. Когда пошли первые слухи о микояновских комиссиях, многим стало не по себе – и далеко не только тем, кто способствовал изъятию соперников. Я слышала шепотки о том, куда же денутся возвращенцы: а вдруг им захочется занять свои прежние места. Сколько новых единиц понадобится в советских учреждениях, чтобы пристроить все эти толпы? Никакой драмы,

однако, не произошло: большинство вернулись в таком состоянии, что ни о какой активной деятельности не помышляли. Все прошло спокойно, и те, кто боялся, что им придется потесниться, облегченно вздохнули. Иное дело литература. Тщательно построенная табель литературных рангов подлежит активной охране, иначе рухнет множество устоявшихся репутаций. Вот почему так старательно противодействуют изданию книг покойников. Впрочем, и с живыми поступают не лучше.

Книга О. М. была поставлена в план «Библиотеки поэта» в 56 году. Все члены редколлегии высказались за издание. Мне очень понравилась точка зрения Прокофьева – он считает, что никакого поэта Мандельштама не существует и, чтобы рассеять иллюзию, надо его издать. К несчастью, он, видимо, не способен стоять на такой благородной позиции и не прекращает борьбу с изданием. Орлов, главный редактор «Библиотеки», не знал, что ему придется встретиться с активным противодействием, и писал мне любезные письма, но, сообразив, что издание может повлечь за собой некоторые неприятности, быстро отступился и, заодно, прекратил переписку. Да что говорить об Орлове – крупном чиновнике, который к тому же вполне равнодушен к поэзии Мандельштама. Гораздо серьезнее позиция настоящих любителей его поэзии, людей авторитетных, независимых и отнюдь не бюрократов. Двое из них, лучшие из сохранившихся представителей разгромленных поколений, объяснили мне, что Орлов совершенно прав, не издавая О. М., на что формально он имеет все возможности. «Этим могут воспользоваться его враги – на его место зарятся многие: его снимут и погибнет культурное издательство»… Ценой отказа от издания Мандельштама он сохранит свое положение и выполнит план издания поэтов двадцатых, тридцатых и сороковых годов прошлого века, в которых участвуют оба человека, которых я цитировала. В этом переплетении личных и групповых интересов, борьбы за занятые места и за куски государственного пирога мне не разобраться. Единственное, что бы мне следовало сделать, – самой и за свой счет издать Мандельштама, что невозможно по нашим условиям. И я понимаю, что мне не придется увидеть его книгу, так как мои дни тоже идут к концу. Меня утешают только слова Анны Андреевны, что О. М. в изобретении Гутенберга не нуждается. В каком-то смысле мы действительно живем в допечатную эпоху: читателей стихов становится все больше и стихи по всей стране ходят в списках. И все же я хотела бы увидеть книгу, которую я не увижу[29].

# Дата смерти

Журналисты из «Правды» – «правдисты», как мы их называли, – рассказывали Шкловскому: в ЦК при них говорили, что у Мандельштама, оказывается, не было никакого дела… Разговор этот произошел в конце декабря 1938 или в начале января 1939 года, вскоре после снятия Ежова, и означал: вот, что он натворил… Я сообразила это и сделала вывод: значит, О. М. умер…

Прошло еще немного времени, и меня вызвали повесткой в почтовое отделение у Никитских ворот. Там мне вернули посылку. «За смертью адресата», – сообщила почтовая барышня. Восстановить дату возвращения посылки легче легкого – в этот самый день газеты опубликовали первый огромный список писателей, награжденных орденами.

Евгений Яковлевич поехал в этот праздничный день в Лаврушинский переулок, чтобы сообщить Шкловским.

Виктора вызвали снизу, из квартиры, кажется, Катаева, где попутчики вместе с Фадеевым вспрыскивали правительственную милость. Это тогда Фадеев пролил пьяную слезу: какого мы уничтожили поэта!.. Праздник новых орденоносцев получил привкус нелегальных, затаившихся поминок. Мне только неясно, кто из них, кроме Шкловского[30], до конца сознавал, что такое уничтожение человека. Ведь большинство из них принадлежали к поколению, пересмотревшему ценности и боровшемуся за «новое». Это они проторили путь сильной личности, диктатору, который, действуя по своему усмотрению, может карать и миловать, ставить цели и выбирать средства для их достижения.

В июне сорокового года брата О. М., Шуру, вызвали в загс Бауманского района и вручили ему для меня свидетельство о смерти О. М. Возраст – 47 лет, дата смерти – 27 декабря 1938 года. Причина смерти – паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца это и есть смерть… И еще прибавлено: артериосклероз. И я вспомнила, что говорил Клюев о своих ранних сединах.

Выдача свидетельства о смерти была не правилом, а исключением. Гражданская смерть – ссылка или, еще точнее, арест – потому что сам факт ареста означал ссылку и осуждение, – приравнивалась, очевидно, к физической смерти и являлась полным изъятием из жизни. Никто не сообщал близким, когда умирал лагерник или арестант: вдовство и сиротство начиналось с момента ареста. Иногда женщинам в прокуратуре, сообщив о десятилетней ссылке мужа, говорили: можете выходить

замуж… Никто не беспокоился, как согласовать такое любезное разрешение с официальным приговором, который отнюдь не означал смерть. Как я уже говорила, я не знаю, почему мне оказали такую милость и выдали «свидетельство о смерти». Нет ли в этом какой-то подоплеки?

В тех условиях смерть была единственным выходом. Когда я узнала о смерти О. М., мне перестали сниться зловещие сны. «Осип Эмильевич хорошо сделал, что умер, – сказал мне впоследствии Казарновский, – иначе он бы поехал на Колыму». Сам Казарновский провел ссылку на Колыме и в 44 года явился в Ташкент. Он жил без прописки и без хлебных карточек, прятался от милиции, боялся всех и каждого, запойно пил и за отсутствием обуви носил крошечные калошки моей покойной матери. Они пришлись ему впору, потому что у него не было пальцев на ногах. Он отморозил их в лагере и отрубил топором, чтобы не заболеть заражением крови. Когда лагерников гоняли в баню, во влажном воздухе предбанника белье замерзало и стучало, как жесть. Недавно я слышала спор: кто выживал в лагерях – работяги или те, кто от работы уклонялся. Работавшие надрывались, а уклонявшиеся пропадали из-за недостатка хлеба. Мне, не имевшей ни доводов, ни своих наблюдений и примеров в защиту той или другой теории, было ясно, что вымирали и те и другие. Немногочисленные люди, которые выживали, составляли исключение. Иначе говоря, спор напоминал сказку о русском богатыре на перепутье трех дорог, из которых каждая грозит гибелью. Основное свойство русской истории, непреходящее, постоянное, что богатырю и небогатырю всякая дорога грозит гибелью, из которой он может лишь случайно вывернуться. Я удивляюсь не этому, а тому, что кое-кто из слабых людей действительно оказался богатырем и сохранил не только жизнь, но и светлый ум, и память. Таких людей я знаю и рада бы перечислить их имена, но еще не стоит, и потому помяну того, кого мы все уже знаем, – Солженицына.

Казарновский сохранил только жизнь и разрозненные воспоминания. В стационарный лагерь он попал зимой и запомнил, что это было голое место: осваивались новые площади для огромного потока каторжан. Там не стояло ни одной постройки, ни одного барака. Жили в палатках и сами строили себе тюрьму и бараки. Осваивали новую землю для новых поселенцев.

Я слышала, что из Владивостока на Колыму отправляли только морем. Бухта замерзает, хотя и довольно поздно. Каким образом попал Казарновский зимой на Колыму? Ведь навигация должна была прекратиться… Или первый его стационарный

лагерь находился не на Колыме и его отправили этапом куда-нибудь неподалеку, чтобы разгрузить пересыльный лагерь, так называемую «пересылку», набитую до отказа прибывающими на поездах ссыльными?.. Этого мне выяснить не удалось – в больном мозгу Казарновского все перепуталось. А между тем для датировки смерти О. М. мне следовало бы знать, в какой момент Казарновский покинул «пересылку».

Казарновский был первым более или менее достоверным вестником с того света. Задолго до его появления я уже слышала от вернувшихся, что Казарновский действительно находился в одной партии с О. М. В «пересылке» они жили вместе, и как будто Казарновский чем-то даже помог О. М. Нары они занимали в одном бараке, почти рядом… Вот почему я в течение трех месяцев прятала Казарновского от милиции и медленно вылущивала те сведения, которые он донес до Ташкента. Память его превратилась в огромный прокисший блин, в котором реалии и факты каторжного быта спеклись с небылицами, фантазиями, легендами и выдумками. Я уже знала, что такая болезнь памяти – не индивидуальная особенность несчастного Казарновского и что здесь дело не в водке. Таково было свойство почти всех лагерников, которых мне пришлось видеть первыми – для них не существовало дат и течения времени, они не проводили строгих границ между фактами, свидетелями которых они были, и лагерными легендами. Места, названия и течение событий спутывались в памяти этих потрясенных людей в клубок, и распутать его я не могла. Большинство лагерных рассказов, какими они мне представились сначала, – это несвязный перечень ярких минут, когда рассказчик находился на краю гибели и все-таки чудом сохранился в живых. Лагерный быт рассыпался у них на такие вспышки, отпечатавшиеся в памяти в доказательство того, что сохранить жизнь было невозможно, но воля человека к жизни такова, что ее умудрялись сохранять. И в ужасе я говорила себе, что мы войдем в будущее без людей, которые смогут засвидетельствовать, что было прошлое. И снаружи, и за колючей оградой все мы потеряли память. Но оказалось, что существовали люди, с самого начала поставившие себе задачей не просто сохранить жизнь, но стать свидетелями. Это – беспощадные хранители истины, растворившиеся в массе каторжан, но только до поры до времени. Там, на каторге, их, кажется, сохранилось больше, чем на большой земле, где слишком многие поддались искушению примириться с жизнью и спокойно дожить свои годы. Разумеется, таких людей с ясной головой не так уж много, но то, что они уцелели, является лучшим доказательством, что последняя победа всегда принадлежит добру, а не злу.

Казарновский к этим героическим людям не принадлежал, и я выслушала бесконечные его рассказы и, отобрав крупицы истины, узнала чуть-чуть, меньше малого, о лагерной жизни О. М. Состав пересыльных лагерей всегда текучий, но вначале барак, куда они попали, был заселен интеллигентами из Москвы и Ленинграда – пятьдесят восьмой статьей. Это очень облегчало жизнь. Старостами бараков, как и повсюду в те годы, назначали уголовников, но не рядовых воров, а тех, кто и на воле был связан с органами. Этот «младший командный состав» лагерей отличался крайней жестокостью, и «пятьдесят восьмая» от них очень страдала, не меньше, чем от настоящего начальства, с которым они, впрочем, соприкасались реже. О. М. всегда отличался нервной подвижностью, и всякое волнение у него выражалось в беготне из угла в угол. Здесь, в пересыльном лагере, эти метания и эта моторная возбудимость служили поводом для вечных нападок на него со стороны всяческого начальства. А во дворе он часто подбегал к запрещенным зонам – к ограде и охраняемым участкам, и стража с криками, проклятиями и матом отгоняла его прочь. Рассказ о том, что его избили уголовники, не подтвердился никем из десяти свидетелей. Похоже, что это легенда.

Одежды в пересыльном лагере не выдавали – да и где ее выдают? – и он замерзал в своем кожаном, уже успевшем превратиться в лохмотья пальто, хотя, как говорил Казарновский, самые страшные морозы грянули уже после его смерти – их он не испытал. И в этом для меня есть элемент датировки.

О. М. почти ничего не ел, боялся еды, как, впоследствии, Зощенко, терял свой хлебный паек, путал котелки… В пересыльном лагере, по словам Казарновского, был ларек, где продавали табак и, кажется, сахар. Но откуда взять деньги? К тому же страх еды у О. М. распространялся на ларьковые продукты и сахар, и он принимал еду только из рук Казарновского… Благословенная грязная лагерная ладонь, на которой лежит кусочек сахару, и О. М. медлит принять этот последний дар… Но правду ли говорил Казарновский? Не выдумал ли он эту деталь?

Кроме страха еды и непрерывного моторного беспокойства, Казарновский отметил бредовую идею О. М., которая для него характерна и выдумана быть не могла: О. М. тешил себя надеждой, что ему облегчат жизнь, потому что Ромен Роллан напишет о нем Сталину. Крошечная эта черточка доказывает мне, что Казарновский действительно общался с Мандельштамом. Во время воронежской ссылки мы читали в газетах о приезде Ромена Роллана с супругой в Москву и об их встрече со Сталиным. О. М.

знал Майю Кудашеву и он вздыхал: «Майя бегает по Москве. Наверное, ей рассказали про меня. Что ему стоит поговорить обо мне со Сталиным, чтобы он меня отпустил»… О. М. никак не мог поверить, что профессиональные гуманисты не интересуются отдельными судьбами, а только человечеством в целом, и надежда в безысходном положении воплотилась у него в имени Ромена Роллана. А для меня это имя послужило доказательством, что Казарновский не вполне утратил память.

А про Ромена Роллана прибавлю для справедливости, что, приехав в Москву, он, кажется, исхлопотал облегчение участи «словарникам». Так, во всяком случае, говорили… Но это не меняет моего мнения о «гуманистах» по профессии… Подлинный гуманизм все знает, и ему до всего есть дело: рука дающего да не оскудеет…

И вот еще характерный штрих из рассказов Казарновского: О. М. не сомневался в том, что я в лагере. Он умолял Казарновского, чтобы тот, если вернется, разыскал меня: «Попросите Литфонд, чтобы ей помогли»… Всю жизнь О. М., как каторжник к тачке, был прикован к писательским организациям и без их санкции не получил ни единого кусочка хлеба. Какой ни стремился освободиться от этой зависимости, ему это не удавалось: у нас такие вещи не допускаются, это невыгодно правителям… Вот почему и для меня он надеялся только на помощь Литфонда. Моя же судьба сложилась иначе, и во время войны, когда про нас забыли, мне удалось уйти в другую сферу, и поэтому сохранила я жизнь и память.

Иногда, в светлые минуты, О. М. читал лагерникам стихи, и, вероятно, кое-кто их записывал. Мне пришлось видеть «альбомы» с его стихами, ходившими по лагерям. Однажды ему рассказали, что в камере смертников в Лефортове – в годы террора там сидели вперемешку – видели нацарапанные на стене строки: «Неужели я настоящий И действительно смерть придет?» Узнав об этом, О. М. развеселился и несколько дней был спокойнее.

На работы – даже внутрилагерные, вроде приборки – его не посылали. Даже в истощенной до предела толпе он выделялся своим плохим состоянием. По целым дням он слонялся без дела, навлекая на себя угрозы, мат и проклятия всевозможного начальства. В отсев он попал почти сразу и очень огорчился. Ему казалось, что в стационарном лагере все же будет легче, хотя опытные люди убеждали его в противном.

Однажды О. М. услышал, что в пересыльном лагере находится человек по фамилии Хазин, и попросил Казарновского пойти с ним отыскать его, чтобы узнать, не приходится ли он мне родственником. Мы оказались просто однофамильцами. Этот

Хазин, прочтя мемуары Эренбурга, написал ему, и мне удалось с ним встретиться. Существование Хазина – еще одно доказательство, что Казарновский действительно был с Мандельштамом. Сам Хазин О. М. видел два раза: когда О. М. пришел к нему с Казарновским и, вторично, когда он свел его к лагернику, который его разыскивал.

Хазин говорит, что встреча О. М. с этим разыскивающим его человеком была очень трогательной. Ему запомнилось, будто фамилия этого человека была Хинт и что он был латыш, инженер по профессии. Хинта пересылали из лагеря, где он находился уже несколько лет, в Москву, на пересмотр. Такие пересмотры обычно кончались в те годы трагически. Кто был Хинт[31], я не знаю. Хазину показалось, будто он школьный товарищ О. М. и ленинградец. В пересылке Хинт пробыл лишь несколько дней. И Казарновский запомнил, что О. М. с помощью Хазина нашел какого-то старого товарища.

По сведениям Хазина, Мандельштам умер во время сыпного тифа, а Казарновский эпидемии тифа не упоминал, между тем она была и я о ней слышала от ряда лиц. Мне следовало бы принять меры, чтобы разыскать Хинта, но в наших условиях это невозможно – ведь не могу же я дать объявление в газету, что разыскиваю такого-то человека, видевшего в лагере моего мужа… Сам Хазин человек примитивный. Он хотел познакомиться с Эренбургом, чтобы рассказать ему о своих воспоминаниях начала революции, в которой он участвовал вместе со своими братьями, кажется, чекистами. Именно этот период сохранился у него в памяти, и все разговоры со мной он пытался свести на свой былой героизм…

Возвращаюсь к рассказам Казарновского. Однажды, несмотря на крики и понукания, О. М. не сошел с нар. В те дни мороз крепчал – это единственная датировка, которой я добилась. Всех погнали чистить снег, а О. М. остался один. Через несколько дней его сняли с нар и увезли в больницу. Вскоре Казарновский услышал, что О. М. умер и его похоронили, вернее, бросили в яму… Хоронили, разумеется, без гробов, раздетыми, если не голыми, чтобы не пропадало добро, по несколько человек в одну яму – покойников всегда хватало – и каждому к ноге привязывали бирку с номерком.

Это еще не худший вариант смерти, и я хочу верить, что рассказ Казарновского соответствует действительности. Не сравнишь ведь это со смертью Нарбута. Про него говорят, что в пересыльном он был ассенизатором, то есть чистил выгребные ямы, и погиб с другими инвалидами на взорванной барже. Баржу взорвали, чтобы освободить лагерь от инвалидов. Для разгрузки.

Такие случаи, кажется, бывали… Павел, бывший вор-рецидивист, который носил мне воду и дрова в Тарусе, рассказал однажды по собственной инициативе, что ему пришлось слышать взрыв, донесшийся с моря, и видеть погружающуюся в воду баржу, на которой, по слухам, находилась «пятьдесят восьмая», инвалиды из «политицких». Люди, которые во что бы то ни стало желают и сейчас для всего искать оправданий, а таких среди бывших зэков много, убеждают меня, что взорвали только одну баржу, а начальника лагеря, который совершил такое беззаконие, потом расстреляли. Это действительно умилительная концовка, но меня она почему-то не умиляет.

Большинство известных мне людей умерли в лагерях почти сразу. Люди гуманитарных профессий едва ли могли там выжить, да и жить не стоило. К чему тянуть жизнь, если смерть приходит на выручку? Что дали бы несколько добавочных дней Маргулису, которому покровительствовала шпана за то, что он по ночам рассказывал им романы Дюма? Он находился вместе со Святополком-Мирским, который почти сразу дошел до полного истощения и тоже скоро умер. Слава Богу, что люди смертны, но жить и там, за проволокой, стоило, чтобы запомнить и рассказать людям. Может, это остановит их в дни, когда им захочется повторить наши безумства.

Вторым достоверным свидетелем был биолог Меркулов, которого О. М. просил в случае освобождения зайти к Эренбургу и рассказать о его последних лагерных днях – он понимал, что сам выжить не сможет. Его рассказ я передаю со слов Эренбурга, который к моему приезду из Ташкента успел кое-что забыть; в частности, он называл М. агрономом, потому что тот по освобождении, чтобы укрыться подальше, работал агрономом. В основном сведения М. совпадают с рассказами Казарновского. Он считал, что О. М. умер в первый же год, до открытия навигации, то есть до мая или июня 39 года. М. довольно подробно передал разговор с врачом, на счастье, тоже ссыльным и понаслышке знавшим Мандельштама. Врач говорил, что спасти О. М. не удалось из-за невероятного истощения. Это подтверждается сообщением Казарновского о том, что О. М. боялся есть, хотя, конечно, лагерная пища была такая, что люди, отнюдь не боявшиеся есть, превращались в тени. В больнице О. М. пролежал всего несколько дней, а М. встретил врача сразу после смерти О. М.

О. М. правильно указал биологу М. на Эренбурга, прося его сообщить Илье Григорьевичу о своих последних днях, потому что никто другой из советских писателей, исключая Шкловского, не принял бы в те годы такого посланца. А к писателям-париям сам

посланец не решился бы зайти, чтобы вторично не угодить на тот свет.

Люди, отбыв свои пятилетние и десятилетние сроки, то есть отделавшись, по нашим понятиям, минимумом, оставались обычно на месте, добровольно или поневоле, и сидели, притаившись, в своих медвежьих углах. После войны многие вторично попали в лагеря, а наш словарь и наши правовые понятия обогатились невероятным словом «повторник». Вот почему из лагерного призыва 37–38 годов выжили только единицы из молодежи, рано начавшей лагерные скитания, и мне пришлось говорить лишь с немногими, столкнувшимися там с О. М. Но слух о его судьбе широко разнесся по лагерям, и десятки людей передавали мне лагерные легенды о злосчастном поэте. Не раз вызывали меня на свидания и водили к людям, которые слышали – на их языке это звучало: «я наверное знаю» – про О. М. – что он жив или дожил до войны, содержится в одном из лагерей или вышел на волю. Находились и свидетели смерти, но, встретившись со мной, они обычно смущенно признавались, что знают все со слов других, но, разумеется, совершенно достоверных свидетелей.

Кое-кто сочинял новеллы о его смерти. Рассказ Шаламова – это просто мысль о том, как умер Мандельштам и что он должен был при этом чувствовать. Это дань пострадавшего художника своему собрату по искусству и судьбе. Но среди новелл есть и другие, претендующие на достоверность и изукрашенные массой подробностей. Одна из них рассказывает, что Мандельштам умер на судне, направлявшемся на Колыму. Далее следует подробный рассказ, как его бросили в океан. К легендам относится убийство Мандельштама уголовниками и чтение у костра Петрарки. Вот на последнюю удочку клюнули очень многие, потому что это типовой, так сказать, поэтический стандарт. Есть и рассказы «реалистического» стиля с обязательным участием шпаны. Один из наиболее разработанных принадлежит поэту Р. Ночью, рассказывает Р., постучали в барак и потребовали «поэта». Р. испугался ночных гостей – чего от него хочет шпана? Выяснилось, что гости вполне доброжелательны и попросту зовут его к умирающему, тоже поэту. Р. застал умирающего, то есть Мандельштама, в бараке на нарах. Был он не то в бреду, не то без сознания, но при виде Р. сразу пришел в себя, и они всю ночь проговорили. К утру О. М. умер, и Р. закрыл ему глаза. Дат, конечно, никаких, но место указано правильно: «Вторая речка», пересыльный лагерь под Владивостоком. Рассказал мне всю эту историю Слуцкий и дал адрес Р., но тот на мое письмо не ответил.

Все мои информаторы были люди доброжелательные. Лишь однажды я подверглась настоящему издевательству. Дело происходило в Ульяновске, в самом начале пятидесятых годов, еще при жизни Сталина. По вечерам ко мне повадился ходить член кафедры литературы, он же заместитель директора, некто Тюфяков, инвалид войны, весь увешанный орденами за работу в войсковых политотделах, любитель почитать военные романы, где описывается расстрел труса или дезертира перед строем. Всю свою жизнь Тюфяков отдал «делу перестройки вузов», и потому не успел получить ни степеней, ни дипломов, ни высшего образования. Это был вечный комсомолец двадцатых годов и «незаменимый работник». С тех пор, как «его сняли с учебы» и дали ему ответственное поручение, его задача состояла в слежке за чистотой идеологии в вузах, о малейших уклонениях от которой он сообщал куда следует. Его переводили из вуза в вуз, главным образом, чтобы следить за директорами, которых подозревали в либерализме. Именно для этого он и прибыл в Ульяновск на странную и почетную роль «заместителя», от которого нельзя избавиться, хотя у него нет формальных прав работать в высшем учебном заведении. Таких вечных комсомольцев у нас было два – Тюфяков и другой, Глухов, эту фамилию следовало бы сохранить для потомства – внуков и дочерей, преподающих где-то историю и литературу. Этот успел получить орден за раскулачивание и кандидатское звание за диссертацию о Спинозе. Он действовал открыто и вызывал к себе в кабинет студентов, чтобы обучить их, о ком и какую разоблачительную речь произнести на собрании, а Тюфяков трудился втихаря. Оба занимались разгромом вузов с начала двадцатых годов.

«Работу» со мной Тюфяков вел добровольно, сверх нагрузки, ради отдыха и забавы. Она доставляла ему почти эстетическое удовольствие. Каждый день он придумывал новую историю – Мандельштам расстрелян; Мандельштам был в Свердловске, и Тюфяков навещал его в лагере из гуманных побуждений; Мандельштам пристрелен при попытке к бегству; Мандельштам отбывает новый срок в режимном лагере за уголовное преступление; Мандельштама забили насмерть уголовники за то, что он украл кусок хлеба; Мандельштам освободился и живет на севере с новой женой; Мандельштам совсем недавно повесился, испугавшись письма Жданова, только сейчас дошедшего до лагерей… О каждой из этих версий он сообщал торжественно: только что справлялся и получил через прокуратуру такие сведения… Мне приходилось выслушивать его, потому что стукачей прогонять нельзя.

Кончался наш разговор литературными размышлениями Тюфякова: «Лучший песенник у нас Долматовский… Я ценю в поэзии чеканную форму… Без метафоры, как хотите, поэзии нет и не будет… Стиль – это явление не только формальное, но и идеологическое – вспомните слова Энгельса… С ними нельзя не согласиться… А не дошли ли до вас из лагеря стихи Мандельштама? Он там много писал»… Сухонькое тело Тюфякова пружинилось. Под военными, сталинского покроя усами мелькала улыбка. Ему раздобыли в Кремлевской больнице настоящий корень женьшеня, и он предостерегал всех против искусственных препаратов: «Никакого сравнения»…

До меня часто доходили слухи о лагерных стихах Мандельштама, но всегда это оказывалось вольной или невольной мистификацией. Зато недавно мне показали любопытный список, собранный по лагерным «альбомам». Это достаточно искаженные записи ненапечатанных стихов, где нет ни одного с явным политическим звучанием, вроде «Квартиры». Основной источник – это циркулировавшие в тридцатых годах списки, но записывались стихи по памяти, и отсюда множество искажений. Некоторые стихи попали в старых, отвергнутых вариантах, например «К немецкой речи». А кое-что, несомненно, надиктовано самим Мандельштамом, потому что ни в какие списки не попадало. Не он ли сам вспомнил свои детские стихи о Распятии? В альбомах попалось и несколько шуточных стихов, которых у меня нет, например «Извозчик и Данте», но, к сожалению, в диком виде. Его могли завезти в те края только ленинградцы, а их там было более чем достаточно.

Мне показал этот список Домбровский, автор повести о нашей жизни, которая написана, как говорили в старину, «кровью сердца». В этой повести вскрыта самая сущность нашей злосчастной жизни, хотя в ней говорится о раскопках, змеях, архитектуре и канцелярских барышнях. Человек, вчитавшийся в эту повесть, не может не понять, почему лагеря не могли не стать основной силой, поддерживающей равновесие в нашей стране.

Д. утверждает, что видел Мандельштама в период «странной войны», то есть через год с лишним после 27 декабря 38 года, которое я считала датой смерти. Навигация уже открылась, а человек, которого Д. счел за О. М. или который действительно был О. М., находился в партии, направлявшейся на Колыму. Дело происходило все в том же лагере на «Второй речке». Д., тогда юноша, экспансивный и горячий, услыхал, что в партии находится человек, известный под кличкой «Поэт», и пожелал его повидать. Человек этот отозвался, когда Д. окликнул его: «Здравствуйте, Осип Мандельштам». Отчества Д. не знал… «Поэт»

производил впечатление душевнобольного, сохранившего все же некоторую ориентацию. Встреча была минутной – поговорили об осуществимости переправы на Колыму в дни военной тревоги. Затем старика – «Поэту» на вид было лет семьдесят – позвали есть кашу и он ушел.

Старческий вид лагерника, мнимого или настоящего Мандельштама, не свидетельствует ни о чем: в тех условиях люди старились с невероятной быстротой, а О. М. никогда моложавостью не отличался и выглядел значительно старше своих лет. Но как сопоставить эти сведения с моими данными? Можно предположить, что Мандельштам вышел из больницы, когда все знавшие его уже рассеялись по лагерям, и прожил тенью еще несколько месяцев или даже лет. Или какой-нибудь старик – однофамилец, а у всех Мандельштамов повторяются одни и те же имена и они схожи лицом – откликнулся на прозвище «Поэт» и жил в лагере, где его принимали за О. М. Есть ли основания считать человека, встреченного Д., О. Мандельштамом?

Мои сведения слегка поколебали уверенность Д., а его рассказ смутил меня, и я уже ни в чем не уверена. Разве есть что-нибудь достоверное в нашей жизни? И я взвесила все про и контра…

Д. с Мандельштамом знаком не был, но в Москве ему случалось видеть его, но всегда в периоды, когда О. М. запускал бороду, а лагерный «Поэт» был гладко выбрит. Все же какие-то черты напомнили Д. облик Мандельштама.

Для полной уверенности этого, конечно, мало – обознаться легче легкого. Д. узнал одну деталь, но не со слов «Поэта», а через третьи руки: судьбу О. М. решило какое-то письмо Бухарина. Очевидно, в 38 году всплыли приложенное к первому делу письмо Бухарина к Сталину и многочисленные записки Бухарина, отобранные при первом обыске. Случай этот более чем вероятный. И о нем мог знать только настоящий Мандельштам. Однако остается открытым вопрос, говорил ли об этом письме таинственный старик по кличке «Поэт» или ему только приписывали бытовавший в лагере рассказ уже умершего человека, за которого его принимали. Иначе говоря: лагерники знали, что в деле Мандельштама фигурировало письмо Бухарина. Какого-то старика, быть может, однофамильца, принимали за О. М. и, вспомнив историю с бухаринским письмом, приписали ее старику. Проверить, что было на самом деле, невозможно. Но один факт здесь меня интересует: слух о письме. Это первый и единственный слух, дошедший до меня о тюремном периоде в период второго, повторного, дела. О. М. недаром сказал в «Четвертой прозе»: «Мое дело не кончилось и никогда не

кончится»… На основании письма Бухарина дело 34 года пересматривалось в 34 же году, и на основании того же письма оно пересматривалось и в 38-м… Далее оно пересматривалось в 55 году, но осталось совершенно темным, и я надеюсь, что оно будет пересматриваться еще не раз.

Но что же, собственно, подтверждает мою версию о смерти в декабре 38 года? Для меня первой вестью о смерти была возвращенная «за смертью адресата» посылка. Но этого еще недостаточно: мы знаем тысячи случаев, когда посылки возвращались с такой мотивировкой, а потом оказывалось, что адресат просто переведен в другое место и потому не получил своего ящичка. Вернувшаяся посылка прочно ассоциировалась со смертью, и для большинства это был единственный способ узнать о смерти близкого; между тем в сумбуре перегруженных лагерей обнаглевшие чиновники в военных формах писали что попало: смерть так смерть – не все ли равно? Попавшие за колючую проволоку тем самым исключались из жизни и с ними не церемонились. И с военных фронтов приходили повестки о смерти солдат и офицеров, которые на самом деле были ранены или попали в плен. А ведь на фронте это делалось по ошибке, и люди, окруженные равными себе, пользовались вниманием и сочувствием всех. С лагерниками же обращались хуже, чем со скотом, и скоты, которые распоряжались их жизнью, специально обучались попирать все их человеческие права. Возвращение посылки не может служить доказательством смерти.

Дата в свидетельстве о смерти, выданном загсом, тоже ничего не доказывает. Даты проставлялись совершенно произвольно, и часто миллионы смертей сознательно относились к одному периоду, например к военному. Для статистики оказалось удобным, чтобы лагерные смерти слились с военными… Картина репрессий этим затушевывалась, а до истины никому дела нет. В период реабилитации почти механически выставлялись как даты смерти сорок второй и сорок третий год. Кто же может поверить дате на свидетельстве о смерти? А кто пустил слух за границей о том, что Мандельштам находился в лагере в Воронежской области и был убит немцами? Ясное дело, что какой-нибудь прогрессивный писатель или дипломат, припертый к стенке иностранцами, которые, как выражается Сурков, лезут не в свое дело, свалил все на немцев, что было удобно и просто…

В свидетельстве о смерти написано, что в книге записей смерть О. М. зарегистрирована в мае сорокового года. Это, пожалуй, единственная реальность. Как будто можно надеяться, что живого не записали в книгу мертвых, хотя абсолютной уверенности в этом нет. Предположим, что к Сталину обратился

какой-нибудь Ромен Роллан, с которым Сталин считался, и попросил об освобождении Мандельштама. У нас случалось, что по просьбе из-за границы, обращенной к хозяину, отпускали людей на волю… Сталин мог не захотеть отпустить Мандельштама, или его нельзя было выпустить, потому что в тюрьме его забили… В таком случае ничего бы не стоило объявить его мертвым и, выдав мне свидетельство о смерти, сделать меня рупором этой правительственной лжи.

Почему мне выдали это свидетельство, хотя другим не выдавали? С какой целью?

А если Мандельштам действительно умер где-то до мая сорокового года – скажем, в апреле, – Д. мог его видеть и старик «Поэт» был О. М.

Можно ли положиться на сведения Казарновского и Хазина?

Лагерники в большинстве случаев не знают дат. В этой однообразной и бредовой жизни даты стираются. Казарновский мог уехать – когда и как его отправили, так и осталось неизвестным – до того времени, как О. М. выпустили из больницы. Слухи о смерти О. М. тоже ничего не доказывают: лагеря живут слухами. Разговор М. с врачом тоже не датирован. Они могли встретиться через год или два…

Никто ничего не знает. Никто ничего не узнает ни в кругу, оцепленном проволокой, ни за его пределами. В страшном месиве и крошеве, в лагерной скученности, где мертвые с бирками на ноге лежат рядом с живыми, никто никогда не разберется.

Никто не видел его мертвым. Никто не обмыл его тело. Никто не положил его в гроб. Горячечный бред лагерных мучеников не знает времени, не отличает действительности от вымысла. Рассказы этих людей не более достоверны, чем всякий рассказ о хождении по мукам. А те немногие, кто сохранился свидетелями – а Д. один из них, – не имели возможности проделать исследовательскую работу и на месте проанализировать все данные за и против.

Я знаю одно: человек, страдалец и мученик, где-то умер. Этим кончается всякая жизнь. Перед смертью он лежал на нарах, и вокруг него копошились другие смертники. Вероятно, он ждал посылки. Ее не доставили, или она не успела дойти… Посылку отправили обратно. Для нас это было вестью и признаком того, что О. М. погиб. Для него, ожидавшего посылку, ее отсутствие означало, что погибли мы. А все это произошло потому, что откормленный человек в военной форме, тренированный на уничтожении людей, которому надоело рыться в огромных, непрерывно меняющихся списках заключенных и искать какую-то непроизносимую фамилию, перечеркнул адрес, написал на

сопроводительном бланке самое простое, что пришло ему в голову – «за смертью адресата», – и отправил ящичек обратно, чтобы я, молившаяся о смерти друга, пошатнулась перед окошком, узнав от почтовой чиновницы сию последнюю и неизбежную благую весть.

А после его смерти – или до нее? – он жил в лагерных легендах как семидесятилетний безумный старик с котелком для каши, когда-то на воле писавший стихи и потому прозванный «Поэтом». И какой-то другой старик – или это был О. М.? – жил в лагере на «Второй речке» и был зачислен в транспорт на Колыму, и многие считали его Осипом Мандельштамом, и я не знаю, кто он.

Вот все, что я знаю о последних днях, болезни и смерти Мандельштама. Другие знают о гибели своих близких еще меньше.

# Еще один рассказ

Еще немного я все же знаю. Транспорт вышел седьмого сентября 38 года. Л., физик по профессии, работавший в одном из подвергшихся полному разгрому втузов Москвы, потому что в нем работал сын человека, ненавистного Сталину[32], не пожелал, чтобы я назвала его имя: «Сейчас ничего, но кто его знает, что будет потом, поэтому прошу моего имени не запоминать»… Он попал в этот транспорт из Таганки. Другие были из внутренней тюрьмы, и только перед самой отправкой их переводили в Бутырки. Еще в дороге Л. узнал, что с этим транспортом едет Мандельштам. Случилось, что один из спутников Л. заболел, и на несколько дней его поместили в изолятор. Вернувшись, он рассказал, что в изоляторе встретился с Мандельштамом. По его словам, О. М. все время лежал, укрывшись с головой одеялом. У него сохранились какие-то гроши, и конвойные покупали ему иногда на станциях булку. О. М. разламывал ее пополам и делился с кем-нибудь из арестантов, но до своей половины не дотрагивался, пока в щелку из-под одеяла не заметит, что спутник уже съел свою долю. Тогда он садится и ест. Его преследует страх отравы – в этом заключается его заболевание, и он морит себя голодом, совершенно не дотрагиваясь до казенной баланды.

Во Владивосток прибыли в середине октября. Лагерь на «Второй речке» оказался чудовищно перенаселенным. Новый транспорт девать было некуда. Арестантам велели размещаться под открытым небом между двумя бараками. Стояла сухая погода, и Л. под крышу не рвался. Он уже заметил, что вокруг уборных – а что такое лагерные уборные, можно себе представить – всегда сидят на корточках полуголые люди и бьют вшей на своей уже превратившейся в лохмотья одежде. Но сыпняк еще не начался.

Через несколько дней новичков погнали на комиссию. Она состояла из представителей лагерного начальства Колымы. Там шло строительство, и начальство нуждалось в рабочей силе первого разряда, а таких здоровяков не легко было выискать в толпе измученных тюрьмой, ночными допросами и «упрощенными методами» людей. Многие попадали в отсев, среди них тридцатидвухлетний Л., который мальчишкой сломал себе ногу. Отгрузка из лагеря шла медленно, а новые транспорты продолжали подбрасывать сотнями, а может, и тысячами, голодных и грязных одичалых людей. Л. составил себе приблизительное представление о численности лагеря. Человек точного математического ума, он анализировал, запоминал и

регистрировал все, что видел, в течение всех своих двадцати с лишним каторжных лет.

Но его знания никогда не станут достоянием людей, потому что, устав от лагерной жизни, ничему не доверяя и ничего, кроме покоя, не желая, он ушел в себя, в свою новую семью, и весь смысл существования для него сосредоточился на дочке, последней отраде пожилого и больного человека. Это один из блистательных свидетелей, но он не даст показаний. Исключение он составил для меня; и вообще о встрече с Мандельштамом, которая произвела на него большое впечатление, он иногда рассказывал и в лагере, и после освобождения. Я не спросила его, а следовало бы, долго ли колымские комиссии требовали себе здоровых людей. Не удовлетворялись ли они потом любым работником с тем, чтобы, выжав из него остатки силы, списать его в расход. Качество рабочей силы могло замениться количеством.

Пошли дожди, а попасть в барак и заручиться там местом стало возможным только с бою, и бои завязывались на каждом шагу. К этому времени Л. уже был старшим или старостой бригады в шестьдесят человек. Его обязанности заключались только в распределении хлебных пайков, но с наступлением дождей бригада потребовала у своего старосты, чтобы он раздобыл какое-нибудь помещение. Л. предложил проверить, не осталось ли свободных чердаков. Люди побойчее – а бойкость в большинстве случаев зависела от возраста – и покрепче ценили чердачные помещения: там были меньшая скученность и не такой спертый воздух. Правда, зимой их пришлось бы очистить, чтобы не замерзнуть и не сгореть у дымохода, но так далеко никто не загадывал: лагерники всегда живут ближайшими целями. Запрятавшись ночью на чердак, выгадывали несколько недель сравнительной свободы.

Вскоре нашелся подходящий чердак, где разместились человек пять шпаны, хотя там могло поместиться втрое больше. Л. с товарищами отправился на разведку. Вход оказался заколоченным досками. Одна доска поддалась. Л. сорвал ее и очутился лицом к лицу с представителем шпаны. Л. уже готовился к бою, но хозяин вежливо представился: «Архангельский»… Вступили в переговоры. Оказалось, что комендант предоставил этот чердак Архангельскому с товарищами. Л. предложил пойти вместе к коменданту, на что Архангельский вежливо согласился. Комендант занял неожиданную позицию – он постарался примирить стороны. Он мог почувствовать уважение к Л., который не побоялся ввязаться в конфликт со шпаной, или же принял и его за уголовника. Он сказал: «Такое положение – надо учесть… потесниться…

жилищный кризис»… Одержав победу, Л. вернулся к товарищам, чтобы выбрать среди них десяток для вселения на чердак, но они передумали и не захотели селиться со шпаной: обокрадут! Л. пробовал их уговаривать: красть у них нечего, а численностью они будут вдвое превосходить шпану, но они предпочли остаться под открытым небом. А у Л. появился новый знакомый – при встречах они всегда раскланивались с Архангельским. Встречи обычно происходили в центре лагеря, где всегда была толкучка и шли торг и обмен.

Однажды Архангельский пригласил Л. зайти вечером на этот самый чердак, чтобы послушать стихи. Ограбления Л. не боялся – месяцами он спал не раздеваясь, и его лохмотья не соблазнили бы даже лагерного вора. У него сохранилась только шляпа, но в лагере это не ценность. Ему показалось любопытным, что это за стихи, и он пошел.

На чердаке горела свеча. Посередине стояла бочка, а на ней – открытые консервы и белый хлеб. Для голодающего лагеря это было неслыханным угощением – люди жили чечевичной похлебкой, да и той не хватало. К завтраку на человека приходилось с полстакана жижи…

Среди шпаны находился человек, поросший седой щетиной, в желтом кожаном пальто. Он читал стихи. Л. узнал эти стихи – то был Мандельштам. Уголовники угощали его хлебом и консервами, и он спокойно ел – видно, он боялся только казенных рук и казенной пищи. Слушали его в полном молчании, иногда просили повторить. Он повторял.

После этого вечера Л., встречая Мандельштама, всегда к нему подходил. Они легко разговорились, и тут Л. заметил, что О. М. страдает не то манией преследования, не то навязчивыми идеями. Его болезнь заключалась не только в боязни еды, из-за которой он уморил себя голодом. Он боялся каких-то прививок… Еще на воле он слышал о каких-то таинственных инъекциях или «прививках», делавшихся «внутри», чтобы лишить человека воли и получить от него нужные показания…

Такие слухи упорно ходили с середины двадцатых годов. Были ли для этого какие-нибудь основания, мы, конечно, не знали. Кроме того, в ходу было страшное слово «социально опасный» – ведь ОСО в основном ссылало за потенциальную «социальную опасность»… И вот в больном мозгу это все смешалось, четвертого по счету ареста он не выдержал, – и О. М. вообразил, что ему привили бешенство, чтобы действительно сделать его «опасным» и поскорее от него избавиться.

Он забыл, что избавляться от людей у нас умели без всяких «прививок»…

В психиатрии Л. не понимал, но ему очень хотелось помочь О. М. Спорить с ним он не стал, но сделал вид, будто считает, что О. М. вполне сознательно и с определенной целью распространяет слухи о своем «бешенстве». Может быть, для того, чтобы его сторонились… «Но меня вы же не хотите отпугивать», – сказал Л. Хитрость удалась, и, к его удивлению, все разговоры о бешенстве и прививках прекратились.

В пересыльном лагере на работу не гоняли, но рядом, на территории, отведенной для уголовников, по правилам пятьдесят восьмую статью как особо вредную должны были изолировать от всех прочих, но из-за перенаселения это правило почти не соблюдалось, – шло движение: что-то разгружали и куда-то перетаскивали строительные материалы. Работающим никаких преимуществ не полагалось, им даже не увеличивали хлебного пайка, но все же находились люди, просившиеся на работу. Это те, кому надоело толкаться на пятачке пересыльного лагеря среди обезумевшей и одичавшей толпы. Им хотелось вырваться хотя бы на соседнюю, менее заселенную территорию и таким образом удлинить прогулку. И наконец, молодежь после длительного пребывания в тюрьме нуждалась в физических упражнениях. Потом, истомленные непосильным трудом стационарных лагерей, они, разумеется, не стали бы добровольно нагружать себя работой, но это была «пересылка».

Среди добровольцев оказался и Л. Этот человек не падал духом. Чем невыносимее были условия, тем сильнее оказывалась его воля. По лагерю он ходил, сжав зубы, и упорно повторял про себя: «Я все вижу и все знаю, но даже этого недостаточно, чтобы убить меня». Его помыслы были направлены на одну цель: не позволить уничтожить себя, сохранить жизнь вопреки всему. Я хорошо знаю это чувство, потому что точно так же, сжав зубы, прожила почти тридцать лет. И поэтому я отношусь с огромным уважением к Л.: ведь я знаю, чего стоило сохранить жизнь в обычных условиях, а он поставил себе эту труднейшую задачу в лагере тридцать восьмого года и не отказался от нее в течение всех страшных лет. Он вернулся в 56 году больной туберкулезом, с безвозвратно загубленным сердцем, но все же вернулся, и психика его осталась нетронутой, и память сохранилась лучше, чем у большинства наших людей на воле.

На работу Л. взял с собой напарником О. М. Это было возможным, потому что на «пересылке» никаких норм выработки не существовало, да и сам Л. надрываться не собирался. Они грузили на носилки один-два камня, тащили их за полкилометра, а там, свалив груз, садились отдохнуть. Обратно носилки нес Л. Однажды, отдыхая на куче камней, О. М. сказал: «Первая моя

книга называлась «Камень», а последняя тоже будет камнем»… Л. запомнил эту фразу, хотя не знал названия книги О. М., и он прервал свой рассказ, спросив у меня: «А его книга действительно называлась “Камнем”?» Ему было приятно, когда я подтвердила, потому что он лишний раз на этом проверил свою память…

Вырвавшись из толпы, в сравнительном безлюдье и спокойствии территории уголовников, оба они воспряли духом.

Рассказ Л. объясняет фразу из последнего письма О. М.: он пишет, что выходит на работу и это подняло настроение. Все утверждали, что в «пересылке» на работу не посылают, и я никак не могла понять, в чем дело. Все разъяснилось благодаря Л.

В начале декабря вспыхнул сыпняк, и Л. потерял О. М. из виду. Лагерное начальство приняло энергичные меры: ссыльных загнали в бараки, где сразу освободились места заболевших, заперли на замок и никуда не выпускали. По утрам барак открывался, меняли парашу, а санитары мерили всем температуру. Такая тюремная профилактика, разумеется, ни к чему не приводила, и болезнь косила людей. Заболевших переводили в изоляторы, о которых ходили чудовищные слухи. Люди пугали друг друга рассказами об изоляторах. Считалось, что живым оттуда не выйти.

На трехъярусных нарах Л. удалось занять вторую полку Это считалось удачей, потому что внизу была постоянная толчея, а наверху невыносимая духота. Через несколько дней Л. почувствовал озноб. Чтобы согреться, он предложил обменять свое место на верхнее. Желающих нашлось много. Но и наверху озноб не прекратился, и Л. понял, что это сыпняк. Его преследовала одна мысль: переболеть в казармах и не дать утащить себя в изолятор. Он недомеривал температуру и несколько раз обманывал санитаров. Жар поднимался, и однажды он, не сумев правильно стряхнуть градусник, попался в обмане, и его унесли. В изоляторе ему рассказали, что незадолго перед тем там побывал Мандельштам. Тифа у него не оказалось. Ссыльные врачи отнеслись к нему хорошо и даже раздобыли ему полушубок. У них образовался излишек одежды – наследство умерших, а умирали там люди как мухи. К этому времени О. М. очень нуждался в одежде, даже свое кожаное пальто он успел променять на сахар. Ему дали за него полтора кило, которые тут же украли. Л. спрашивал, куда же девался О. М., но никто этого не знал.

В изоляторе Л. провел несколько дней, пока врачи не диагностировали сыпняк. Тогда его перевели в стационар. Оказалось, что на «Второй речке» была вполне пристойная стационарная больница, двухэтажная и чистая. Ее-то и отдали под

сыпной тиф. Здесь Л. впервые за много месяцев улегся на простыне, и болезнь обернулась отдыхом и сладостным ощущением неслыханного комфорта.

Выйдя из больницы, Л. узнал, что О. М. умер. Это случилось между декабрем 1938 года и апрелем 1939-го, потому что в апреле Л. уже был переведен в постоянный лагерь. Свидетелей смерти Л. не встречал и обо всем знал только по слухам. Сам он человек точный, но каковы его информаторы, сказать трудно. Рассказ Л. как будто подтверждает версию Казарновского о быстрой смерти О. М. А я делаю из него еще один вывод: так как больница была отдана под сыпной тиф, то умереть О. М. мог только в изоляторе, и даже перед смертью он не отдохнул на собственной койке, покрытой мерзкой, но неслыханно чудесной каторжной простыней.

Мне негде навести справки, и никто не станет со мной об этом говорить. Кто станет рыться в тех страшных делах ради Мандельштама, у которого даже книжка не может выйти?..

Погибшие и так должны радоваться, что их посмертно реабилитировали или, по крайней мере, прекратили их дела за отсутствием состава преступления. Ведь даже справочки у нас бывают двух сортов, без всякой уравниловки, и Мандельштам получил по второму… Поэтому я могу собрать только все свои скудные сведения и гадать, когда же умер Мандельштам. И до сих пор я повторяю себе: чем скорее наступает смерть, тем лучше. Ничего нет страшнее медленной смерти. Мне страшно думать, что, когда я успокоилась, узнав от почтовой чиновницы о смерти О. М., он, может, еще был жив и действительно отправлялся на Колыму в дни, когда все мы уже считали его мертвым. Дата смерти не установлена. И я бессильна сделать еще что-либо, чтобы установить ее.

# Этапы моей жизни

Меня не перестает мучить не дожитая нами жизнь. Я все не перестаю гадать, как бы она сложилась, если бы ее не оборвали. Прямым и аккуратным продолжением прошлого она бы не стала, потому что ничего механического в нашей жизни не было. В ней отразились те же этапы, которые так отчетливо и ясно видны в стихах и в росте самого Мандельштама. Мы стояли на пороге нового этапа, но не узнали, что за порогом, потому что его увели. В ночь, когда его увели, он мне пытался объяснить, что в нем что-то проясняется и он видит то, чего не видел раньше. «Знаешь, я как будто бы понял, может, это чепуха, но мы с тобой…» Мы не договорили последнего разговора, потому что я заснула, мне снился страшный сон, я закричала, проснулась, и мы не спали, когда раздался стук. Мы даже не простились как следует, потому что я совершенно окаменела. Я собирала вещи, двигалась, но женщина, когда у нее уводят мужа, вдруг превращается в автомат, в камень, я не знаю во что, – только на лицах тех, у кого увели мужей, я узнавала это застывшее выражение, которое у меня было на лице в последние минуты… Так все оборвалось, и я не узнала, что видится Мандельштаму за порогом нового этапа, где мы остановились на один миг.

Когда живешь вслепую, день за днем, часто не замечаешь, как меняются отношения между двумя, но Мандельштам был настолько отчетлив, что даже повседневность не затмевала происходивших в нем перемен роста и созревания. На ходу – в спешке, в суете – я видела их и удивлялась.

Мы пробыли вместе один короткий миг, но наши отношения менялись, по крайней мере, трижды, то есть мы прошли, по крайней мере, через три этапа и, может, потому не успели надоесть друг другу. Мандельштама кто-то – может, это была я – сравнил с птицей фениксом. Она сгорает в огне, а наутро оказывается, что она снова жива и поет. Во всех смыслах он был фениксом: пройдя через кризис, он воскресал и снова говорил, причем голос его приобретал новую силу. И наша близость, воскресая, возникала с новой силой, но всегда несколько видоизмененная. Неженатый Мандельштам, по мнению Ахматовой, сильно отличался от того, кем он был со мной. Неженатого и только чуть-чуть связанного со мной Мандельштама я знала только в Киеве во время карнавала. В нем была юношеская неврастеничность и необузданная веселость. Меня смешило, что он никогда не пишет за столом, как все люди, но кладет листок бумаги на стул и присаживается на корточки.

Он обожал кофейни и был страшно легок и подвижен. Мы ездили на лодке по Днепру, и он хорошо управлял рулем и умел отлично, без усилий, грести, только всегда спрашивал: «А где Старик?» Так назывался водоворот, в котором часто гибли пловцы.

Чувствовалось, что Мандельштам, как всякий незрелый человек, может наделать много бед, но его особенность в том, что с годами это свойство не уменьшалось, а увеличивалось: «Другие сны, другие гнезда, но не разбойничать нельзя…» В нем было внутреннее буйство, интеллектуальное, но оно захватывало и повседневную жизнь, сказывалось на каждом поступке и в каждом слове. Несколько карнавальных месяцев я не считаю началом совместной жизни. Это прелюдия нашего брака, если это можно назвать браком. А датой брака мы считали все же первое мая девятнадцатого года. Отменили комендантский час, и мы большой гурьбой гуляли по Владимирской горке («твоя горка», как это потом называлось). Сошлись мы накануне, уйдя из Купеческого сада, где мой табунок делал выставку народного искусства и почему-то проводил целые ночи, жаря на кострах картошку. Мандельштам запомнил Владимирскую горку, потому что там он мне объяснил, что наша встреча не случайность. Я этого еще не подозревала и очень смеялась его словам. Путешествие в чужую страну, в Грузию, не изменило наших отношений, а может, я не поняла перемен: ведь в стихах прорезался новый голос, а такое зря не случается. Новый голос я слышу в стихотворении «Умывался ночью на дворе».

В Москве на Тверском бульваре со мной жил замкнутый и суровый человек первой половины двадцатых годов, когда он искал свое место в мире. В то время он обращался со мной, как с добычей, которую насильно приволок в свою конуру. Все его усилия сводились к тому, чтобы изолировать меня от людей, завладеть мной и взять меня в руки и приспособить к себе. В те годы он упорно делал из меня не читательницу, а слушательницу стихов, учил воспринимать их с голоса. Мне в руки он книг не давал, а сам листал их со мной, показывая мне удачи и провалы поэтов начала двадцатого века. Я чувствовала себя лошадкой в руках дрессировщика, и дело действительно сводилось к этому, хотя дрессировкой он вряд ли занимался сознательно. В одном ему повезло: я охотно поддавалась и была сговорчивой и легкой добычей – мирно ела сено из его рук. Единственное, с чем я с трудом мирилась, это отказ от общения с людьми, которого он требовал и от меня – не словами, а просто не отпуская меня из дому. И в свою жизнь он меня тогда не пускал, и я могла только догадываться, о чем он думает. Несколько легче стало на

Якиманке, когда мы попали в изоляцию и он перестал бояться, что я удеру в его отсутствие в кабак, на аэродром или к подружке, чтобы почирикать.

Второй период начался после ленинградского кризиса, когда, отказавшись от Ольги Ваксель, он увез меня в Царское. Розанов где-то написал, что измена скрепляет семейную жизнь, и мы попали под общее правило, хотя семьей не были и не семейное связывало нас. Я с горечью подумала сейчас об этом, как и о другой особенности нашей жизни: в любой паре приспособляются двое, Мандельштам ни к чему приспособляться не умел и не хотел, и я, в которую он вложил большой труд, приспособляя меня к себе, была ему нужна больше, чем любая новая женщина, потому что с новой пришлось бы начинать все с самого начала, да еще неизвестно, что бы получилось. Я это сказала ему в Царском. Он очень рассердился, но мне думается, что это сыграло немалую роль в его привязанности ко мне.

Второй период ознаменовался тем, что я перестала быть добычей, украденной Европой, девчонкой, за которой нужен глаз да глаз. Нас стало двое. Быть может, это произошло оттого, что мы впервые заговорили о наших отношениях и кое-как в них разобрались. Разговор больше не прекращался. С тех пор я всегда знала, чем он живет, и ревновать он стал меня меньше, чем раньше, хотя и этого бы хватило на десяток женщин. Почувствовала я и заботу, которой раньше не знала. Он был «няней» и раньше, но, видно, так испугался, чуть не потеряв меня, что стал в тысячу раз больше опекуном, другом, чем надсмотрщиком и дрессировщиком. Оказалось, что Мандельштам способен на все, чтобы меня сохранить, даже на каторжный труд и временную разлуку, на что бы раньше ни за что не согласился. С какой стати иметь жену и жить одному! Он так не говорил, но в нем это чувствовалось. После Царского Села мы жили в Луге, а потом он загнал меня в Ялту – к этому периоду относится большинство писем. Пансион на одного стоил сто пятьдесят, а на двоих двести пятьдесят рублей. Приходилось в день переводить чуть ли не половину печатного листа – за лист платили рублей тридцать. Гонорары были попросту нищенские, как на Апраксином рынке, и, как мы узнали от Нарбута, никакой роли в калькуляции книги не играли. Переводилась абсолютная дрянь, отрава, хотя всякий принудительный перевод для поэта губителен. Я не случайно огорчалась и в каждом письме умоляла отпустить меня в Киев к родителям – Мандельштам так закабалил себя работой, что даже передохнуть не мог. При этом каждый перевод выдирался когтями! Об этом лучше расскажут письма, где Мандельштам бесстыдно врет, как хорошо складываются дела

и со всех сторон льются золотые ручьи. Он успокаивал меня, чтобы удержать в Ялте. Переводы уже тогда использовались как отличный и на редкость действенный способ уничтожения литературы. Стихотворный, как и прозаический, перевод насильственных книг заглушает всякую мысль и убивает слово. У кого хватит сил после переводческой балаболки думать или говорить? Непонятно, как Мандельштам умудрялся писать письма. Они приходили почти ежедневно, а кроме них – груды телеграмм, в которых он умолял меня спокойно жить в туберкулезном городке, толстеть, слушаться врачей и дожидаться его приезда. Я дождалась.

Поздней весной мы уехали в Киев (на Горку сходили), а потом в Царское Село, где прожили два года. Зимой 27/28 года Мандельштам написал «Египетскую марку». Я научилась кропать за него какие-то обработки для «ЗиФа», и он получил передышку. Ленинград уже не кормил: жизнь у нас лишена стабильности. Как в басне Крылова, все время пересаживаются и улучшают организацию. Потом, работая в вузах, я увидела, что каждый год преподают по временным программам в ожидании стабильной, которая, просуществовав год, в свою очередь отменяется. Точно так обстояло и с издательствами, которые непрерывно реорганизовывались, а литераторы в поисках заработка метались из одного города в другой. Всегда не хватало и не хватает бумаги, и книги снимаются с плана. Сейчас это уже почти не играет роли: в печать лишь изредка попадает то, что хочется прочесть.

В молчании Мандельштама большую, хотя и механическую, роль сыграли переводы. О нем начали писать, что он бросил поэзию и перешел на переводы, когда ничего подобного еще не было, но потом добились своего – рот ему заткнули. Лишь после истории с Уленшпигелем Мандельштам бросил литературу, то есть переводы, и освободился от кабалы. С путешествия в Армению и возвращения стихов начался третий и последний этап в наших отношениях. Мандельштам освободился от гипноза, пережитого всей страной, и перестал ощущать «новое» как будущее тысячелетие. Тогда-то на обратном пути из Армении – в Тифлисе – к нему вернулись стихи. Впервые за многие годы он почувствовал прошлое и восстановил с ним связь. «Усыхающий довесок прежде вынутых хлебов» страдает от своей связи с прошлым и считает, что она лишает его права на современность. (Это, кажется, Маяковский сбрасывал непослушных «с корабля современности»? Бедняга!) Освободившись, Мандельштам жил настоящим и прекрасно знал, что оно принадлежит ему, а не тем, кто размахивал патентом на настоящее и без церемонии предсказывал будущее. С начала тридцатых годов Мандельштам

уже не обращал внимания на предсказателей – он снова обрел полную внутреннюю свободу.

Перед самым отъездом в Армению произошел любопытный казус. Мандельштам был в тяжелом состоянии, пошел к врачам, а те погнали его – тут же в поликлинике – к психиатру. Когда я приехала из Киева, куда ездила на похороны отца, Мандельштам попросил меня сходить поговорить с психиатром. Он оказался примитивным и очень решительным врачом. Его концепция болезни была такая: больной вообразил себя поэтом, выдумал, будто пишет стихи и его знают как поэта, а на самом деле он мелкий служащий, даже не заведует отделом, и носится с какими-то обидами, плохо говорит про писательские организации. Психоз известный – мания преследования на почве идеи о том, что ты что-то значишь. В больницах полным-полно больных, воображающих себя Наполеонами (он не решился сказать: «членами политбюро»). И к тому же совершенно неинтересный больной с однообразным и скучным бредом. Бывают интересные больные, а бывают неинтересные. Бред в чем-то отражает степень развития. К тому же бред глубокий – больного нельзя переубедить в том, что он поэт. Мне врач рекомендовал не заражаться психозом (я пробовала объяснить, что у Мандельштама были кое-какие основания говорить про стихи) и решительно останавливать все разговоры про стихи. Я пришла домой в бешенстве: ну и идиот – вроде как в милиции или в любимом учреждении. Мандельштам неожиданно сказал, что врач не так глуп. «Ведь я тебе писал, что не хочу фигурять Мандельштамом. Я эту сволочь заметил, когда они на меня бросились, да еще возмутился. Они только и делают, что бросаются. Чем я лучше других?» Это был вывод из визита к врачу, которого я бы не сделала. Думаю, что причина легкости, с которой он сделал вывод, в том, что «Четвертая проза» уже была написана.

В третьем периоде Мандельштам сделал меня полной соучастницей своей жизни. У него снова появилось «мы», но с некоторым вариантом: «мы с тобой». Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. Связь двоих – не мираж, как думала Ахматова[33]. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих, потому что двое – основная форма человеческой жизни. Я допускаю, что в старости – будь Мандельштам богат и благополучен – он мог бы дать увести себя от старой жены, но это не меняет дела. Связь была и будет, и ничто ее нарушить не может – даже то, что его увели и я не узнала, как сложились наши отношения в четвертом периоде жизни, на пороге которого мы стояли. Думаю, что ничего бы не изменилось в наших отношениях

и периодизация коснулась бы только стихов.

В третьем и последнем периоде нашей жизни мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что «есть в близости людей заветная черта». Может, она есть только в тех случаях, когда живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны, весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный.

Так мы жили с Мандельштамом, и он дразнил меня, не «прекрасную даму», и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня. Взрослея и даже старея, он молодел. Выглядел он всегда старше своих лет, но с годами становился легче, веселее, общительнее. В тридцатых годах в нем начисто исчезла вся замкнутость и закрытость и больше не возвращалась. Тогда мне стало казаться, что я делаюсь старше его, потому что его работа разворачивалась во всю ширь, а он, старея, молодел. Да можно ли говорить «старея», раз ему не дали дожить даже до сорока восьми лет?.. А вот я каменела от страха и старела. Мне кажется, что я сейчас моложе, чем в те проклятые годы. О них нельзя забывать, хотя даже Ахматова умоляла меня это сделать. Как могу я забыть, когда нас оборвали на полуслове? Недосказанное слово мучит и комом стоит в горле. Стоит ли завидовать нашему страданию? В нем немота и бессмысленная гибель. Немота и смерть. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой, я не смею верить, но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера.

# Годы молчанья

Обета молчанья я не давала, но молчала не только с чужими, но и с немногочисленными своими, которым с ходу надоедало все, что я могла сказать. Даже Шура, брат Мандельштама, был так занят собой, своей женой и службой, что почти не слышал моих слов, и я предпочитала их не тратить. Почти со всеми людьми старших поколений я предпочитаю молчать и сейчас, иначе они мне расскажут, что Мандельштам был маленького роста и съел у Каменевой все печенье. К счастью, стариков я почти не вижу – они сидят по своим углам и доживают нерадостную жизнь, которую и сейчас пытаются оправдать. Я знаю, что для живых оправдания нет.

Доживаю свою жизнь и я, с тревогой думая, что будет после нас. Мы замутили воду на много поколений. К чистым источникам, может, уже не пробить тропы. Мне страшно, что то, что произошло с нами, только начало. Еще недавно мне казалось, что наш опыт поможет разобраться в смысле событий, заставит людей задуматься и отвратит их от тех путей. Теперь я понимаю, что чужой опыт никого не учит, когда от него, как от нашего, остаются одни клочки и обрывки. Десятки лет, больше полустолетия, все спрятано и закрыто. На каждого, кто осмелится приоткрыть хоть крохи истины, обрушивается целая свора густо заинтересованных псов. Кое-кто был в прошлом слеп и глух, другие, лукавые политики, считали и считают истину невыгодной – не для себя, Боже сохрани, а для целого класса общества, а третьи просто получают за молчанье чистоганом. Скоро все зарастет травой.

Самое удивительное, что еще копошатся люди, которые пробуют подать голос сквозь толщу воды, со дна океана. Среди них и я, хотя мне точно известно, какие нужны сверхчеловеческие усилия, чтобы сохранить кучку рукописей. И все же я не могу уйти, не рассказав о веселом человеке, который жил со мной и не позволял мне унывать, о стихах и о людях, о живых и мертвых и о стопятницах, хотя они до сих пор тщательно скрывают свое прошлое. Раньше они сознательно молчали, а потом разучились говорить. К тому же их никто не слушает: хватит, надоело, нельзя же всегда об одном и том же… Молодежь, говорят, этим больше не интересуется – надо же подумать о молодежи. А я утверждаю, что никакой меры нет: надо говорить об одном и том же, пока не выйдет наружу каждая беда и каждая слеза и не станут ясны причины происходившего и происходящего сейчас. Нельзя позволять сартрам проповедовать мнимую свободу и садизм,

нельзя итальянским писателишкам ездить в Китай и давать советы о том, как по-китайски бороться с бюрократией. Нельзя напиваться как свиньи, чтобы уйти от реальности, нельзя собирать русские иконы и солить капусту, пока не будет сказано все до последнего слова, пока не вспомнят каждую жену, ушедшую за мужа в лагерь или оставшуюся дома, чтобы молчать, проглотив язык. Я требую, чтобы все пересмотрели мои сны за полстолетия, включая тридцать с лишком лет полного одиночества. Попробуйте, начните, тогда вам, может, не захочется убивать.

Женщина, когда у нее посадили мужа, если только она не сама его посадила, мечется и продает вещи, чтобы сделать передачу. Я продавала книги и металась, не зная, куда деваться, а по ночам повторяла стихи. Пока у меня принимали передачи, я старалась держаться поближе к Москве. Со дня на день я ждала ареста, потому что жены обычно разделяли участь мужей. Потом оказалось, что существует инструкция, каких жен убирать, а каких оставлять в покое – это зависело от количества лет, наваленных на мужа. Правила этого не всегда придерживались. За мной приходили в первые же дни в Калинине, но я сразу смоталась оттуда и увезла корзинку с рукописями. Таким способом я ускользнула от голубчиков и поселилась под Москвой в поселке Струнино. Оттуда я тоже вовремя ускользнула. Меня не нашли и не стали искать, потому что я была иголкой, бесконечно малой величиной, одной из десятков миллионов жен десятков миллионов сосланных в лагеря или убитых в тюрьмах. С тех пор я часто слышала заверения людей из другого мира, что у них этого не будет, они все сделают гуманно и прекрасно, красиво и точно. И всюду и везде повторялось то, что было у нас. Не пора ли задуматься – почему…

В очередях на передачу и в прокуратуру я не раз слышала, как возвращенные из лагерей и тюрем мужья – такие бывали, хотя и очень немногие, – добивались в справочных окошках, куда угнали их жен, сосланных за них. Из окошка рявкал солдат и захлопывал деревянную ставню. Ошарашенный муж больше не смел подойти и, стоя в сторонке, что-то бубнил под нос. Я представила себе, что меня заберут, а Мандельштам вернется и будет метаться по окошкам со ставнями и солдатами. В одну из бессонных ночей я написала ему письмо – на случай невероятного возвращения. Письмом этим я закончу книгу.

К счастью, я довольно скоро узнала про смерть Мандельштама и задумалась, куда бы мне приткнуться. Я решила ехать в Калинин. Вещи уже были в вагоне, а я стояла на платформе, и тут мне рассказали про то, что за мной приходили с

ордером. Мне показалось слишком трудным сгружать вещи, я махнула рукой и села в вагон, решив, что будь что будет. Настало время законности – уже вместо Ежова пришел Берия. Он посадил Бабеля, Мейерхольда и толпы других, а меня почему-то забыл. Мне сошло с рук возвращение в Калинин. Там я работала сначала надомницей в артели, делавшей игрушки. Потом меня приняли на работу в школу. Мне предстояла еще эвакуация, вернее, бегство от немцев, и я везла свои бумажки в сумке, которую не выпускала из рук. Сначала я попала на остров Муйнак на Аральском море и видела в больнице «лепрозную дамочку», как выразилась докторша. Перезимовала я в деревне под Джамбулом, а весной меня нашел брат и Ахматова вырвала для меня пропуск в Ташкент. Мне еще предстояли бесконечные скитания по стране в поисках работы. Могу засвидетельствовать только одно – с годами боль не проходит и не смягчается. Исчезает только острое оцепенение первых дней, недель, месяцев, а может, и лет, когда перед глазами непрерывно разыгрывается «единственное, что мы знаем днесь»… Тогда, больше чем тридцать лет назад, я была старше, чем сейчас, когда Мандельштам уже одержал победу и продолжает оставаться под запретом в своей стране, верной старым принципам и целям. Запрет – своего рода легализация, и я принимаю его как должное. Что-то мне в этом запрете даже лестно и приятно.

Сразу после смерти Мандельштама я прожила несколько недель в Малом Ярославце с Галиной Мекк, вернувшейся из лагеря и гордой тем, что не позволила себе умереть. Она говорила мне: «Надя, я думала, что люди вашей нации крепче…» Я отвечала ей что-то про немецких баронов и шла в лавку за нашими жалкими покупками. Галина безжалостно трясла меня и заставляла непрерывно шевелиться. В лавке, как всегда и везде, стояла очередь. Я выстаивала очередь, призакрыв глаза и разыгрывая заново в мельчайших подробностях сцену ареста. Иногда я видела с остротой галлюцинации груду людей в сером лагерном тряпье и старалась среди них различить умирающего Мандельштама. Внезапно очередь начинала ругаться, и я, очнувшись, вздрагивала от злобного голоса продавщицы. Она злилась и спрашивала, чего мне нужно. Я не помнила, что мне нужно и зачем я пришла. С трудом преодолев инерцию молчания – губы двигались, но звук не образовывался, – я просила отвесить сахару, если тогда был сахар, соли или крупы. Часто я приносила совсем не то, что просила Галина, и она снова гнала меня в лавку. Она тормошила меня, заставляла отвечать на вопросы и все время гоняла в лавку: «Иначе вы уснете и не проснетесь».

Я знала, что не имею права уснуть и не проснуться, поэтому

ходила в лавку и делала все, что говорила Галина. А по вечерам я слушала ее бред, потому что у нее только что забрали лагерного мужа. Он был для нее светлым царевичем, потому что, сойдясь с ним, она поверила, что жизнь началась снова. Чаще всего я сидела с матерью Галины, у которой расстреляли мужа. Она всегда рассказывала про свидание с мужем – как вывели седого старика и он закричал и заплакал: «Не верь, не верь ничему…» Его увели, и они не простились. Мать Галины не бредила, потому что надеялась на встречу. Она ждала смерти, но не знала, как доверить дочерям маленького внука. Это она заставила меня учиться читать, потому что знала по опыту: бездетным помогают только книги. Училась я читать по книгам, которые требуют непрерывного внимания. То были грамматики древних и новых языков да еще несколько книжек по языкознанию. Но прочесть я могла только несколько строчек, потому что на странице вдруг появлялось пятно – груда тел в лагерных ватниках.

Втроем мы часто читали кусочки из Шекспира, чаще всего про мать маленького Артура, которая боялась, что не узнает на небесах сына, истрепанного лихорадкой, измученного злодеями, потерявшего свой прелестный облик из-за страшного жизненного опыта. Я удивлялась, что англичане, читавшие про маленького Артура – как он словами смягчил сердце палачей, – не разучились убивать. Галина утверждала, что палачи, после Шекспира продолжавшие крошить и убивать, просто не видели этой хроники: Шекспира на долгое время перестали ставить и читать. (Я часто встречала англичан и американцев, переселившихся к нам, которые хохотали, услыхав, что я постоянно читаю Шекспира: зачем вам такое старье!) Я плакала по ночам, что палачи никогда не читают ничего, что могло бы их смягчить. Я плачу и сейчас. Но сама я тоже ничего почти не читала ни в Малом Ярославце, ни потом в Калинине (это Тверь, просто Тверь). Только потом в Ташкенте я научилась грамоте, когда вместе с Ахматовой перечитывала Достоевского.

К этому времени мне пришлось говорить со многими людьми, вернувшимися из лагерей (большинство из них были снова отправлены в лагеря во второй половине сороковых годов). Первым мне рассказал о лагере – скупо и сдержанно – мужик, который пешком возвращался домой. По пути он заночевал в избе, где я жила с матерью в деревне под Джамбулом. Сын, получивший крупную военную награду, вымолил, чтобы освободили отца. До награды сын, наверное, ловко скрывал, что отца у него раскулачили и отправили в лагерь. Ничего иного он сделать не мог, и редкий сын вспоминал отца в минуту, когда вождь украшал его грудь орденом. Этот был сыном умного

мужика и поступил отлично. Но сколько я ни расспрашивала о лагерях, живая зрительная картина создалась у меня только после того, как я прочла «Ивана Денисовича». Шаламов обижался на меня за такую измену и объяснял, что в таком лагере, как Иван Денисович, можно провести хоть всю жизнь. Это упорядоченный послевоенный лагерь, а совсем не ад Колымы. Так мне говорили и другие, кто попал в тюрьмы и лагеря в конце тридцатых годов, но показать они ничего не умели. Я знаю только, что лагерь Солженицына – это не тот ужас, в который попал в тридцать восьмом году на Второй речке Мандельштам. Но о лагерях должны рассказывать люди, которые погибали в них и случайно выжили. Мой рассказ о женщинах, которых эта участь случайно миновала.

В Калинине мне часто приходилось проходить по мосту через Волгу. Я знала, что подо мной чудная серая вода, только взглянуть на эту воду мне казалось святотатством. По этому мосту мы ходили вдвоем, и я всегда помнила и видела (проклятая способность видеть!), как мы шли там в одну из предзимних ночей последнего года нашей жизни. Ночью мы вернулись из Москвы, где раздобыли немного денег. На раздобытые гроши мы могли заплатить недели за две хозяйке и несколько дней не ездить в Москву, то есть по теперешним временам у нас было рублей двадцать пять (тогда это называлось сотнями). В лавках продавали горох – мы варили его и ели раза два-три по горсточке. Вот и весь наш рацион, не считая хлеба, чаю и сахара. Главное было передохнуть и не ездить в Москву. Передышка нам была нужна как воздух. И психически сил не хватало на нищенство у довольно бедных людей, хотя по тем временам они казались богачами, и главное потому, что мы оба еле держались на ногах. Я не помню, кто дал нам эти деньги, но добывать их было всегда унизительно и трудно. В те годы никто не представлял себе, что можно что-то вынуть из собственного кармана и отдать ссыльному. Научились этому только сейчас. Нам мучительно хотелось хоть чуть-чуть забыть обо всем прежде, чем начинать новый тур унижений и поисков. На вокзальной площади мы поспорили, брать ли извозчика. Я возражала – извозчики стоили непомерно дорого. Жили мы на окраине, и он заломит дикую цену. Прощай тогда горох и мирная жизнь… Мандельштам жаловался на сердце и напоминал, какой дальний путь до дома. Есть два способа жить в нищете. Один – растягивать деньги, отказывая себе во всем (я и сейчас отказываю себе во всем, кроме такси), другой – удовлетворять насущные нужды, а потом снова идти с протянутой рукой. Я пробовала спасаться самоотказом, но ведь от горсточки гороха не откажешься.

Спор продолжался минутку, но, когда я согласилась на растрату, на нарушение мнимого бюджета, извозчиков успели разобрать. Всего-то их выезжало к поезду два, три, от силы четыре. Частники, они облагались таким налогом, что перед войной почти исчезли, а такси еще не было и в помине. (И сейчас, приехав в провинциальный город, человек стоит со своим чемоданом и не знает, куда податься…) Вышло по-моему – мы пошли пешком. Мандельштам шел останавливаясь и тяжело дыша. Особенно тяжко ему стало на мосту, где дул пронзительный ветер. Он не жаловался, но я чувствовала, что ему плохо, и замирала от страха: вдруг он упадет – куда броситься за помощью? Ночь, никого на улицах, тьма, мост, река… Все обошлось благополучно – мы добрались до дому, вскипятили чаю, хозяйка притащила чего-то своего поесть, а наутро купили гороху.

Казалось бы, в наш жестокий век боль в сердце и ветер на мосту не тема для горестных воспоминаний, но именно так погибают все доходяги – в лагерях и на воле. Они через силу идут, идут, а там свалятся, и крышка… (Вот почему для меня такси важнее хлеба.) Свалившись, доходяга иногда проползает несколько шагов, вероятно по инерции… Я видела много доходяг на воле и потому считаю мгновенную смерть – даже от горсточки свинца – удачей. Разные бывают удачи, но кое-кто поймет эту удачу профессионального доходяги.

В Калинине, проходя по мосту уже одна, я каждый раз видела эту ночь и задыхающегося, еле бредущего человека. Вот тогда, думала я, лучше бы броситься вниз – в холодную воду… Река еще не стала, можно было утонуть. Или умереть от инфаркта (мы тогда еще не знали этого слова)… Но, умри он тогда на мосту, я бы не знала, что он избавлен от еще горшей муки – будущее для нас закрыто. Видно, каждому надо пройти свой путь до конца и благословить смерть, которую недаром называют избавительницей. Я так погружалась в себя, переходя Волгу по длинному мосту, что, если, случалось, меня окликал какой-нибудь прохожий или знакомый, я смотрела на него диким невидящим взглядом. Меня даже спрашивали, что со мной, не заболела ли я… Объяснить, что у меня болезнь эпохи – оцепенение, разговор со смертью, я не решалась. Видевшие меня в такие дни говорили, что я чокнутая. Они не знали, что они тоже чокнутые.

Такой была не я, а то, что сделала из меня эпоха. Миллионы женщин точно так ходили по улицам и мостам, стояли в очередях к прилавкам и кассам, никого не видя и ничего не замечая. Они не составляли никакого «мы», а были случайным набором

песчинок, не отсосанных мощным пылесосом. Это, говорят, делалось ради таинственных государственных целей, и сейчас есть люди, которые свято верят в вождя, предусмотрительно уничтожившего «пятую колонну». Они не прочь повторить все сначала. Надеяться нам не на что – я это знаю. И я спрашиваю себя, что представляли собой те, кто сначала декретировал, а потом провел в жизнь массовое уничтожение людей… Можно ли считать их людьми? Не правильнее было бы их уничтожить?.. Ответ пришел уже тогда: тот, кто начал уничтожение людей, пусть даже преступных и повинных в чудовищных убийствах, сам неизбежно станет зверем. (Бедные звери! С кем мы их сравниваем…) Он не сможет остановиться, потому что на этом пути остановки нет. Раз человек поставил себя над людьми и захватил право распоряжаться жизнью и смертью, он уже не властен над собой. Если построен аппарат уничтожения, человек неизбежно потеряет власть и над ним. Машина будет работать, пока не развалится от пресыщения. Под конец она работает вяло, как сейчас у нас, но сущность ее действий остается той же. Отдохнув, она в любой момент может заработать во всю силу. Говорят, перед концом она будет переведена на грозную мощь. В ней заложена программа уничтожения, и она выполнит ее до конца.

Все это я смутно понимала всегда, но выявилось оно с полной отчетливостью, как знание, в первые дни моего одиночества, когда надо мной издевался писатель-генерал по фамилии Костырев. Его вселил к нам в квартиру Ставский, дав гарантию, что он уедет, когда понадобится вторая комната, то есть по возвращении Мандельштама. Я получила временную прописку (на один или два месяца) в проходной комнате у моей матери, а он, шествуя в свою, произносил: «В Биробиджан этих стерв». В конце концов он выбросил меня на улицу, не дав дожить срока, через особую комнатку в милиции, где сидит представитель органов. В те годы у нас еще не было официального антисемитизма, но Костырев, связанный с двумя передовыми отрядами – литературой и органами порядка, «шел впереди прогресса». Он был гнусен, но еще гнуснее была его унылая жена. Неужели у них такая же дочь – тупая смрадная убийца?.. Она казалась самым обыкновенным ребенком, и мне любопытно, в гены ли вложена преступность или она развивается воспитанием.

Супруги Костыревы рылись во всех углах в поисках бумаг Мандельштама. Они нашли за ванной список стихов Мандельштама. «В меня вошла такая сила», как выражалась Ахматова, что я отняла список, и генерал не посмел пикнуть. Думаю, это случилось потому, что я смотрела ему прямо в глаза.

Этого они не выдерживают.

В уборной на гвоздике я находила черновики писем Костырева к вождю. Письма были преимущественно благодарственные: я был никем, а стал всем только вашей милостью. В каждое письмо был вкраплен мелкий донос. Ели они своеобразно – не как обыкновенные люди: жена варила макароны, кладя их в холодную воду. К ней не приставали никакие навыки, как к идиоту, которого взяли в ночную охрану. Таинственная порода, восприимчивая только к тому, что вносит разлад и уничтожение. Откуда такие берутся?

Как почти всем женщинам в моем положении, мне однажды ночью представилось, что нашлись и у меня защитники – они явились в дом, навели порядок и, может даже, увели Костырева из украденной им квартиры. И тут же – в ту же секунду – я поняла, что «не хочу иметь своих фашистов». Пусть лучше все эти негодяи умирают на собственных дачах, проживая пенсии, достойные палачей, чем мне иметь в своем распоряжении отряд палачей для расправы с ними. Я не хочу уподобляться им и отказываюсь от защитников, если бы они каким-нибудь чудом возникли и предложили мне свои услуги. (Такого искушения, надо сказать, у меня не было и быть не могло. Я отказываюсь от умозрительных «защитников».) Боюсь, что такое отношение к жизни называется «непротивлением злу». Если так, я «непротивленка», хотя предпочла бы, чтобы это называлось как-нибудь иначе.

Как бы оно ни называлось, мое убеждение сложилось следующим образом: уговаривать убийц, увещевать их или пускаться с ними в рассуждения не имеет никакого смысла – их не пронять ничем. Они непроницаемы для мысли и слова. Им внушает отвращение мысль и слово, а это наше единственное оружие, и недаром его так боятся. Но убийцы сильны только в том случае, когда за ними стоят обыкновенные люди и восторгаются их подвигами и силой, как происходило в первую половину нашего века. Обыкновенные люди, будь то охранительная и ленивая масса или беснующиеся толпы народной революции, доведенные до неистового накала тупостью прежних охранителей, сначала прельщаются новым способом думать и объяснять жизненные явления. Они втягиваются в хитроумные ловушки рассуждений и учатся выворачивать все понятия наизнанку, чтобы оправдать то, что раньше называлось злом. Они начинают поклоняться насилию как единственному способу действовать. Не успев спохватиться, они уже сочувствуют убийцам, подхватывают их лозунги, восхваляют их цели – с виду реальные, а на самом деле мнимые и обманные. Цели не достигаются, они отмирают. Люди перестают им верить, но по

инерции продолжает действовать культ силы (у нас был не культ личности, как писали в газетах, а именно культ силы, которая в конце концов оказывается чепухой, петрушкой, комической немощью), а потом остается только голый страх, порожденный злой силой. Нужно начисто побороть страх в себе и бороться за каждую человеческую душу, напоминая человеку, что он человек и тридцать сребреников еще никого не спасли.

Все пережитое нами – соблазн века и грозит всем, кто еще не переболел болезнью силы и кровавой расправы. (Зависть и месть – основные движущие силы.) Нашим опытом нельзя пренебрегать, а именно так поступают ленивые иноземцы, лелея надежду, что у них – таких культурных и умных – все будет иначе. Я тысячи раз слышала такие заверения (я не устану это повторять) от чистеньких людей, которых держали под паром в наших теплицах, чтобы в нужную минуту выпустить на родные поля. Они созревали у нас до восковой спелости и у себя рассыпались ядовитыми зернами. Многие погибли и, только погибая, что-то поняли. Другие и погибая продолжали твердить мерзкие азы. Кто жив, тот действует и будет действовать, как ему полагается, и доведет программу до конца. Дети, выросшие в подобных семьях, обычно сохраняют семя зла и преступления. Сами они часто не убийцы, потому что выросли белоручками, однако говорят на том же языке и орудуют теми же понятиями. Наш опыт – единственное лекарство, спасительная прививка, вакцина. Я для того проходила, не глядя на воду, по длинному мосту как чокнутая, как городская сумасшедшая, чтобы хоть один человек не захотел, подобно мне, получить собственных фашистов, чтобы выдворить Костырева из моей квартиры.

Несчастье в том, что мы продолжаем скрывать свой опыт и добраться до него нельзя, не приложив некоторых усилий, а люди ленивы и нелюбопытны. Единственное, что нам надо делать, это накапливать сопротивление грубой силе, чтобы все передачи в машине испортились и она покрылась ржавчиной. Чтобы это произошло, надо слишком много времени, потому что у нас нет языка, нет мерила, нет светоча, а только подлый страх.

Самое трудное – преодолеть подлый страх, потому что нам есть чего бояться. Окончательно я преодолела страх во сне. В течение двадцати, а то и тридцати лет я по ночам прислушивалась к тарахтению автомобиля, если он останавливался у моего дома. В начале шестидесятых годов в Пскове у меня во дворе затарахтел грузовик. Во сне я увидела, что меня будит Мандельштам: «Вставай, на этот раз за тобой… Меня ведь уж нет…» Я ответила ему во сне, не просыпаясь: «Тебя уж нет, а мне все равно…» И, повернувшись на другой бок, спокойно

заснула без снов. Наутро я поняла, что не открою двери, как бы ко мне ни стучали. Пусть хоть ломают (дверь-то из картона!), мне все равно. Я им дам статью – сопротивление при аресте, пусть радуются. Меня может разбудить не стук, а только человеческий голос, но не всякий голос принадлежит человеку. Убийца не человек.

Это произошло после того, как стихи были напечатаны. Теперь пропасть они не могут. Я вышла на полную и безоговорочную свободу, и мне легко дышать, хоть я и задыхаюсь. Поймет ли кто-нибудь, какое счастье легко вздохнуть хоть перед смертью.

Книга, которую я сейчас кончаю, может пропасть. Нет ничего легче, чем уничтожить книгу, пока она не распространилась в Самиздате или не напечатана в типографии, как было в гутенберговский период русской истории. Но, даже погибая, она не полностью пропадет. Ее прочтут прежде, чем бросить в печь, специалисты по уничтожению рукописей, слов и мысли. Они ничего не поймут, но в их странных головах застрянет мысль, что чокнутая старуха ничего не боится и презирает силу. Пусть узнают хоть это. Единственная мысль, которая до них дойдет, будет вроде соли к пайку, к пакету и к литературе, предназначенной для воспитания кадров, которым все нипочем: жизнь, человек, земля и светоч, померкший от их дыхания. Бог с ними, но неужели они успеют уничтожить все и всех?

# Последнее письмо

Вот письмо, которое не дошло до своего адресата. Оно написано на двух листках дрянной бумаги. Миллионы женщин писали такие письма – мужьям, сыновьям, братьям, отцам или просто друзьям, только ничего не сохранилось. Все уцелевшее надо считать чудом или случайностью. Мое письмо уцелело случайно. Я написала его в октябре 38 года, а в январе узнала, что Мандельштам умер. Письмо было брошено в чемодан с бумагами и пролежало там почти тридцать лет. Оно попалось мне, когда я разбирала в последний раз бумаги, радуясь каждому сохранившемуся клочку и оплакивая огромные, непоправимые потери. Прочла я его не сразу, а только через несколько лет. Читая, думала о женщинах моей судьбы. Подавляющее большинство думало то же, что я, хотя многие из страха не смели себе ни в чем признаться. Никто еще не рассказал, что с нами сделали люди, наши соотечественники, которых я не хочу уничтожать, чтобы не уподобиться им. Мои сегодняшние соотечественники, духовные братья тех, кто убил Мандельштама, и миллионы людей, прочтя это письмо, выругаются, что вовремя не уничтожили стерву, то есть меня, да еще ругнут тех, кто «ослабил бдительность», позволив прорваться запрещенным мыслям и чувствам. Сейчас опять запрещают помнить и думать, а тем более говорить о прошлом, а так как от разгромленных семей если кто уцелел, то только внуки, то и вспоминать и говорить, в сущности, некому. Жизнь идет своим чередом, и ворошить прошлое почти никому неохота. Сначала признали, что в прошлом совершили некоторые «ошибки», а сейчас пытаются взять это признание обратно и никаких «ошибок» больше не усматривают. Я тоже не назову того, что было, «ошибкой». Разве можно считать ошибкой действия, которые входят в систему и являются неизбежным выводом из основных предпосылок…

Вместо послесловия заканчиваю книгу письмом. Постараюсь принять меры, чтобы сохранилась и книга, и письмо. Надежды на это мало, хотя нынешний период – мед и сахар по сравнению с прошлым. Будь что будет, а вот письмо:

*22/10(38)*

Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет. Тогда это будет последняя память.

Осюша – наша детская с тобой жизнь – какое это было

счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь. Теперь я даже на небо не смотрю. Кому показать, если увижу тучу?

Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом и его едят вдвоем? И последняя зима в Воронеже. Наша счастливая нищета и стихи. Я помню, мы шли из бани, купив не то яйца, не то сосиски. Ехал воз с сеном. Было еще холодно, и я мерзла в своей куртке (так ли нам предстоит мерзнуть: я знаю, как тебе холодно). И я запомнила этот день: я ясно до боли поняла, что эта зима, эти дни, эти беды – это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.

Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка – тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой милый слепой поводырь…

Мы как слепые щенята тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье – и как мы всегда знали, что именно это счастье.

Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному – одной. Для нас ли – неразлучных – эта участь? Мы ли – щенята, дети, – ты ли – ангел – ее заслужил? И дальше идет все. Я не знаю ничего. Но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, – мне очевиден и ясен.

Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, и ты не отвечал.

Последний сон: я покупаю в грязном буфете грязной гостиницы какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, куда нести все это добро, потому что не знаю, где ты.

Проснувшись, сказала Шуре: Ося умер. Не знаю, жив ли ты, но с того дня я потеряла твой след. Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня? Знаешь ли, как люблю? Я не успела тебе сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе… Ты всегда со мной, и я – дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, – я плачу, я плачу, я плачу.

Это я – Надя. Где ты? Прощай.

*Надя.*

**notes**

# Примечания

Кареев. – *Примеч. Н.Я. Мандельштам.*

# 2

*Далее следовало:* Не сравнивайте его с Эренбургом, который разделил нашу жизнь – а она постоянно висела на волоске – и первым заговорил о погибших, отчаянно пробивая каждое слово, каждую строчку и каждое упоминание о мертвых. Ему не пришлось говорить полным голосом, потому что, заговори он так, ничего не попало бы в печать. Особенность Эренбурга в том, что он умел стоять на грани дозволенного и тем не менее открывать истину среднему читателю. Инженер, средний технократ, сотрудник научных институтов – вот читатель Эренбурга, чьи нравы и взгляды он постарался смягчить. В начале шестидесятых годов была особая мерка для среднего интеллигента – читал он уже Эренбурга или нет. С человеком в «доэренбурговском состоянии» разговаривать не следовало, прочитавшие Эренбурга доносов не писали. Смягчал нравы и Паустовский, но в несколько ином плане: он открывал мелким служащим – бухгалтерам, счетоводам, учителям, что есть простая жизнь, речка, солнце, цветы, деревья и можно проявить чуточку доброты – накормить кошку, улыбнуться соседу, не напакостить сослуживцу… И Паустовский, и Эренбург подготовили читателей Самиздата в едва очнувшейся от террора стране. Роль Эренбурга значительнее, чем Паустовского, потому что он затронул политическую тему, но отношение к нему хуже. Прочтя Эренбурга, читатель начинал что-то соображать и шел дальше, обижаясь, что получил неполную правду от первого просветителя. Со свойственной людям неблагодарностью он собирал факты, о которых умолчал Эренбург, делал выводы, не сделанные Эренбургом, и пожимал плечами: знаем мы этих осторожных чиновников и писателей… Он забывал, кому обязан своим пробуждением от гипнотического сна, а забывать такие вещи не следует…

# 3

*Далее следовало:* которого посадили в начале тридцатых годов.

# 4

*Далее следовало:* «Мы дураки, нам хорошо вместе».

# 5

*Далее следовало:* и собственной деятельности – я говорю о живописи, в которой была совершенно случайным гостем, но которую едва не стала культивировать ради самоутверждения.

# 6

*Далее следовало:* Он вообще плохо переносил одиночество, а тем более в возрасте семнадцати-восемнадцати лет.

## 7

*Далее следовало:* Весь быстро промелькнувший роман строился именно с этой установкой.

## 8

*Далее следовало:* Я приехала из Москвы в Воронеж, и он на извозчике рассказал мне про это стихотворение (остальные прислал в письме в Москву) и просил до его смерти не читать. Я эту просьбу выполнила.

# 9

*Первоначально было:*…он всегда помнил, что он «в ответе».

# 10

Цитата по памяти, «Разговор о Данте», с. 41. – Здесь и далее примечания Н.Я. Мандельштам 1977 г.

# 11

C.-p.

Гендельмана.

# 13

Актер Камерного театра – Шура Румнев.

# 14

Шенгели.

# 15

Нарбут.

Петровых.

# 17

Где получил Тарасенков текст «Квартиры»? Может, и там.

# 18

Лева Бруни.

# 19

Люлю Аренс.

# 20

Шенгели.

Маргулис.

# 22

Эрдман.

Тышлера.

# 24

Чаадаев.

# 25

Не выходили.

# 26

К этому времени у О. М. начались сердечная болезнь и тяжелая одышка. Евгений Яковлевич всегда говорил, что одышка О. М. – болезнь не только физическая, но и «классовая». Это подтверждается обстановкой первого припадка, происшедшего в середине двадцатых годов. К нам пришел в гости Маршак и долго умилительно объяснял О. М., что такое поэзия. Это была официально-сентиментальная линия. Как всегда, Самуил Яковлевич говорил взволнованно, волнообразно модулируя голос. Он первоклассный ловец душ – слабых и начальственных. О. М. не спорил – с Маршаком соизмеримости у него не было. Но вскоре он не выдержал: ему вдруг послышался рожок, прервавший гладкие рассуждения Маршака, и с ним случился первый приступ грудной жабы.

# 27

Валю Берестова.

## 28

Каверин. Он прочел «Воспоминания» и сказал: «Напрасно вы об этом вспомнили».

# 29

Увидела и пришла в отчаяние…

# 30

Шкловский сознавал, пока жила Василиса. В ней благодать.

Это был соученик Евг. Эмильевича.

# 32

Сын Троцкого.

# 33

*Первоначально было:* Она перед смертью тоже пересматривала свою жизнь и пришла к выводу, что связь двоих – мираж. По ее расчетам, связь эта держится не больше семи лет, «а потом – фьюить!». Наши отношения с Мандельштамом казались ей аномалией, и она пыталась их разгадать, засыпая меня вопросами, на которые я отвечала шутками. Во всяком случае, вариант с «фьюить!» несравненно человечней и приемлемей, чем то, что произошло с нами. В нашу жизнь ворвалась посторонняя сила и разбила ее.